



ДРУ ЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ 9/2012



- **Алексей Ивантер**
Особое братство
Стихи
- **Александр Эбаноидзе**
Предчувствие октября
Роман
- **Сергей КОМКОВ**
Образовательный коллапс, или
Детские игры взрослых идиотов
- **Сергей ПЕРЕСЛЕГИН,**
Елена ПЕРЕСЛЕГИНА
Дикie карты будущего
Главы из книги
- **Таир МАНСУРОВ**
Вызов времени
*ЕврАзЭС — наиболее успешная форма
экономической интеграции
на постсоветском пространстве*

9'2012

ДРУЖБА НАРОДОВ



Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

9'2012

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Алексей ИВАНТЕР. Особое братство. Стихи	3
Александр ЭБАНОИДЗЕ. Предчувствие октября. Роман	7
Сергей ВАСИЛЬЕВ. Эта радость и эта тьма. Стихи	115
Владимир ХОЛОДОВ. Рассказы	117
Мария МАРТЫСЕВИЧ. Роды президента. Стихи. С белорусского. Перевод Георгия Бартоша	141
Исажон СУЛТОН. Рыба. (Из серии «Ферганские рассказы»)	146
Сирожддин САЙИИД. Я — маленькая страна. Стихи. С узбекского. Перевод Николая Ильина	153
Анатолий ГОЛОВКОВ. Рассказы	155
Зинаида ПАЛВАНОВА. Утреннее зеркало. Стихи	168

Нация и мир

Александр ДЖУМАЕВ. «Двойственность сознания» и евразийский синдром. Национальные традиции выживания	170
---	------------

Публицистика

Сергей КОМКОВ. Образовательный коллапс, или Детские игры взрослых идиотов	181
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН, Елена ПЕРЕСЛЕГИНА. Дикие карты будущего. Главы из книги	196
Таир МАНСУРОВ. Вызов времени. ЕврАзЭС — наиболее успешная форма экономической интеграции на постсоветском пространстве	218

Критика

Николай АЛЕКСАНДРОВ. Опустошенное пространство	224
Сергей МОРЕЙНО. Жизнь в преддверии времени	228
Алексей КОЛОБРОДОВ. Соавторы пространств. <i>Василий Аксёнов и Виктор Пелевин глазами современников</i>	235

Культурная хроника

Юрий ПОДПОРЕНКО. Мгновения вечного	249
Кнашейвклейке Карен АГАМЯН. Живопись	

Эхо

Саднящая любовь. К характеристике «поколения некст». Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	251
Summary	256

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по культуре и кинематографии
и Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Фарит НАГИМОВ (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ,
Александр КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЁДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, Эльчин,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

Алексей Ивантер

Особое братство

* * *

Под скрипку — бывает и круче — в каморке дешевой внаем я плачу от *бессамэ мучо*, сгоревшего в сердце моем. А ниже — мощеная площадь со всей суетой и едой, и платье гречанка полощет в корыте с кипучей водой. Всей памятью сердца короткой, в ладонь зарываясь щекой, я плачу от выпитой водки, от въевшейся соли морской — о том, что все косо и криво, что спирт не сжигает беду...

Был шторм; и сломало оливу в некупленном нами саду. А речь, как слепая стихия стоит за стеной крепостной, и жидкие слезы мужские смешны на неделе Страстной. Груз сердца и мрачен и светел, но ноша своя ль тяжела? Нас клюнул прожаренный петел, ужалила в горло пчела.

* * *

Ни бубна, ни горна не слышно. Свой путь невеликий верша, из влажной опалубки вышла моя молодая душа. Но жизней иных отголоски и выползки прожитых дней — все эти ненужные доски зачем-то лежат перед ней. И пахнут смородиной руки, и обувь — июньским дождем, и чудятся крестные муки земли, на которой рожден.

* * *

Боре Левиту

Под обстрелом на станции Плюсса во дворе нежилого жилья среди месива стекол и бруса под телегою мама моя. Не найти на пути мне ночлега, не пробиться сквозь синюю мгу: это мама моя под телегой, а я маме помочь не могу. Все горит он, горит, не погашен, этот свет, не поросший быльем, звезды красные с танковых башен отпечатаны в сердце моем.

Торошковичи — Старая Русса... Я к тому отхожу рубежу. Под обстрелом на станции Плюсса под телегой пожарной лежу. Задыхаюсь в случайном побеге, смерти жду в станционном чаду. Все-то было спасенье в телеге гужевой на железном ходу.

* * *

Алексею Масенкису

Бродят ветра по пустому двору в Истре и в Старом Осколе, дом мой стоит на холодном ветру между войною и полем слева от танковых старых колеи, мат где и кровь замесили. Стопку достань и до верху налей — есть что налить у России. И забывает слова голова — проще — не знать и не помнить тех, кто ушел, оперившись едва, из непротопленных комнат, встал и растаял в осеннем дыму, выключил свет на пороге, вброд миновал и войну, и тюрьму, где-то пропал по дороге. Вот он поет о любви и войне, детях, разлуке и доме — в каждой семье на моей стороне с желтого фото в альбоме.

* * *

Там мама совсем молодая
и Хаим почти молодой,
и вечно погода худая
над белой балтийской водой,

и Летнего сада ограда,
и желтое гулям пшено...
Я все-таки из Ленинграда,
хотя это было давно.

Ни Невский, ни белые ночи,
ни Зимний в искристом снегу,
но запах столовой рабочей
мне дорог на том берегу,

тепло ленинградских прохожих,
и в горле мешающий ком
за эту под кожей, под кожей
готовность делиться куском.

Сестрица и названный братец,
спасибо за суп и компот,

я вспомнил, что я ленинградец
в голодный студенческий год.

Я знаю особое братство
запомнивших голод людей.
...Но все мы на круг ленинградцы
в стране недоевшей моей.

В Охотске и в Верхнем Тагиле,
богатых одной мошкаррой,
меня — бедолагу — кормили,
себя обделяя порой.

В Чендеке и в Ливнах морозных,
где с голода ел и ботву,
в бараках столовых совхозных
за так мне давали жратву.

Меня бы сегодня спросили,
что делал я в этих краях —
я просто бродил по России
с бродячей судьбой на паях.

* * *

Напой-ка, напой мне мотивчик былой, как ехал казак на чужбину с разбитой скулой и пробитой полкой, и пел «как уеду, да сгину», напой же мне эту, ну, как ее, ну — про то, как ночными хлебами ушел на Гражданскую мальчик войну крестьян убивать на Кубани. Напой, не томи, про бухой трибунал, как утро последнее мгlisto, как густ над головушкой белый туман, как щелкнул курок коммуниста. Напой же мне ту, что я в детстве певал, душой провожая вагоны, как туча легла на ночной перевал, ночные укрыв эскадроны. И в бронзе отлить мы умеем на ять и в вечность отправить с депешей: дано упырям над Россией стоять и в кепке, и конным, и пешим. И память земли есть, и быль кирпичей, и списков тома поименных. Но Родина любит своих палачей, и помнить не любит казненных.

* * *

Тут петь нельзя, и говорить не надо. Будь эллин ты, осман иль иудей — над миром каменным царящая цикада не признает ни Бога, ни людей. А ты — жующий и привычно пьющий — не зажимай бессильные лады, тут властвует без устали поющий малец с крылом из сетчатой слюды. Среди руин оставленного града, один мотив незыблемо храня, свой черный зрак устала цикада куда-то сквозь ненужного меня. Заговорить не смею и немею сухой гортанью, языком кривым. Но что мне делать с музыкой моею — с кузнечиком звенящим луговым, и с речью — дар напрасный подающей, невоздающей, ставшею судьбой, и сквозь меня — молчащего — поющей, не признающей власти над собой?

* * *

Я принимаю звание акына!
В моих словах и ветер и металл;
За тридцать лет, прошедшие без сына,
Таким я стал.

Судьба дала недолгую отсрочку,
Похожую на галечную мель.
Но жизнь течет; поток уносит дочку
За тридцать земель.

И нет уже ни якоря, ни дома,
И есть в крови цветущие ветра.
Гори, гори, души моей солома,
Давно сгореть пора.

* * *

Максиму Резникову

Говорящему — нету резона
говорить, головы не беречь.
Но, как в обморок «Тихого Дона»,
снова падаю в русскую речь.

В тонких шлейфах полуденной пыли
Калитва, а за ней бунчуки.
Тут коней мои предки поили,
вытирали о гривы клинки.

Вдруг подумаешь — памятен я ли
старiku с головою седой?
Тут прошли мои предки с боями,
для кого-то последней бедой.

Сколь железных сапог износили!
Мох курили и ели кору.
Я родился и вырос в России,
и, Господь даст, в России умру.

Эту землю мы ели и пели,
в эту землю ложились костями,
и полить ее кровью успели,
и удобрить своими детьми.

Что ж теперь бестолково виниться,
если мысли уснуть не дают,
как горят ее рожь да пшеница,
кони скачут, и девки поют?

* * *

Если сердце разрезать и вынуть осколок Гаскони, то останется в нем тишина, Конаковский паром... Пятилетняя девочка тихо поет на балконе *бессамэ*, и пылает закат над московским двором. От железных ворот и до дворницкой с левого края отражается солнце в оплавленном красном снегу. Ничего проще жизни на свете я белом не знаю, ничего, кроме жизни, я так не понять не могу. Над февральским двором висит багровая туча, и душа покидает последний обжитый придел. Так ли внучка моя напоеет это подлое *мучо*, как для деда когда-то я *время изменится* пел? Если сердце разрезать и вынуть Урал и Пехорку, Верхоянский хребет и Архангельск в сентябрьском дыму, горький привкус любви, цепкий искус подмокшей махорки, что останется в нем — я, наверное, сам не пойму. Но впитало оно, кроме лязга родного металла, все, что было со мной и с родней на советском веку, все, что било в виски и в литавры, и срок отмотало, там, где птиц не слышать, а подставишь башку — и ку-ку; все смешалось давно, в том одном ядовитом флаконе, где союз нерушимый дарован нам — «Ява-Дукат»... Пятилетняя девочка тихо поет на балконе, и в Охотское море садится московский закат.

Александр Эбаноидзе

Предчувствие октября

Роман

«...Очей очарованье!»

Александр Пушкин

Даша Краснопевцева

Странно проснуться в чужом доме. Неуютно и тягостно, ни полудремы, ни потягушек. Чем-то похоже на пробуждение в купе с незнакомыми мужчинами...

Ничего себе — купе! Роскошная спальня с альковом, старинным зеркалом и двумя бронзовыми бра в виде изящных женских рук; при взгляде на их точеные пальцы приходит в голову, что бра сняты со стен в каком-нибудь отеле начала века в Ницце или Бальбеке... Под сенью девушек в цвету... Из сытой Франции в жирующую Россию. Поистине, неисповедимы пути Господни. Пожалуй, владелец этих бра чем-то похож на постояльца бальбекского отеля. Двойственностью и невняtnостью. И превосходным парфюмом. Можно подумать, что я хотя бы раз вальсировала в объятиях бедняги Марселя. Вот что значит хорошая проза... А подушка хранит запах — горьковатый, тропический, рискованный, не похожий на него. Ложная информация. В некотором роде передергивание. Женственный пират. Одно в нем ценно — жаворонок. Поднялся на заре и упорхнул. «Кто рано встает, тому Бог подает», — любимая присказка. Не слишком ли щедро подает? Ладно, зануда, ты-то чем недовольна? Что-то и тебе перепадает от Его снисходительной доброты...

Все лето не виделись, а вчера вдруг вызвонил на выставку. Не близко, возле Каширки. Зато всегда что-нибудь остренькое. Решил освежить коллекцию авангардом... А у меня своя цель: жареный петух в темечко клюет — торопит... Поехала. Выставка — лажа и блажь! Я так ему и сказала: б л а ж а, Кока, убери кошелек и не напрягайся. В офис по продаже сантехники или запчастей еще можно подобрать, а для дома, для души нету...

По залу были развешаны и расставлены натужные концепты, высосанные неизвестно из какого места. Продукт не глаза и сердца, а очень серого вещества. Один не поленился загрузнтовать холст размером пять на три и по трафарету написать: ввиду болезни сорвал заказ Спорткомитета, пусть зритель сам вообразит на этом месте лыжников в заснеженном лесу. Другой, наклеив на белое полотно пальмовую ветвь, поместил рядышком фото паспортного размера и назвал: «Триумф победителя». А молодая художница в поисках подлинности пошла дальше всех — растянула на подрамниках пленки своего младенца с подписью: «После молочка», «После яичка», «После яблочного пюре». Живопись кисленько пахивала грудничком.

Среди такого рода экспонатов с удивлением увидели Неклюдова. Сухопарый, с белоснежной гривой он ходил по залу нетвердо, как бы ища опору, но смотрел зорко, и выражение его лица менялось от детски-обиженного до старчески-саркастического. Перед ящиком с морской галькой задержался и попытался извлечь камень. Камни лежали плотно и, пока старик колупался, к нему через зал с громкими криками ринулась смотрительница. Кока встал у нее на пути: «Тише, мамаша, тише! Вы хоть знаете, на кого шумите?» Неклюдов оперся о его руку и сказал слабым голосом: «Она права. Это экспонат. Я только хотел понять, откуда на нем пятнышко мазута...»

С выставки поехали на Пречистенку, в мастерскую: старик сообщил, что надумал продать кое-что из раннего.

В мастерской засиделись, говорили о выставке, смотрели картины, пили. Вернее, пила я одна, целеустремленно, как брехтовский Пунтилла. Старик осторожничал, а Кока вообще не пьет. «Что это ты, Дашечка! — Неклюдов заботливо поглаживал меня по колену. — Будет, девочка... Не стоит...»

Почем он знает, что чего стоит! Кроме живописи... Очень хотелось остаться в его мастерской, пропахшей красками и скипидаром, но жареный петух торопил: тюк да тюк!

Застольное сидение в памяти размылось, а вот работы запомнились: туманные, влажные, не хуже Марке? Особенно понравился «Речной порт» — вода, пакгаузы и фонари в тумане. А купил Кока «Речной порт» или нет — не помню, неужели напилась? Ты, мать, хоть фиксируйся, а то опять загремишь. Как говорит Лилька — на кактус рухнешь. Что-то купил, это точно. Иначе Неклюдов не провожал бы до машины: сам в салон залез удостовериться, хорошо ли пристроена. Кряхтел по-стариковски и внушал ворчливо: «По старой дружбе, Кока. За то, что в окайнные дни не дал загнуться. Вовремя подсуетился, старичок, настоящую вещь увозишь. Через десять лет ей цены не будет. Я ведь год от года грубею, Кока, того и гляди, чистое говно пойдет на выходе. Так что поспеши, старичок...» — Он даже на жаргоне подсюсюкал, уламывая Коку раскошелиться еще на пару вещиц, но Кока не спешил. Такова судьба художника, и ничего тут не поделаешь. Разве что утешись каким-нибудь красивым преданием о короле Франции, поднимающем уроненную Тицианом кисть... Ну, Тициану — Тицианово, а наша картинка тоже ничего... Или приснилось?

А за окном уже день ясный. Свет сквозь жалюзи четкими полосами. Поверх световой линейки тени деревьев колышутся, набухают и опадают. Перекатившись, дотягиваюсь до пульта. У Коки весь дом на автомате, все под девизом «Знание — сила»; кажется, так прозывался журнал, в котором он ведал отделом рационализации. Нажала на кнопку и зажмурилась. Жалюзи с жужжанием ползут вверх, и в комнату врывается солнечный свет, даже локтем пришлось заслониться. А когда открыла глаза, увидела за окнами осеннее величие, какое возможно только в октябре и только в Подмоскowie...

Вскочила и быстро-быстро вниз по лестнице, быстрее, чем пальцами по клавишам. Ноги легкие, балетные, без похмельной дрожи. Как будто не из нечистой спальни, а из зеркального танцкласса после разминки. Окунуть в бассейн, хватану кофе и на станцию. Через осенний лес!..

Одинокий холостяк в трехэтажной вилле. Сюда бы детский сад или приют для сирот... Неужели за то Бог подает, что рано встает? Не слишком ли ты щедр, Господи?! Ладно, уйми левацкие инстинкты. Или вступай в «красные бригады» и действуй. Только не раздваивайся!

Коридор перед бассейном выстлан плиткой. В кадках кактусы, лимоны и алоэ. Тщедушная тетка в зеленом халате медленно толкает перед собой полотер вроде тех, что в метро. Запыхавшись, здороваюсь:

— Здрасьте! — и улыбаюсь поприветливей. — Откройте, пожалуйста, бассейн!

Вспоминаю, что без купальника, но это не смущает, напротив — телом предвкушаю прохладу и свежесть нырка и нетерпеливо дергаю медную ручку.

Женщина останавливает каток и застуженно гугнит:

— Не можно, касатушка, не велено.

— Это почему же? — от неожиданности теряюсь.

— А хто е знае! — У нее необычное произношение, дремучий неведомый диалект. — Мы таперича тую воду подогревам без хлорки. Я чай, шоб не зацвела, — и насмешливо-уважительно: — Бум ховорить, чистюли...

Ох уж этот чистюля!..

На двери с панелью мигающий цифрами глазок.

— А кода не знаете? — спрашиваю с досадой. Сама позабыла. Впрочем, раз Кока ввел гигиенический режим, наверняка и код сменил. Странности старого холостяка. В этом они похлеще старых дев.

Женщина включает полотер и гугнит под нос:

— Тибе хозяйка дождае. Рим Пална. Велела зайтить...

Римма Павловна — это кто? Кажется, мать. Вот мне вместо свежести и прохлады бассейна! На каком этаже искать мать Римму Павловну?.. Тут кроме дома и обзорная башенка, помнится, с мини-лифтом и подзорной трубой — с испанского корвета, если не ошибаюсь...

Словно услышав невысказанный вопрос, женщина пояснила на малодоступном русском:

— Вона у кухни...

Мать Римма Павловна сидела за огромным столом, предназначенным для гастрономических оргий циклопов. В экзотическом халате с драконами и с холеными ногтями двойной длины; от цвета ее волос, окрашенных хной, свело скулы, как от оскомины. Она пила кофе и курила сигарету через длинный мундштук. Vecchia donna со следами бывлой красоты и нынешней почечной недостаточности. Поодаль у стены стояла картина — неклюдовский «Речной порт». Я так ей обрадовалась, что всю досаду сдуло с сердца: при свете дня картина оказалась еще лучше, чем в мастерской.

— Здравствуй, голубушка!.. Здравствуй, детка... — Vecchia donna чуть заметно и чуть надменно кивнула, не отрывая от меня круглых внимательных глаз под припухшими веками. И с насмешкой, скорее, дружеской, чем злой, полюбопытствовала: — Рассольчику огуречного не желаете ли, барышня? После вчерашнего? Не смущайся, у меня найдется...

Я действительно смутилась от такого начала, наверно, потому села без приглашения и уставилась в упор.

— Давно хотела познакомиться, да обе мы нечастые гости у Кокоши, или не совпадаем? На Масленицу тебя видела, тоже с картиной приехали, и вот вчера. — Она повела головой в сторону «Речного порта». — Может, и не случайно судьба сводит. — Волосы у нее были густые, овал лица округлый, но с заметной возрастной коррекцией, годы утяжелили его к подбородку и скулам, отчего шея казалась короткой. — Ты ведь Даша Краснопевцева, верно? — Я кивнула. — Советская интеллигенция перед бесславным концом спохватилась раскапывать корни, по Загсам прокатилось увлечение старыми именами: Авдотьи, Пелагеи, Варвары, Феклы. И ты в этот же реестрик. А я вот ни богу свечка ни черту кочерга. С меня взятки гладки. Не Фотина и не Сталина. Это ты у нас свидетельство национального пробуждения. — Замолчала и опять внимательно присмотрелась. Говорила тихо, внушительно, но что-то в ней было вульгарное: смотрела, как смотрят старые многоопытные стервы на молоденьких стервочек — с непонятым превосходством, насмешливым любопытством и неутолимой завистью; такая горькая смесь, произрастающая на гормональной почве.

— Тебе сколько лет, детка? — спросила серьезно, резко, как о чем-то важном. — Без метрики, но честно?

— Скоро двадцать шесть, — ответила я.

— Молодец! — похвалила. — Года три спокойно могла скостить, а не стала. С открытым забралом, молодец... — Бросила погасшую сигарету в пепельницу, вставила в мундштук новую и щелкнула зажигалкой; мне не предложила. Сигареты у нее были тоненькие, коричневые, кажется «Сент-Мориц». — А знаешь ли ты, что в свои двадцать шесть ты для этого дома ветеран, перестарок, старая гримза! — хохотнула коротко и опять на меня испытующе уставилась, только на этот раз с оттенком осторожности. — Сюда старше шестнадцати редко кто попадает, кроме молочницы. Строжайший фейсконтроль. Можно и двадцать, но с пятнадцатилетним фейсом.

— В первый раз и мне не было семнадцати, — сказала я.

— В самом деле? — искренне удивилась и, встретив мой подтверждающий взгляд, продолжала: — Но ты осталась. Задержалась. А другие нет. Потому и обратила на тебя внимание. Кто такая? Чем угодила? Что ты от прочих абитуриенток отличаешься и ежу видно. Воспитанную девушку с одного взгляда распознаешь. Среда отпечаток накладывает. — Я непроизвольно скорчила гримаску. — Накладывает, накладывает, — повторила она. — Уж поверь, я тут навидалась. Бывают прехорошенькие, прямо куколки, но мама миа! — Она в ужасе перекрестилась. — И что Кока в них находит!.. — опять глянула испытующе, подвинула мне пачку сигарет, спросила: — Кофе? — Я кивнула. Ушла за стойку, вернулась с кофейником, налила, подтолкнула ко мне красивую зажигалку и подвинула вазочку с круассанами. — Поверь, душечка, мне этот разговор не в радость. Больше скажу — пытка. Нож в сердце. Но постарайся понять. Как мать. И как женщину.

Я видела, что ей и впрямь трудно, но не угадывала, куда она клонит. Неужели vecchia donna собиралась говорить о странностях любви? Love's Labour's Lost. Бесплодные усилия любви. Или ее причудливые шалости. Увольте! Обсуждать альковные тайны ее беспутного сына не мой жанр.

— Как я понимаю, вас связывает это, — опять повела головой на картину у стены; к этому времени часть картины осветило солнце, отчего живопись заиграла, сделалась праздничной и громкой. — Картины — это хорошо, — продолжала она. — В отношениях между мужчиной и женщиной должно быть что-то, кроме постели, общий интерес или общие дети. Особенно с годами. Но объясните мне, бога ради, что связывает его с ними, — взмах куда-то в пространство, — с мокрощелками безпачпортными, — последнее слово отчеканила с гадливой ненавистью. — Они же пустышки, пупсики гуттаперчевые. Каюсь, пыталась подсмотреть, подслушать и, ей-богу, теряюсь, пугаюсь даже. Все про него знаю от рождения, и хорошее, и плохое, но ничего не понимаю.

Несколько глубоких затяжек, новый испытующий взгляд и долгая пауза. Я — ни слова в ответ.

— Бизнес успешный, деньги без счета, дом видишь какой, недвижимость на Адриатике, и не абы где, а возле Дубровников. Словом, барыга, а женщин, настоящих женщин, — выразительный жест руками, — в упор не видит. Только девочек. Сливочек зеленых. Слава богу, хоть не педофил. И на том спасибо!

Неопределенная настойчивость ее речей начинала раздражать. Я прихлебывала кофе и косилась на картину, радуясь в душе контрасту между нами: старуха размешивала несъедобную житейскую кашу, а картина дышала предзимней печалью и прохладой воды.

— Римма Павловна, — воспитанная девица рискнула репутацией и прервала затянувшийся монолог, — я действительно помогаю Коке отбирать живопись для его коллекции, но это ровным счетом ничего не значит.

— Могла бы запросить с него процент, — посоветовала полушутя и подмигнула. — Кока говорит, что твои картины за пять лет вздорожали впятеро.

— Господь с вами! — отмахнулась я. — Мы просто ходим по выставкам и мастерским и, если мне что-то нравится, я не скрываю этого, радуюсь. А у него есть возможность купить. И ему хорошо, и художникам. Да и мне тоже. Большинство художников ужасно нуждается. К тому же они знают нашу семью, и свое отношение к ней почему-то распространяют на меня.

— Вот и я о том же! — оживилась она. — Вас что-то связывает, тебя и Коку моего. Общий интерес. А что связывает его с этими ватрушками? Чур, не я придумала, сам так их называет. Они ватрушки, а самому сорок семь! Когда семью создавать? детей родить? растить, на ноги ставить? Кому свалившееся богатство оставлять? — Она во всю ширь развела руки и закинула голову.

Кажется, старуха сватала за меня своего непутевого сына. Во всяком случае, предлагала обдумать такую перспективу. Мне она не улыбалась. Да и с наследованием имущества, то есть с появлением наследника, могли возникнуть проблемы. Точнее, не могли не возникнуть после очередного медицинского вмешательства. «Не делай этого, детка! — чуть не со слезами умоляла добрейшая Серафима Марковна. — Ты создана, чтобы родить. Родить и кормить. Таких полноценных женщин в нашей консультации за свою практику я видела раз-два и обчелся. Зачем же губить то, чем наградила природа!» Я все-таки настояла. Это было не так уж давно. Может быть, потому у меня вырвалось с досадой:

— Что вы обо мне знаете, Римма Павловна!

Она поняла. Поняла, но не приняла, как довод.

— Будет тебе, детка! Чем ты можешь меня удивить? Мы все не из монастыря. Я Коку на третьем курсе родила, после целины: студенческий отряд, вариантов много — пять парней и одна девушка. Как говорится — твори, выдумывай, пробуй. И если женщина может строить догадки на сей счет, я подзалетела в кабине комбайна от студента из Тарту по имени Уно. — Она вдруг расплылась в шкодливой улыбке, заиграла растопыренными ладошками. — Уно, уно, уно, уномоменто, уно, уно, уно-сантименто... Вообрази, комбайнер Уно был очень даже ничего, но до смерти боялся сусликов. Наш Кока туда же — при виде мышки в обморок падал. Вот почему чудь белоглазую в отцах числю, и генетического анализа не надо. Еще в советские годы Кока организовал при журнале кооператив и первым делом запустил в производство прибор для распугивания мышей. На нем и разбогател. Неужели не рассказывал? — спросила азартно. — Оттуда и стартовый капитал, и деловые связи, а уже потом все прочее. Плюс везение. Он же у меня везунчик, тьфу-тьфу, не сглазить. Теперь не мышей боится, а фининспекции, налоговиков и таможенников. А еще демонстраций с красными флагами — даже за границей. Видала, каким забором дом оградил! — Вывод за этим перечнем последовал неожиданный и на первый взгляд нелогичный. — Меня спросить, так это все от его *в а т р у ш е к*, черт бы их побрал. Оттого что всю жизнь с ними тетешкается! Ни мужской твердости не приобрел, ни ответственности. Жениться бы ему, бедолаге, пока не поздно, семьей обрасти, глядишь, все и встанет на место. И я наконец успокоюсь.

Я с удовольствием допила кофе, доела круассан с земляничным джемом. Услышанное обошло меня стороной. Моя хата была с самого края, считай — в лесу. Однако не оставалось сомнений: встревоженная мамаша — *vecchia donna* — ходатайствовала за сына. Возможно, даже сватала, при этом почему-то не превозносила его достоинств, а давила на жалость. Трусоват был Ваня бедный. Мышек, видишь ли, боялся. Впрочем, достоинств она могла не выпячивать. В сущности, мы располагались внутри его достоинств, как Иона во чреве кита. «Миланер бездетный и бедная с детьми» — картина грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани... Неужели в этой блядской стране трудно найти невесту душистому миллионеру сорока семи

лет? Охотниц — как стерлядей на нересте. Сам небось увиливает, уворачивается, ускользает. Такая натура — «не тронь меня». По себе знаю его скользкую верткость. Как-то после особо хитроумного финта в сердцах обозвала его желтопузиком. Ему понравилось. Даже эсэмэски иногда подписывает — *Желтопузик*. И еще *Линг-вист*. Бесстыжие глаза...

Видимо, решив, что все сказано, Римма Павловна собрала на поднос кофейник и чашки и унесла за стойку. Тщетность усилий явно расстроила ее.

Вернувшись, устало и как-то надменно воззрилась на меня:

— Ты, кажется, хотела в бассейн?

— Откуда вы знаете? — удивилась я.

Взглядом показала на мониторы за моей спиной. На одном из них тщедушная женщина в халате толкала перед собой тяжелый полотер.

— Спасибо, мне расхотелось.

— Как знаешь. — Она не садилась, всем видом показывая, что разговор окончен. — Не буду больше тебя грузить, но подумай. Посоветуйся дома.

— Мне не о чем советовать. И не с кем, — сказала я.

Получилось резковато. Во всяком случае, она изменилась в лице и с обидой сказала:

— Не горячись, детка. — И повторила: — Не горячись...

Я поднялась к себе. Не стала наводить марафет: волосы в пучок, бусы-клипсы в сумку, деньги в кошелек и на выход. После разговора дом тяготил еще больше, чем утром. На воздух, в лес, под осенний листопад. Старая стерва поговорила с молодой стервочкой. Они не поняли друг друга.

Veschia donna встретила меня у лестницы. В сложной гамме чувств на выразительном ее лице преобладало чувство вины.

— Тихон подвезет вас до станции, — почему-то перешла на «вы».

— Спасибо. Я хочу пройтись по лесу, — и, чтобы смягчить отказ, добавила: — Уж больно погода хороша.

— Это правда, — согласилась и, привстав на цыпочки, чмокнула меня в лоб. Пожалуй, это было лишнее. Я поспешила к выходу.

— Когда теперь вас ждать?

Не оборачиваясь, пожала плечами.

На входной двери засовы, пять ключей и цепочка. Выйти из дома, как кандалы расковать. Кажется, Кока и впрямь трусоват, хотя раньше этого не замечала.

Лязг и звон переполюшил собак вокруг дома. Сбежались, встали полукругом, смотрят. Я собак сызмала не боюсь. От бабушки слышала, что в деревне к соседской овчарке в конуру залезала и сидела с ней в обнимку. Сама-то не помню. Помню, что всегда их любила. Никогда при встрече даже на донышке страх не возникал, только радость. И они отвечали тем же. Даже вот эти звери — Рекс, Тарзан, Джульбарс и Мухтар.

Пошла через двор, немножко кокетничая перед ними. Они эскортом — следом.

Охранник из будки выходит, в десантном камуфляже; кажется, и в бронежилете — торс, как у отставного Шварценеггера.

— Что так быстро покидаете нас? — спрашивает тактично, ласково даже, без всякого намека, и улыбка чуточку виноватая, как будто я по его вине заторопилась. — Не понравилось? Вы бы погуляли, участок вон какой большой, или в бассейне искупались. Мы воду не хлорируем, только подогреваем.

Все-таки мужчины благородней и снисходительней нас.

— Спасибо, — говорю. — Дела, надо в Москву.

— Да, у всех дела, — сочувственно кивает и тактично, лишь мельком заглядывая в глаза. — Нынче времена деловые. Николай Иванович вон в семь отбыли и до

полночи не ждем. Чтобы в Москву проскочить, надо или до петухов, или после полудня. А вы как думаете добираться? Вы ведь без машины...

— Ничего, — в ответ на его заботливость, я тоже сменила модуляции с холодного меццо на ласковую колоратуру, — на электричке доеду. А до станции прогуляюсь. Денек-то какой!

— Да, деньки стоят замечательные! Бабье лето...

Оглянулась на собак: они внимательно слушали нас. Помахала им рукой и прошла через будку охранника. Он вышел со мной за ворота, видно, засиделся, потянуло поболтать.

— Тут до станции автобус ходит. Каждый час идет.

— Спасибо. В такую погоду лучше пройтись.

— Это верно, — согласился и профессионально заметил: — У нас, в общем-то, безопасно. Да и время по статистике самое безопасное — полдень. Только как бы вам в перерыв не угодить.

— Какой перерыв? — насторожилась я.

— В расписании электричек. У них после полудня перерыв почти два часа.

— Спасибо, что предупредили, — еще раз поправила ремешок сумки. — Всего доброго... — и подарила ему лучшую из улыбок.

По-военному поднес руку к козырьку. Ай, молодец! Даже сердечко екнуло...

На выходе из поселка контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом и вышколенным персоналом. Прямо государственная граница, а не таунхаус!

Дальше дорога идет под уклон к большому пруду, отражающему безоблачное небо: в осеннем лесу огромное зеркало в золотой барочной раме.

До станции путь неблизкий, не меньше часа. Вот и хорошо, есть время собраться с мыслями. После странного разговора это просто необходимо — навести порядок в персональном «компьютере».

С чего начнем? Пункт первый — деньги, пункт второй — деньги, пункт третий — опять же деньги. Уже октябрь, а у нас и половины нету. Когда в последний раз у Лильки справилась, сказала, что на счету неполных двадцать семь тысяч. А нужно почти пятьдесят восемь, стоимость лечения определена с немецкой дотошностью — пятьдесят семь тысяч и еще восемьсот сорок евро. Включая послеоперационную реабилитацию в детском санатории. Но неперемное условие — до декабря! Иначе операция теряет смысл, болезнь перейдет в необратимую стадию и... Ну!.. Что — и? Договаривай, если можешь! В том-то и дело, что не могу. Вот и сейчас с шагом сбилась. И с дыхания. Что ни ночь, просыпаюсь в холодном поту. Тревога за Сашеньку странным образом подтвердила, что дела мои плохи. Доигралась. Самой уже не суждено выносить и родить. Порожня. Как и положено настоящей балерине. Средняя рождаемость по стране — полтора ребенка на женщину, у балерин — ноль целых двадцать две сотых. Заместо детишек — Чайковский с Сен-Сансом и Адан с Глазуновым, оvationи, букеты, корзины. А меня из балета пинком под зад. Вместе со мной и Лильку: пошли вон, акселератки, ни пачек на вас, ни лифов в наших костюмерных. Ступайте гренадерами в Кремлевский полк!.. Шутка... Вышли мы на Фрунзу, и пошли, солнцем палимы. Не такие уж гренадеры — рост под сто восемьдесят, вес меньше семидесяти. Идем унылые, примечаем — мужики пялятся и переглядываются. Нам не до них; на душе муторно, в голове путано, в кошельках пусто. Куда идти? У меня в доме своя драма — мать то ли утонула в ялтинской бухте, то ли на яхте уплыла с «новым русским» кавказской национальности; у Лильки своя: отец-дальнобойщик смял дорогую иномарку вместе с владельцем, и хоть 10 промилле обнаружено не у него, а в крови погибшего, получил пять лет: «По два года за каждый его промилле», — смеялась Лилька. Пока неунывающий дядя Ринат вышел на волю, Лилька успела трижды выйти замуж; это у нее как лифчик снять. Двое первых были из прежней балетной

компании, Лилька называла их *щелкунчиками*, потому отлипли легко, а от третьего — Владика — родила.

Господи, какая это была радость, какой восторг, какое умиление! Его ножки-ручки, его попка-пипка, пальчики во рту, пузырьки «агу» и улыбки, до того осмысленные, многозначительные и насмешливые, что оторопь брала, и даже робость — что же он такое знает, этот новоявленный херувимчик в локонах, ямочках и браслетиках? Потом он вынул пальчики изо рта и сказал «де-де», и об этом немедленно сообщили в тюрьму дяде Ринату, потому как мальчик заговорил по-татарски: «де-де» — значит дедушка. Румяный увалень Владик благодушно улыбался нашим охам и ахам, еще не зная, что скоро и его ждет отставка — от ворот поворот. Лилька ужасно смешно объяснила причину: глядя на Владика, она видела, как того в детстве сажали на горшок. Поначалу ей это нравилось, но через год навязчивое видение стало раздражать, во всяком случае, с ним плохо сочетались эротические фантазии, навеянные *щелкунчиками*. А жаль — Владик был из хорошей семьи; его отец считался одним из лучших переводчиков французской поэзии (это я узнала от дедушки), а мать была ведущим офтальмологом в клинике Федорова. Ах, бедный невезучий увалень! Лилька и на меня навела порчу: с тех пор глядя на Владика, я вижу его только на горшке.

Третий брак не только подарил Лильке прелестного сыночка, но и наградил красивым прозвищем, известным сегодня половине Москвы. Как-то еще до замужества она полулегально переночевала у Владика и поутру столкнулась с его отцом. В ожидании своего увальня Лилька листала подвернувшуюся книжку Аполлинера и на старомодно-галантный вопрос: «Что вы читаете, милая девушка?» — ответила: — «Аполлинера». «Как вас зовут?» — спросил затем переводчик и услышал в ответ торопливое: — «Гийом». Ответ так восхитил поклонника Аполлинера, что с тех пор он звал свою невестку исключительно Гийомом. Они давно развелись, а прозвище осталось.

И вот — Гийом родила! *Щелкунчики* камасутрили впустую, а увалень не сплеховал... Поначалу разразился грамматический переполох: как это — Гийом родила? Если Гийом — то родил! Но это же еще хуже: он — родил! «А почему бы и нет, — сказал переводчик. — Как в Библии: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова...» Гийом родил Сашеньку. Каждый раз, стоит произнести это имя, сердце приподнимается и падает... Бедный, бедный мальчик, неужели мы не спасем его? Когда-то в библейские времена бесплодным женам рожали на колени. Может быть, и Лилька родила мне на колени — уж больно она беспечная и легкомысленная. Зато я — как орлица над орленком... Нет, он наш сынок, общий. Явился нам в утешение, вернул вывихнутой божественной жизни смысл и чистоту. Да, и чистоту! Возле него не может быть ничего нечистого...

Мы обе как с ума свихнулись: гулькали над ним и умилялись, стукаясь лбами, целовали его розовые пяточки и фасолинку пупка, а он, развалясь и выпятив животик, драчливо брыкался и однажды поставил Лильке такой фингал, что той пришлось оправдываться перед очередным претендентом... Заговорил Сашенька довольно поздно, но правильно и складно, только забавно переставлял слоги в некоторых словах: продукты превратил в «продутки», а доктора в «доткара». Мы не исправляли, забавлялись, шутя: «Сашенька, приведи-ка мне доткара...» Могли ли мы знать, что скоро это слово станет главным в нашей жизни. Ему пошел четвертый год, когда он вдруг стал худеть, побледнел, погрузнел, сияющие глазки потухли и ввалились. Ребенок буквально угасал. «Доткар, и нада! Бойно, доткар!» — и обиженно-недоумевающий взгляд, полный укора и слез.

Когда доктор сообщил нам результаты обследования, мы переглянулись, напуганные латынью, хотя не сразу поняли, что речь о смертельной опасности.

С этого началась восьмимесячная эпопея, точнее — хождение по мукам, в результате которой мы узнали, что в стране Пирогова и Сеченова разучились лечить,

даже точно определить диагноз затрудняются и репу чешут: то ли нужных реагентов нет, то ли новейшей аппаратуры.

Дядя Ринат с тетей Зульфией полагали, что врачи просто хотят получить на лапу, и лучше — в твердой валюте, но мы еще не верили этому и переводили Сашеньку из клиники в клинику, от аллопата к гомеопату, от угличской знахарки к талдомской целительнице. Я еще вспомнила свою спасительницу старицу Саломию, живущую в скиту около дальнего монастыря, но неожиданно уперлась в Лилькин отказ: «Отец сказал, только через его труп!» — «Почему?» — «Аллах не велит»...

Минувшей весной наконец-то что-то стало проясняться: новый заведующий отделением из Боткинской расстарался при виде Лильки, в лепешку разбился; я так думаю, что просто глаз положил — нестарый еще мужик, и, кажется, грузин: созвонился с немецким коллегой и обо всем договорился. Даже визовую поддержку пообещал. Но деньги — сами. «Найдите спонсора или обратитесь в благотворительные фонды. Эта работа понемногу налаживается. Думаю, вам пойдут навстречу...» Еще бы — глядя на Лильку, иначе и не подумаешь...

А они взяли и не пошли. Уж и не знаю, почему. Всякое в голову лезет. В том числе и дурь женская про зависть и ревность. Я Лильке советовала — поскромней, помешковатей, без косметики, но разве ей объяснишь!..

А время поджигает, в запасе полтора месяца осталось. Я и сказала — среди ночи, пока хмель не выветрился, вроде безадресно, в пространство:

— Деньги очень нужны, Кока. Будь человеком, дай денег!

Удивился. Такого между нами не было. Когда-то робко попросилась в его фирму — составителем корпоративной коллекции живописи, только бы с дурной карусели соскочить; не расслышал, или пропустил мимо ушей.

На этот раз насторожился.

— Что-нибудь случилось?

Пришлось рассказать. С полуслова пресек, деловой человек!

— Вам вот что надо сделать, — и тон другой, и выражение глаз. — Пробеите квоту. На высокотехнологичное лечение введены квоты. Параллельно обратитесь в фонды — есть ориентированные на детей, есть профильные, по заболеваниям. По радио объявите: срочно необходима помощь!

— Как думаешь, мы не обращались? — возмутилась я. — Не объявляли? Чтобы квоту пробить, нужны связи, а на объявления за месяц тридцать звонков с гнусностями и триста рублей от ветерана войны.

— В таком случае зарегистрируйте свой фонд. — Тон чуть пофривольней, но без глума. — Назовитесь «Московские красавицы». С поклонников соберите, или по клубам с шапкой. Сами заработайте, в конце концов.

— А чем я, по-твоему, занимаюсь?! — вырвалось у меня в сердцах.

Хмыкнул:

— Вот как!.. — полез за бумажником. — Сколько надо?

— Десять тысяч.

— Ну, мать, ты прямо Клеопатра! — На этот раз усмехнулась я — забавному эквиваленту египетских ночей. Отсчитал стопку зеленых, сказал, протягивая: — У меня правило: даю только половину. Иначе в трубу вылечу.

— Значит, надо было двадцать попросить?

— Нет, моя дорогая, ставки сделаны...

А ведь мог просто поинтересоваться, узнать: «Сколько осталось собрать, девочки? Двадцать тысяч? Да это для меня тьфу — семечки!» И все бы переменилось. Видит Бог, все бы ему простила! Не за щедрость — за прямоту. За простоту. В конце концов, кому какое дело; каждый по-своему с ума сходит, и его способ ничем не хуже других. Но в том-то и дело, что он не мог так спросить — просто, по-свойски, и не от жадности вовсе. В чем в чем, а ни в хамстве, ни в жадности не замечен. Его свой манок

вел, душу выматывал. Может быть, даже помимо воли; своя похоть глодала. Я видела, как он затаился, вроде как обмяк, и знала, что за этим последует. Спросил с вкрадчивой наглостью, ища мои глаза и взглядом говоря больше, чем словами. У-у, невнятный, раздвоенный лингвист! Четвертовать бы такого!

— А есть ли мальчик-то? — спросил он. — Или придумала? — И схлопотал. По роже. Чего и добивался. Что и выпрашивал — глазами. Обучил-таки, гад! Love's Labour's Lost. Школа жизни. Плоды просвещения. Как после такого не стать чуркой. Бревном раздвоенным...

Господи, о чем это я? Выбрось из головы. Забудь. Оглянись вокруг. Посмотри, какая красотища. Сколько золота, охры, кармина! Кто их так перемешал? Глядя на такую красоту, невозможно остаться безбожником. А я вспоминаю нечистую ночь и тщусь выдать ее за жертву во спасение...

День голубой с золотым. Тихий, безветренный. Листопад только начинается. Кажется, слышен неуловимый щелчок, с каким черенок отстегивается от ветки. Под дубами он громче, под березами почти не слышен. Березовые листья кружатся в штопоре, дубовые медленно планируют, а кленовые выписывают кренделя, ра-а-аз, два, три, ра-а-аз, два, три... «Кажется, это был сон, мой упоительный сон-н-н...»

Пруд с отражением осени остался позади. Впереди нарастает гул шоссе. Лес редет, светлеет.

Вот и шоссе — неширокая полоса лилового гудрона с вплавленной в него щбенкой. По ту сторону поодаль деревенька. К ней тянется натоптанный проселок. Представляю, как его развозит в дождь. Но сегодня он хорош, шагать одно удовольствие. Обочина в жухлой траве, кое-где зеленой почти по-летнему.

На подступах к деревеньке меня приветствует крик петуха. Улыбаюсь в ответ: «Привет, привет!» Отчего петушиный крик всегда отдает солнечной сухью? Неужели в мокрядь петухи помалкивают? Или сипят?

На краю картофельного поля к частоколу прислонен куль с картошкой: видно, оттащить не хватило сил, больно велик. Приблизившись, вижу, что это не куль, а старуха: перебирает сваленную у ног ботву. Оглядывается на мои шаги, приоткрывая одутловатое, лилово-бледное лицо с отвисшей слюнявой губой и седыми бровями. Я робко здороваюсь. Молча отворачивается и продолжает работу.

К бревенчатым пятистенкам лепятся оштукатуренные веранды, разукрашенные занавесками — как перезрелые дочери при постаревших родителях. Охорашиваются без надежды.

Во дворах яблоньки с белеными стволами, крыжовник вдоль ограды, сирень, стыдящаяся своей осенней никчемности.

В уголке двора плюгавая банька едва курится.

От накренившегося хлева тянет навозом и сеном.

Ба-а, а это кто? Ко-ро-ва! Здравствуй, корова! Хлопает ресницами, ну прямо Лайза Минелли!

Маленький домишко с голубыми ставнями выступил из ряда, кажется, вот-вот завалится. Окна перекошены, как на детском рисунке.

Не сразу понимаю, что переменялось после перехода через шоссе. Там, в таунхаусе, стены домов, столбы и ограды — все стояло твердо, плотно, вертикально; а здесь обмякло, поплыло, покосилось; частоколы, дома, хозяйственные постройки кренились в разные стороны, как будто в глаза атропину накапали. И я поняла, что не шоссе перешла, а переправилась через Стикс — от здоровых к больным, от трезвых к пьяненьким, от состоятельных и сильных к беспомощным и неимущим. Переправилась от Коки-коллекционера к Поликушке и Антону Горемыке.

«Ну и каков твой вывод? — спросит на это отец. — Что делать порядочному человеку?» «Карфаген должен быть разрушен!» — отвечу я. «Это слишком иносказа-

тельно, — возразит он. — Пришло время прямого слова. И решительных действий». «Это каких же таких действий?» — «А ты подумай, плясунья!..» — «Ахти мне, батюшка, уж не карбонарий ли ты?!» На это он засмеется мальчишеским смехом и шлепнет меня по попке...

Двор увешан колготками, пеленками, рубашонками. В доме Людмила Зыкина издалека-долго поет про свою Волгу — присвоила ее, что ли?

Под плетень протискивается щенок, с трудом одолевает заросшую травой канаву и, безуспешно пытаясь перейти на галоп, трусит ко мне. Голосок, которым дает о себе знать, до того умилителен, что, не удержавшись, подхватываю его — мягким пузиком на плечо. Это мальчик. Елозит, заглядывает в глаза, пытается лизнуть. Дурень, куда ты из дома? Я ведь чужая, иду далеко. А здесь твой дом, хозяйева, детишки. Здесь твоя мама. Где твоя мама? Ты такой маленький, у тебя обязательно должна быть мама! «Ну, ступай домой, дурашка!» — опустила на землю. И не думает уходить. Стоит в траве, виляет хвостиком и тявкает звонко-звонко. Присела на корточки, осторожно спихнула его в придорожную канаву в надежде, что протиснется под плетень; куда там, полез назад — настырно, сосредоточенно.

Карабкается, оступается, скулит, осуждая, но выбрался-таки и опять за мной. Как быть? Остановилась, топнула ногой: «Назад! Домой! Разве можно собаке из дома! Сейчас же иди домой!» От удивления сел, вертит лопухой башкой и смотрит с большим интересом. Я повернулась и припустила бегом, авось отстанет. Целую минуту бежала, пока не запыхалась. Оглядываюсь, а он по тропинке трусит сосредоточенно, мордочкой в землю, ушки по мордочке шлепают, хвостик неуверенно подрагивает. Душка! До того хорош, что подумала: а не взять ли в Москву? Сашеньке радость!.. А Лилька не захочет, к себе заберу: деду без разницы, а Евлампии уломаю...

Пошла навстречу. Сошлись на тропе. Он опять сел. Ух! Устал, кажется. До чего маленький! Но, судя по лапам, серьезной породы, будущий заступник. Сидит, смотрит, пастишку разинул, язычок розовой помадкой. Опять не удержалась, подхватила и прижала так сильно, что сквозь куртку услышала, как сердечко стучит — часто-часто. Утомился, но все лизнуть норовит. Плотский-Поцелуев. Что будем делать, *сабаська*? Поедем в Москву?

Тут от пустыря, отгороженного поваленной березой, ватага мальчишек с агрессивным недобрым гомоном. Много, но мелюзга безопасная, лет десяти-двенадцати. Один только постарше, мордастый, с пирсингом в носу и с подобием ирокеза на башке.

Обступили, загалдели: «Барсик! Барсик!»

Старший попер ломающимся баском: «Вы почему Барсика увели? Кто вам дал право? Верните нашего Барсика!» «Никто вашего Барсика не уводил, — говорю. — Сам увязался». «Что вы тут распоряжаетесь! Думаете, вам все можно! А вот и нет — здесь наша территория, и чужакам на ней не место! наших собак вам не отдадим! Ясно?» Похоже, заводился, затевал разборку.

Тут тощенький малец в соплях и цыпках позвал: «Барсик, Барсик, ко мне!» Щенок заволновался, завертелся, прямо-таки взвился у меня в руках и всем тельцем рванул к нему. «Вы получше бы за ним следили, — сказала я. — Больно шустрый ваш Барсик». — «Да он еще ни разу со двора не уходил». — «Вчера не уходил, а сегодня ушел...»

Мальчик забрал щенка, опустил на землю, ирокез с пирсингом погрозил мне кулаком, и двинулись в обратную сторону. Щенок между мальчишечьих ног трусит, хвостиком радостно помахивает, даже не оглянулся. Ну и пусть! Очень ты мне нужен...

Постояла, глядя вслед, и пошла дальше.

Проселочная полого забирает в горку. Деревьев опять становится больше.

К тополям и березам примешиваются корабельные сосны. Ни высотой, ни кроной не уступают тем, что затевают виллы в поселке богачей. К счастью, растительный мир покамест не делится на богатых и бедных. Хотя богачи норовят и его присвоить.

Кто о чем, а вшивый о бане. Вшивая ты, Дарья. Социально вшивая. Справедливости жаждешь, равенства, братства, а живешь, как... Выбор-то простой: или-или... Кто не с нами, тот против нас...

За околицей на взлобке нарисовался новенький сруб за дощатым забором. Ограда и бревна сливочно желтеют на фоне калено-красной листвы и рыжей травы. Все-таки и тут не одни горемыки, кто-то заработал и стал строиться. Быть может, в том же таунхаусе и заработал: холеные ногти *veschia donny* нуждаются в кальции, а значит, в твороге и яйцах... «Вот вам, барыня, не угодно ли из-под курицы и из-под коровы...»

При выходе за околицу вслед долетел крик петуха, симметричный встретившему при входе, там, где за частоколом сидела мрачная старуха. Усмехнулась и мысленно окрестила деревеньку — Петушки. И тут же в памяти пробудилось знакомое с детства: «Если каждая пятница моя будет и впредь такой, как сегодняшняя, — я удавлюсь в один из четвергов!.. Таких ли судорог я ждал от тебя, Петушки? Пока я добирался до тебя, кто зарезал твоих птичек и вытоптал твой жасмин?.. Царица Небесная, я — в Петушках!..»

Царица Небесная, есть ли в Петушках петухи? Я так этого и не узнала. Слышала, что туда что ни год едут электрички, набитые венечкиными почитателями, но не удосужилась, не сподобилась...

Любимое семейное чтение. Точнее, любимая книжка дедушки. Не то чтобы он учил нас по ней читать — для этого она не подходит, но класса с пятого часто просил почитать ему вслух. Мудрый Балу, честный Макаренко, возвышенный Песталоцци! Книжка маленькая, так что мы с Филей прочитали ее раз по пять, а любимые главки я буквально зазубрила наизусть.

Еще в подзапретные времена дедушка привез из-за бугра красивое издание со Спасской башней на переплете: «Все говорят Кремль, Кремль...», но мне полюбилась в бумажной обложке, с блудливыми ангелами, парящими поверх расписания электрички «Москва — Петушки». Ах, какие там названия! Горенки, Купавна, Волково, Омутинце... Сочинитель отдыхает! Такая топонимика вдохновила бы даже меня...

А папа негодовал. «Отец, чем ты засоряешь им мозги! Неужели в твоей библиотеке нет ничего более подходящего?» — «Ты не прав, Пётра (в хорошем настроении, пока перепалка не выходила за рамки, дед называл отца Пётра), Венечка Ерофеев превосходный писатель». — «Писатель он, может быть, и неплохой, но что дети могут почерпнуть из сумбурного монолога эрудированного алкаша! Почему не Тургенев, не Бунин? Не твой любимый Казаков, наконец!» — «Дело в том, что Венечка учит не столько слову и стилю, сколько внутренней свободе. А сегодня это поважнее...» Однажды у них зашло так далеко, что дед сказал с коротким, неприятным смешком: «По-моему, ты ему просто завидуешь». В тот год отца нарасхват печатали, газеты брали у него интервью и заказывали статьи, и все-таки он не вспылал, а как-то сник. «Терпеть не могу диссидентства. Не ты ли мне это привил?» — «И, слава богу, если прививка действует. Но диссиденты Зиновьев с Солженицыным, а Булгаков с Ерофеевым Божьей милостью писатели...»

Я не все слышала в их препирательствах, еще меньше понимала, но мне было обидно за отца. Он не выворачивал душу и не захлебывался в сбивчивой исповеди, а пытался осмыслить, что происходило со страной. По его словам, сделать это при помощи изящной словесности было невозможно. Какая к черту *bel'letre*, когда мутные воды реформ кишмя кишат акулами и ротанами — в подмосковных водоемах завелась такая рыба, пожирающая все, вплоть до автопокрышек. Цикл его статей о кровавой драке за собственность так и назывался — «Пир пираний».

«Потише, Пётра, не горячись, — внушал ему дед. — Не возбуждай русского человека, тем более не зови к топору. Двадцатый век надорвал наши силы, а взамен дал только чувство ущербности. Любое сильное чувство для нас смертельно. Русское сердце нуждается в долгой щадящей терапии...»

Невеселое признание, что и говорить. Почти капитуляция...

По ту сторону взгорка на пологом склоне открылся деревенский погост с часо-венкой и покосившимися крестами. Могилки спускались вплоть до обочины. На са-мой ближней, еще не заросшей бурьяном, лежали бумажные цветы, выцветшие и мятые.

Длинный луч солнца прошел лес и, минуя тесовую луковицу часовни, уперся в багряное дерево в глубине леса, словно пожар вспыхнул. Откуда-то потянуло сыростью и прелью.

Из гущи кладбищенской сирени вылетела сорока и с раскатистым треском взмыла между ветвей.

Проводила ее взглядом и увидела нежную синь неба в золотом обрамлении.

Есть музыкальные темы, которые не сочинены композитором, а *найдены*. Они были всегда — как небо, звезды, облака; такие же вечные и естественные, они просто ждали своего часа, чтобы открыться нам, и записавшие их композиторы — счастливики. Представляю, как они радовались чудесной находке, как бережно извлекали ее, ведь это не плод усилий, а именно что находка. Чудо! Можно ли вообразить, что в мире не было ликующего апофеоза девятой, что люди жили без *э т о г о*! Или без брамсовской валторны из третьей! Или без всезнающе-горестной Второй Партиты и Бранденбургских концертов!.. Можно представить, что они не звучали, не записывались на бумагу, но *были*. *Были* всегда.

«Девочки, журавушки, вы уже все знаете от Саломеи Генриховны. А я позвала вас просто, чтобы попить с вами чайку и поболтать. Пусть это будет наш маленький скромный девичник. Даже невинный «Амаретто» мы лишь пригубим из крошечных рюмочек, которые подарил мне Арам Ильич Хачатурян. Он называл меня Дюймовочкой и поднес эти рюмочки для капелек росы, потому, что видел только на сцене и не знал, что в мечтах я ужасная, ненасытная чревоугодница. Да и, как оказалось, Дюймовочка вовсе не я, а прелестная Лиан Дайде¹, приехавшая на гастроли в начале шестидесятых: самые субтильные мальчики рядом с ней смотрелись культуристами... Ах, ангелочки мои, журавушки, запомните: у всего в жизни две стороны, и обе лицевые. После девяти лет муштры вас вдруг отчислили из училища... Ужас! Крах! Катастрофа! Эту сторону вы уже обрыдали. Но посмотрите с другой стороны, такой же лицевой, как первая, и увидите, что все не так ужасно, а, может быть, даже и замечательно. Бениссимо! Ведь вы теперь свободны! Спросите — от чего? Да от всего! От меня, от Саломеи Генриховны, от обязательств режима, надзора, диеты. Уж извините — от контрацепции. В чем наше женское предназначение? Так ли, этак ли, оно в материнстве. Тут я полностью со Львом Толстым. Как смешно он описал наше идолище, помните? «...мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко и семенить ногами. Мужчина этот был господин Dupont, получавший 60 тысяч в год за это искусство». А теперь спросите меня, пропрыгавшую всю жизнь, правильно ли я жила? Положу руку на сердце и скажу: «Нет, неправильно. Виновата, Господи!..»

Неужели это говорилось ради утешения двух дурех-акселераток, к семнадцати годам вымахавших под сто восемьдесят и вышедших за все балетные параметры!

«Вашего роста в училище парней не сыскать. С кем будете танцевать, да еще на пуантах! Кто вас поднимет? Жаботинский?»

¹ Лиан Дайде — балерина, солистка Парижского театра «Гранд-опера». (Примеч. ред.)

По слухам, лет через пять после нашего отчисления, акселераторы перестали выбраковывать, но я хотела бы посмотреть, что за амбалы танцуют с ними и как выглядит такое па-де-де в ансамбле...

«Балет любит мужчин ладненьких, компактненьких. Сделать из них гладиаторов, задача осветителя и миниатюрной партнерши. Такой, как я. Сто пятьдесят три сантиметра и сорок шесть кило. Дюймовочка! Рядом со мной даже Мишенька Барышников и Рудик Нуриев смотрелись атлетами».

В четвертом классе она отобрала нас среди воспитанниц светлой памяти Пущиной, пять лет шлифовала то, что увидела, и вдруг такой облом! Сейчас я понимаю, что это и для нее был удар. Но в тот вечер она весело болтала, с трогательной настойчивостью угощала выпечкой от Филиппова, что должно было обозначить разделительную черту прощания, а еще пыталась острить не в своем стиле, чуть брутальничая: «Поверьте дистрофике с сорокалетним стажем, в чревоугодничестве есть свой кайф. Давайте договоримся — раз в полгода отвязываемся по полной. Чур, за мой счет! Даже если вы выйдете за богатеньких Буратино, оплачивать наши загулы буду я, из своей трехгрошовой пенсии. Скажу вам, девочки, с последней прямоотой: я не представляю себе балетную приму, готовую реинкарнироваться в прежнем облики. Вернуться в танцкласс — бррр!»

Добрая, добрая душа! Балетоманы считали, что у нее лучшие балетные ноги, а по мне — у нее самое доброе сердце. Прославленная прима Большого, уникальное фуэте, не имеющее равного в мире, она говорила с нами как одноклассница и утешала как мама. Я не видела завершения ее карьеры, но, по словам бабушки, она оставила сцену в расцвете сил, на пике формы. А от фанатов, уверявших, что ей можно танцевать и до шестидесяти, смеясь, отмахивалась: «Танцевать можно — смотреть нельзя...»

Что до меня, то мне реинкарнаций не надо, в танцкласс и так ни ногой. Саломея Генриховна предложила переучиться из танцовщиц в хореографы, но мы с Лилькой взбрыкнули. Отказались, не раздумывая. Все! Проехали. Прощай! И если навсегда, то навсегда прощай. Вот только запах не вытравить: пот, тальк и дезодоранты вперемешку с *обстоятельствами*. Жалкий запах борделя. Ого!.. Какая осведомленность! Так и надо прощаться с прошлым. Надо быть резким человеком! Уроки жизни — школа злословия...

...Но в тот вечер мы еще были ранимые девочки, журавушки с чистыми перышками; пришибленные несправедливостью судьбы, мы не сумели уйти с улыбкой, а позорно расплакались на увядшей груди легенды русского балета. Она тоже всплакнула — за компанию: «Ну что вы, девочки! Что вы, журавушки! Все будет хорошо... Поверьте старой фее: все будет хорошо, все будет замечательно!..»

Как в воду глядела. Не прошло и полгода, как под этот рефрен мы отплясывали в молодежном клубе, оборудованном в бывшем ангаре где-то за Ходынкой. Бликовали зеркальные шары, шарили в дымящемся пространстве разноцветные прожектора, голова шла кругом от запаха возбужденной толпы и диких децибелов, а солист виа группы Пашка-милашка, наркоман и бисексуал, на Лилькином новоязе — двустоволка, рассупонясь, метался по настилу с микрофоном в руке, топал что было сил и не столько с оптимизмом, сколько с остервенением вопил: «Да-а, да-а, да-а, все будет хорошо, все будет хорошо, я это зна-аю-ю!..» Ну а мы с Лилькой и еще четверья профурсетками хороводили вокруг него. Брачные пляски мумбу-юмбу!..

Мы с Лилькой работали в полноги, тем и отличались. Но опытный глаз приметил — предложили клуб посолидней, с приличной уборной и страусиными перьями; оттуда еще повыше — перья павлиньи и топлес. Фоли Бержер, блин! И деньги другие, и публика... И к тому времени, когда предусмотрительные менеджеры

сосредоточились по поводу подступающего миллениума, мы танцевали в одном из элитных ночных клубов и, что называется, пользовались успехом.

Про себя не знаю, не помню. Я тогда еще восстанавливалась после странной болезни, вылеченной неправдоподобно чудесным образом, и, думаю, являла собой грустное зрелище. Может быть, с налетом романтичности, но очень грустное. Житель из второго акта, в натуре. А Лилька была хороша! С татарскими скулами, вздернутый носик чуть подтягивал прелестную губку, глазки-агаты, зубки сахарные! Однако публику сводила с ума не ее мордашка и не моя томность, а наш чардаш, дуэт на десерт. Сафьяновые сапожки, зеленые шортики и гуцульский жилет с бахромой, без лифчиков. В тот год мода сильно занизила талию, и между жилетом и шортиками открылось восхитительное пространство, которое Лилька назвала контурной картой райских предместий. Или кто-то из ее поклонников отличился. Она увенчала шедевр картографии серебряным ландышем на пупочке, а от тату воздержалась: райские предместья не нуждались в украшательстве...

Иногда думаю: хорошо, что бабушка не дожила, не видела тех шортиков и не слышала сомнительных комплиментов. Хоть ханжой не была, а огорчилась бы...

Из лесу донесся непонятный звук — треньканье, дребезжанье, лотошливые голоса, и только я вспомнила про деньги в сумке и слегка струхнула, как навстречу, разогнавшись под горку, выкатился велосипед с двумя ездоками: голенастый парень, раскорячась, крутил педали, за ним, свесив по сторонам заголившиеся ноги, сидела русоволосая девчонка.

— Осторожней, Жорка! — кричала девчонка. — Задолбал совсем...

— Привыкай, — отвечал Жорка, направляя велосипед в колдобины.

— Уй-уй-уй... Больно!

— А ты думала...

— Нарочно, что ли, придурок!

— Привыкай, — с усмешкой повторил он.

При виде меня парень вырулил на дорогу и зашуршал листвою. Я посторонилась, спросила, сооротив постную физиономию:

— До станции далеко?

— Не промахнешься! — ответил Жорка.

— Минут двадцать, — добавила девушка; прижавшись щекой к Жоркиной спине, она мечтательно улыбнулась мне.

Я угодила в самый перерыв. До электрички оставалось больше часа. Походила по платформе. Сверилась с расписанием. Заглянула в станционный буфет.

За столиком у входа сивобородый старик с выражением муки цедил из кружки пиво и ел что-то размоченное в эмалированной миске. Он взглянул на меня то ли обиженно, то ли виновато.

Поодаль кучковались подростки пионерского возраста, три девочки и двое мальчишек, перед ними стояли пиалки с мороженым и «пепси».

Я тоже взяла мороженое и достала из сумочки отцовское письмо, выведенное с компьютера. Деду папа пишет от руки; я покамест такого не удостоилась.

«Доча, родная!

Как-то ты там, в большой Москве, столько лет без бабушки, без мамы, а теперь еще и без отца? Будь осторожна — Москва бьет с носка, а жизнь так быстротечна, что ошибку не успеваешь исправить.

Дашута, я все сильнее угрызаюсь по поводу своей родительской безответственности, но вместе с тем стою на прежнем и не могу иначе: решать исключительно проблему собственного потомства значит прятать голову в песок. Если же ее вынуть из песка и посмотреть правде в глаза, придется признать, что мы сгубили целое

поколение. Накормить своего мальчика и хорек умеет. Надо спасти страну. Дать ей цель и направление. Стяжательство не может быть направлением. Назад к Бухарину?! Ни в коем случае! Сегодня главное — смести торопливо отреставрированные социальные переборки. В двадцать первом веке они дики и оскорбительны, как канибализм. Сделать это легче, покуда чувство справедливости еще живо в народе, покуда его не растлили окончательно.

Вот тебе директива: помечай крестиками потенциальных врагов и единомышленников и раскачивай лодку.

Видишь, до какой степени твой отец погряз в политике? Но сегодня иначе нельзя.

И все-таки главная цель моего письма не агитационная, а отцовская.

Часто думаю о том, что сейчас рядом с тобой должен быть мужчина, на которого ты могла бы опереться. Не отец, не брат, а близкий друг. Избранник. Таков закон природы: настанет время, когда отцам придется посторониться. Есть ли такой у тебя? Тебе ведь скоро двадцать шесть. Непременно приеду на день рождения. Так что закажи подарок, а мы за ценой не постоим.

В последний раз по телефону ты говорила о курсах дизайнеров. Умница: даже если они покажутся скучными, доведи до конца; надо иметь в руках профессию, это кусок хлеба — так говорила твоя мудрая бабушка.

Дашенька, меня все больше беспокоит молчание Филиппа. Будучи в Америке, тщетно потыкался по старым адресам и телефонам. Он неопределенно писал о заманчивом предложении из Австралии, но что дальше — не знаю. Его эгоизм беспределен, думает только о себе. По Интернету связался с друзьями-антиглобалистами. Обещали помочь, но покамест молчат. Может быть, что-нибудь узнаешь через его друзей — Артура Безирганова и Глеба Лаврентьева. Остался ли в Москве еще кто-нибудь, или все уехали? Превратили страну в транзит с односторонним движением и не нарадуемся...

Если бы ты стала примой, небось, тоже бы уехала. Так что нет худа без добра...

Дашута, пожалуйста, позаботься о дедушке. Он уже старый, хоть и хорохорится, и со здоровьем не все хорошо. Наши реформаторы по старшему поколению особенно сильно ударили. Такова благодарность по-русски.

По правде, все надежды возлагаю не на тебя, а на семижилую Евлампию. Как она там? Все толстеет?

Пиши, доча! Звони и не падай духом — и на нашей улице будет праздник!

Мы тут время зря не теряем, анализируем экономику, демографию, экологию. Разыгрываем различные сценарии. Команда подобралась толковая. И все сходятся на том, что капиталистическая система неустойчива и недолговечна. Причем не только в масштабе России. После Второй мировой войны Запад поставил во главу угла принцип неограниченного потребления, ведущий к истреблению ресурсов, а это не просто ошибка, а преступление. И оно будет исправлено.

Я достаточно тебя знаю, чтобы порадовать таким прогнозом. Так что нам бы только день простоять да ночь продержаться...

Крепко целую дочку и единомышленницу.

Кланяйся Евлампии.

Твой папа
6 октября 2004 г.»

На этот раз папка немногословен, но красноречив: закажи подарок — за ценой не постоим! Ишь, крутой! И закажу. Бриллиантовое кольцо. Или десантный «калаш»: Россия сосредоточивается.

Молодость уходит, а я, как ни странно, готова поторопить ее, настолько не удалась.

Однако больше всего в письме удивило упоминание *м а м ы* — вскользь, мимо-летно, но все-таки. Такого не было со дня ее гибели. Или исчезновения. Ни в письменной форме, ни в устной. Потому и вывела на принтере, дедуле показать; может, он растолкует, что сие значит: новую информацию, или запоздалое прощение?..

Убрала письмо, занялась мороженым.

Буфетчица что-то говорила старику у входа. Тот протянул ей миску, утерся ладонью и поднялся со старческой медлительностью.

Ребята за соседним столом вяло болтали. Их пиалки опустели, бутылочки тоже. Одна из девочек, высунув язык, пыталась поймать каплю из опрокинутой бутылки. У нее не получалось и, зажмурив один глаз, она заглядывала в горлышко.

Вдруг я услышала такое, что не поверила ушам. Боян Ширянов отдыхает, стыдливый послушник. Таких голых, нагих, срамных слов никогда не слышала. Затаила дыхание. А они, заметив мой интерес, заговорили громче. Говорили две девочки и мальчик. Другой мальчик помалкивал, невнятно улыбаясь и поглядывая на меня, Господи, если бы они ссорились или ругались! Но в интонации не было ни злобы, ни запальчивости, только глум и бесстыдство. Они раздражали друг друга. Возбуждали словами. Отвязанная групповуха, особенно возбуждающая от прилюдности. Детское порно, за которое сажают!

Я поспешно пошла к выходу. Проходя мимо, бросила:

— Как вам не стыдно!

В ответ послышался регот и еще что-то, чего, к счастью, не расслышала.

Вышла на воздух, в осенний полдень, на солнце, подошла к краю платформы: ржавые цистерны на путях, товарняк в тупике, убегающие рельсы. Сердце учащенно колотилось, дрожали колени. На всякий случай отошла от края. Все-таки лучше возле кассы, под часами, около людей...

Доктора выпрашивали подробности. Вроде бы равнодушно, но въедливо. Им важно было узнать, с чего началось. Докопаться до корня. «До первопричины» — твердили они. И дедушкин приятель, седовласый профессор, внушительный, дебелий и сдобный, как баснописец Крылов, и кудрявый вертлявый красавчик Лев Давидович, знаток Фрейда и психоанализа, и строгая узколицая Марианна Гантемировна, похожая на фаумский портрет, проницательная женщина с несложившейся личной жизнью.

Чтобы приступить к лечению, следовало выявить источник болезни. Это как нарыв: его необходимо вскрыть, чтобы вместе с гноем выхлестнулся, исторгся корень. Первопричина. Я не отмалчивалась. Отвечала на вопросы, вспоминала, рассказывала подробности, порой массу ненужных подробностей. Меня не прерывали, слушали. Глаза у докторов были разные: мутновато-голубые, по-старчески припухшие, с розовыми белками; черные, чуточку раскосые, словно подведенные в уголках; карие, узко посаженные и по-птичьи круглые. Но в одном они были одинаковые: они только смотрели *из себя*, в себя не впускали. В определенном смысле, глаза всех троих были закрыты; раза два они приоткрылись у красавчика Льва Давидовича, но он тут же торопливо и чуть ли не испуганно задернул шторы. В себя они не впускали, но в меня всматривались зорко и довольно бесцеремонно. И ничего не разглядели. Дедушка Крылов действовал традиционными Шарко и бромом и чуть не опоил меня до летаргии; Лев Давидович устраивал психодраму и пантомиму и что-то монотонно внушал под звуки магнитофонного морского прибора. Ближе других подобралась к занозе Марианна Гантемировна, не как врач — как несчастная женщина. Казалось, еще шаг и скорлупа лопнет, я откроюсь, расколюсь, и она успокоится, а меня отпустят мучительные, унижительные спазмы и нарождающиеся фобии... Но я так и не раскололась. В конце концов, по просьбе бабушки собрались все троем — *к о н с и л и у м* — и, посоветовавшись, пригласили четвертого — знаменитого серба-гипнотизе-

ра. «То уже сказывала, дитятко. А потом? Дальше? Ты пробудилась, пошла на странный звук, и?..»

Сейчас, по прошествии лет, не пойму, чего я отмалчивалась. Случай-то банальный. Хуже — вульгарный. По глупости, по неведению, по неосторожности я стала свидетельницей любовного свидания матери с любовником, точнее, их неистового соития. Всего-то... Но, господи, как у меня крыша не поехала!..

Как же не поехала, когда именно, что поехала! Увиденное обожгло сетчатку — не смыть, не стереть, ни вытравить...

Дедушка говорил по телефону: «Бедная девочка! Она раздавлена гормональной бурей. Ума не приложу, что делать». Скорее всего, сообщал кому-то вывод консилиума: раздавлена гормональной бурей. Раздавлена — не раздавлена, но что-то во мне сломалось. Или перегорело? Глубоко внутри, в недрах...

Как-то Лилька удивила сквозь смех: «Слушай, клюка, что со мной приключилось. Ум-мора! На ровном месте обрадовалась. Ни за понюх! Сажу в троллейбусе, на нагретом сиденье — заметь! Ветерок отовсюду поддувает. Троллейбус раскачивается, скрипит. И скрип какой-то непристойный, слишком двусмысленный. Прямо скажу эротичный. Причем технично так, с чувством, с толком — то медленней, то чаще... Ум-мора! После Хамовников въезжаем на эстакаду, тащимся в гору. Скрип громче, настырней. Ну прямо медовый месяц в разгаре! Мужчины ухмыляются, женщины смущенно отворачиваются в окно. А меня разобрало — жуть! Упиваюсь скрипом, ухмылками, смущением. Скрючиваюсь в узел, чтоб себя не выдать и, когда на остановке троллейбус с пыхтением раздвигает двери, кончаю. По полной. Прямо содрогаюсь от оргазма. Представь! Такого со мной еще не было...»

Такое могло случиться только с Лилькой. И только от Лильки можно было выслушать с улыбкой, как бесхитростную браваду... Вообще-то она и от видео кончала: «розовое порно» Эммануэли, старый хулиган Тинто Брасс с вездесущим толстым пальцем, дикий Калигула... Ужас!.. Где она их добывала? Говорит, на «Горбушке». Там и такое, говорит, видела, что постеснялась показать, или побоялась за меня...

А со мной не было ни такого, ни этакое. Иногда на другой день, во сне, а так... Ну и что? Не было, и не надо...

Издали доносится едва слышный стрекот, как от далекой лесопилки. Постепенно перерастает в рокот, затем в гул. На платформе оживление. Народу мало, но все задвигались: кто в голову платформы, кто в хвост.

Показалась электричка — красиво выкатилась из-за поворота. Слитный рокот распался на перестук. Подкатила. С шипом раздвинулись двери.

Вагон полупустой, но до Москвы заполнится. Взглядом выделяю двух пожилых дядек. Возрастом ближе к дедушке, чем к папе. Степенно беседуют, на меня не взглянули. Один в дорогом, добротном костюме, другой в военной куртке цвета хаки с искусственным воротником. Возле таких надежней.

Не успела сесть, как за моей спиной забренчала гитара, и сипло запел застуженный голос. Перестук колес забивал слова, но по интонации что-то приклатненно-высоцкое, с надрывом.

Военная Куртка занервничал, засопел и, не успев мужчина допеть, возмущенно обратился к соседу:

— Это он что? Хочет, чтобы ему заплатили?!

— Хочет, наверное.

— Если петь умеет, пусть идет в филармонию! С утра где только не был: Мытищи, Пушкино, Александров, везде старухи, инвалиды безрукие, голодные дети! Я все раздал, для этого бездельника ничего не осталось. Пусть идет в филармонию! — повторил он, вытащил из куртки странный предмет, похожий на большой шприц, и плеснул в сторону мужчины с гитарой оранжевым пламенем.

— Мини-огнемет, — с довольной усмешкой объяснил соседу. — Пользуюсь заместо зажигалки. Но может и на три метра полыхнуть.

— Уберите, — пророкотал Дорогой Костюм. — В вагоне небезопасно.

— А то не знаю! — обиделся военный. — Хотя по совести иногда хочется спалить все к едреной фене. Как Содом и Гоморру.

— Это что же? — с насмешкой спросил Дорогой Костюм. — Третья мировая? Или Илья-пророк? Вы представляете себе разрушительную мощь современного оружия?

— Еще бы! Я ушел в отставку с должности командира дивизии.

— Генерал-майор?

— Точно так.

— Я старше вас по званию. Хотя и инженерных войск.

— Что же вы разъезжаете в электричках, товарищ генерал-лейтенант?

— А-а! — махнул рукой Дорогой Костюм. — С семьей разругался... Поживу в Москве дня три. Да и люблю, признаться — «Превозмогая обожанье...» — взглянул на меня и улыбнулся.

Слово за слово, они вернулись в русло прерванной беседы. Я думала о своем и не вслушивалась. Но что-то в их интонации привлекало, казалось необычным... Необычным и странно знакомым. Я узнавала интонацию, слышанную в нашем доме, на сборищах музыкантов-художников. Профессиональный пиетет — вот что выражала эта интонация. Так наши гости говорили об избранных и бесспорных: Рембрандте, Шекспире, Бетховене. Но мои попутчики не были художниками-музыкантами; отставные генералы с советским прошлым, несмотря на преклонный возраст, полные внушительной энергии.

Заинтересованная, я стала вслушиваться и с удивлением поняла, что они говорят о Сталине. Имя не называлось, его замещало местоимение, но произносилось оно с большой буквы.

— Двадцать лет проработал на проекте с академиком Харитоном, и в Москве, и в Сарове. На начальном этапе помогал Чаломею, — сказал Дорогой Костюм. — Это давно не гостайна, а я не секретный объект. Как и весь наш нынешний космос. В партию вступил еще при Нем, зеленым аспирантом. Хотелось хотя бы так приблизиться к Нему, быть нужным, быть наготове, вдруг понадобится. С тех пор пытаюсь разгадать Его тайну. Почему пятьдесят лет, полвека бессильны все нападки и разоблачения, вся ядовитая смесь фальшивок и фактов, архивов и наветов?

— Ну и как? — оживился Военная Куртка. — И что?

— Не скажу, что я преуспел, — ответил Дорогой Костюм. — Но по науке очевидно одно: если пятидесятилетние усилия не приносят результата, значит допущена фундаментальная ошибка. Надо менять подход. Науке известны подобные случаи.

— Вам повезло! — с мальчишеской завистью воскликнул Военная Куртка. — В пятьдесят третьем я кто? Пионер, молокосос! Но Его присутствие сознавал. Вы меня поймете: мало кто видел баллистические ракеты в шахтах, но то, что они у нас есть, ощущает вся страна. Они дают уверенность... Пятьдесят лет Он дает стране уверенность. Без нее все, кому не лень, употребляли бы нас в позиции «раком», — говоря это, Военная Куртка неприязненно покосился на меня.

Названная дата — пятьдесят третий год — подтвердила мое предположение. Идентифицировала усатого. Да и последние слова покоробили.

Я молча встала и пересела. Меня подняло смешанное чувство недоумения и негодования. Старики не обратили на меня внимания. Иначе, чего доброго, спалили бы из своего огнемета...

За окном бежала и кружилась осень: то лес, то лесополоса, то скошенное поле. Сразу видно, насколько беспомощней и торопливей других опадают березы. Они

почти обнажились, только белые стволы с черными натеками на сучках... Некоторые и впрямь похожи на подрисованные индейские глаза...¹

Чем бы кончилось, что бы со мной случилось, если бы не Евлампия. Подавилась бы манкой, овсянкой или вишенкой. Или с голоду бы сдохла. А она взяла за руку, как первоклашку, и повезла к себе в Сибирь, где возле ихнего городка, в скиту при монастыре, жила старица-целительница. Дичь, мракобесие, но мне уже все было по барабану...

С Казанского ехали двое суток, потом в автобусе тряслись-тряслись — дотряслись. Дырища! И название под стать — Лосий Кут. Запомнился воздух свежий, чистый, ночной, со слабой примесью смрада — хлорки и отхожего места. Странно, но эта примесь не отвращала, а придавала грустный, убогий уют, что ли... Так с дороги на больную голову помстилось...

Автовокзал — в центре городишка.

Рядом, под обрывом, текла речка, поблескивала в темноте, булькала, плескала. Оттуда тухловато тянуло сыростью и потрошеной рыбой.

Перед мостом за нами увязалась собака. Белая в темноте, она беззвучно преследовала нас, то забегала вперед, то отставала, при этом нас вроде бы и не замечала. Потом вдруг исчезла.

Окруженный стеной монастырь на горке выглядел в предутренних сумерках внушительно, даже страшновато.

В воротах Евлампия встретила подругу, пожилую монашенку; вместе с другой послушницей, совсем молодой, не старше меня, встречали паломников.

Паломников было много, они вповалку лежали на полу в храме, через который пришлось пройти.

Несколько мужчин курили на паперти, при виде нас они затушили сигареты.

Молодая послушница подвела к калитке в монастырской стене, откуда старица заходила в часовенку, помолиться перед общением с паломниками; велела ждать, а сама убежала.

Мы постояли, приоткрыли калитку и вышли.

Утро серое, но без дождя. Внизу городишко в тумане, два десятка фонарей и неоновая реклама «Holsten 1647» с рыцарем на коне. Вдали лес чернеет. К нему вдоль монастырской стены широкая тропа натоптана.

На той тропе они и появились. Отделились от леса черным силуэтом о трех головах — даже не по себе стало. Прямо идолище поганое надвигалось. Убежала бы, но Евлампия в руку крепко вцепилась.

Наконец подошли настолько, что разглядела: две тетки-жерди в черных сутанах ведут под руки круглую, приземистую бабку. Она-то и оказалась старица. На келейниц для виду опирается, но шагает тверже и смотрит зорче.

Евлампия вдруг бухнулась ей в ноги и завывала:

— Матушка, спасительница, вот девочку больную привезла! Вся надежда на тебя! Гибнет дите безгрешное, за год в нитку испостилась, не ест, не пьет, давится, жалко смотреть. Горлышко пищу в утробу не пропускает, ни студень, ни даже кисель жидкий. Московские лекаря, профессор на профессоре — опростоволосились. Через всю Россию за твоим чудом, за Божьим чудом, через тебя явленным, матушка ты наша, заступница! — канючит, на коленях елозит, а мне шипит между просьбами: — В ноги, в ноги матушке! И моли выслушать!

Пытаюсь руку вырвать, выпростать, да куда там!

А старица как рыкнет:

— Заткнись, тупорылая! — Евлампия так и осеклась.

¹ «Индейские глаза берез...» — строка из стихотворения Ильи Сельвинского. (Примеч. ред.)

Движением локтей освободилась от келейниц и подошла так близко, что ладанно-ментоловым холодком пахнуло. Лицо приблизила в упор и на всю жизнь запечатлелась-отпечаталась: одутловатая, желтушная, с длинными волосками над губой и на подбородке, не старуха, а страдающий водянкой китайский монах без возраста — то ли тридцать, то ли семьдесят. Взглядом сквозь щелки, как лезвием, телеснула, и два слова сквозь зубы:

— Ступай за мной!

Ни Евлампия, ни келейницы за нами не последовали.

Зашли в часовню. Там сыро, и дух простецкий, как в овощном магазине, или в дачном подполе: грибница, картошка, подгнившая капуста... Но лампадка горит перед образом.

Старица зажгла от нее несколько свечек; посветлей стало, воском запахло. Двигалась споро, деловито, вразвалку, как мужик коренастый. Потом подошла ко мне и не глядя буркнула:

— Мужской детородный орган к устам не подноси, уст не оскверняй!

Не сразу поняла. Показалось, что она произнесла что-то на церковнославянском, что нуждается в толковании или в переводе. А когда слух повторил сказанное, чуть ноги не подкосились.

— Что вы?! Вы что?! — лепечу и давлюсь слюной. Испугалась, что на икону вырвет, бросилась в дверь, лбом о притолоку. А старица свое твердит, но такими словами, что ноги совсем обмякли. Упала бы, если б не Евлампия: подхватила, успела. Уткнулась ей в грудь, плачу, твержу:

— Куда ты меня привезла, Лампа? Что она несет?! Уйдем отсюда!

А старица басит вслед:

— Беги, беги, сучка похотливая!..

Даже Евлампия взбунтовалась, руки вскинула вроде боярыни Морозовой:

— Чур, тебя, матушка! Что ты! Что ты!! Дите чистое, безгрешное, из моих рук вскормленное. Не слушай ее, Дашенька! Не слушай, душенька!

А старица ей:

— А ты пошла вон, колотушка тупорылая! Ступай к своим хлыстам!

Переполох! В часовенке особенно шумный. Келейницы вбежали, кудахчут, руками костлявыми машут, крестом тычут: чур да чур!..

А вечером в доме евлампиевой родни я хлебала густой наваристый борщ и уплетала котлеты с гречкой. Ела с удовольствием, почти не помня долгой глотательной пытки. Евлампия смотрела на меня, вяло приоткрыв рот, и удивленно повторяла: «Это ли не чудо, Господи! Это ли не святая!» — и мелко, торопливо крестилась.

А то!.. Джуна с Чумаком отдыхают...

На себе испытала, насколько слаб человек. Слаб и беспомощен перед хворями. Не случайно жития святых полны историй о чудесных исцелениях. И в самом «Евангелии» их немало, включая воскрешение Лазаря. Они укрепляют веру и обращают неверующих. А вот я не сподобилась, хоть и старалась сильно после той поездки: блюла Родительские субботы, радовалась в Сочельник, Рождество и Сретенье, казнилась в Страстную седмицу. А как ликовала на Пасху! Евлампию пугала истовостью и рвением. Все ждала, что вспыхнет искорка в глубине души, затеплится огонек кроткой простодушной веры — той, которой всю жизнь завидовала, а уж я его раздую и буду поддерживать, памятуя, — блажен, кто верует, тепло ему на свете... Ан нет! Не вышло! То ли огниво ослабло, то ли душа отсырела... Не сподобилась! Каждый раз после тщетных попыток возвращалась к холодной лапидарной формуле: «Религия — уловка испуганного сознания, а Бог — псевдоним прирученного страха». Кто-то из Краснопевцевых изрек, то ли дед, то ли папочка. Два фармазона, блин! Карбонарии!.. К тому же из старообрядцев. Во всяком случае, Краснопевцев-старший точно из общины бежал — в город Уфу, средоточие прогресса и знаний. Из того самого

таежного кутка, куда Евлампия привезла меня на отчитывание... И где — не будь неблагодарна — тебя исцелили, Дарья Петровна...

А на пригорке вдоль железной дороги детишки. Садик на прогулке. Стоят тесной гурьбой, в курточках и пальтишках, заботливо повязанные шарфиками, машут вслед поезду и смотрят мечтательно! «Кто-о тебя вы-дума-ал, зве-оздная стра-ана?..» Чем-то напоминают исчезнувшую страну, затонувший Китеж: тесными пальтишками, туго повязанными шарфиками, беспомощными ручонками, машущими вслед. Они — ее последние детки, слабенькие поскребыши. Скоро эта порода исчезнет, переведется. А взамен вылупятся новые — бойкие, шумные, пронырливые; они станут кричать вслед поезду, скакать, гримасничать и швырять камни. А эти смотрят так, словно провожают нас в звездную страну, грустят без зависти. «Прекрасное далеко, не будь ко мне жесто-око-о...»

Ах, детки, детки! Там, куда мы приедем, под гулками сводами вокзала нас встретит тревожный голос: «Граждане пассажиры! Ввиду угрозы террористических актов просим проявлять повышенную бдительность... При виде подозрительных лиц или подозрительных предметов, не трогая их, немедленно обращайтесь в милицию или к дежурному по вокзалу. Помните, что теракт легче предотвратить, чем потушить!..»

Ах, милые детки, вот в какой мир вы пожаловали, вот во что вляпались! Простите нас, маленькие! Теперь принято за все пакости с кротким видом склонять голову и просить прощения. Римские Папы, американские президенты и немецкие канцлеры, менты и маньяки — все просят прощения. А вы не прощайте! И не машите нам ручонками — мы того не стоим...

В конце лета вожатый награждал отличившихся пионеров турпоходом с ночевкой. Одалживал в ближнем селе телегу на резиновом ходу с высокими бортами, запрягал чалого битюга и командовал: «Отличившимся пионерам занять свои места!» Лезли вповалку, рассаживались, пинаясь.

С восходом солнца выбирались из Ступинского леса и берегом Оки катили в сторону Мещеры. Поначалу озирались, разинув рты, как галчата, хихикали, шептались. А вожатый впереди на козлах помалкивал. Он казался нам взрослым, хотя было ему лет двадцать. В джинсах, клетчатой рубаше и шляпе, косил под ковбоя, даже угрюмую озабоченность напускал, но такую открытую, белозубую улыбку в жизни не видела. Все девчонки в него повлюблялись...

Господи! Не знаю, долгая ли мне суждена жизнь, но еще хоть раз бы испытать ту ясность, чистоту и свежесть! Если душа откликается на слово «родина», если я понимаю его смысл, то не от отцовских умных речей, и даже не от ерофеевских «Петушков», а от того турпохода в приснопамятном, злосчастном августе...

Отец печется о погубленном поколении, но меня в нем не числит. Даже шлет директивы, как сподвижнице. Неизлечимый оптимист. А ведь я уже не та. Мы все не те. С тех пор как рухнула страна, вызванная к жизни мечтой, выстроенная потом и кровью, обвалилась безвольно, как трухлявый сарай. Как будто не она внушала миру надежду на другую жизнь — умную, честную, добрую, и надорвалась, силясь доказать, что такая возможна...

В той жизни, читая объявления о продаже инвалидного кресла, я была уверена, что инвалид выздоровел; теперь я так не думаю...

Я до того разволновалась, что почувствовала слезы на глазах. Посмотрела на покинутых мной стариков — они по-прежнему степенно беседовали и издали производили впечатление порядочных отцов семейств. А, кому я судья!..

Чувство реальности — вот чего не хватает мужчинам. В том числе отцу. В этом

его слабость. Но, может быть, и сила. Невзрачный, безбровый, курносый, женился на ослепительной польской красавице по имени Беатриче. На что ты надеешься? В мире нет более восславленного женского имени. И, самое удивительное, что она ему соответствовала. Воплощала.

Ясновельможные паны женили своих сероглазых панычей на чернобровых дочках армянских купцов из торговых поселений — породу, блин, выводили! И случались редкостные удачи. По тому же рецепту в белорусском Ислаче появилась на свет прекрасная Беата. Не в замке и не в куртуазные времена, а в коммуналке, под занавес железного века. Заблудившаяся комета. Вот и сошла с орбиты...

Обожаю историю их встречи в актовом зале Дома творчества, под звуки настраиваемого симфонического оркестра; настроившись, оркестр заиграл «Полет валькирий».

А через два дня они уже в Москве.

Браво, отец! Он добился своего! Не побоялся ни красавицы полячки, ни прославленного имени. Ему было двадцать три, он только что получил из рук Василя Быкова награду за свою первую повесть, и в тот вечер «Полет валькирий» был его музыкой. В особенности фортиссимо медных.

Однако, чтобы держаться на этом уровне, чтобы соответствовать красоте и гонору Беатриче (как отстраненно я думаю о маме — все-таки она что-то сломала во мне), папе надо было либо получить Нобелевскую по литературе, либо три раза кряду выиграть Уимблдон, либо стать президентом страны. Увы, его потолок — шорт-лист Букера и Думская комиссия по культуре. Да и ради них придется потрудиться. Папа сел не в свой вагон. Безбилетник. Что у него в багаже? Интеллигентные родители, Литинститут, редакция «Литгазеты».

А у них сплетенье рук, сплетенье ног, судьбы сплетенье!.. Черкес — миллионер! Нарочно не придумаешь! Гарун-аль-Рашид! Гарун и в самом деле входил в состав его сложного имени. Или Рашид? Словом, Гарун-аль-Рашид. Скорее всего, не обошлось без криминала — какой же миллионер без криминала, тем более — черкес. Но пресса темную сторону обходила, больше писала о фармакологии — мумиё, пчелиный яд, лечебный квас, которые Гарун скупал по всему Кавказу.

По натуре он не был скуп, но знакомство с Беатой сделало его щедрым меценатом: однотомник Петра Краснопевцева, брошюры его партийных единомышленников и первая конференция российских антиглобалистов были оплачены из средств Гаруна. Растиражированный позор гулял по стране...

По совести, в этом что-то есть! Гарун и Беатриче!.. Напрасно пророчествовал и заклинал поэт Империи: Запад и Восток сошли с мест и соединились в католическо-григорианско-мусульманском браке. Законы писаны не для таких. Таким не пристало делить имущество, нервно собирать чемоданы, объясняться с покинутыми супругами. Они по-своему увенчали свой умопомрачительный роман: в бархатный сезон, среди бела дня Беата исчезла с пляжа гостиницы «Ореанда», которым пользовалась по спецпропуску свекра. Говорили, что в тот день женщину в бирюзовом купальнике видели с экскурсионного теплохода (мама прекрасно плавала); предполагали, что ее подобрал глиссер и в считанные минуты доставил на изящную двухмачтовую яхту с зелеными парусами, стоявшую против Ливадийского дворца в нескольких километрах от берега...

А в преддверии 1998 года московские таблоиды и кавказские газеты сообщили, что Гарун-аль-Рашид продал свой фармацевтический бизнес известной финской фирме и отбыл в Лондон, где заблаговременно приобрел недвижимость. Противу обыкновения, о спутнице миллионера таблоиды умалчивали. Скорее всего их такт тоже был оплачен или по-черкесски строго оговорен.

Зато папа твердо сказал, что его жена утонула от сердечного спазма, случившегося в воде. Он оплатил полный день работ водолазов, вечером напился с ними и больше к этой теме не возвращался.

Единственная свидетельница измены, я дольше всех не могла уgomониться. Меня так и подмывало изложить отцу свою версию, но Филька сказал: «Убью!»

Убьет... Еще один карбонарий. Где мой черный пистолет... А главный карбонарий — дедушка, профессор Краснопевцев! Трое крутых на одну семью — не многовато ли?

Давно поняла: для того чтобы жить дальше, жить долго, эту темную семейную историю, то ли драму, то ли триллер в новорусском стиле, то ли капустник, надо забыть, закатать в асфальт. Забыть, забить и запить. Что и делаю с переменным успехом... Вот и вчера, после выставки, в мастерской старика Неклюдова... Вроде бы обмыли попку — замечательный туманный «Речной порт»...

В перестук колес с озорной решимостью вклинивается «Маленькая ночная серенада» — позывной моего мобильного.

Это Христя!

Реакция, как всегда, двойственная: порыв и осторожность. Притушенная вспышка. Но голос волнует, хотя, по обыкновению, городит чушь. В этот раз на мелодию шлагера.

— Хелло, Дарья! Где пребываешь, Дарья? Изволь признаться в этом, если не секрет!..

— Еду в электричке.

— О-о! Увлелась краеведением? Сергиев Посад, Абрамцево, Звенигород?

— Петушки.

— Иди ты!.. Хорошая компания, или интимный тет-на-тет?

— Абсолютное одиночество.

— Выходит, мне крупно повезло! В таком случае постараюсь не упустить шанс.

Давай увидимся!

Молчу, опять чувствуя внутреннее раздвоение. А он прет дальше с уверенностью всеобщего баловня.

— Чертановский эллин созрел и хочет довести этот факт до тебя.

— Иди ты! — передразниваю я.

— А еще лучше — ввести этот факт в тебя. Для большей достоверности.

Совсем отвязался. Или перебрал с утра. Как можно суше:

— Позвонишь, когда проспишься, — и отключаюсь.

Кока с Христей — контрастный душ. Волна и камень, лед и пламень... Откуда в нем эта уверенность? Ростом не вышел, губы в драке разбиты, ни виллы с бассейном, ни коллекции живописи. А притягивает, как потайная дверь...

Напрасно так резко отшила, может и не перезвонить.

Возник зимой, в пору новогодних увеселений, все и не упомнишь. Помню только, что познакомил нас Вацек Валишевский, одноклассник по балетке. Вацек не видел лет десять. За эти годы возмужал, вышел в солисты Большого, танцевал на лучших сценах Европы; думала, не узнает отбракованную одноклассницу, а он поднял меня, как некогда в танцклассе:

— Здорово, Краснопевцева! — и, провальсировав несколько тактов, опустил перед своим другом: — Фу-у, хорошо, что тебя отчислили, а то пупок развязался... Не поверишь, но этого человека зовут Христофор. Не обижай его, Краснопевцева, он занесен в Красную книгу, как потомок аргонатов...

На этом функция Вацека оказалась исчерпана и, с балетным изяществом по-слав нам воздушный поцелуй, он удалился.

Что ни говори, судьба играет человеком. Тем более женщиной. Наша встреча походила на сцену из голливудской мелодрамы. Особенно Христя. Небритый, в протертых джинсах и разбитых кроссовках «Скажи Адидасу — мяу!» И при этом никакой фейсконтроль ему не помеха. Кенты и желобки с Рублевки уважительно сторонились

его. Тогда я не знала о полукриминальном бизнесе — иномарки-трехлетки — и подпольной кличке — Шумахер. Просто понтийский грек, потомок аргонатов. Разве недостаточно?

После знакомства звонил не часто, держался сдержанно, прямо не грек, а норвежец.

Восьмого марта повез в Архангельское.

Дворец оказался закрыт. Бродили по голому парку, среди луж и оседающих сугробов. Он легко переносил меня через проталины. Уверенность рук волновала. Дразнил, что ли?

Потом зашли погреться в кафешку у остановки. Была Масленица. Взяли блины, икру и просидели дотемна.

Он оказался уморительным рассказчиком. До сих пор не могу вспомнить без смеха повара-казаха, сварившего компот из сушеных грибов! Ошибка могла обернуться трагедией, потому как грибы прислала батяне-бригадиру любимая жена; бригада все лето давившаяся макаронами по-флотски, мысленно благославляла добрую женщину и всю вахту предвкушала пахучий грибной суп с перловкой и сметаной, а бедняга казах все подливал воду в свое варево и подсыпал сахар, а, попробовав, плевался и чертыхался по-казахски. Христя, на правах дежурного снявший пробу с духовитого компота, посоветовал казаху бежать куда-нибудь подальше в степь, к сайгакам, и не возвращаться, пока ребята, в особенности крутой батя, не отойдут от такого удара...

История уморительная, ну а рассказчик... Мне сразу бросилась в глаза его особенность, от которой я буквально вздрогнула: глаза его не смеялись, когда он смеялся. Именно в этих словах выразилось мое наблюдение. В словах, запомнившихся с восьмого класса, взволновавших душу в пору первого девичьего цветения. «Глаза его не смеялись, когда он смеялся».

В русской литературе есть все, в том числе неотразимые мужчины. По мне их двое: Печорин и Мелехов. И оба Григории. Я могла бы написать исследование о мужских именах у классиков. «Горе, горе, что муж Григорий!»

В последнюю встречу устроил ночную гонку с преследованием ГАИ, сиреной и матюгальниками. Но куда им! У нас и машина покруче, и за рулем Шумахер. Взрывоопасный флегматик! Загнал машину в подворотню, где-то за Елоховской. Ни нежной прелюдии, ни тем более лингвистических экзерсисов. Сплошной экстрим и тестостерон... Какой он Христофор! Настоящий Григорий. Гришенька!.. Ждет, что я первая перезвоню...

И тут же включается «Маленькая ночная серенада».

— Проспался?

— Да я ни в одном глазу, Даша. Просто соскучился. Хочу тебя видеть.

На этот раз тон совсем другой — открытый, дружеский, с несмелой нежностью. У него несколько регистров, владеет ими в совершенстве. Не раз обжигалась, но каждый раз поддаюсь. Ключу на тембр. Уши — слабое место. Эрогенная зона. Залепить бы воском, или отрезать...

— Посидим где-нибудь, поворкуем. Потанцуем, если захочешь танцевать с таким увальнем, — продолжает он.

— Ты правда соскучился? — спрашиваю с недоверием.

— Ей-богу! — божится порывисто. Что с такого взять? Он и перекрестится без заминки, понтийский грек! — Приходи, Дашенька!

— Куда?

— Куда хочешь! — Ответ торопливый, даже слишком. — В «Марко Поло», в «Лидо», или к нам, в «Дом Гермеса». Куда скажешь!

Каков напор! Такую бы энергию да в мирных целях...

— В «Дом Гермеса», — отвечаю, продолжая раздваиваться. В голову приходит

простая мысль — с его помощью можно пополнить наш фонд спасения. Хотя бы удвоить то, что в сумочке. Христя не так богат, как Кока, но непредсказуем. Такой и всю сумму выложит, не моргнув. Свободно!

— Приходи с подругой, — говорит вскользь. — Лильку свою захвати.

— Зачем? — не понимаю. — Если так соскучился, зачем нам Лилька?

— Тут такое дело, понимаешь... — мямлит. — Я буду не один. Со мной будет приятель. Компанейский мужик, умница. Серьезный банкир, между прочим, а прост, как правда. Прилетел по делам из Лондона и за неделю впал в хандру. Думаю, Лилька его растормошит.

— Он что, не русский? — интересуюсь почему-то.

— Почему не русский? Русский. Как все банкиры, — смеется. — Как я, на минуточку.

— Как ты... — я тоже смеюсь. — Чертановский эллин! — А сама думаю, что, если все сложится, мы с Лилькой заметно продвинемся и успеем до декабря собрать всю сумму. Не сглазить бы! — В котором часу? — спрашиваю.

— В семь... или в восемь... Как скажешь, — на этой стадии он уступчив.

— Ладно, — говорю. — В восемь в «Гермесе».

— Слушаюсь, начальник! Вас подобрать?

— Не надо. Но до нашего прихода не напивайтесь.

— Обижаешь, начальник!..

Вот и сговорились. А на остальном лучше не заикливаться. Надо жить рассеянно. И не слишком подробно. В конце концов, неплохая компания. А место и вовсе — другого такого ни в Москве, ни в Питере! В первый раз просто обалдела. Пространство чуть не с половину футбольного поля. Под стеклянным куполом. С одного края бирюзовое озеро с белым островом; на острове белый рояль, а за роялем пианист в белом фраке — наигрывает блюзы вперемешку с Шопеном. С другого края скала до шестого этажа, увитая плющом, обложенная мхом и повойником, и по ней, колебля плющ и едва позванивая хрустально, стекает вода. У озера два десятка столов отгорожены подстриженной туей... А позади бизнес-центр: бесшумные лифты, гостиница, интернет-связь, казино, и на флагштоках флаги и вымпелы со всей Европы...

Набираю Лильку. Выслушиваю дурацкий шлягер, введенный в телефон в память о мальчишке из «Ласкового мая». Кажется, между ними что-то было...

Телефон молчит.

За окном уже ближе Подмоскovie, то виллы, то будочки и сарайчики на садовых делянках.

Далеко впереди мреет марево. Это еще не она, а спутники — Мытищи, Перово, Одинцово — даже не представляю, с какой стороны въезжаем и на какой вокзал. В сущности, без разницы: везде кинологи и гастарбайтеры.

Перезваниваю Лильке — с тем же успехом. Только на этот раз женский голос сухо уведомляет, что абонент временно недоступен.

Этого только не хватало. Такой шанс нельзя упускать...

Вот бы Христе выиграть в казино. Сколько раз выигрывал! Поднимался на лифте, как за получкой. Однажды больше семи тысяч получил. «Они уже без рулетки мне отсчитывают, — смеялся. — Человек дождя...»

Нам только того и надо. Вдруг сразу всю сумму выиграет. Рулетка — и есть рулетка, вещь непредсказуемая... Рулетенбург...

Прибыли на Киевский.

Тут все на месте: гастарбайтеры, диктор, кинологи.

И эскалатор самый длинный, в два колена.

В метро у двери старушка. Мест в вагоне достаточно, а она едва на ногах держится, но уткнулась между створками и пошатывается беспомощно.

Дотронулась до ее локтя:

— Присядьте, — говорю, — бабушка.

Оглянулась — никакая не бабушка, лет сорока, не больше. Личико маленькое, глаза васильки, а кожа, как миткаль застиранный. Покачала головой и улыбнулась виновато.

— Спасибо, милая, я тут дышу в щелку. Душно мне... — и опять уткнулась в дверь, между створками.

А я вспомнила роскошный «Гермес» с бирюзовым озером, пианиста в белом за белым роялем, а потом Кокину виллу, охраняемую ротвейлерами и волкодавами, и совестно стало. Стыдно. Хотела денег ей дать, но вовремя спохватилась. Только, выходя, приобняла за плечико. Худенькое! — косточки насквозь прощупываются...

На нашей станции подземный лабиринт.

Между ларьками дрыхнут лохматые собаки и разбросаны банки из-под пива. С первого взгляда думаю, что это они напились и уснули.

Что ни говори, жить стало лучше, жить стало веселей! Особенно в подземных переходах.

Слепые супруги, глядя в пустоту, поют советские песни.

Дальше шпана бренчит на гитаре и агрессивно сует замусоленную кепку.

Еще дальше пожилой аккордеонист, отрешенно отвернувшись, выводит «Прощание славянки».

А я даже безруким афганцам уже не подаю. Сломалась.

На лестнице, с краю расположилась живописная группа: то ли бомжи, то ли хиппи? Немытые девки лежат в спальниках под грязными пледами; небритые мужики сидят на ступеньках и попивают из общего штофа. С ними статный франт в зауженном пальто аспидно-черного сукна, с кипенно-белым шарфом; холеная борода придает ему сходство с Николаем II на парадных фотографиях. Кто бы растолковал?..

— Что так смотришь? — заметив мое недоумение, спрашивает одна из девушек.

— Как? — переспрашиваю машинально.

— Слишком перфектно.

Я пожимаю плечами, а она вяло добавляет:

— Застегни зубы, Барби, и канай в даун.

На каком языке? Лильку бы в толмачи: у нее этот «эсперанто» от зубов отскакивает...

Наконец, выбираюсь на поверхность и сразу включаю телефон.

Опять дурацкий шлягер, но голос Лильки обрывает его.

— Чего трубку не берешь?

— Питонила.

— Это в три-то часа?

Зевает с нежным подвывом.

— Кнедлик всю ночь спать не давал, замучил совсем. Только утром бедняжку сморило.

— Говорила тебе, не называй его кнедликом.

— Заведи своего и называй, как хочешь. А мой для меня кнедлик. Был, есть и будет!

— Ладно, не заводись. Лучше скажи, как он?

— Как, как... Да никак! Все худеет. Голова большая, еле держит. В общем, ничего нового. Хворает твой Сашенька, смотреть больно.

— Не падай духом, Лилька, не все потеряно, ты же знаешь. Можешь его вечером с кем-нибудь оставить?

— Зачем? — слышу, уши наострила. — Есть вариант?

Не люблю это выражение, но принимаю.

— Есть, — говорю. — И не простой, золотой. Христа на ужин пригласил.

— Ну, олдуха, этот вариант не мой, — то ли хмыкает, то ли смеется.

— А ты сперва дослушай. И твой тоже. Общий. С ним будет приятель, банкир, иностранец.

— Опять финик, что ли? Наелась я этих фиников!

— Какой еще финик? Из Англии. Приехал в Москву и захандрил, видишь ли...

— О-о-о! — уважительно растягивает она. — Это у них называется «сплин». И где запланирован банкет?

— В «Гермесе».

— Дался тебе этот «Гермес»! Мне бы чего попроще. Пиццерию или рюмочную. Хотя, ты у нас овечка тонкорунная, писательская дочка. Помнишь Владькину фирменную хохму? Даша у нас не просто балетное дарование, а пис.дочка. Самая прелестная из всех пис.дочек.

— Не хулигань, Лилька!

— Да и захандрившему англосаксу надо потрафить. Ладно, будь по-твоему, пусть «Гермес»!

— Не в «потрафить» дело, Гийом, — говорю я. — Я вот что надумала. Сосредоточься, пожалуйста, и вникни. В «Гермесе» на шестом этаже есть казино. Так и называется — «Шестой этаж», была такая пьеса. Там еще в дверях пупсы чернокожие, близнецы-негры в вишневых фраках и белоснежных манишках. Помнишь?

— Откуда? Всего раз там была и надринкалась в ноль!

— Ну, не важно. Важно, что Христе в том казино дико везет. Каждый раз в выигрыше. Он даже посиделки в «Гермесе» называет «День получки». По Чаплину.

— Ну!.. Не понимаю, при чем тут Чаплин?

— Чаплин, конечно, ни при чем. Я подумала: если ему так везет, если в казино за получкой ходит, почему бы не выиграть для нас. То есть для Сашеньки. Поняла? Я, конечно, правил не знаю, но у меня есть с чего начать, что поставить на кон. Сколько нам осталось добрать? Около двадцати? А в тех казино знаешь, какие тысячи крутятся! Наши двадцать для них крохи! Ну, что ты молчишь?.. Будь у Христи свои, он бы не пожадничал. Если не всю сумму, то хотя бы половину... Время-то поджигает, Лилька, декабрь последний срок! А нас с тобой может спасти только Сашенькино спасение. Иначе все. Крест.

Она долго молчит, потом тихо, как будто мимо трубки говорит:

— Сестричка, — говорит таким голосом, какого от нее не слышала. — Сестричка, меня уже ничто не спасет. Я давно на себе крест поставила. Вернее, полумесяц. А ты все барахтаешься, Краснопевцева. Все строишь воздушные замки. Жизель! Не вздумай ничего ставить на кон! Если перепало, дай мне. Ведь он игрок, твой Христия, самый настоящий игрок! Сама сказала — взрывоопасный флегматик. Или хочешь опять на кактус рухнуть? Хоть узнай, жива ли твоя таежная целительница...

— Зачем? Я вполне здорова.

— А затем! Очнись, олдуха! Мы уже в депо. В этом мире каждый платит за себя. Что имеет, тем и платит. Кто деньгами, кто влиянием, а мы... Кстати, утром звонил Моня, сказал, что по снимкам для антицеллюлитного плаката ты всех обштопала. Сам Згуриди чуть слюной не захлебнулся: «Этот попес лучше, чем у Дженифер Лопес!» На стихи старика вдохновила. Так что, скоро по всей Москве твою задницу расклеют, и не абы как, а в муслиновом гипюре от «Дикой орхидеи»...

— Я им расклею! — нервно хохотнула. — У меня копирайт на задницу.

— Ладно, олдуха, не бури слона, — меняет тон. — Говори, где стреляемся.

— Как всегда, на Кропоткинской...

— Заметано. Если что с кнедником, кашляну на мобилу...

Отключилась.

Дух перевела.

Собралась с мыслями.

Что у нас в остатке, на промежуточном финише? На Лилькином языке это называется — фейсом об тэйбл. А по-нашему, по-простому — мордой об стол. И поделом. Не строй воздушных замков, Жизель. А если не можешь удержаться, хотя бы не приглашай в них гостей... Сам Згуриди оценил! То-то бабушка бы возликовала... С говном бы смешала пиндоса похотливого!

В детстве Лампа, купая меня, не могла нарадоваться: «Опаньки, опаньки, вот какие попаньки!» Потом Филька в дразнилку переиначил: «Опаньки, опаньки, балеринки попаньки...» Тоже на стихи вдохновила. Вот и вся твоя цена, анархистка долбаная...

Ништяк, и это стерплю. Только бы не сплеховать, довести до конца. Сделать все, что надо. «Полноту жизни вернет тебе ребенок, выношенный и рожденный тобой...» Но его нету, и не предвидится. Зато есть Сашенька, мой маленький принц. Грустный мальчик.

«Спаси одного не задача, — считает отец. — Одного и зверек спасет».

Какой зверек-то? Тушканчик, что ли? Или хорек? Точно, хорек. Письмо еще в сумке, можно свериться. Пусть буду хорек, согласна, но мальчика спасу. Чего бы мне ни стоило. Рискну вечером в «Гермесе» и успею до декабря...

Евлампия Епифановна

Ночью проснулась, слышу, бродит, шаркает по коридору. К Даше заглянул, под моей дверью постоял, потом на кухню. Я уж привыкла. Не спится ему, каждую ночь встает, то чаю, то телевизор, и бубнит что-то, а под утро свалится и — до часу. За Дашку тревожится. Еще бы: кто, кроме Дашки, у него остался! Петруша в бороду спрятался, раз в три месяца объявится проездом, по телефону пошумит, по телевизору покажется, и нет его. Филя за три моря упорхнул, который год восточки ждем, Бога молим... А девке об эту пору узда нужна, и указка. Вот он и вздыхает, сердешный... Ой, беда с ними, беда! Тоже спать перестала, все прислушиваюсь — вернулась, аль нет?.. Хотя по телефону позвони, скажи, соври, на худой конец, только голос подай. Тем паче телефоны ноне в карманах носят...

Слышу, в ванную полез, душ открыл. Вроде ехать куда-то наладился с дружкой своим, Сергеем Яковлевичем. Не дело в дорогу мыться, как бы опять поясницу не застудил.

Дождалась, как вода смолкла, халатец натянула и поплелась на кухню.

Сидит в малиновой пижаме, вроде бодрый, глаз острый. Смотрит нестрогим следователем и любимый чай прихлебывает, под цвет пижамы.

— Что, Евлампия, не спится?

— Не спится, Федор Вениаминович, — говорю. — Да с меня что за спрос? Себя бы поберегли, ехать далече собираетесь.

— Не так уж и далече, до вечера обернусь.

— Не загадывай, батюшка, нехорошо перед дорогой. Говорят, были б кони здоровы...

— Здоровы, здоровы, не боись. И на козлах лихач, — отвечает бодро, а смотрит все с тем же следовательским вопросом, и я тот вопрос как с листа читаю.

— Хотите, — говорю, — сырничков разогрею, с вечера остались.

— Спасибо, Евлампия, не хочу. Лучше ты попей моего чаю...

Я тоже воздержалась. Так и разошлись, а о том, что тревожило, что на язык

просилось, умолчали. Когда дверь затворяла, большие часы пробили пять. У меня аж сердце упало.

Погодя, все-таки открыл дверь, спросил:

— Не звонила?

Я, головы не повернув, соврала:

— Звонила. У подружки осталась.

— У какой подружки?

— Я знаю — у какой?! — буркнула в сердцах.

— Впредь спрашивай.

— Позвонила, и на том спасибо.

Раньше в моей комнате была детская, Даши с Филей. Сперва игрушки плюшевые, потом железная дорога с семафором.

Я к ночи прибиралась и там же, под окном, раскладушку ставила. А дети спали на двухэтажной койке, пока не подросли. Стала замечать, что они друг к дружке лазают, возятся, вроде щенят. И смех, и грех. Греха вроде и нет — несмышлениши, а все одно — нехорошо. Дашка рубашонку задерет, пузик выпятит — во, гляди, чего у меня! А Филька попой на пятках, головка на бок, смотрит, не моргнет... Я бабушке ихней все как есть доложила. Виду не подала, отмахнулась, но в ту же ночь порознь детей уложила, а наутро и койку велела разобрать... Выходит, не зря наушничала, наперед бабки сунулась, верней, наперед матки — мать тогда при детях была... Беата... Чудное имя, нерусское, как зеваешь, или бычок мычит... Беата... Но я не Беате рассказала, и не Пете про ихних шалунов несмышленных, а бабе Анне. Дорогой тете Ане! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, вот о ком ты молю! Не обдели заботой, упокой со святыми добрую душу! Делами сколь ни занята, а дом с домочадцами на ней держался, ее любовью крепился—соединялся. Кто я ей? Мачеха доводилась снохой сводному брату ее мужа. Так? Вроде так, если не дале. А приняла, как кровную, за семнадцать лет слова громкого не сказала. Дуру-колотуху собственнично к экзаменам в техникум готовила — по швейному делу, как-то красно звался — технология легкой промышленности. Важно! Три года кряду готовила. А мне не то, что техникум, ПТУ не по уму, полова в голове, уж я себя знаю. Тетечка Анечка не виновата. Мне Пифагоровы штаны не в пору, больно задница толстая. Отец не зря Ляжкой прозвал. Ничего, кроме Псалтыря, не читала... Хотя, вру: как сюда приехала, Федор Вениаминович книжку дал, своего друга, Смурова Сергея Яковлевича, потом спросил, понравилась ли. Мне книжка понравилась: красавица-мадьярка нашего лейтенанта спасла, а сама погибла... Я даже расплакалась, когда дочитала. И сейчас, как вспомню, плачу. Жужу жалко...

Полезла в койку, а там Васятка, свернулся клубком, урчит. Пока на кухню ходила, перебрался с кресла, баловень, устроился потеплей. Хитер, котяра, любит мягко поспать. Хорошо еще не на подушке. От подушки тумачами отвадила, а с постели не сгоняю, хотя, говорят, нехорошо, чтобы зверь рядом спал. Какой же Васятка зверь? Глазки серенькие, ушки востренькие, а живот мяконецкий, шелковенький. Потрогать одно удовольствие... Не судьба дите возле груди угреть, так пусть хоть котик-братик рядом лежит, урчит, теплом живым греет. Вот какой пузик нежный, рука так и тянется...

Не гневись на меня, Боже, за то, что в оны годы мальчика Филю привадила, когда родители уезжали, в свою постелью клала.

В первый раз сам прибег, с перепугу. Гроза напугала. Уткнулся мордочкой под мышку и при каждом раскате вздрагивал. А когда гроза отошла, вижу, спит — раскраснелся, как в баньке, волосики от пота слиплись. Потом, хитрован этакий, и без грозы повадился. Шмыг под одеяло: «Ой, боюсь, тетя Лампа! Боюсь!» Сначала верила, потом смекнула, что не такой он пугливый, как прикидывается. Но не пресекла. Могла и отшлепать, и уши надрать; случалось, обоих — братца с сестрой — наказыв-

вала, когда без родителей. И бабушке не донесла. Тем паче — Беате. А почему? Нравилось мальчонку к себе прижимать — горячий, гладкий, сердечко стрекошет быстро-быстро... Давно все было, быльем поросло, теперь и признаться не стыдно — и у меня от такого лежания в обнимку кровь волновалась... Что это было, Господи? Не от распутства же я десятилетнего мальчика обнимала! От одиночества и бабьей пустоты порожней, от старости, за углом дожидавшей — мне в тую пору все сорок набежало... А он-то, он-то осторожничал, Филиппок! Сам как в огне горит, сердечко выскочить норовит, а ручонка чуть слышно, как паучок... Три шажка — и замрет, еще три — и опять. А как до волосков докоснется, обмирает, не дышит, даже боязно за него. Я все чую, дура старая, паучок этот и в смех, и в радость, однако понимаю, что не дело так, нехорошо. И вроде как встrepенусь во сне, или потянусь спросонья. С перепугу он то отдернется, как ужаленный, то, наоборот, — шмыг между ляжек. И вроде бы оба ни при чем, знать не знаем, как ладошка туда угодила... Игрецы!.. Ой, греховодница, Евлампия, греховодница! Бывало, нарочно спиной к нему повернусь и в подушку уткнусь, чтоб не рассмеяться — сзади паучок терялся, не знал, куды ползти — вверх ли, вниз ли... Но когда в меня его пестик уткнулся, не до смеху стало. Испугалась, будто ножичек приставил. Прогнала и больше не допускала. Ни ночью, ни днем. Ни в грозу, ни в ведро...

Как же, однако, жизнь чудно устроена — все эти лежания не то, чтобы срамные, но все же нехорошие, нечистые, весь этот полугрех-полусмех, будто растаяли с годами. Или привиделись? Под одной крышей жили, росли-старели, с одного стола пили-ели, но ни мне, ни Фильке-прохвосту ни разу не вспомнились. Как не было. За него не скажу, не знаю, он малый шепотливый, двусмысленный, а я со стыда бы сгорела, ушла бы из дома куда глаза глядят, если б при Петруше или Федоре Вениаминовиче вспомнила того паучка под животом. Сейчас вот вспомнила, а не сгораю... И-и, да теперь и гореть нечему... зола...

Лежу, глаз не открываю, но вздремнуть не получается. Видно, не все дотлело. Так до будильника долежала.

Запищал как шилом в ухо — пи-и-пи-и-пи-и. Ощупкой дотянулась. Тишина. Лампу включила, хотя за окном брезжит. День скукожился, но покамест держится. Не то, что под Рождество или на Святки...

Скоро, скоро зимние ночи, снега обильные, тьма египетская. Ничего! Я в окна паралону напихала, заклеила в два слоя. Теперь липкую бумагу продают, не надо в крахмале пачкаться, подоконники дресвой оттирать. На кухне не стала клеить, чтоб продувало. Зимой кислых щей наварить на три дня — любо-дорого! Но дух тяжелый. Особенно с морозу. Федор Вениаминович молчит, не чует, что ли, а Дашка фыркнет с порога: «Ну, Лампа, в дом не войти! Удушила совсем!» У меня и на это таежная хитрость: вместо лучины газету сверну потуже и подпалю...

Жую морковь натертую перед работой. Слышу, ключ в скважину тычется, робко так, как не к себе. Слава тебе, Господи!

От сердца отлегло. Помогла отпереть.

Лиской мимо проскользнула, личико воротит, волосы со лба убирает, никак не уберет. Мимоходом:

— Доброе утро!

Я хоть и рада до смерти, а заворчала:

— Для тебя, может, и доброе, а дед твой всю ночь не спал, лекарство пил. Хорошо ли при больном сердце!

— Ладно, не начинай! — и к зеркалу в прихожей.

— Я не начинаю. Времени нет тебя совестить, сама опаздываю. Но подумай, ладно ли так. Хоть позвони, скажись. Нынче жить стало страшно: черных убивают, белым морды бьют...

— Я звонила, но никто не брал трубку.

— А врать нехорошо, — головой покачала с укором, встала между ней и зеркалом.

Бровки вскинула, лоб наморщила, но глаза отвела.

Вот что пугает — взгляд ускользающий. Не дает в себя заглянуть.

Что делать? Мне на почту, а она уйдет к себе, запрется до вечера, а вечером все сначала...

Федор Вениаминович не спросит ни о чем, мне сама не скажет, а больше нет никого. Осиротело дите без бабушки...

— На чем домой добралась, Дарья? Метро дожидалась?

Не стала врать, буркнула:

— Человек один подвез, — но взгляд опять уклонился. — Знакомый.

— Есть будешь? — Замотала головой, нос сморщила. — Сырники на плите, может, разогреть?

Еще сильнее замотала, похоже, слышать невмочь. Мимо меня в зеркало глядится, а я ее разглядываю. И вдруг говорит устало, как из последних сил:

— Оставила бы ты меня в покое, Евлампия! И без тебя тошно, — и на глазах слезы.

У меня сердце похолодело. Дух перевела, поплелась, как ушибленная. Втиснулась в сапоги, в дутую куртку влезла, теперь бы еще в лифт влезть. Идти пора, а я топчусь, хочу еще что-то сказать-предостеречь. В дверях обернулась и сказала-таки.

— Поостереглась бы, Дашенька, утро с ночью путать. Вспомни, куда за спасением ехать пришлось.

Аж вскинулась от такого напоминания.

— Что вы все меня страшаете! Запугали совсем. Я давно не нуждаюсь в опеке! — чуть в двери меня не вытолкала. — Иди уж, иди!

Ничего себе — иди! Ради той поездки я все бросила, какое место в детсаде платном потеряла!

Никого тем местом не попрекала, до места ли нам было — Дашута из рук ускользала, таяла. Сготовишь суп протертый или овсянку пожиже, а она давится, мучается, как над курой жилистой. Выскочит, отрыгнет — и на койку: лоб мокрый, глаза испуганные. Полгода рубленное-протертое готовила, чуть не разжевывала, а проку на копейку. Поначалу, заметила, при мужчинах давилась, своих-чужих — не важно, а под конец даже при мне...

А потом приснилась бабушка Анна: будто Дашеньку, после купания в полотенце завернутую, мне протягивает. Беру ее и чувствую, какая она крепенькая, чистая, и пахнет ребеночком... Всполошилась после того сна, спохватилась, как от отцова подзатыльника, взяла Дашу за руку и на Казанский — к нам, в Берендеево царство, в Лосий Кут. Там, в скиту монастырском, жила старица Саломия, ясновидящая целительница. К ней еще в те годы со всего Урала возили кликуш и расслабленных. А нынче не только из Кемерово или Барнаула, из самой Москвы зачастили. Вот и я другого пути не увидела. Про нервоз твердить да дроздов на патефоне слушать — окочуришься...

В подъезде лампочка дневного света жундит, ровно шершни в гнезде, и подмигивает. А вышла наружу — утро голубое, ясное! За шторами и не чаяла, что день такой славный занимается.

От парка лесным духом тянет — прелью, землей, дымком осенним, горьковатым. Это дворник из неслухов, листья жгет, чучмек в рыжей кацавейке, Фархад. Никак не поймет, зачем опавшие листья в целлофановые мешки набивать, да еще укладывать в ряд, как гробы после землетрясения. Глаза бы не глядели...

Еще рано. Людей мало. Одни машины вдоль домов. Стоят, помалкивают. Будто не они порой верещат, как ведьмы. Притихли, паиньки...

Из-за угла поперек пути выплывает великанша, детской головкой под самые

окна, длинными ногами лениво перебирает, руками едва помахивает, катится на роликах, как плывет. В первый раз оторопела, перекрестилась даже, а теперь обрадовалась. Знакомая душа, Галкой зовут. Физкультурница! Все соревнования по прыжкам выигрывает, даже за границей. «Куда прыгаешь, цыбастенькая?» — спрашиваю. «В высоту», — отвечает. Такая, если сильно замахнется, улетит. Здравствуй, кузнецик! Помахала мне ручкой, как с колоколенки. Я в ответ дутыми рукавами куртки пошевелила, как лапами.

Почта моя недалеко. На пути газетный киоск — трехстворчатый. Тамара створки отворила, глядит, как из складня.

— Что так рано, Тома? — спрашиваю. — Московский люд об эту пору дрыхнет еще.

— Здорово, корова! — улыбается железными зубами, спозаранок каждому рада.

Показывает на створке плакат с красавцем нерусским: подбородок небритый с ямочкой, грудь волосатая, глаза волчьи.

— Не поверишь, Евлампия, тянет к нему. Ну не дура ли?

— Дура, — говорю. — Чем по фотке скучать, заведи домой, на кухне повесь.

— А мне так лучше. Тебе не понять. Никому не понять, кроме доктора в дурдоме. Седьмой год одна. Иной раз на улице пристроюсь к кому-нибудь, да хоть к старухе старой, и рядом иду, только бы одиночество свое обмануть...

Несчастливая Томка! Мне все-таки повезло, я про такое и не думала. В семье живу. Не знаю, как я им, а мне все родные. Даже Беата пропавшая. Как за других, за нее молюсь, и свечку за здоровье ставлю...

Вот и наш домик неоглядный! Каждый раз от него тошнехонько. Думаю, весь наш Лосиный кут мог бы запросто вместить. Чего не понапихали! Хочешь — живи на одном месте — Москвы не надо! Почта, телеграф, сберкасса. Кафе, шаурма, пиццерия. Прачечная с химчисткой. Салон красоты с безрукой женщиной за стеклом, «Афродита» называется. Фитнес-центр и шейпинг. Игровые автоматы с бегущими по кругу огнями, «Джекпот 250 000!..» Кто бы еще объяснил, что значит вся эта тарабарщина нерусская! Ежели б каждое утро не читала, в жизнь не запомнила бы...

Зимой перед «Джекпотом» пальмы поставили с лампочками на листьях, и чудными буквами вывели — «Ниневия». Не новые, что ли? Думала — пальмы настоящие, а они резиновые...

Только привыкнешь, еще кто-то втискивается, костоправ из Кореи или цветочница азибаржанская...

А вот наша Виолетта арендаторов на дух не подпускает, сама своей площадью распоряжается. Разгородила надвое: по одну сторону с девяти до шести почтовое отделение — Зина, Нина и Фаина, квитанциями шуршат, штампами припечатывают, иногда переругиваются с клиентами, или между собой хихикают.

У нас, у почтальонш, день ненормированный: приходим спозаранок, а как все разнесем, свободны.

Виолетта исхитрилась или кого подмазала — получила на доставку гору рекламных газет, и к ним мелочовку — заказ такси, пицца на дом, обмен квартир, пластиковые окна, телевизионные тарелки... Одно слово — бизнес. Без него и своих тыщенок жалких не получали бы. Нынче разнести письма по нашему микрорайону и одной почтальонши много: на подъезд пяток газет, да на пять подъездов одно письмецо, и то — повестка. Не то, что в оны годы! Виолетта вспоминала книжку — «Сумка, полная сердец» называлась; в школе прочитала, и загорелось ей разносить людские сердца... Чудная! «Огнеопасная, — смеется Калерия Ипполитовна. — Без огнетушителя не подходи!»

Дверь тугая с трудом приоткрылась. Изнутри дохнуло клеем, сургучом, опилками. Как Виолетта такой скучный дух терпит!

Калерия Ипполитовна уже за сортировочным столом: на плечах оренбургский

платок, на носике очки. Раскладывает почту, чтобы сподручней разносить, взад-вперед не ходить. Она вообще смышленная в работе, не то, что я: меня захомутай, я и пойду, как зашоренная лошадь...

Следом за мной запыхавшаяся «пани Моника». Ее Виолетта так прозвала. Не сказать, что похожа, но подхватили, даже настоящее имя забыла. Галя, что ли?

Как только все трое собрались, из-за выгородки с наклеенными афишами вышла Виолетта, не в тапочках — на каблуках. По росту заметно, и по звуку слышно: цок-цок-цок. Пол в отделении каменный, зимой без валенок уссышься. Виолетта позаботилась, на всех закупила: «Без валенок, девочки, всем цистит. А оно вам надо?»

— Здрасти, мои хорошие! Здрасти, мои убогие! Женщина — друг человека, а также его утешение. Будем как солнце! Вот вам на сегодня мой слоган: — «Падающего поддержи!» Не хлопайте ресничками, мои дряхлые голубки, и позакрывайте ваши клювики!

Остановилась перед транспортером для посылок, похоже, успела стопарик. Всех троих расцеловала, помадой вымазала, сама же стерла и говорит:

— Письмоноши, радость моей жизни! Опустели ваши сумки, но не души. Сегодня у меня особый день, и я желаю отметить его с вами, родными сестрицами и ангелами благовещания.

— В чем дело, Виолетта? — спрашивает ее Калерия Ипполитовна. — Не атакуйте нас из всех орудий сразу. Вам же известны наши диагнозы.

— Не пугайтесь, сестрички, — говорит Виолетта, утирает слезы и тихонько сморкается. — Сегодня годовщина моего незабвенного Хайлова. Я устраиваю маленькие поминки. Мини-мини. Хлеб-соль и вино. И приглашаю почтить память истинного мужчины, единственного на моем бурном жизненном пути. Все прошлое стер, сладкий мерзавец! Ограбил и озолотил... Я не пристала бы к вам с порога, но хочу наших мышек позвать — Зинку, Нинку и Фаинку, все-таки мы одна семья. А для этого надо до двух часов сделаться. Чтобы им в перерыв уложиться. Мы люди государственные, наша вежливость — точность. Пусть мышки примут на грудь по сто граммов водки, коньяка или текилы, и выдадут припозднившемуся пенсионеру лишний столик... Ой, вру! Ой, вру! Зарапортовалась. Забыла главный лозунг Хайлова: «Пейте только моно!» То есть напитки не смешивать! Ни-ни! А теперь, голубки дряхлые мои, слушай мою команду! Чтобы в четырнадцать ноль-ноль были здесь, румяные и голодные!

Виолетта, конечно, трещотка, но этак еще не трещала. Слушаем краем уха, а работу работаем.

Мышки за переборкой, Нина, Зина и Фаина, только сходить-то стали, стульями задвигали, нас через перегородку поприветили, а мы уже в пути.

Впереди — Калерия Ипполитовна. Не поверишь, что пенсионерка. Походка — заглядение! Ножку одну перед одной ставит, как по струнке, стан чуть колеблет и смотрит не вдаль, а как бы потупясь. Через плечо холщовый мешочек с вышитым подсолнухом, сзади сумка на колесиках. Не почтальёнша, а Галина Вишневская из телевизора!

За Калерией пани Моника выходит. У нее что-то с сердцем, воротясь, частенько капли пьет и у Виолетты за выгородкой отлеживается, но сначала шагает бодро.

Третьей выбираюсь я. Голова сквозь ремень просунута, сумка с сердцами и прочими потрохами на боку, а правой рукой волоку китайский контейнер. Чапаю, в дутой куртке, дура. Опять не по погоде!

Воронцово с округой вдоль и поперек исхожено, знаю, где между гаражами протиснуться, где на скамейке отдышаться. Хоккейные коробки и площадки вслепую обмину. В последний год, правда, оград нагородили, куркули чертовы, обходи теперь...

Контейнер с рекламой в детсад охраннику Димону завезла. По старой дружбе. То ли смелый очень, то ли глупый — даже не спросит, что в сумке за колченогим креслом оставила. Я чай, если застукают за таким делом, не поздоровится, хоть я в том детсадишке больше года на кухне отработала...

Поставила сумку и пошла дальше налегке.

Налегке, да не совсем: Даша из головы не идет.

Однако, вспоминая не то, как она в прихожей мимо проскользнула и глаза отвела; об этом почему-то думать не хочется, боязно; вспоминая, какой была в детстве, когда Петруша на дачу нас отвозил. Вспоминая, и душа отдыхает!

Девочка была — всей деревне отрада! Соседки нарочно приходили посмотреть, как она после сна в окне покажется, ее кровать прямо под окном ставила. Дашута спросонья так ясно улыбалась, что женщины, как одна, руками всплескивали: «Здравствуй, наше солнышко!..» А и впрямь! Щечки румяные, глаза звездочки, и на лице радость благодатная... Но особенно ее старик-молочник полюбил, дед Роман. «Здравия желаю, панночка! Что твоей душеньке угодно? — мог и на колено встать через старую рану. — Приказывай, панночка, все сполню! Ради тебя для козе травку кошу, из Святого колодца водицей пою чтобы тебе молочком угодить...»

Дашенька неспешно спускалась с крылечка, в коротеньком платьице, в туфельках с перепонками, внимательно оглядывала двор и спрашивала:

«Дедушка Роман, а где твоя собака? Где мой Трезор? Почему не вижу?»

Старик улыбался пустяшному упреку, свистел в два пальца, и облепленный репьями огромный псина трусцой вбегал во двор. Дашенька подходила к нему, гладила по голове, что-то шептала в рваное ухо, от чего пес обмирал и виновато моргал. Случалось, садилась на него верхом и, вцепившись ручонками в лохматую шерсть, требовала от сердца: «Сабака! Далеко подем!..»

Как-то вместе с козьим молоком дед Роман принес корзину отменных грибов. Даша вроде как невзначай заглянула в корзину и наморщила носик:

«Поганки...»

У старика чуть язык не отнялся:

«Какие же это поганки, панночка! Чистые, крепенькие, вроде тебя. Хочешь, ради тебя сырыми их съем. И тебе скормил бы, если б не твоя нянька Евлампия».

Но Дашута не дослушала, выставила вперед ножку и, еще раз заглянув в корзину, опять поморщилась:

«Поганки!»

«Да она же дразнится, чертенок! — смекнул старик. — Я лес лучше любого лешего знаю, так что ты, панночка, не дразнись, а учись, пока дед Роман жив, нас ведь все меньше, лесных людей...»

Особенный был старик, речистый. Но не краснобай. Когда схоронил жену, выгородил себе место рядышком и укрепил брусok с годом рождения и черточкой; хотел вырезать первые три цифры за черточкой — для облегчения труда будущего радетеля, да побоялся, что доживет до двухтысячного и испортит заготовку.

Не знаю, дожил ли; в трудные годы Федор Вениаминович дачку продал на лечение тете Ане и Дашеньке. В докторов вбухали немерено, да без толку: тетю Аню не спасли, а Дашеньку не доктора вылечили, а матушка Саломия, дай ей бог здоровья. Жива ли? Даша теперь слышать не хочет, зато я все помню, и по гроб не забуду...

Денег тогда вовсе не стало, хоть с протянутой рукой в переходе становишься. И продать нечего. Однако при пересадке на узловой в Оренбурге я все-таки раскошелилась на купейный, чтобы Даше перед встречей с матушкой отоспаться.

Добрались затемно и прямым ходом, без отдыха, в монастырь. Знала, что страждущие по три дня матушкиного слова ждут, а у нас ни денег, ни времени.

Ночью в Лоскуте тишь тишайшая, бегущую по улице собаку слышно.

По пути тут и там тусклые окна светятся, да пивная реклама нерусская.

К монастырю пологий подъем булыжником вымощен.

Пока добрались, развиднелось немножко, но стены еще темные.

Над воротами икона Николы под козырьком и лампада. Перекрестилась на нее, помощи попросила. Вижу, ворота приотворены: и на том спасибо, до утра не дожидать.

Пролезли в щель, а за щелью две привратницы в телогрейках, в платках до бровей.

Тут-то и исполнилась моя бессловесная просьба: одна из привратниц оказалась Юлька Сучок, одноклассница-подруга. Сроднилась, что ли, с монастырем?! Когда тут открыли трудовую колонию с профтехучилищем, Юлька прошла в нем перевоспитание и швейному ремеслу обучилась; после осталась воспитательницей. А теперь вот ни ПТУ, ни колонии, а она все здесь, монастырь сторожит.

— Юлька, ты ли?! — вырвалось у меня. — Чудны дела твои, Господи!

— Так Господь судил, — кротко согласилась она.

— Постриглась? — спрашиваю.

— Покамест послушница. Но настоятельница обещает.

— Когда?

— Когда грехи отмолю.

Сама напомнила, что в колонию попала по суду и настоянию матери.

— Несть человека, иже поживет и не согрешит, — попыталась я утешить. — Кому кистень, кому четки. Один Господь без греха.

Ничего не ответила, усмехнулась только.

— А ты с чем, Евлампия? Из Москвы до нас за год не доскачешь.

— А мы не верхом, — отшутилась. — Мы поездом. Вот внучку Федора Вениаминовича привезла, — и выставила вперед Дашу. — Пред матушкой Саломией хотим предстать, помощи попросить. Без надобы не заехали б в такую даль...

— Какая ж надоба? — Юлька внимательней вгляделась в Дашу. — Сама знаешь, каких к матушке возят. А ваша вроде без изъяна. Что за беда, девонька?

— Беда житейская, — поспешила я. — Не спит, не ест, ни с каким постом не сравнить. За полгода в нитку истончилась.

— Ты это брось! — отмахнулась Юлька. — С таким лучше к матушке не соваться, шуганет, не обрадуется. Нынче мода на тощих. Так ли, девонька?

— Тут не мода, Юля! — горячо зашептала я. — Беда у нас настоящая, докторам непосильная. Глотательный спазм называется. Овсяного киселя не можем проглотить, горлышко заперло. Лучше подскажи, как матушке на глаза показаться. Паломников, небось, много, а у нас время в обрез.

— Много, — покивала головой. — В Успенском не поместились, на паперти спят.

— О-ой! — перепугалась не на шутку. — Выручай, сестрица! Христом Богом молю!

— Да что я могу! — отстранилась, пожала плечами. — Кто я здесь? Послушница, монашка недостриженная, свинарка... Боюсь лишний раз матушке на глаза попасться.

— Что так? — удивилась я. — Почему?

— Стыдно.

Сказала тихо, но от души.

Я поняла. Вспомнила, как о ней в городке судачили, как родная мать ее на весь околоток срамила, «собачьими свадьбами» попрекала, а парни вокруг кобелями увивались, насакивали...

А она помолчала, потом вздохнула с виноватой улыбкой и перекрестилась. Стояла у монастырских ворот статная, синеокая, голенастая, и, как ни клонила голову, как ни скрывала под телогрейкой плечи и грудь, хороша была, приманчива.

Зачем же Господь создает таких, а потом винит и карает?

Залюбовалась. Смотрю и не знаю, что дальше-то делать.

А она говорит:

— Идите к железной двери за часовой и ждите ее там. А дальше как Бог управит.

— Какая железная дверь? — не поняла я. — Я тут не хуже твоего каждую щель знаю. Нет тут никакой железной двери.

— Новая, — объяснила, — для Саломии пробили. Чтобы до паломников могла в часовенке помолиться... — Ксюша! — обратилась ко второй привратнице. — Голубушка, детка, сделай доброе дело, проводи наших до железной двери, а то обыщутся.

Ксюша живо поднялась и подошла к нам. Оказалась совсем молоденькая, не старше Даши. Взяла Дашу за руку и повела.

Через весь монастырь, мимо ксенона и сестринского корпуса, мимо обоих храмов и покоев настоятельницы, на задворки, в Гефсиманию, к часовне, где во время женской колонии овощи хранились.

По пути попадались паломники. Некоторые курили. При виде Ксюши с Дашей укрывались, или прятали курево в кулак.

Дверь в стене за часовой и впрямь оказалась железная, маленькая: не наклонившись, не пройти. Ксюша с трудом открыла ее и вывела нас на пригорок.

Там молча полезла в карман телогрейки, протянула нам по печеной картофелине, засмеялась и побежала назад вдоль стены, туда, где осталась Юлька Сучок, послушница недостриженная.

Тут и появилась матушка Саломия с келейницами. Из скита в лесу, что в неполной версте. Дашенька заметила ее и обмерла, как перепелка. Да и я почему-то испугалась, Богородице взмолилась...

За два часа разнесла всю почту, даже заказные письма подписала: одно из-за границы, другое с Миусского телефонного узла.

Что с людьми случилось! Дома огородили — мало: перед каждой дверью решетка! Письма и тетрадку для подписывания сквозь прутья просовывала, как в тюрьму, или в зверинец. Страх ли обуял, или много наворовали?.. Не зря, поди, сказано: где забор, там и вор...

Сумку с почтой опростала, в детсад почапала за газетами рекламными, с ними возни больше.

По дороге ноженьки отдыха запросили, сами свернули на детскую площадку, мимо фруктового ларька, где армяне торгуют.

Две молодки фрукты-овощи в коробках перебирают, лопочут звонко, по-русски, а старик носатый на стуле сидит, последним солнышком греется, слушает с удовольствием. Одна молодка на корточки присела, а брючата-то по моде — чуть не вся задница из штанов вылезла, сдобные половинки видать. Старик насупился и что-то строго сказал по-своему. Молодка огляделась, никого, кроме меня, не увидела и отмахнулась. Тогда старик подошел к ней, опираясь на палку:

— Сона, ахчик-джан, брук паправ! — дескать, подтяни штаны, Сона.

Пришлось подтягивать. Они еще старших слушаются, не то, что наши...

Навстречу рослая молодая женщина провезла великана в инвалидной коляске; оба рыжие, длинноволосые, конопатые. Часто их встречаю. Почему-то кажется, что не русские они, и не советские, а совсем иностранные. Хотя ни слова от них не слышала, молчат, как немые, лишь волосы медью отливают. Откуда таких занесло?

А на детской площадке качели скрипят, как цикады на югах. Сколько лет никто петель не смажет. Валенки ленивые! Завтра же постного масла прихвачу, и резиновую грушку. Делов-то...

Села подальше от детворы и качелей. Еще дальше, на лавке под неокрепшим

кленом, мужики пиво попивают. А между нами по асфальтовой тропе телепается чучело в комбинезоне не по росту и кепчонке с пластмассовым козырьком.

— Витек, на дозаправку? — благодушно спрашивают мужики.

Витек кивает, отчего ускоряет шаг. Потом кое-как тормозит. Так и телепается, то быстрее, то медленнее, но не шатается.

А ведь помню его молодым сантехником при ЖЭКе: опрятный такой был, с инструментом в сундучке. На вызов сразу откликался. Насчет прокладок любил пошутить. Рукастого Филю в напарники звал: «Как Райкин говорит, на бутер с бродом у нас всегда будет...» А собой был — хоть куда! Смерть девкам! Деревенщина Ермил, да посадским бабам мил... Небось они и споили Ермила. Теперь шабашничает по мелочовке, окна шпаклюет, «ракушки» красит, а в двенадцать часов на дозаправку...

Увидел меня, остановился. То ли во хмелю своим копошится, то ли с духом собирается. Собрался.

— Теть, дай десятку. До завтра. А, теть...

— Витенька, — я ему, — зачем ты это делаешь, сынок? У тебя же руки золотые. Да и сам какой парень был...

Уставился, пытается сосредоточиться.

— У тебя же мать еще живая, о ней подумай. — Смотрит, хочет понять, но не понимает. — Легко ли ей в таком виде сына родного видеть!

Понял, что не обломится, и дальше потелепал. Только бы не свалился, горемычный...

Мне и тут повезло, в нашем доме тоже выпивали, но культурно: рюмочки-бокальчики хрустальные, закуски холодные-горячие. Федору Вениаминовичу случалось перебрать, но тетя Аня не осуждала, оправдывала: «Разве в этой стране порядочный человек может не пить?..» Раз только мальчишки насвинячили — когда Филю в Америку провожали, да я не в обиде; мальчишки зеленые, и расставались надолго...

Витек ли надоумил, или мужики под кленом, но решила Димону-охраннику бутылку пива купить: такой контейнер у себя без досмотра оставляет, когда вся Москва от сумок-пакетов шарахается.

В день рождения к Даше новый знакомец пожаловал, не русский, с большой сумкой; так пока ее не раскрыл и подарок не извлек, с робостью мимо ходила, за кресло кожаное задвинула. Боялась чего-то, и сама не знаю чего, не бомбы же? Может оттого, что знакомец черный, как головешка, с разбитой губой, жуть... А улыбка — как фонарем балует впотьмах: вспыхнет, и погасит... Не сказать — некрасивый; скорей, наоборот — хорош! А страшноват... Пока Лилька и другие пришли, достал свою сумку из-за кресла, молнией вжикнул и вытащил вертеп игрушечный! То-то обрадовал! От сердца отлегло. Сел на корточки и стал фигурки расставлять, как мальчишка: хлев и ясли с волами, ослик вислоухий. А посерединке младенец в пеленах. Над ним Богородица, и Иосиф-плотник, на посох оперся, взирает умильно. И не только он умиляется, волы тоже, и даже ослик туда же агатовым глазом косит. Поодаль цари и волхвы на верблюдах, и над ними звезда Вифлеемская. Фигурки маленькие, но тщательные: и чалмы, и бурнусы, и бороды разноцветные; у кого смоль, у кого йод, а у плотника как солома ржаная. На Богородице покров багряный. А Младенец даже не знаю, из чего сделан, сияет как жемчужина...

Гости охали, ахали, ладошки к груди прижимали. А Дашута тут же Лильке передала, для Сашеньки — дитю нужнее! Знакомец чернявый не обиделся, улыбнулся своей улыбкой. Вертепом как куропатку меня подстрелил, черт белозубый. Как гусыню тучную. А я сумки его боялась!.. Да что — самого побаивалась, хоть и не кавказец оказался, а грек, и имя ему Христофор, самое что ни на есть христианское! Какие мы, право...

Обминула новый гараж, зашла в продуктовый.

Витек тут как тут: у входа из горла сосет, захлебывается; рядом двое таких же смурных, кадыки так и ходят.

А мимо них к выходу две женщины: тучная молодка и сухонькая старушка. Молодка сложила руки на груди, руки пухлые, как у младенца, и выводит нежно, со слезой:

— Мамочка, родная, любимая, прости меня негодную! От всего сердца умоляю, мамуля! Хочешь, «даниссимо» тебе куплю, или шпротов... Хочешь, в душку поцелую... — Замечает Витька, который от удивления даже про бутылку забыл, и как рявкнет: — А ты пошел на х..., жопа в кепке! Че е...альник разинул, пидор недо...аный! Отврати харю, не то по яйцам получишь! — И опять елейно-кротко, с ручками на груди. — Мамочка, золотко, скажи, что ты все простила своей дочурке, что не держишь на меня зла! Не будь такой бессердечной. Прости! Ради всех святых, прости, или клянусь, руки на себя наложу, ты меня знаешь... — И опять обалдевшему Витьку: — Во пьянь любопытная! Телевизора вам мало! Прочь с дороги, грязь подноготная!

Я не хуже того Витька обалдела!..

Купила бутылку «Клинского», вышла. А мать с дочкой по тротуару вдаль идут, как бегемот с зайцем из «Ну, погоди!..», и бегемот того зайчика в темя целует...

Детсад тут рядом. Зашла через калитку. Охранник Димон телевизор смотрит, сериал бесконечный.

Поставила перед ним бутылку «Клинского». Шустро убрал в тумбочку, выволок мою сумку и прошипел:

— Ступай, мать, ступай! Из-за тебя головой рискую...

Даже Димона достали. Струсил. Видно, время такое пришло. Пугливое...

До проспекта дотащила сумку без помех, только у кирпичных девятиэтажек ее сбил мальчик на велосипеде. Мамаша бросилась поднимать и долго виноватилась:

— Ой, извините, извините, ради бога! Он еще только учится, не овладел... Как же ты рулишь неосторожно, Данилушка! Видишь, бабушка какую большую сумку везет...

Одни бабушкой величают, другие тетей — возраст такой. Переходный...

Мальчик в звоночек потренировал и укатил. И я дальше покатила, к большим домам, что за парком выросли.

Посносили черные громоздкие бараки, с полусгнивших пристроек и лестниц которых шмякались крысы, и воздвигли многоподъездные башни. Их по-честному обходить-обносить — дня не хватит.

По домам пошла обычным порядком; тут они как на параде. В каждом восемь подъездов, одинаковых, даже скучно. Иду от первого к восьмому, обхожу с торца и назад, от восьмого к первому.

Слава богу, ни оград, ни решеток, живут как люди: какой подъезд настезь, у какого пришлось потоптаться. Раньше закатывала сумку и газеты по ящикам рассовывала. Дело нехитрое, но собирать набор из трех стопок, к ним рекламную мелочь прикладывать и тыкаться в щель муторно... Первой Калерия Ипполитовна сообразила: стала стопками в подъезде класть. Меня увидела взмыленную, пожурила: «Зачем же вы так, Евлампия Епифановна. Есть вещи, которые не стоят наших усилий...»

Век живи, век учись! Особливо у тех, кто умней. С тех пор так и делаю. Складываю в подъезде, кто хочет — возьмет: кому целительницы-предсказательницы надобны, или старинные марки-книжки; а котам-кобелям телефоны на выбор: мулатки-шоколадки, студенточки-конфеточки, и *ухоженные дамы* тож. Загляну иной раз, аж в жар бросает: шалавы завлекают, а дьявол — потакает. Каюсь, крещусь, прощения прошу: грешным делом занимаешься, Евлампия, нечистому споспешествуешь!..

А вообще моего ли ума это дело? Раз в газетах печатают, значит надо. Мне бы лишнюю тыщенку в дом принести, и на том спасибо...

Вот что такое благодать — сложить пустую сумку и защелкнуть на кнопку! Как

пятиклассница после школы! Даже успею к столу бутылку купить... В Лосьем Куту в продмаге решетки на окнах, амбарный замок на двери, а старушки как в церковном хоре выводят: «Серафимушка, кумушка, отпусти нам бутылочку «партийного». Больно подружка моя закручинилась... Ну все, блудница, все, сейчас отпустит...» Небось тех старух и в живых нет, а все слышу...

Иду, и что-то меня радует. Не вдруг поняла — что. Иду легко, вот что! Все Воронцово вдоль и поперек исходила, а шагаю, как ни в чем не бывало, свои шесть пудов не чую. Обувь ходкую нашла, вот в чем причина. Дай бог счастья тому, кто ее придумал и пошил. Кроссовками зовутся. До них шаркала — косолапила, тетя Аня от плоскостопия гимнастике обучила, на физкультуру определила — все равно было тяжело. Тяжелая, шесть пудов без почтовой сумки. А переобулась, как переродилась. И про тучность забыла, и про годы. Ноги сами несут. Право, чудо!..

Вот и «Ниневия» с резиновыми пальмами, и «Джекпот 250 000».

Наши уже собрались, как сговаривались. Виолетта привнесла из дома скатерть, посуду настоящую и вазу с цветами. Поуютней стало. Особенно, если не смотреть на мешки из крафта, ящики с сургучом и банки с соплями клея.

— А вот и наша стахановка-староверка! — объявляет Виолетта при виде меня. — Извини, Евлампия, без тебя начали. Твой трудовой порыв коллективу известен, подумали, что можешь и до пяти не вернуться, или напрямик на хаус курс взять, чтобы уважаемому профессору рисовые котлетки поджарить.

Не слушая, прошла в служебный куток, вымыла руки, на лицо плеснула. Щеки в ладонях не умещаются. Дашенька ущипнет иной раз за обе щеки и смеется: «Евлампушка-пумпушка! Матушка Епифановна, это сколько же у тебя лица в наличии!»

И то: на двоих росло, да одной досталось. И не сказать, чтобы трескала, сами растут...

За столом насчитала семерых. Святое число. Ветхозаветное. Седьмой уборщица Люба присуседилась. В сатиновом халате, с виноватой улыбкой и щербатым ртом. От щербатости помалкивает, заговорит — ладошкой прикроется.

У меня тоже с зубами беда, но нынче зубы не по карману. Даже железные, как у Томки.

— Дайте чего-нибудь стахановке-староверке! — говорю. — С утра маковой росинки во рту не было.

— Вот за что Хайлов Евлампия ценил! — подхватывает Виолетта. — За родниковую чистоту русской речи. Маковая росинка... Кто из нас ее видел, маковую росинку? А она видела! И даже пила! Скажи, Евлампия, таежница наша, только учти — я тоже кое-какие выражения знаю, от Хайлова выучилась. Как Бог свят, слышишь? Как Бог свят, сперва ты выпьешь штрафную за опоздание, потом еще одну в память моего Гарика, а потом, хочешь пей, а хочешь куй, а хочешь, домой катись. Идет?

— Идет, — отвечаю и налитую мне стопку выпиваю махом. Водка анисовая. Лучше бы чистая, без запаха. Зато стопарик умеренный, граммов на пятьдесят... Насчет староверства пустое — у нас бабы попивали, и не только «партийного». Были, конечно, блюдушие по всей строгости. К примеру, пасечника Киприана Краснопевцева семья, Федору Вениаминовичу родней доводились. Те крепко стояли — и бороды лопатой, и сапоги в дегте, и в рот ничего, кроме меду и квасу. Но молодежь уже на них посмеивалась. Сказано: «Всеу свое время, и время всякой вещи под небом». Похоже, прошло ихнее время...

А Виолетта говорит:

— А теперь, дорогая моя Евлампия, раз штраф уже заплачен, помани моего незабвенного. Теми самыми родниковыми русскими словами, которые он в тебе ценил. Мы свое сказали. Даже тетя Люба, молчальница, разговелась, помянула Хайлова. Так что очередь за тобой.

Вот ведь какая стерва, Виолетта! Расфуфырилась, накрутилась, и Любу — бедняжку — в тетушки записала. А кто кого старше еще посмотреть надо.

— Виолетта, — говорю, — голубушка, — и вторую полную стопку беру. — Вот голубушкой тебя назвала, а верней бы орлицей назвать. Ты прям как орлица над памятью друга сердечного — крыльями трещишь, бряцаешь, охраняешь. Честь тебе и хвала, подруга ты наша и начальница. Каждому бы такую охранительницу!.. А про Хайлова покойного что могу сказать? Всего-то раз пять его видела, когда он вот этот транспортер для тебя налаживал, чтобы тебе ящики тяжелые не таскать. Да разок вдрабадан появился, девятого мая, в День Победы. Помнишь? Ты его в служебку увела от наших глаз, уложила, боржомом отпаивала, а он все вскакивал и кричал: «Орлы! Герои! Ветераны! Мир не забудет вашего подвига!..» Шепотной был твой Хайлов, шепотной и шустрый. Слушать такого можно, а верить нельзя. А сколь хорош, тебе судить. Я только одно скажу: да минует его геена огненная, и пусть земля будет ему пухом!.. — и вторую стопку махнула.

— Справилась! — говорит Виолетта и окидывает взглядом сидящих за столом. — Справилась, староверка! Это у них от божественных книг язык подвешен. Мне только два слова в твоём тосте не понравились, Евлампия. Во-первых, ты назвала Хайлова покойным, а этого нет и быть не может. Во всяком случае, для меня. А во-вторых, для его характеристики ты использовала такое выражение, как шепотной. Я, конечно, горожанка, дитя Зацепы, и на родниковую свежесть не претендую. Мой язык хлорирован до смраду, но почему-то мне не нравится это слово — шепотной. Что это значит — шепотной? Или объясни нам, присутствующим здесь работницам связи, или извинись перед памятью Гарика Хайлова.

— Да что ты, Виолетта! — встряла в разговор пани Моника. — Шепотной хорошее слово. Шепотной значит живой, веселый, смысленный. Он такой и был, Хайлов твой. Розыгрыши всякие выдумывал, балагурил, анекдоты травил. Разве не так?

— Так-то оно так, но обзываясь такими словами, вы недооцениваете его культурный уровень и образованность. Сам Хайлов называл себя разочарованным интеллектуалом. А спросить нашу Евлампью, настоящему интеллектуалу в почтовом отделении делать нечего, такие бывают только в ихнем доме, у ее профессора, члена-корреспондента. Или не члена-корреспондента? Чем там в итоге кончилось, Евлампия? Прямо, по-простому, колись насчет члена. Подгребают по ночам, или весь боезапас расстрелян?

Я отмолчалась. Рот пиццей набит. Пицца вкусная. Похоже, в итальянском мега-центре куплена. Расщедрилась ради своего Хайлова. А на меня жор напал. Я или моркву тру, или трескаю за троих. К тому ж знаю, что Виолетта без сальностей не обойдется. Все знали и ждали, когда ляпнет. Не может иначе. Обожают в рекламных газетах читать: «Ухоженные леди от 18 до 60. К вам, к нам!»

Чего не ожидала — за меня вступилась мышка с почтового, Нинка, самая из мышек молодая. Они трое рядышком сидели, справа от Виолетты.

Нинка вдруг и говорит:

— Как вы можете, Виолетта Васильевна! Я ведь знаю, у кого Евлампия Епифановна в экономах. По учебникам Федора Вениаминовича мы в педагогическом гуманитарном университете русскую литературу проходили. И если я что поняла, не только в литературе, но и в жизни, то прежде всего благодаря Федору Вениаминовичу Краснопевцеву, замечательному ученому и достойнейшему русскому человеку. У нас с ним встреча была в актовом зале. Вы бы слышали, как он на наши вопросы отвечал, как его студенты слушали...

— А что я такого сказала? — Виолетта скорчила невинную рожицу. — Что я сказала? Мне Хайлов все про эти дела объяснил, да и учеными вопрос обследован. У мужчины, будь он хоть кто, все связано с нами, то есть с женским полом. Как вам объяснить, чтобы в бутылку не полезли — пока у мужиков стоит... Ладно, не буду так

грубо: пока мужчину женщина интересуется, хотя бы в фантазиях, от него может быть прок. В любом деле. Учебники, романы, симфонии — пожалуйста! По Хайлову сложней со стихами. Для них особая бойкость нужна, студенческая. «"Лета к суровой прозе клонят, лета шалунью рифму гонят, и я, друзья, вам признаюсь, за ней ленивей волочусь..." Чуешь в этих строках смущение эроса!» — восклицал Хайлов, отбрасывал книгу и сажал меня на колени... Прости, Евлампия, в сущности, могла бы тебя и не пытаться. На днях твоего профессора видела в парке. Судя по походке, весь боекомплект расстрелян. Пара пистонов для форс-мажора. Но ведь ты у них лет тридцать в доме. Неужели за эти годы ни разу тебе подол не задрал? Когда в кабинете пылесосила? А? Евлампия!

Я дожевывала, стараясь не слушать, но все-таки поперхнулась.

— Аа-а! — обрадовалась Виолетта. — Видали, девочки? Что-то там было! Колись, Евлампия!

— Чего ты к ней пристала? — На этот раз Любка-молчунья выгородила, утолила голод и заговорила: — Какой подол, какие юбки? Все нынче в брюках-сапогах, не разбери-пойми.

Только ее слова пуще Виолетту раззадорили: оседлала конька, сквернословица, не скоро слезет.

— Я хуже скажу, девочки. Небось сами слышали: есть такие, что пол меняют, из мужчины в женщину. А? Хайлов на это дело сдвинутый был, мечтал трансвестита попробовать. Узнать, что там у них в натуре...

— И чего? — Зина из почтового аж рот разинула. — Попробовал?

Виолетта, хулиганка, подмигнула и кивнула.

— Ну и как? — заинтересовались все. Даже я перестала жевать.

— Фуфло, — сказала Виолетта. — Суррогат. Как хвосты вареные.

— Какие еще хвосты? — не поняла пани Моника.

— Говяжьих хвосты варила? — спросила Виолетта. — Вроде бы что-то, а на самом деле ничего. Смаку нет. Так что, подружки мои боевые, никакому пластическому хирургу нашу штучку не выделывать. Можете спать спокойно!

— Недавно дочка удивилась: смотри, мама, дядя, а в сапогах! — Фаинка из почтового сменила наконец пластинку. — Теперь чаще женщины в сапогах.

Не знала, что у Фаины дочь, полюбопытствовала:

— Сколько дочке-то?

— Двенадцать.

— Большая.

— А мне, по-твоему, сколько? Леночка у меня, скорей, поздняя.

Виолетта услышала нас и командует.

— Нинка с Фаинкой, встаньте!

— Это еще зачем? — отмахнулись те.

— Встаньте, встаньте! Покажитесь коллегам, как сказал бы Хайлов.

Приподнялись неохотно, поглядывают друг на друга. Умеет начальница смутить.

— Кто поверит, что у них шестнадцать лет разницы?

Нинка фыркнула недовольно и села. А Фаина улыбается смущенно. Вижу, и впрямь расцвела.

— Объяснить, в чем ее секрет, или сами допетрите? — Виолетта брови подняла, улыбается сахарно. Сейчас скажет!

— Кота себе завела, — сказала и на меня воззрилась.

— Кого? — не поняла я.

— Кота. Неужели в вашей Сибири нет такого слова? У ней теперь студент двадцати двух годков. Энерджайзер из телерекламы. Орехи звенят. Сорок восемь часов без подзарядки!

Фаинка краской залилась, даже шея зарделась. Встала и на выход:

— Пора, девочки, пошли, уже три часа, народ наверняка в дверях толпится.

— Народ раз в год подождет, Фаина, — говорит Виолетта. — В память о Хайлове разрешаю открыть попозже.

— С чего это ты раскомандовалась? Ты, между прочим, нам не начальница. У тебя свое хозяйство, у нас свое. Идемте, девочки, засиделись...

Нина с Зиной следом полезли, крошки с грудей отряхивают.

— Ну, ну! Не опоздайте! — вслед им Виолетта. — Не любил Хайлов законопослушных. Презирал, как истинный шестидесятник. От них, говорит, все беды со времен фараонов.

— Какие же беды от законопослушных? — возражает пани Моника. Она, кажись, захмелела, смотрит свысока, говорит медленно. — А по-моему, смутьяны и хулиганы жизнь отравляют.

— Не вам Хайлова учить, дорогая пани Моника! Яйца курицу не учат. Тем более петуха златоперого. Хайлов знал, что говорил!

— Иди ты в жопу со своим Хайловым!

Это сказала Калерия Ипполитовна. Все так и обмерли.

— Может, хватит, Виола? Всему есть мера.

— Это ты о ком, Калерия? — К Виолетте не сразу вернулась речь. — О моем Хайлове? Да знаешь ли ты, как он ценил тебя. Можно сказать, преклонялся!

— Не знаю и знать не хочу.

— Благородная осень Калерии волнует сильнее, чем Зинкина юность, — вот что он говорил мне наедине. Сколько у меня в отделении женщин за перестройку отработало, только к тебе ревновала. Смотрел тебе вслед и декламировал: «Твоих волос стеклянный дым и глаз осенняя усталость...» Ты хоть способна понять такие слова?

— Что подделаешь, — говорит Калерия Ипполитовна, — мы многого не способны понять. В такое время жить угораздило... Спасибо, моя милая, за хлеб-соль! Спасибо за сильные чувства, столь редкие в наши дни. Пожалуй, я тоже пойду. — Калерия Ипполитовна подошла к Виолетте, чмокнула ее в щеку.

Виолетта расплакалась:

— Как ты могла, Калерия! Как ты могла! От тебя не ожидала... От мышек почтовых, от старообрядки толстомясой, от кого угодно, только не от тебя!..

— Ну, прости, прости! — Калерия Ипполитовна отерла слезы с ее щек. — Не надо было поить. Я же пьяненькая, Виола. А с пьяной какой спрос!..

Пока они прощались, я тоже вылезла из-за стола. Забрала куртку из подсобки.

Выхожу на улицу и вижу Калерию Ипполитовну на газоне под березкой. Голова косынкой особо повязана, узел сбоку, на плече сумка с подсолнухом. Неужели, меня ждет?

— Не знаю, почему до сих пор не говорила, как мне нравится ваше имя, Евлампия Епифановна! Услышать его в Москве, все равно, что кислорода глотнуть.

Вот те на! А я смущалась, отца-мать упрекала, пока Дашенька не придумала Лампу с Лампадкой...

— Я и сама замысловато поименована. Тру-ляля—фу-труля! Но ваши предки таежные староверы, а мой папаша был столичный хлыщ и дамский угодник. Вот и удружил из чувств к последней пассии позднему ребенку. Я ведь на свет появилась, когда он шестидесятилетие в клубе отмечал. Друг Яхонтова и Сулержицкого... Осколок Серебряного века с примесью сталинской бронзы...

Она, конечно, не была пьяненькая, как выразилась давеча, но такой разговорчивой ее не знала.

— Как вы думаете, сколько нам таскать эти гнусные газетенки? Да еще выслушивать бурную Виолетту с ее гиперсексуальностью и стихийным фрейдизмом.

— Не знаю, — я пожала плечами. — Я про это не думаю.

— А я очень думаю. Пенсии едва хватает на коммуналку, а как подработать пианистке с хроническим артритом? Только не говорите про уроки сольфеджио!

— Я почему-то думаю, что у вас большая квартира.

— Самая обыкновенная, трехкомнатная.

— Одна в трехкомнатной? — удивилась я.

— Увы, одна. Детей не дал Бог. Что же мне, жильцов заводить на старости лет, чужие запахи нюхать? Не хочу!

— Вы можете продать трехкомнатную и переехать в маленькую.

Помолчала и сокрушенно покачала головой:

— Ну уж нет! Не дождутся! Пусть силой в Капотню выселяют. А я буду отстреливаться...

Калерия Ипполитовна жила недалеко от торгового центра для богатых. Разок занесло в него — глазам не поверила! Пачка лапши за пять тысяч, баночка чая за восемь. Интересно даже, кто их ест и пьет, и что из них потом выходит...

Около центра скопились машины. Ползают, фырчат, пятаются, а есть ли кто внутри — не видать.

Мне тут делать нечего. Каждый раз, как мимо прохожу, стесняюсь или стыжусь.

А Калерии Ипполитовне хоть бы что, походочка — знай наших!

— Евлампия Епифановна, — говорит, — а не пройтись ли нам по парку? После пиццы и виолкиных пирогов совсем не лишнее.

— Отчего же, — отвечаю. — Можно и пройтись, ежели ноженьки не устали.

— В таком случае на скамейке посидим. Уж больно день хорош. Такая благодать долго не продержится...

Перешли через дорогу, и сразу из парка печальным лесным духом повеяло, грибницей и дымком осенним. В орешнике оранжевый куртец мелькнул чучмека знакомого, того, что наперекор управе, листья жгет. Хотя они все в оранжевых куртках, весь этот приезжий нерусский народец...

Солнышко почти летнее. Идем, млеем.

На краю некошеной поляны пустая скамейка попалась.

— Вы бы сняли пуховик, — посоветовала Калерия Ипполитовна. — Или хотя бы распахнулись. Теплынь какая...

Сняла, положила рядом. Через минуту от солнечного припека прознобило. Не сказать, что приятно.

Калерия Ипполитовна откинулась на спинку скамейки, глаза смежила.

— У вас на родине случается в октябре такое?

— Какое? — не поняла я.

— Такая теплынь.

— Случается, — говорю. — Мы не алеуты. Нам солнышко перепадает.

— Я слышала, вы родом из таежной глубинки.

— А солнце и в тайге светит.

— Неужели обиделись? — раскрыла глаза, приподняла брови. — Вроде не обидчивая.

Промолчала и тоже подставилась солнцу. Тоже зажмурилась.

— Давно на родине не были?

— Больше пяти лет уже.

— Ну как там?

— Вы о чем? — не поняла я.

— Как в тайге люди живут? Как им то, что в стране происходит?

— По правде, что в Москве происходит, им до Фени.

— Но хоть в какой-то форме до них доходят перемены?

— О переменах вам бы с Петром поговорить, сыном профессорским, он в этом дока. А я баба простая. Одно знаю сызмала, из общины: лжей много, а правда одна.

Спору нет: еды и питья стало больше, а денег и порядку меньше... Как шкворень вынули, все и посыпалось. Мужикам дедов промысел пришлось вспомнить, капканы-лопазики обновлять, да навык не тот, целкость пропала.

— Но вы же сами сказали, что еды стало больше, — возразила.

— Так то в лавках. В лавках объеешься-обпейся! По мне они нарочно такой фокус подстроили: сегодня дуля, а завтра полна кастрюля... А где деньги? В Нижних Сушках, слыхала, китаец лесопилку организовал, и платит не хило, но туда полста километров по бездорожью. Так что все на шкурку меняй, и на икру. Теперь какому-нибудь хвату нерусскому факторию открыть, и будет как при царе Горохе.

— А говорите, в политике не разбираетесь, — улыбнулась Калерия Ипполитовна. — Очень толково объяснила. Думаю, не хуже профессорского сынка.

— Скажете тоже! — отмахнулась я. — Куда мне до Пети! — Вспомнила, зачем последний раз на родину ездила, добавила: — Что у нас к лучшему, так это монастырь: подлатали-подкрасили, мусор и труху повыгребли, заодно и девок шлопутных. Есть теперь, где Богу помолиться.

— В такой дали старинный монастырь? — удивилась Калерия Ипполитовна.

— Не то чтобы сильно старинный. После русско-японской войны возведен, в назидание старообрядцам. Но при первом же настоятеле в воспитательную колонию переустроен. Девок блудных, беспризорных швейному делу обучали и домашним навыкам.

— В честь кого монастырь?

— Зачатьевский, — сказала я и перекрестилась.

— Вы так религиозны?

В ответ от слова до слова прочитала Символ веры и еще раз перекрестилась.

После этого мы долго молчали.

— Вам можно только позавидовать, Евлампия Епифановна, — сказала она. — Вера большое утешение. И опора.

— Чему завидовать? С мамкиного подولا усвоила, вот и крещусь надо—не надо. Было, тянуло из общины в пионерию, под барабан и горн... «Взвейтесь кострами синие ночи!..» С этой песней в монастырь подшефный ходили, бледненьким, пришибленным гуленам «ковырялочку» плясали. Но, видать, Господь иначе судил. И слава Богу! Не станешь же до старости в дуду дудеть... Я вот тоже хочу у вас кое-что спросить, — сказала я. — Вы женщина культурная, образованная, помогите разобраться. Я ведь и семилетку-то с трудом одолела, ничего, кроме Священного Писания в голове не удержалось. Да еще стишки для Фили с Дашей, про бычка и про Таню: «Наша Таня громко плачет...»

— Вы это бросьте, Евлампия! Будет вам прибедняться. Знаем мы эти крестьянские штучки! Большую часть жизни в Москве живете, в доме знаменитого профессора, среди книг и образованных людей. Тут и не захочешь, а нахватаешься.

— Вот именно, что насчет профессора интересуюсь, — сказала я. — Он ведь и в самом деле знаменитый, чуть в академики не прошел. Назвать, каких людей в нашем доме видела, не поверите! Космонавта Титова, артиста Ульянова, певицу Воронец, красавицу, а писатель Смуров ему друг закадычный. Тот, который написал «Венгерскую рапсодию». Может, читали?

— «Венгерскую рапсодию», милая Евлампия Епифановна, написал не ваш Смуров, а Ференц Лист. И не писатель, а композитор, — сказала, как отрезала.

— Здравсьте! — Я даже вспыхнула. — Что вы такое говорите! Я эту книжку сама читала, хотите, завтра принесу. Очень замечательная книжка! Сергей Яковлевич за нее главную премию получил.

— Значит, ваш Сергей Яковлевич позаимствовал название знаменитого музыкального сочинения.

— Про это мне не ведомо. И вовсе я не прибедняюсь, Калерия Ипполитовна, моя

цена на морде у меня написана, особенно на щеках... Так я про что хотела спросить. Давеча возле торгового центра в который раз возмутилась: неужли те, кто туда на больших машинах приезжают, умней моего профессора, на весь мир знаменитого Краснопевцева?! А ежели не умней, чем превзошли? Что за загадка? Я ведь не вчера родилась, и не с неба упала. Знаю, бывают воры, казнокрады, взяточники. Но ведь не воры же они все, упаси Бог! Сделай милость, объясни глупой бабе!

Ответила не сразу. Полезла в свой мешочек с подсолнухом, вытащила курево, закурила. Она и это сделала культурно. Красиво.

— Право, не знаю, что и сказать. Ваш вопрос не так прост. Краснопевцевы, как я понимаю, интеллигенты, правдолюбы, а нынче, выражаясь по-вашему, правдою не обучешься. Похоже, что сегодня предприимчивость востребованней честности и интеллекта. И потому смышленное жулье преобразило наш жалкий универсам в роскошный мегацентр. Значит, и они что-то умеют! Вспомните, как он выглядел пятнадцать лет назад.

Я горько усмехнулась:

— И вспоминать не надо. Маргарита-кассирша любила повторять: граждане-громодяне, деньги не роняйте, у нас некому подметать... У нас с хозяйкой случай там случился такой злопамятный, что в жизнь не забуду. — Голос почему-то сел, осип, пришлось откашляться.

Калерия Ипполитовна заинтересовалась, сигаретку выбросила, смотрит:

— Ну!..

Я помолчала, вспоминая:

— Время голодное. Помните? В магазинах одна морская капуста, да в ЖЭКах гумпомощь по талонам. Не забыли еще?

— Не забыла еще, — говорит.

— Верно люди сказывают — сухая ложка рот дерет. Вот нас с Анной Сергеевной, хозяйкой моей дорогой, и занесло в универсам. Тот самый, где нынче мегацентр. Пропитание ищем! Там воробьи порхают, мальчишки на роликах гоняют, а ихние мамочки у стены возле склада жмутся, ждут чего-то. Поинтересовалась — морды воротят, плечами пожимают. Но нашлась одна знакомая, шепнула Анне Сергеевне: обещали, дескать, говяжьей печень, только никому ни-ни!.. Тетя Аня от ее слов обмерла, побледнела, уж больно не по ней такое предупреждение, да и хворала уже, бедняжка, слегла вскоре... Тут с улицы дамочка на громких каблучках, и к нам: «За чем стоим, люди добрые? — личико круглое, курносое, смотрит весело и пытается шутливо. — Небось за вырезкой оленьей или языками телячьими, — и к Анне Сергеевне: — Признайтесь, милая дама, какие деликатесы нам обещаны!» Та голову в плечи втянула, лепечет невнятно: «Нет... ничего не обещали... я не знаю...» «Ну и стойте, коли так! — смеется курносая. — Хоть дождь переждете». — Дождь всю дорогу по крыше шумел... Она почти вышла, когда рабочий выкатил тележку с печенью. Налетели!.. Чуть не мордобою, пихаемся, толкаемся, сукровица сочится. Перемазались, как на бойне. На шум курносая воротилась — к шапошному разбору, и от досады на Анну Сергеевну: «Как же вам не стыдно! На вид культурная женщина, а врете из-за куса печенки!» Анна Сергеевна хотела что-то ответить, но как будто захлебнулась, поникла вдруг и заплакала. Представляете?.. Если бы вы ее знали, Калерия Ипполитовна, если бы хоть раз видели! Как добрая настоятельница — рассудительная, справедливая... Я к той женщине подвинулась, чтобы окоротить, если что, но она понятливая оказалась, пуще моего оторопела: личико кругленькое перекосилось даже... «Ну зачем же вы так! — говорит. — Милая моя, дорогая! Неужели кусочек печенки стоит наших слез!.. Перестаньте! Прошу вас, перестаньте! Что же они над нами делают, сволочи!» — Не знаю уж, кого имела в виду. И вообще не моим языком рассказывать... Как сейчас вижу: тетя Аня дрожит вся, слезы из глаз, а та ее обнимает, по плечам поглаживает. «Все-все-все! Успокойтесь, душа моя, дорогой вы мой человек! Разве я

не понимаю? Я все понимаю... Вам велели, а вы, как тот мальчик на часах, ждете... Давайте мы вот что сделаем: пойдемте к вам, зажарим эту печенку и сожрем, будь она неладна!.. Я только вина красного куплю...»

Так они познакомились, Аня с Наташей, Анна Сергеевна с Натальей Ильиничной, и три года после того злопамятного случая, до последних дней тети Ани, до самой ее смерти были как родные сестры. Как будто нашли друг друга, как детдомовские сиротки...

Я замолчала. Глаза у меня были на мокром месте, хотя плакать давно разучилась. Даже когда от тети Ани из больницы уходила, давилась, как Дашка, скулила, а заплакать не могла.

Калерия Ипполитовна тоже долго молчала.

— Господи, какую грустную историю вы рассказали! — мягко дотронулась до моей руки. — Жизнь хотела озлобить двух простодушных русских женщин, а они обнялись и расплакались. Господи, какая грустная история, какая гнусная страна... Что же нам делать, дорогая Евлампия Епифановна?

В ответ я только глубоко вздохнула. И тут слышу за спиной:

— Зачем так вздыхаешь, сестра? В Москва живешь, в красивый парк сидишь, зачем так вздыхаешь? — Голос знакомый, с нерусским акцентом.

Оглянулась и увидела круглолицего Фархада в рыжем куртеце. Подошел сзади, через парковый подлесок и канавку, и теперь весело щурил черные глаза и скалил крепкие белые зубы.

— Ты чего подкрался, чурка? — упрекнула я. — Женщин пугаешь?

— Зачем — подкрался? Короткий дорога выбирал. — Обошел скамейку, протянул руку. Ладонь сухая и жесткая. — Здрасти, пошта, здрасти, сестра! На чистый воздух пришел, маладес! Только сильно вздыхать не нада. Когда женщина сильно вздыхает, сразу боюсь.

— Кто это? — с неудовольствием спросила Калерия Ипполитовна. — Откуда у вас такие знакомства, дорогая Евлампия?

— Он тут вроде садовника, — объяснила я. — Или дворника. Цветов насадил, умелец. Издалека припожаловал, на заработки. Из какой ты страны, Фархад?

— Я таджик, — приосанился тот. — Нурек знаешь? Большая электростанция? Оби Гарм. — Родные слова явно доставляли ему удовольствие. — Сорок километров мой кишлак. Даже не сорок — тирицать сем. Хороши кишлак был. Дом большой был. Я школа работал: и завхоз, и мальчики труд учил. Все имел! Тетрадка, фламастер, ластик-мастик, графин. Голубой краска веранда красить. Даже два черепаха домой взял и не кушил. Потом война. Школа сгорел: зачем портрет Ленин и Маяковский? И Мирзо Турсун-заде? А где Рудаки? Где Фирдуси? А я нарисую?.. Война! Кто убивал, зачем — клинись, так и не понял. Меня тоже чуть не убили. Одна дочка насильовали, другой прятал. Сам в Фойзобад бежал, потом Душанбе. Теперь Москва. — Он опустился перед нашей скамейкой на корточки, как-то не по-русски взмахнул руками... — Я здесь, жена там, дети не знай где. Разве хорошо? Э-э, сестра! Какой жизнь был, какой стал!

— Спросите, сколько у него детей? — предложила я Калерии Ипполитовне.

— Сами спрашивайте, — отмахнулась она; кажется, гость не шибко ей глянулся. Фархад расслышал, не стал дожидаться вопроса, взорлил:

— У Фархада дивинадцать дети, — дважды выставил пятерню и еще растопыренные большой с указательным.

— От одной жены? — не удержалась удивленная Калерия Ипполитовна.

Он кивнул, посмеиваясь.

— Наргиз! Хороши жена! Первый сын четырнадцать лет родила, Миркасым. Афганистан ушел, не знаю — живой не живой, талиб не талиб. Ничего не знаю, один Аллах все знает. Потом много дочка была, четыре или пять, не знаю. У нас, сестра, не

как Москва — метро нет, троллейбус нет — дети получают. Внизу около речка сосед Бозор — пятнадцать дети! Но жена два. Раньше: ай, маладец, Наргиз-ханум! Вот тебе деньги, вот орден, будешь мать-героина. Сейчас — ничего. Один война! А дети кушать хочит, девичка тоже кушать хочит. А работа — ек. Нурек — ек, Фойзабад — ек. Иди, Фархад, сталиса наша родина Масква, там Лужков тебе работа дает, твоим детям чурек-пахлава. Спасибо, Масква, спасибо, Лужков! Только вот систра два месиса писимо не приносил. Пачиму писимо не принес, систра? — строго обратился ко мне.

— Пишут, — ответила я по-старинному.

— Пишут — что? Шах-наме, что ли?! — помолчал, сокрушенно покачал головой и негромко сказал: — За два месиса мой пилименик тюрьма сел. Помнишь Шукрулло, систра?

Я помнила Шукрулло. Ему чаще других приходили письма; каждый раз он смешно вихлялся с конвертом в руке — танцевал и чмокал меня в щеку.

— За что арестовали? — удивилась я. — Парень вроде веселый, безобидный.

— Безобидны, систра, совсем безобидны! — радостно подхватил Фархад. — Так получилось, клянусь-чеснислова! Ночью русский девичка встретил. Хороши девичка, красивы, платя савсем мала. Нимножко снасиловал. Молодой. Так вышло...

Калерия Ипполитовна вскинулась от негодования.

— Как это — так вышло! Хорошенькое дело — так вышло!.. У вас там в горах хоть война была, а здесь вроде мир пока!

— Не сердись, систра! — обернулся к ней Фархад и просительно ущипнул себя за кадык. — Не сердись! Парень двадцать три года, три года жена не видел, так бывает... Сначала сильно просил, потом немножко снасиловал, девичка тоже немножко давал, а потом плакал. А Шукрулло сказал: «Не плачь, девичка! Когда хочешь, позови. Вот тебе мой телефон». — И свой телефон написал. А ночью милиса пришел, всех на пол ложил, мне на голова нога наступал, а Шукрулло бил и уводил. Потом прокурор киричал: «Негадй, русски девушка снасиловал, девушка плакал!» А я так думаю: девичка за то заплакал, что парень сильно любил, так бывает... Нет, систра, мозги позови, подумай: если Шукрулло плохо делал, зачем телефон давал?

Калерия Ипполитовна опять не удержалась:

— Евлампия Епифановна, уймите вы этого доморощенного сексолога!

Фархад недоуменно посмотрел на нее, помолчал, потом опять всплеснул над головой руками:

— Э! Фархад в свой кишлак человек был, в Душанбе полчеловека, в Масква чучмек. Пилименик тюрьма сажал, я малчал, как турус. Но систра знайт: принеси писимо — хороши магарыч будет, вот такой фергански дынь! Пешкеш!.. А твой подруга тоже пошта работает? — перевел взгляд на Калерию Ипполитовну. Что-то в его лице изменилось, вроде как удивился или приосанился.

— Да, — кивнула та. — Я тоже почтальонша.

Внимательно осмотрел с головы до ног.

— Ничего, — утешил. — Самый главный — есть работ, есть кусок хлеба. Ничего, систра. Как этот день пройдет, так вся жизнь промелькнет... — Встал легко, без усилия, отлучился к киоску на центральной аллее. Через пару минут вернулся с мороженым в вафельных рожках.

— Возьми, систра, на здоровье! Фархад русский женщин не пугает, Фархад русский женщина уважает, — приложил руку ко лбу и груди и ушел в сторону орешника. Рыжий куртец долго мелькал между желтеющей листвы.

— Ишь, каков! — усмехнулась Калерия Ипполитовна. — А вы говорите — чурка. Наш Ванек так бы не сумел. — Надкусила вафлю, лизнула язычком мороженое. — Хотела пригласить вас на чашку кофе, но ваш друг иначе распорядился.

— Какой он мне друг! — обиделась я. — Письма ему носила, с родины, от жены

или дочерей? У них женские имена от мужских не отличишь. Живет с земляками, всемером, в подвале, в одной комнатенке. Как кроты, прости Господи! Сырость, духотища, но не унывают. Все молодые, веселые, худого не подумаешь. А этот у них за старшего, навроде дядьки.

— Что же он не доглядел, дядька ваш!

— Догляди за такими, за черноглазыми! — Рукой махнула.

Из аллеи сквозняком потянуло.

— Дымок никак не выветрится. Чуете? Это дядька листву сжигает, по старинке. Неслух.

Она воздух вдохнула, вроде принялась, потом головой мотнула.

— Это у вас чутье таежное, а мне с моим гайморитом...

Я с мороженым управилась, а она все лижет, как кошка.

Под деревьями смерклось, и народу поубавилось. Калерия Ипполитовна огляделась, голос понизила:

— Петр и Павел день убавил.

А я:

— Петр и Павел в июле был, нынче Покров на носу.

— Молчу, — говорит и рот себе зажимает. — В церковном календаре ни бум-бум.

— А я хоть в нем сильна, — говорю. — Зато в остальном дура дурой, одна взвесь в голове.

— Опять вы за свое, лукавая женщина! Экономически просветила, в национальном вопросе подковала, а все деревню из себя строит!

— Ничего я не строю, — говорю. — Как есть деревня.

Махнула на меня рукой и встала:

— Может все-таки по чашке кофе?

— Спасибо, — говорю. — Сегодня мы рано, есть еще время Наталью Ильиничну проводить, давно у ней не была.

Влезла в куртку, с удовольствием утеплилась: не только смерклось, но и похолодало сразу.

— Это которую Наталью Ильиничну?! — удивилась. — Уж не ту ли, которая вашу хозяйку на весь магазин стыдила, до слез довела.

— Да ну что вы! — возразила я. — Видели бы вы, как они после того случая подружились. Вот вы в Бога не веруете, а я думаю, не случайно Господь так их свел, слезы ихние смешал и сердца утешил. Унизил в бедности и вознес в чистоте!

Она, смеясь, помотала головой:

— Права Виолка насчет вашей речи, видно от Псалмов и Писания. Сейчас так не говорят. А зачем вы к ней?

— По дому помочь. Борща наварить. Простирнуть, если что.

— Мало вам своего дома, неугомонная вы женщина! Еще почта впридачу. Отдохнули бы...

— Отдохнем, — говорю, — когда Господь приберет.

— Знаете, что я вам скажу, Евлампия Епифановна: с вами и мне спокойней стало, если что, в беде не бросите.

— Не шутите так, Калерия Ипполитовна. Не след судьбу дразнить...

Мы уже шли по направлению к выходу. Навстречу рослая молодуха везла в инвалидной коляске длинноволосого великана: я узнала дальних соседей, хотя в сумерках под деревьями их рыжие волосы сделались черными.

— Хорошо, если они брат и сестра, а не супруги, — сказала Калерия Ипполитовна.

— Чего уж хорошего, — буркнула я.

Она даже засмеялась.

— Тоже верно!

На остановке распрощались: решила до Натальи Ильиничны автобусом доехать. Хоть и близко, и в кроссовках, а ноги не казенные.

— Храни вас Бог! — сказала Калерии. — Красивый вы человек. Не только Хайлов, мы все на почте любимся.

— Да будет вам! — отмахнулась. — Виолетте спасибо — не пустой получился день. Я много чего про вас узнала.

— Зато я не узнала ничего.

— Это поправимо! — отмахнулась весело. — Не в последний раз сидим, а я болтуня, — и пошла от остановки к домам. Ну, походка! Как пишет! И головку держит, и кулачком отмахивает, и стан колеблет, приманчиво и прилично. Вот с кем довелось покалякать! Видел бы батяня, может, перестал бы обзывать...

Стою на краю тротуара, а из сумерек, из-за поворота по мостовой не автобус, а телега на резиновом ходу выкатывается. Шины по асфальту мягко шуршат. Унылая лошадка в оглоблю впряжена. Битюг — не битюг, но рослая. Холка крутая, круп широкий, скребком до блеска выскоблена. Копыта звонко цокают. Подковки по звуку новые, не сбитые: цок-цок, цок-цок. Что такое: телега посреди Москвы! Катит неспешно. А на ней орава ребятни — мальчишки, девочки. Не отроки и юницы — дети. Пионерия — подумалось по-старому, по-советски. Глядь, и впрямь из-под курток и кофточек, от вечерней прохлады запахнутых, красные галстуки полыхают. Что за чудо! Откуда взялись? Оторопела, смотрю внимательней. Девочки от внимания моего приосанились, встрепанные волосы и косички приглаживают, под платочки убирают, а шкет озорной, крепышок синеокий соорудил рожицу и спрятался за товарищем. Ишь, бедовый!

По головам не считала, но озорников тех не меньше пятнадцати. Смотрят окрест с любопытством, без робости, пересмеиваются, подначивают друг дружку. Похоже, впервые в Москве, к вечеру добрались. А на козлах у них мужик в мятой шляпе и душегрейке из выворотки: уставился на круп чалого и ни гу-гу.

Как со мной поравнялись, мальчишка постарше привстал на коленки и рукой помахал:

— Тетенька, а тетенька!

— Какая она тетенька! — осекла его писклявая девочка. — Разуй глаза, куриная слепота!

— А кто? Дяденька, что ли?

— Бабушка, вот кто! Невежа!

— Тетенька! — упрямо повторил мальчик.

— Чего тебе, племянничек? — усмехнулась я ихнему спору.

— Как проехать на Красную площадь?

— Дак кто ж вас пустит на Красную площадь в телеге?

— А это не ваша забота, — задиристо ответила та же девчонка. — Правильно ли едем, бабушка?

— Не сворачивайте, — сказала я. — Переедете Москва-реку, а там и Красная площадь близко. Только вокруг Кремля милиции густо, и в форме, и в штатском.

— Ништяк, мамаша. Все схвачено.

Это сказал возница и обернул ко мне молодое лицо с мягкой бородкой по скулам.

Я почему-то не ожидала, что он заговорит. Думала, так и отмолчится. Спросила осторожно:

— Издалека ли едете, мил человек?

— Из Расеи, — ответил.

— Не говоришь? Не велено, значит...

— Так сказал же!

— А красные галстуки как понять?

— Так пионеры же!

— Будет тебе! — в досаде махнула на него рукой. — Какие нынче пионеры? Буржуи кругом...

— Не бойсь, мамаша! У меня их много, пионеров! — Мужик вдруг улыбнулся открытой белозубой улыбкой и красиво, как в кино, приподнял свою мятую шляпу.

Телега покатила шибче, зашуршала-зацокала. Девочки махали мне платочками. Синеглазый озорник высунулся из-за спины дружка и показал язык.

Погрозила ему кулаком, хотя ничуть не злилась. Отчего-то даже стало весело.

Вот так встреча! Благодарю, Господи, за нечаянную радость! Лесная ли школа устроила деткам экскурсию, возница ли белозубый так хорошо пошутил, но издали все слышался цокот копыт... Значит, не помстилось, не привиделось...

Дом Натальи Ильиничны новый, большой. «Элитный» называется. Через бизнес в нем квартиру купила. Слава богу, успела, пока ее родственничек кровный, Женечка-толстожопый, не разорил...

Подъезд в цветах — хоть праздники закатывай!

Консьержка не в кутке продавленном, как мне доводилось, а в комнатке с часами, с кофейником и чашкой на столе.

За стеклом Райка сидит, рукодельничает — машина вязальная.

— Вы к кому?

— Догадайся.

Глянула поверх очков.

— А-а, пришла Ильиничну провести!.. Что-то к ней никто не ходит, кроме фирмы обслуживания.

— Вот и я от фирмы, — пошутила.

— Ни сыновей не видно, ни внушек. Детей нарожают, а много ли радости?..

— Дети и есть воплощенная радость, — сказала я.

Перестала вязать, даже очки сняла.

— Вот ведь какая! Молчишь, молчишь, а скажешь, так ну!..

Лифт нашему не чета, светом залит, весь в зеркалах — хоть стригись на ходу. Ни рисунков непотребных, ни словечек. Правда, помню после Нового года похабную «пушку», поверх зеркала помадой намалеванную, и надпись размашисто: «Артиллерия — бог любви!!!» Видно, напилась кобылка и взыграла. Тоже непотребство, а элитному дому подстать...

Наталья Ильинична тоже шутку любила, подругу свою Анну Сергеевну смешила до слез. И грубого словца не избегала... Поставщики сантехники в ейных магазинах народ ушлый, полуобразованный-полукриминальный; как она говорила, у каждого по две восьмилетки за плечами — одна в школе, другая в тюрьме. Однако ребята смысленные, ничего не скажешь, котелок варит! И своего прошлого не скрывают, чуют, что пришло их время: советская тюрьма не в укор, а во славу. Вот ведь как... Поставщик финских унитазов сказывал: в ихнем лагере начальствовал добрейший мужик — попадались и такие. Хотел что-нибудь сделать для зеков, голову ломал, и ведь надумал! Вызывает бригадира плотников и приказывает сколотить сортир. «На сколько очков, гражданин начальник?» — спрашивает бригадир. «Давай на тридцать! На сорок!» — отвечает широкий начальник. «Зачем столько, гражданин начальник? — удивляется бригадир. — У нас уже два сортира». А начлага, щедрая душа — от всего сердца говорит: «Пусть люди серут!» «Натура, она хоть как, а себя окажет!..» — хохотала Наталья. И бедная Анна Сергеевна тоже смешливые слезки утирала...

Поднялась на шестнадцатый, звоню. Соловей за дверью залился, защелкал, ну прямо яблони в цвету! Вслушалась — тишина. Квартирища огромная, волоча ногу, через коридор телепаться долго. Снова кнопку вдавила и сквозь трели расслышала

звук, деревом по дереву. Стул перед собой толкает для опоры. Ткнулась в дверь, голос тихий:

— Кто?

— Это я, Евлампия! — откликнулась бодро. — Отмыкайте свои засовы, Наталья Ильинична! Не забыла вас. Сейчас похозяйничаем на кухне, борща наварю, картохи нажарим... И помолимся перед трапезой.

— Ой, Евлампия! Где тебя носит, мать моя! — сквозь замки и цепочки еле слышу, а в приоткрытую дверь лицо испуганное. — Не ломись, медведица, сейчас... — Смотрит снизу: левый глаз на щеке, правый на лбу. Это с ней после инсульта. Особенно от волнения личико перекашивает.

— В чем дело? — спрашиваю. — Стряслось что?

— Тише ты! — шепчет. — Дай дверь отпереть! — последнюю цепочку сняла и распахнула. — Ну вот, теперь рассказывай, где тебя носит.

— Да нигде, — растерялась я. — На почте была, рекламу разнесла, потом в парке посидела с дамочкой знакомой. А в чем дело? — спрашиваю и пытаюсь из куртки выпростаться.

— Погоди раздеваться. Может, придется домой бежать.

— А в чем дело?! — в третий раз спрашиваю, с нехорошим предчувствием в лицо ей заглядывая. — Говори, бога ради!

— Даша тебя обыскала, — говорит. — И сюда звонила, и на почту.

— Ну и что? — отлегло немного. — Вот она я, куда денусь?

— Что-то не понравилась мне она. Разговор не понравился. Речь сбивчивая, сумбурная, — на стул опершись, смотрит тревожно, испуганно даже. — Неужели опять пить стала?

— Бросьте, пожалуйста, Наталья Ильинична! — возмутилась я. — Когда это Даша пила? Не видали вы пьющих!

— Ты за нее не заступайся, а лучше поспеши домой. Что-то с ней неладно. Такое несла, что никак в себя не приду. Что-то про казино: то ли она проиграла, то ли ее проиграли...

— Как это — ее проиграли?! — перепугалась я. — Человек — не куш, и не брошка.

— Не знаю, Евлампия, не знаю. Знаю только, что сейчас все возможно: и состояние проиграть, и квартиру, и человека, особенно красотку. Да хоть дитя малое... Кстати, и про ребенка что-то говорилось... Разве у Дашеньки есть ребенок?

— Наталья Ильинична! — даже забасила от негодования, по ляжкам себя хлопнула. — Что вы такое говорите! Откуда у Даши ребенок?!

— Что ж ты так возмущаешься, дорогуша! Откуда дети берутся? Если верно расслышала, ребенок больной, в срочном лечении нуждается.

— Так это у ее подружки сынок, у Лильки Керимовой, с которой они вместе балету обучались. Он в лечении нуждается, Сашенька наш...

— Во-от! — говорит Наталья Ильинична поспокойней, подбородок выпятив. — Значит, не ослышалась. Ты меня не сбивай, Евлампия, Я и без тебя своей голове не очень доверяю. Так что не топчись тут, а скорей беги к ней. Боюсь, как бы девчонка глупостей не натворила. В таком состоянии они на все способны.

— Ладно, — говорю. — Не паникуйте. Утром ее видела нормальную, да и Федор Вениаминович, поди, вернулся...

Пока назад в куртку влезла и замки-засовы отперла, она набрала телефон, но ответа не получила.

Тут и у меня сердчишко екнуло. Кто его знает: черт не дремлет, беда — мгновенье!

Никогда так не спешила. Ноги не подвели, а сердце чуть не выскочило. Бегу, думаю: неужто опять с Дашенькой неладно?! Опять за свое?! Случалось девочке и

после старицы оступаться, но сама выпрямлялась. Ну и я укрывала, только бы дед не узнал. Доукрывалась...

Сколько дорога заняла, не знаю. Но добежала, вся в мыле. И лифт доскрипел, открылся.

В квартире тихо, одни часы напольные в гостиной важничают.

— Даша! — зову. — Дашенька! — Робко почему-то зову, не в голос. Страх, не шутя, зенки вылупил. Дрожащей рукой приоткрываю ванную — страстей в телевизоре нагледелась. Слава богу — пусто! И в кухне тоже. И в гостиной никого, кроме часов.

Спешу к ней в комнату, родительскую бывшую, с двуспальной кроватью. А Дашенька — вот она, ангелочек наш, баловница! На кровати посапывает, разве что не мурлычет. Пресвятая Дева, благодарю, что услышала мою молитву и уберегла девочку нашу от беды и напасти! Вот она, в красе и во здравии. И хоть винцом непотребно пахивает, я не в претензии. Какие уж претензии, коли радость такая!..

На тумбочке возле кровати бутылек квадратный, нерусский, и стакан тяжелый, уемистый — возле головки девичьей неуместно, непристойно даже. К тому же скоро Федор Вениаминович вернется...

Наклонилась убрать — от греха подальше. А Дашута, глаз не раскрыв, шепчет:

— Лампада! — шепчет. — Лампадушка!

— Что, Дашута? Что, моя хорошая? — от ее всхлипа сердце екнуло. — Спи, золотко, спи...

— Дедушка приехал? — спрашивает.

— Нет еще, — отвечаю. — Припозднился Федор Вениаминович, сама жду.

— Это хорошо, — облегченно вздыхает, а глаза закрыты.

— Что же хорошего? Ночь на дворе.

— Не хочу, чтобы в таком виде застал.

— Стыдишься, значит, — говорю. — Зачем же такое над собой делаешь, что деда стыдишься?

Глаза открыла, смотрит, не моргнет.

— Я покамест ничего не делаю, — отвечает холодно. — Покамест я сосредотачиваюсь.

— А это что? — показываю пузырек нерусский. — Так-то ты сосредотачиваешься, ласка? К лицу ли тебе? О дедушке забыла — бабушку любимую вспомни. Она ведь все оттуда видит...

Нетвердо к бутылке потянулась, промахнулась даже, но успела отхлебнуть из горла. Я по руке шлепнула. Отдернула руку и вскрикнула, кривя ротик:

— Ай! Больно, Лампа! Ты чего дерешься?

— И не так схлопочешь! Забыла, какая у меня рука тяжелая...

— А-а! — отмахнулась слабо. — Дичь какая-то на пьяную голову. Сказать? — На локте приподнялась, глаза округлила и говорит шепотом: — А что, если он пол сменил, и потому скрывается.

— Кто? — сомлела я.

— Да Филька наш.

— Что ты говоришь, Даша? Как это пол сменил?!

— Очень просто...

Ноги не удержали. Села на кровать, крещусь испуганно: свят, свят!.. Видать, опять с девочкой худо. Пытаюсь в глаза заглянуть, да свету маловато. Жива ли хоть мать Саломия в Лосьем Куту... Пресвятая Богородица!.. Свят, свят...

А она на подушку откинулась и с хмельной улыбкой сказала:

— Надо бы уточнить, как мой желтопузик-коллекционер уточнил: куда делся мальчик?.. Или уже не мальчик? — И тут же вроде как спохватилась: — Все, Лампа, все! Забуди! Это я с перепугу. С перепеляку. Проснулась, в доме никого. Так тошно стало, аж в пот бросило. Ты-то на почте, а дедуля где?

— Не знаю, не сказывал. По-моему, с Сергеем Яковлевичем за город наладился. Помолчала, сказала раздумчиво:
— Кажется, я знаю, куда он наладился.
— И куда же? — спрашиваю. — Чай, недалече?
— Денег поехал добывать.
— Каких денег? — удивилась я. — У кого?
— Он и на большой дороге встанет, если надо, — улыбнулась. — Краснопевцев!
— Это что же выходит, — говорю. — Дед на большой дороге жизнь кладет, а ты проигрываешь в этом... как его? В игорном заведении. Признайся, было такое?

— Откуда ты знаешь? — удивилась.
— От Натальи Ильиничны...
— Выбрось из головы, Лампа! — приказала и брови насупила, как мать ее, Беата. — Забуди! Что там было, никого, кроме меня, не касается. И вообще уйди, пожалуйста! Оставь меня. Лучше посплю, пока деда нет.

— И то, — говорю. — Дурь лучше выспать...
Поправила на ней плед, поцеловала в плечико, бутылек квадратный с тумбочки взяла и поплелась к дверям. Уже на выходе услышала:

— Тетя Евлампия, почему нас все обижают? — горько так спросила, обиженно. Как дите малое.

Дверь тихонько прикрыла и на кухню. Иду, чуть дышу. А про себя думаю робко: не прав медведь, что корову задрал, но не права и корова, что в лес пошла...

Потом дух перевела, перекрестилась. Воду поставила, гречку перебрала, лук почистила.

Отпустило маленько, и почувствовала, как устала: ноги свинцовые, голова ватная. Все чаще такое накатывает: каменное бесчувствие. Надо до Федора Вениаминовича продержаться, покормить человека с дороги, а потом можно и лечь, ноги вытянуть — в мечтах и то легчает...

Дашенькины слова горькие припомнились: почему нас все обижают? Кто обижает? Неужто я не доглядела?... Не по уму мне Дашенькина жалоба, не по размеру. Хотя Калерия Ипполитовна расхвалила-утешила, батяня лучше знал, колотухой звал: — «Взвесь в голове!» Хошь взвесь, хошь мерь — сразу не ответишь. Одно чувствую: стыдно мне от ее вопроса. А чем помочь — не ведаю... Растеклись мои Краснопевцевы, обмельчали, как река в засуху, а обратно слиться — ливень надобен...

Сковороду раскалила, принялась лук поджаривать, бережно, на слабом огне, до розовой мягкости, как Федор Вениаминович любит.

Потом крупу в кипяток всыпала, посолила. Погодя накрыла крышкой и ослабила огонь.

Зашла к Дашеньке форточку открыть. И тут пробили часы в гостиной. Девять насчитала, если первый не упустила. Звон внушительный, благостный, прямо как в церкви. Подумала, что шибко припозднился Федор Вениаминович; крестом осенилась, и потянуло помолиться. Однако вперед на кухне управилась, Марфа неисправимая: накрыла на стол, тарелки-чашки расставила, приборы-салфетки разложила, а на кастрюлю с кашей стеганую бабу посадила — пусть преет.

Усталость усталостью, но на сердце было нехорошо, зябко. Будто змея подколотная присосалась... Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно...

Лампада под иконой как жемчужинка блестела. Хорошее имя мне дети придумали, лестное. Включила рыжий торшер — она и погасла.

Тогда опять выключила и под жемчужинкой, в темном углу, преклонила колени. Тяжко, на пол бы не повалиться, но знаю, скоро отпустит. На Тебя уповаю, Пречистая Дева...

Крохотный огонечек мерцает во тьме, поблескивает оклад иконы. Лица не вид-

но, чернеет провал, обведенный тусклым блеском, но Богоматерь Одигитрию с малых лет запечатлела в сердце. Я видела ее внутренним оком и шептала:

— О, Владычице, Царица Небесная! Ты мне упование и прибежище, покров и заступление и помощь... Не имамы иная помощи, не имамы иная надежды, разве Тебе, Пречистая Дево... Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благосотвори... Иже на море управи. Путешествующим споспешествуй... Источник жизни, Христе милосердный, не отврати лица твоего от нас. Управи и споспешествуй, Боже! Спаси и сохрани...

Федор Вениаминович Краснопевцев

Сначала смесь страха и надежды — авось, обойдется. Как в морге при опознании. С чего бы? Кажется, никакого повода. Город — загляденье. То ли Белград, то ли Вена. Погода прекрасная. Сам еще молодой, легкий, легко и быстро шагаю по тротуару. Вот сюда, налево, еще раз налево и... Первый холодок тревоги. Тут должна открыться красивая аллея, ухоженный газон, и на нем бюсты на гранитных постаментах — солидные господа с бородками, а посередине невысокий обелиск из туфа с римской цифирью. Возле обелиска и уговорились встретиться... Поворачиваю налево, еще раз. Озираюсь. Тягостное предчувствие начинает сбываться. Ни аллеи с бюстами, ни обелиска. Может быть, за той ротондой над прудом? В пруду белые лилии, прибились к берегу. Но мне не до красот, мозг все громче сигналил тревогу. Торопливо обхожу пруд и ротонду... Открытое пространство, учебные корпуса разбросаны по парку. Капитальные постройки, коринфские колонны, эркеры в плюще, окна сверкают. Студенты оживленными группами шагают в разных направлениях — действующая модель броуновского движения. Не спрашиваю у них, где аллея с бюстами, потому что не поймут. Не из-за языка — в конце концов, объясниться можно и без языка; но эта толпа вроде безмолвных статистов — стаффаж; они и есть, и нет; как в басне — видит око, да зуб неймет... И что ей приспичило перед отъездом по магазинам! Теперь небось бегают где-то, беспомощной меня — у нее и с языком хуже, и с ориентированием. Что же делать? Зайти в один из корпусов, объясниться: «Ищу аллею с бюстами. Где тут у вас аллея с бюстами?» В крайнем случае, выйти на середину парка и обратиться к студентам: «Хелп ми, ребята!» Обступят, залопочут. Но ничего не предпринимаю. Сознаю, что никакое обращение не поможет. Где все-таки бюсты — Фрейд, Юнг, Швейцер?.. Вена, что ли? Совсем сбился. И это за час до самолета. А ведь нам еще за вещами и билетами. Хоть с этим повезло: профессорское общежитие вроде недалеко, на горке. Безликий остекленный барак, зато все, от горничной до детишек в коридоре, говорят по-русски...

К широкому перекрестку подкатил трамвай. Желтый, расписанный кленовыми листьями. Вспомнил, что неподалеку от профессорского общежития видел в траве трамвайную линию. Бросаюсь через перекресток, заскакиваю в вагон. Запыхавшись, озираюсь. Трамвай трогается и набирает скорость. А вдруг не туда? Хочу спросить, но в вагоне никого. Стучусь к вагоновожатому. Громче. Не оборачивается, шпарит с азартом сумасшедшего гонщика. А я никак не отдышусь. Задыхаюсь. Тычусь в дверь, в сдвинутые створки, ловлю носом прохладные струйки. Если трамвай сейчас не остановится и дверь не откроется, я не выдержу, задохнусь...

Просыпаюсь, хватая ртом воздух. Вырываюсь из сна, как из топи. Сердце колотится. На нем холодным гнетом, глыбой льда унижительное чувство беспомощности и потерянности...

Включаю торшер, дрожащей рукой нашариваю стакан с водой. Глоток. Другой. Хорошо хоть проснулся, пока не исчезла последняя координата. Иначе куда возвра-

щаться, и откуда — из Вены, из плена Вавилонского, из инобытия?! Тягостный, навязчивый кошмар. Этой ночью в него угодила Аннушка, всю жизнь прожившая у меня за пазухой, изредка выглядывавшая оттуда, как белка или любопытный щенок. А ведь мы ни разу не ездили вместе за границу. Обычно я потерянно блуждаю один по Белграду, точнее, по смеси Белграда с Будапештом и Веной, и в этом прекрасном городе, залитом солнцем и украшенном куполами и шпилями, тщетно ищу свою гостиницу, хотя все ориентиры на месте — и широкая река, и мощный проспект с двумя трамвайными линиями, и большой православный собор на горке...

Заблудиться в европейских столицах куда ни шло, но ведь и в родном городишке не нахожу родительский дом. Все сдвинулось с места, как Бирнамский лес... Нет, братец Фрейд, это не либидобелиберда. Это что-то похуже...

Слава богу, отдышался. Еще пара глотков из стакана. Взбил подушку, лег на спину. Теперь бы уснуть поскорей. Но фотография на столе притягивает взгляд: Аня смотрит скромно, чуть виновато, с деликатным любопытством, а в уголках губ обещание улыбки. Такое свойство натуры, или устройство уст: что бы ни выражало лицо, обещание улыбки не исчезало. Не в двадцать лет, и не в тридцать, когда сделан снимок, а всю жизнь, до последних дней. Ее мягкая славянская милота с возрастом растворилась в припухлостях щек и скул, высокий стебелек шеи укоротился, затянутый жирком, даже прелестно вздернутый носик чуточку расплылся под воздействием времени, но в уголках губ по-прежнему таилась улыбка...

С приходом черных лет, в девяносто четвертом, разразилась беда, а с ней пришли боль, мука, страх и тщетное напряжение сил...

То, что я увидел перед последней операцией, чему стал потрясенным свидетелем, осталось для меня непостижимой загадкой: от Ани стремительно отслаивались прожитые годы, время понеслось вспять, и на моих глазах она превратилась сперва в молодую женщину, потом в девушку, встреченную в Пушкинском музее, потом в школьницу-старшеклассницу, знакомую только по фотографиям. Она молодела на глазах, но проступавший образ горел изнутри трагизмом такого накала, который пугал меня, какого я не знал за тихой спутницей жизни. Он опалял, как гаснущий костер, на него больно было смотреть. Не знаю, что горело в ней, что она видела, возвращаясь к своему началу.

Потом все перегорело, погасло. Аня сказала слабым, бесцветным голосом:

— Федя, я умираю.

— Не говори так, Аня! Ты же знаешь, какой он виртуоз, — имелся в виду хирург.

Не слушая, вернее, не слыша, она сказала:

— Оказывается, это совсем не страшно. Только очень грустно...

Так она сказала, устало и просто...

Прости, Анюта, но я погашу свет. Мне надо отдохнуть, чтобы помочь Даше...

Мы с Петей сопровождали твою каталку до операционной. Нам выпала роль Харона — в операционной все и кончилось; я понял это, хотя выходившие из операционной ассистенты ничего не говорили.

Не стало тебя, и семью раскидало. Разметало, словно центрифугой. Не ты тому виной, но ты могла бы даже сегодня собрать всех и сблизить, объединить в семью, тебе это давалось просто, само собой. Такое у тебя было свойство. Твое сердце вмещало не только родню, но даже Евлампия. За долгую жизнь я понял: собирающее сердце — атавизм, наследие матриархата. У мужчин такого не бывает. Рядом с тобой я чувствовал себя бессердечным. В сущности, таким и остался...

Душа моя, Анюта, ты была хорошей женой, отличной матерью и прекрасной бабушкой. Что еще нужно для семейного счастья! И если не предъявлять завышенных требований, если судить без экзальтации и романтизма, мы были счастливы. Разве не так? С первого же дня, со знакомства в Пушкинском музее, перед Сикстинской мадонной в мае пятьдесят пятого и до рождения внуков — Дашеньки и Фили.

Тебе нравилось напоминать, какой мадонной мы благословлены, и чуть ли не этим объясняла наше семейное счастье. Жизнь и впрямь текла ровно, безмятежно; размеренная, обеспеченная, наполненная содержательным и успешным трудом, семейными радостями и духовной пищей, которую в избытке поставляли наши друзья — писатели, художники, музыканты... Наш семейный уклад служил предметом зависти и подражания. Как только его ни называли: тихая обитель, уютная гавань, стеклянный дом...

Даже то, что случилось потом, не разрушило семейного уклада и не бросило на него тень. Ты делала вид, что ничего не замечаешь, или в самом деле не замечала, я же внушал себе, что происходящее относится к тебе не больше, чем мои зарубежные командировки, или спичи на конференциях. Такое самовнушение, вернее — самообман. На самом деле я не устоял перед простейшим чувственным влечением. Солнечный удар. Либидобелиберда, ей-богу! Хотя, какая, к черту, белиберда! По-русски, это называется: седина в бороду — бес в ребро. До вульгарности точное подтверждение расхожего житейского наблюдения: была и седина, был и бес — не совсем в том месте, которое отводила ему поговорка. Не хватало только бороды — два года я брился с особой тщательностью, как альфонс, готовящийся к свиданию, или обожающий парады морской офицер. А ведь всю жизнь не понимал природы *этого*. Не понимал мужчин, живущих чувственной страстью, вроде «Невинного» из фильма Висконти, или ранимых героев Джереми Айронса. Беспомощность перед плотью, подчиненность физиологическому влечению представлялась чертой сугубо женской, исключавшей уважение и внушавшей жалостливое удивление. Может статься, что и двадцатипятилетняя верность проросла из твоего флегматичного темперамента, усугубленного нашим воспитанием. Мой опыт однолюба, другими словами — отсутствие сексуального опыта, прикрывал сосуд, в котором на слабом огне побулькивали умеренные страсти. Стечением обстоятельств градус в сосуде вдруг аварийно зашкалил и пробку вышибло к чертовой матери! Не слишком ли поздно это случилось?

Навсякая! Да и как вспомнить через столько лет...

Я не был пытлив, потлив и похотлив, как несчастный Гумберт со своей малолеткой (кстати, в американской экранизации Гумберта сыграл все тот же сухопарый красавчик с вагинальной тоской во взоре); мое влечение не было аморальным или патологичным, но аномальным несомненно. Только домик под яблонями мог уберечь нас от глаз и ушей (в особенности — от ушей) соседей... И при этом даже в тот сумбурный рязанский семестр, в те четыре с половиной месяца, что мы жили под яблонями (моими усилиями семестр перетек в семинар для преподавателей литературы, сплошь из женщин детородного возраста), я не допускал мысли об уходе из семьи, о разрыве с Аннушкой. Анна была женой, супругой, второй половиной, а *она* — уловом, добычей, трофеем...

Надо же, какой утонченный дивертисмент перед скетчем о давних событиях. О любви под яблонями! А вот скетча-то и не будет. Ни скетча, ни фривольной частушки. В мои годы не к лицу. Прости меня, Аннушка, что я увлекся этим воспоминанием. Не исповедью, не покаянием, а экскурсом в заброшенный сад. Но ведь у бессонницы свои законы. Верней, она сама себе закон — куда хочет, туда и ворочит. Крошево воспоминаний взвихривается от любого слова, любой мелочи, и долго не оседает. Ты умела забавно осадить меня, увлекавшегося собственным красноречием — на переделкинских ли посиделках, малеевских ли променадах или ялтинских терренкурах. «Не так щедро, Федечка, береги энзе!» — замечала ты, или: «Федор Вениаминович, держите себя в руках!» — и обещание улыбки в уголках рта обозначалось заметней...

Чем бродить по заросшему саду, лучше вспомнить дни наших трудов и забот. Ты одна знаешь, чего мне стоило закрепить в Москве и в конце концов занять кабинет в одном из лучших особняков на Поварской. Знаешь ты и то, что это никогда не было целью. Меня не влекли чины и кабинеты, ордена и банкеты, я сугубо плевал на них.

Они прорастали из трудов, как услужливые гномы из соломы. Цель была одна — утоление жажды! До сих пор помню восторг, испытанный у московских родников и колодцев — пыльных букинистических магазинов и тихих сумрачных библиотек. Я припал к ним, как таежный зверь, вырвавшийся из лесного пожара, и вскоре понял, что для полноценного утоления жажды нужны языки. Вырвавшийся из затерянной в таежной глухомани старообрядческой общины, я не владел никаким языком, кроме безгласного церковнославянского. Зато ты — птенец дворянского гнезда, сызмала чирикала по-французски и ворковала по-английски. Твоими трудами и моим усердием через два года я ворковал и чирикал не хуже тебя, а еще два года спустя освоил немецкий со словарем, определяя орнитологически — закаркал по-немецки. Немецкое косноязычие досаждало по сей день. На языке Гете я помалкиваю...

Как ты знаешь, трамплином в *з н а н и е* послужил московский университет, в ту пору еще располагавшийся на Моховой и только субботники проводивший на Ленинских горах, там, где невезучий Витберг планировал храм Христа Спасителя.

Как доказал своей жизнью основатель университета, усилие результативно. В моем случае оно обернулось последовательно золотой медалью уфимской средней школы, затем красным дипломом филфака МГУ, затем аспирантурой под доброжелательно-насмешливым прищуром незабвенного Сергея Михайловича¹ и дружбой с его толковыми учениками. В двадцать семь — кандидатская, в тридцать шесть — докторская, а в сорок два — первое выдвижение в членкоры. По слухам забаллотировали из-за поддержки Донатыча² в его мордовских мытарствах. Десять лет спустя коллеги, ценившие мои работы по лексике и поэтике платоновской прозы, повторили опыт. На этот раз помехой стало участие в отпевании колымского страстотерпца³. Не думаю, что причины названы верно, но такая мотивация мне льстит...

В те годы я увлекся Платоновым и Шаламовым. И убедился, что прекрасная и яростная энергия их прозы рождена великой идеей переустройства мира и социальной справедливости.

Так ли, этак — в калашный ряд не прошел. Не пропустили.

Напоследок попытался утолить давнее любопытство, прояснить этимологию родного топонима, однако и тут не преуспел, увяз в смутной области гипотез. Наше таежное поселение изначально называлось двойко: Лосий Кут и Лисий Кут. Сомнения зародились еще в школе, поскольку лис и лосей в наших окрестностях было не больше, чем в прочих таежных местах. Да и *кут* в далевском толковании с лесным зверем не сопрягается — больно метафорично. По моей гипотезе имело место обрусение китайского топонима: Лю синь кунь, или Ли сын куй. Обернулись же финские Кальма ваари русскими Холмогорами... Молодежь и вовсе Лоскутом называет, даже Евлампия иной раз оговаривается...

Ах, сразу уснуть не удалось, и пошла писать губерния. Тут только держись, не дай размахаться...

Спина затекла, на боку тяжело, ступни как нагретые утюги. Подышать по системе Бутейко, или посчитать баранов до тысячи. Приступай. Но где взять тысячу баранов? У кумыкского хана. У шамхала Тарковского, Арсения Александровича. Почему тысяча баранов, а, к примеру, не коров? Потому, что тысячу коров сегодня во всей стране не насчитаешь. А как обстоит с козами? В Подмосковье козы водятся. Выжили. Наперекор реформам. Молочник на даче, тот, что Дашуту панночкой величал, приносил нам козье молоко. Говорят, способствует укреплению костей и ускоренному развитию. Не от него ли Филя сызмала смысленный не по годам. Помню, не

¹ По-видимому, речь об известном пушкинисте С.М. Бонди. (Примеч. ред.)

² Андрей Донатович Синявский отбывал заключение в Мордовских лагерях.

³ Писатель Варлам Шаламов. (Примеч. ред.)

угнался на трехколеснике за соседским мальчишкой и обернулся ко мне: «Да ну его, деда! У него колеса вдвое больше!..» Это в пять-то лет... Филиппок...

Ну вот, совсем проснулся. Не упрямясь, старик. Не упирайся. Включи свет и скоротай часок-другой. Только вяло, скучно, флегматично...

Свет торшера залил комнату. Виноватый взгляд в сторону Аниной фотографии; в ответном почудилась искорка сочувствия.

Мысленно порадовался тишине и тут же услышал ход часов: чщак-чщак-чщак-чщак. После ремонта звук слышней. Как будто старый рыцарь вернулся из похода и поднимается по лестнице своего ветхого замка. Раз вообразив такую картину, не могу от нее отделаться. Чщак-чщак-чщак-чщак...

В конце восьмидесятых, в пору общественного подъема, на многолюдном собрании демократической общественности (так позиционировала себя в те годы часть интеллигенции), я услышал политическую маниловщину, заставившую задуматься как о природе власти, так и о людях, ее воплощающих. «А хорошо бы это было, — говорил популярный писатель, известный ироническим складом ума, — хорошо бы было, если б страна избрала президентом академика Лихачева, а правительство возглавил бы академик Сахаров...» На прочие важные должности предлагались Вячеслав Иванов, Сергей Аверинцев, Михаил Гаспаров, Юрий Лотман... Неужели он упустил Ростроповича?.. Распределения портфелей не припомню (кажется, до этого не дошло), но назывались персоны из этого круга. Каждое новое имя зал встречал радостными аплодисментами, а я недоумевал: почему столь славный перечень кажется насмешкой или апофеозом инфантильности... Грешным делом заподозрил знаменитого сатирика в издевательствах над слушателями, в высмеивании демократизации, как некогда им была высмеяна козлотуризация. Но нет — против обыкновения, он был серьезен и даже чуть печален... Лишь много лет спустя, после крушения очередной иллюзии, я понял, что в его душе, под сарказмом и иронией, жила утопия, детская мечта о Городе Солнца, управляемом Мудрецами. Возможно, что и в слушателях откликалась та же мечта. Но разве она не сестра коммунистической утопии? И неужели те, кто пытался ее воплотить, не заслужили ничего, кроме проклятий и поношения!..

Стол завален газетами: «Новая», «Независимая», «Коммерсант»... Среди них Петины публикации. Воюет сын. Отвоевал еженедельную полосу в губернских ведомостях и гнет свою линию — выводит родимые пятна капитализма, прямо каленым железом выжигает.

В политической сумятице девяностых нашел себе лидера, ледокол, и встроился в кильватер, вошел в команду, поскольку увидел в нем человека, способного разгрести завалы, не гребя под себя, послужить отчизне без корысти. Молодой генерал с открытым русским лицом, скуластый, курносый, басовитый, он и впрямь внушал доверие. «Есть такой парень, и ты его знаешь!» Придуманный политтехнологами предвыборный слоган точно отражал чувства сбитого с толку народа. Оглушенные вакханалией рвачей и выжиг, люди искали опору, и многие (Петр в их числе) нашли ее в этом парне.

Их обманули — всех! И прежде всех — генерала. Литератор Петя с первых дней соотнес своего кумира с героем популярного в те годы уорреновского романа Вилли Старком и, адаптируя к нашим реалиям, цитировал: «Холуй и подручные Боби раскусили его и обвели вокруг пальца. Ибо он еще не знал: если златоусты в полосатых штанах и дорогих автомобилях приходят к тебе с душевными беседами, лучше их не слушать». Я помнил текст настолько, чтобы подначить с непонятной досадой: «А не обещал ли твой генерал, что вернется, пригвоздит холуев к двери хлева и не позволит сгонять с них навозных мух?..»

(Какая досада, что Паше Луспекаеву¹ не довелось сыграть Вилли Старка в экранизации романа; вот, кто был воплощенный Вилли — обликом, повадкой, темпераментом!..)

Кончилось все плохо. Хуже, чем в романе. Генерал погиб. Разбился в вертолете вместе со своим окружением. Слава богу, Пети не оказалось рядом. Катастрофу списали на рельеф и метеоусловия: сопки, ветер, снежный заряд. Петя не поверил, попытался расследовать сам, но тщетно: Мегре из него не получился.

Зато стал хорошо писать. Сильно, сжато. Куда лучше, чем давние пробы пера в беллетристике. Он обрел себя в острой полемике и злой публицистике. Откуда-то взялись желчь и сарказм, вспыхнул пафос. Последнее время радует меня, даже удивляет. А ведь по молодости был легковесен, суетлив: брился на толчке, галстук повязывал, допивая кофе перед зеркалом, и в прозе рассыпался мелким бесом — то жеманничал куртуазно, то нагло брутальничал. И вдруг такая перемена! Поступь в слове твердая, фраза весомая. Все оттого, что появился значительный повод для высказывания, и убежденность — своя, не наемная. «Совращение строптивой», «Робость Робин Гуда», «Пир пираний», «О чем молчит колокол»... Хорошо! В десятку. Не газетный стеб, и не рекламный слоган из пелевинской книжки, а внятный классовый лозунг.

Генерала давно нет, но кое-кто из единомышленников уцелел. Они и дают Петру Краснопевцеву «зеленый коридор» к читателям, жаждущим слова правды...

В моем понимании, голос прорезался после ялтинской истории с Беатой, ее загадочного исчезновения и поползших по Москве слухов. Они фрапировали Петю. Да и я был задет: несколько наших начинаний, в том числе однотомика Петиной прозы и дневники Платонова, профинансировал Гарун аль Рашид, подозрительно исчезнувший одновременно с Беатой. Не то чтобы Петрушу вдохновили угрызения, сомнения или ревность — словесное варево варится в непроглядной тьме, но брешь, через которую стала просачиваться лава, возникла в тот злосчастный год, в этом я не ошибаюсь. Прости, сынок, если я не прав...

Последняя твоя атака называется «Совращение строптивой». Несколько раз перечитал и поставил пятерку. В ней все убедительно: и экономический анализ, и житейские примеры, и нравственные выводы. Приведенные тобой цифры не с потолка взяты, а имена, на которые ты ссылаешься, безупречны: Тютчев, Толстой, Чаплин, Брехт... Особенно хорош Че Гевара, парень не тушует даже рядом с такими гигантами!.. Разве ты не прав, когда после перечня фактов говоришь: «Столько раз сказав «дерево», мы обязаны сказать «лес». Где-то прочитал: «Если мы видим множество странных явлений, и существует гипотеза, все эти явления объясняющая, то с большой вероятностью эта гипотеза справедлива». Другими словами, в стране идет не стихийный процесс, а целенаправленная работа, метафорически определенная как «совращение строптивой»...

Мамона много лет силится совратить строптивую красавицу-северянку и с этой целью оборачивается то беспечным транжирой, то плешивым прагматиком, то бородатым куркулем-семьянином, вроде Германа Стерлигова. А красавица ни в какую! Бабки-мамки шипят на нее, папаша грозит наказать, соседки хвастают цацками и нарядами, а она глядит в окно и русу косу не расплетает. «Самые зычные голоса оповещают нас о том, кто правит этот бал, но мы восхищаемся вокалом и упускаем смысл». Ай-да Петя!.. «Бесенок наживы, пронырливо эффективный в бизнесе и торговле, злокачественно вреден в сфере нравственной и духовной: об этом свидетельствует вся мировая литература и недолгий опыт наших реформ». У кого найдется хоть полслова возражения, поднимите руку! Это можно только обсмеять хохмочками и

¹ Павел Луспекаев — актер ленинградского БДТ; широкому зрителю известен по роли начальника таможни в фильме «Белое солнце пустыни». (Примеч. ред.)

гариками, вроде «Давно пора, едрена мать, умом Россию понимать», или «Какая сволочь разбудила Герцена? Кому мешало, что ребенок спал?» Но наша кровь еще не так стара, а ум не так изощрен опытом, чтобы не рождать ничего, кроме цинизма. «Мы еще "Калинушку" певали, мы еще Некрасова читали, мы еще не начинали жить...»

А тут узнаю свои слова из наших с Петей дискуссий; цитата приведена без кавычек и ссылок, но я не в обиде — мысли у нас схожие, а дело общее. «Реформы могут быть успешны, а их результаты долгосрочны только в том случае, если они отвечают базовым инстинктам и менталитету народа, его представлению о справедливости, о добре и зле. Очевидно, что нынешние реформы ни одному из этих требований не отвечают; более того — их вектор диаметрально противоположный».

Не скажу, что в словах Петра слышу свое влияние (он жестче и радикальней), но то, что он вырос в этом доме, подле меня и Ани, очевидно. Его резкое слово льстит мне, как мое непрохождение в академию.

«По стране разгуливает не добродушный Топтыгин с партийной эмблемы, а омерзительная помесь лисы, свиньи и тигра. Этот монстр так обнаглел от безнаказанности, что бесцеремонно навязывает нам свои «понятия».

Прочитав это, Даша удовлетворенно хмыкнула: «Круто!» — и с интересом взглянула на отца.

В сущности, о том же, но совсем иначе, с женской простотой и мягкостью, сказала Марина Деникина, живущая во Франции дочь белого генерала. Тележурналист любопытствовал, как ей там живется, на что она ответила, что все у нее хорошо и в профессии, и в жизни. «Но здесь очень важно, в каком доме ты живешь, — как бы извиняясь за французов, пояснила она, — есть ли у тебя яхта, на какой машине ты едешь... — и немного виновато добавила: — А я этого не люблю...» При этом она улыбнулась прелестной, немного смущенной улыбкой. Так коротко и легко выразила то, о чем длинно и тяжело писали Лев Шестов и Питирим Сорокин, «веховцы» и «сменовеховцы», а теперь и ты, сын. Слова словами, но ничто не могло донести ее мысль точнее этой невыразимо русской улыбки. И еще: она грассировала, как чистокровная парижанка, и родное, русское, проступило в ней наперекор фонемам. Как рябина в последней строке цветаевского плача¹...

А еще Петр выработал свой прием — эффектный и эффективный: он меняет ракурс и по-новому освещает общеизвестные события, отчего в них точнее и глубже выявляется суть. В одном из памфлетов (кажется, это был «О чем молчит колокол?») он с пафосом восклицает: «Какая уверенность в своей *п р а в д е*, в силе своей *и д е и* стоит за отправкой в Европу в разгар окаянных дней и идеологического мордобоя целого парохода рассерженных мужчин — настоящих кулачных бойцов — с самым высоким по российским меркам «ай-кью»! Ведь не только их головы, но и баулы были набиты тем, что впоследствии назовут антисоветчиной».

Меня смутил сарказм этих строк (возможно, заговорило чувство коллегиальной солидарности), но я не мог не признать, что изменение ракурса меняло соотношение «философского парохода» и новой России.

А в «Робости Робин Гуда» он предложил заглянуть на станцию метро «Кропоткинская», которая много лет называлась «Дворец Советов», и сравнить классическое совершенство ее пропорций и линий с бездарной тяжестью тысячетонного Тона, чье сооружение зоркий Паоло Трубецкой назвал «самоваром, поставленным посреди Москвы». Если таков транспортный подвал, станция подземки, можно вообразить, чем стал бы сам Дворец Советов в полном воплощении!..

Добавлю и от себя. Пушкинские бумаги сохранили такую запись: «Человек, освидавший "Дон Жуана", мог отравить его творца». Как думаешь, Пётра, на что

¹ По-видимому, речь идет о стихотворении М. Цветаевой «Тоска по родине! Давно разоблаченная морока!» (Примеч. ред.)

способны люди, рекламирующие гаджеты и тампаксы под ликующий апофеоз «Девятой»? О-о, это не пустяк, мой милый! Совсем не пустяк! Это опасные люди. Не случайно твой монстр соединил в себе лису, свинью и тигра. Такого и у Босха не увидишь! Селекционная удача правящих нынешний бал... Обнимитесь, миллионы!..

Все. Так не пойдет. Распалится. Пульс зачастил. Небось и давление подскочило. Пора принимать испытанные меры: хвойная ванна и снотворное...

Нашарил шлепанцы, пошаркал к дверям: чшак-чшак-чшак. Прямо рыцарь на лестнице замка. С возвращением, фон барон!..

Заглядываю к Дашеньке. В сумраке вижу заправленную постель. Все-таки подхожу, трогаю. Заправлено. Как ни странно, чувствую не тревогу, а обиду. Тревога подступает позже, но обиду не устраняет.

А в детстве так забавно прощалась на ночь — обходила всех в ночной пижамке и каждому в отдельности кивала: «Ночи спокойной, до завтра, я ухожу спать!» Закончив обход, обращалась к себе: выпячивала животик и наклоняла головку, подбородком в грудь: «Ночи спокойной, до завтра, я ухожу спать!» Прощалась с собой до утра. А утром просыпалась как солнышко ясное: «Дедуля! Бабуля! Доброе утро!..» — и глаза сияют...

На той неделе застал в кабинете. Забралась с ногами на диван, книжку листает. И почудилось — на глазах слезы.

— В чем дело, Дашенька?

— Ничего, дедуля. Все хорошо...

— Как же хорошо? Разве я не вижу!

Пожала плечами, улыбнулась. Потом, вроде как отвечая на мой вопрос, книжку протянула. Тоненькая, на обложке название — «В пригороде Содома»¹.

— Ну и что это значит? — присаживаясь рядом, спросил я.

— Ничего, — опять пожала плечами. — Стихи хорошие. — Прочитала вслух: «В пригороде Содома». — Удивительно, как поэты умеют в двух словах сказать все! Ты с ней знаком? — спросила об авторе.

— Признаться, сейчас меня больше интересуешь ты. Что происходит, Даша?

Бросила книжку на столик, села, иронически раздумчиво продекламировала:

— Со мною вот что происходит... — И вдруг уткнулась личиком мне в плечо. — Происходит, дедушка, — сказала порывисто, сдавленно. — Вот хоть сейчас... Раньше как было? Когда что-нибудь случалось, в школе, в училище, с мамой, или просто хандрила, приходила в твой кабинет, иногда при тебе, но обычно в твое отсутствие, забиралась на диван, как сейчас, и смотрела — стол, картины, фотографии, книжные полки; еще лучше, если ты за столом. И, представь себе, успокаивалась. Распрямлялась. Как будто эта комната излучала что-то. Спокойствие, уверенность, силу. Ты ведь никогда не был фолкнеровским Сарторисом, грозным полковником, чей письменный стол вызывал у внуков энурез. Вообще-то и я старалась стола не касаться, ни разу не взяла ни карандаша, ни листочка. Это не был страх, просто никакой необходимости в прикосновении, достаточно было облучения...

Она умолкла. Я подождал и слегка шевельнул плечом, побуждая продолжить.

— Ну...

— А теперь этого не стало, — с горестным вздохом призналась она. — Прихожу, и пусто. Как на кухне или в гостиной...

— У тебя неприятности?

— В пригороде Содома, — сильнее вжалась в плечо.

— Не понимаю иносказаний, — отстранился с досадой. — Объясни проще.

¹ Сборник стихов Инны Лиснянской, 2002 г. (Примеч. ред.)

— Проще так проще, — выпрямилась, убрала волосы со лба. — Мне нужны деньги.

— Много?

— Много. Как минимум, десять тысяч.

— Ну, десять тысяч как-нибудь наберем. У Евлампии наверняка отложено, да и пенсия скоро.

— Какая пенсия, дед? Какая Евлампия? — переспросила с досадой. — Мне нужно десять тысяч долларов!

Я оторопел. Перемножил в уме и ужаснулся: девочка просила совершенно нереальную сумму.

— На что тебе такие деньги? — спросил, боясь услышать в ответ какой-нибудь ужас из самоновейших, гангстерско-рэкетных.

Погладила по плечу.

— Бедный, бедный дедуля, как же ты испугался. А ведь десять тысяч только малая доля. Мы с Лилькой по частям собираем, вскладчину. Всю сумму даже называть не стану, чтобы не ушибить. Ты знаешь про болезнь ее Сашеньки. От меня. Да и она тебе рассказывала. Для спасения необходима операция. Берутся в Германии. Операция дорогая, по медицинским показаниям откладывать нельзя, декабрь крайний срок, а у нас и половины не собрано.

Что я мог сказать? Признаться, что отлегло от сердца? В этом было что-то постыдное, старческое.

— Что молчишь? — спросила.

Что я мог сказать? Нужны были не утешения, а совет. А лучше — деньги.

— А ты говоришь... — вздохнула, хотя я не сказал ни слова.

Это у нее врожденное. Инстинкт. По терминологии Евлампии — золотое сердечко. С малых лет не терпела чужой беды и боли, обо всех заботилась, всем сострадала — раненым птенцам, брошенным котяткам, грязным бомжам, от которых даже Аннушка спешила откупиться; одних выхаживала и кормила с блюдца, другим носила деньги, еду и одежду, в том числе свои обновы, привезенные из зарубежных поездок. «Никогда не думала, что от меня родится будущая мать Тереза... — раздумчиво усмехалась и качала головой Беата. — Дашута, тебе трудно придется в жизни, детка, так не годится!» При виде нищих личико ее искажала гримаска страдания, на глаза наворачивались слезы, а когда мать попыталась внушить ей, что побирушки только изображают бедных, с негодованием оборвала ее: «Перестань, мама! Как ты можешь!..» А тут сын подруги, которого тетешкала с пеленок...

Озадачила девочка. Оглушила. Все, что в доме представляло ценность, от картин до раритетов, было давно распродано. Без всякой надежды стал обзванивать приятелей-коллег. Долговая яма, в которую готов был безвылазно погрузиться, тяготила заранее, но до займа не дошло: московская профессура лопала солому. От отчаянья вспомнился пожарник Ермек из родного Лоскута — длинный, как жердь, с маленькой страусиной головой. В городке ходил слух, что Ермек продал свой скелет для анатомического театра в Уфе. Не помню, какую называли цену, да и стоимости человеческого скелета не представляю, но на мальчишку сумма произвела впечатление...

И тут Евлампия нашла забытую сберкнижку. Обнаружила во время уборки в книжном шкафу, в старинном фолианте «История умственного развития Европы». Книга полуторавековой давности избежала букинистов исключительно по причине плохой сохранности. Поистине, судьбе присуще чувство иронии!..

Комната Евлампии рядом с Дашенькиной. Слышу, как откашливается, хрипловато спрашивает:

— Федор Вениаминович, вы?

— Кому же еще быть, чудачка!
— Что-нибудь случилось?
— Ничего особенного. Просто не спится. Дашенька не звонила?
Отвечает не сразу, с недовольным кряхтением:
— Звонила. У подруги осталась.
— У какой подруги? — оживляюсь.
— Я знаю, у какой?! У Лильки, наверное...
— Надо было спросить.

Ворчит:

— Позвонила, и на том спасибо...

Ей можно и поворчать. Как-никак женщина совершила чудо. Чудо святой Евлампии!..

На найденном счету с 1979 года числится почти пять тысяч полноценных советских рублей. По грубым подсчетам за 25 лет, с учетом всех финансовых сальтомортале, они должны были превратиться, как минимум, в полмиллиона нынешних дистрофичных рубликов. Зная родное государство, я сразу скостил сумму вдвое и успокоился: остатка должно было хватить на то, чтобы выполнить Дашенькину просьбу. Выяснить что-нибудь точнее не удалось: по телефону мне напомнили про тайну вклада, но в то же время подтвердили, что индексация предусмотрена.

Ванная комната, единственная в стиле «евро»: из кафеля выложен античный пейзаж — что-то вроде послеполуденного отдыха фавна, краны и вентили сверкают, душ регулируется от пылевого до веерного. Подарок Натальи Ильиничны, Аниной приятельницы, разбогатевшей на сантехнике.

Пускаю воду, подливаю экстракт. Ванная наполняется водопадным гулом. И следом запах — хвойно-лесной, можжевельный. Большое зеркало чуть затуманивается, сглаживая морщины и складки на лице. Хрыч, когда перестанешь пялиться в зеркала...

Перебираюсь через борт и неловко плюхаюсь в воду.

Что ни говори, хорошо. Даже в бессонницу хорошо. Даже в отсутствие Даши. Анне в такой ситуации не пришлось бы в голову принимать ванну...

Стоило раскрыть найденную сберкнижку, как сразу все вспомнилось: и обстоятельства ее появления, и приземистое сооружение времен военного коммунизма, в котором помещалась поселковая сберкасса. Вспомнил и ту, что побуждала в те годы к необдуманному поступкам. А дальше случился сбой. Заминка. Провал в памяти...

Подбавляю горячей, погружаюсь по горло.

Слава богу, обошлось, но в ту минуту — это был самый настоящий ужас. Звонок от Альцгеймера: я забыл ее имя. Необычное, нерусское имя, но ставшее привычным, да что там — родным! Я перебирал все поблизости — Ульяна, Ульяма, Ундина, Уна, Урсула, потом наугад — Серафима, Римма, Ванда, Магда, Яна... Всю весну и половину лета мы жили в домике под яблонями, а потом я каждую неделю ездил к ней из Москвы; оказавшись в Туле или Рязани неизменно выруливал на Волгоградку, не щадя ни себя, ни хилого своего «жигуленка»...

Сначала я испытал недоумение. Потом испуг. Потом ужас, самый настоящий ужас, переходящий в панику. «Что это? Как понять? Что со мной?! — лихорадочно вопрошал я и молил кого-то: — Верни ее имя!» Казалось, что вместе с ее именем я теряю что-то бесконечно важное — особый орден, которым наградила жизнь, которым стала эта женщина, случайная на моем пути. И оно вернулось, ее имя. Оно выпрыгнуло из взбаламученного сознания, как мячик из пруда. Лесма. Господи, какое это было утешение! Лес-ма... Кто придумал это имя? Кажется, ее бабушка была латышка. Но для северянки она была слишком смугла. Гогеновская таитянка. Ладно сбитое тело, маленькие неразвитые груди с коричневыми, как каштаны, соска-

ми. Коротко стриженная головка. Немыслимой густоты растительность на лобке. И странный розовый нарост на задуге, размером с полтинник, след давнего фурункула, справа, на пядь ниже талии: он почему-то особенно возбуждал, дико и грубо. Она каждый раз слезно умоляла не трогать ее, и сопротивлялась не шутя — коленками, кулачками, локтями — с Аней ничего похожего не случилось — и долго содрогалась, судорожно переводя дыхание и издавая странные птичьи звуки, жалкие и волнующие... Каждую неделю я ездил в Серебряные Пруды, и ни разу дорога не показалась мне длинной. Видит бог, при этом я любил Аню и не собирался бросить ее, даже в пылких фантазиях. Они существовали не просто раздельно, а в разных мирах, их соприкосновение исключалось. Я мог бы снять ей квартиру в Москве, тогда меня хватило бы на это, но так было лучше. Правильнее. Не две станции метро, а двести километров в один конец — мимо объектов ПВО, через Расторгуево и Ступинский лес, по узкому мосту над Окой, мимо Каширы... Заокская волнистая равнина...

Вечерами частенько сиживали в придорожном кафе на Волгоградской трассе. Мимо мчались машины. В низине зеленела пойма Осетра.

«Теодоро, купи мне сто грамм халвы и стакан кагора».

Испанизация моего имени была ее выходкой, придумкой. Для нее я был московский профессор, чрезвычайно почитаемый в родном пединституте. Обращаться по отчеству было бы нелепо, на Федю не хватало духа, вот она и придумала *Теодоро*, а заодно пристрастие к кагору... Лесма... Таитянка...

Завтра Сережа отвезет в Серебряные Пруды. Воображаю, как там все переменилось. Взгляни на дом свой, грешник... Зачем? Скорее всего, она живет там с сержантом в голубом берете, положившим конец моему сумасбродству, излечившим от поздней ветрянки. Да с кем бы ни жила — все давно выдохлось. И вылиняло...

Вынутая затычка на цепочке перевешивается через борт ванны и слабо позвякивает. Вода с хрипом стекает в трап. Набрасываю халат, неприязненно поглядываю в зеркало. Пережитый ужас называется *склероз*. Слово-то какое противное. Липкое, как столярный клей... Но ничего не попишешь, мой милый! В лучшем случае попишешь рецензушки на шалунов-постмодернистов и эпигонов Розанова, напишешь напутное робкому неопиту, пугливо вступающему в литературу, или статейку в Интернет об ушедшем друге. Но ничего серьезного. Эпиграммы, каламбуры, максимы — утеха старых литераторов и потеха молодых; для них мы инопланетяне, Мафусаилы, сверстники Бунина и Леонова...

Захожу на кухню, включаю чайник.

Евлампия не удержалась, тоже вылезла из постели, в халате, нелепом чепце, с очками на носу.

— Может, чего приготовить, Федор Вениаминович? Хотите, сырников разогрею?

— Спасибо, Евлампия, я не хочу есть.

— Сыру еще осталось, ваш, французский, и сервелат финский с «бородинским», как вы любите...

— Ложись спать, Евлампия. Обо мне не беспокойся. Еще ночь, три часа только.

— Вы хорошо себя чувствуете?

— Нормально. А почему ты спрашиваешь?

— В телевизоре говорили про давление и вспышки на солнце. Чувствительным людям посоветовали быть осторожнее.

— Ну, какой же я чувствительный, душа моя! Бесчувственный, как колода.

— Не знаю, не знаю... Анна Сергеевна всегда об вашем сердце беспокоилась. Да и у вас таблетки не случайно в столе лежат...

— Лучше скажи, в котором часу Даша звонила, — прервал заботливое дознание.

— Не помню, не посмотрела, — опустила глаза. Врет, поди...

Садится напротив. Наливает чай.

— Сама не будешь? — спрашиваю.

— Нет, — вздыхает. — Пойду досыпать, завтра вставать рано.

Но не уходит. Поглядывает виновато, опять вздыхает.

— Замуж ей пора, Федор Вениаминович. Двадцать пять годков, через полгода все двадцать шесть набегит, не припозднится бы... Да и нам с вами за ней не усмотреть. Про вас не знаю, а у меня силенки не те...

Молчу, прихлебываю чай. Возразить нечего, хотя сказанное косвенно подтверждает: ночного звонка от Даши не было.

— Вон ее Лилька уже три раза развелась, а чем наша хуже?

Чудачка, нашла в чем состязаться!..

— Прошлую ночь тоже не ночевала? — спрашиваю хмуро.

— А я о чем, Федор Вениаминович! — подхватывает. — Случалось с представлениями отлучаться даже в Питер. И в Нижний. Но предупреждала. Или... как это у них называется? Бдения ночные — *кар-па-тифы*, будь они неладны, нет им конца! Разве ж хорошо? Всю дорогу об ней сердце болит, всю дорогу Богородицу молю. Но ведь нас, просительниц, у Пречистой много...

— Легион, — с усмешкой роняю я.

Смотрит осуждающе. Не дождавшись ответа, уходит сокрушенно.

Всякого наговорила, но любимицу свою ни словом не упрекнула.

А в чем упрекать? В том, что не с кем девочке поделиться, спросить совета, пошущукаться по-женски... Права Евлампия — пора ей замуж. А для этого рядом нужен надежный друг, мужчина. Тут даже отец помеха, что уж говорить про деда! Наши устаревшие представления мешают, сбивают с толку. Воспитанная в правилах семьи, она не может махнуть на нас рукой. Как я не могу понять, что за мою жизнь граница между дозволенным и запретным окончательно стерлась. Во всяком случае, с Дашенькой такое не увязывается. Девственность несовместима с предназначением женщины, — внушаю себе, как какой-нибудь Матео Фальконе, — но каждый мужчина мечтает о женщине, которую не посмеет пожелать. Этакая идеалистическая тоска, нечто настолько замысловатое и парадоксальное, что впору назвать платоническим эротизмом. Из подобного переживания родилась идея непорочного зачатия. «Пречистая Дева!» — молится Евлампия.

Что же нам делать, чистая моя девочка? Как защитить тебя в пригороде Содома?..

Стараясь не шаркать, возвращаюсь в кабинет.

Стол, фотографии на стенах, лицо Анны с обещанием улыбки в уголках рта. А в глазах тревога и немой вопрос. Лучше погасить свет и под одеяло.

Дух дивана принимает в объятия. Запах добротной кожи. С примесью жасмина — неизменное Дашенькино «Диориссимо».

Да, я никогда не был фолкнеровским грозным полковником. Но ведь профессором университета был. Лучшим знатоком Серебряного века был! Кто же разжаловал меня и сорвал погоны? Куда исчез дух, присущий мастеру и его месту? Не выдумала ли Даша кабинетную терапию?.. Я продал картины, раритеты и кроткого бронзового льва, подаренного на юбилей, но не они же успокаивали девочку. И не они вселяли уверенность. Или все-таки они?..

Чем мудрствовать, сделай то, что задумал. Верни ей уверенность в профессоре Сарторисе... Путаюсь и сознаю это. Пытаюсь поправиться: не профессор Сарторис, а полковник Краснопевцев... Надо поменять местами или имя, или звание. Чуть какая-то...

Безвольно погружаюсь в вязкую дремоту...

Просыпаюсь ясный, посвежевший.

На часах девять.

Первым делом заглядываю к Даше. Девочка вернулась. Спит, уткнувшись в подушку. Вместе с ней в комнату вернулся нежный жасминный запах.

Не стану будить, отложим до моего возвращения.

Кухня вся в заботе, наготове: в чайнике кипятки, в микроволновке теплые сырники, в холодильнике сметана и сливки.

Хорошо закусывать под лопотанье радио. Как перед уходом в университет на лекцию, где чуткая тишина и глазастые девицы...

Звонит телефон. Поспешно снимаю трубку, чтобы не разбудить Дашу.

Это Сережа из больницы. Говорит, что забирает земляка-станичника, выписка задерживается, по каковой причине просит не ждать, а заехать к нему — для экономии времени...

Так даже лучше.

Не спеша собираюсь. Еще раз заглядываю к Даше. Спит все так же — уткнувшись в подушку. Хочу увидеть ее лицо, хотя бы глянуть, но заставляю себя выйти...

Утро безоблачное, безветренное. Со стороны парка тянет горьковатым дымком — жгут листья. Как в пору моей молодости... Давно такого не чуял...

Перед подъездом на скамейке две профессорские вдовы, доживающие без стариков. Здороваются приветливо, чуточку манерно, спрашивают о здоровье. У ног песик светло-каштановый, с острой мордочкой и агатовыми глазками. Черноглазый шатен. Возлежит, аки лев, твякает с деланным гневом, но встать ленится. Баловень.

В контейнере за пластиковой оградой копошится дама. Она в светло-кофейном демисезоне и такой же шляпе. Неуловимая разница в оттенках. Мовист Катаев определил бы цвет пальто как кофе-крем, шляпки — кофе-оле, а шарфа — кофе-нуар. Почти элегантная дама не похожа на побирушку, хотя в наши дни не разберешь. Заметив меня, смущается.

— Как вы меня напугали!

— Виноват...

— Вы так неслышно появились...

— Извините, ради бога...

— Ищу лен, — считает нужным объяснить. — Мне нужен лен и чистый хлопок, для макраме и коллажей. Представьте себе, иногда попадают даже старинные кружева...

— Желаю удачи...

Понурая старуха катит коляску. Малыш в коляске слишком смугл и толстогуб для наших широт. Хорошенький мулатик улыбается, обозначив на щеках прелестные ямочки; у бабушки на лице скорбь и уныние.

Приближение проспекта обозначается характерным звуком — смесью гула с жужжанием. В последние годы звук сделался гуще и мягче, сказывается обилие иномарок. Чем не свидетельство процветания! А ради благоденствия автолюбителей один отдельно взятый литератор может и потерпеть. Да хоть и все литераторы оптом.

Светофор отсчитывает секунды. Надо поспешить. Успел. Едва отдышавшись, подошел к остановке. А там кургузая старуха с необъятной сумкой, плечистая и беззадая, топчется возле сумки, поглядывает угрюмо.

Тут подкатил троллейбус, с пытением раздвинул двери. Старуха полезла было задом, но не осилила. Заохала, завохтала, уставилась требовательно. Я подхватил сумку, поднатужился. Втиснулись кое-как. Старуха забилась в угол, а я рухнул на сиденье. Опасный подвиг. Опасный и напрасный. Старуха скверная, а мне дорога предстоит безотлагательная и неблизкая... Слева в груди как-то пусто. Давно эту слабость знаю. От любого напряжения. Без боли, без удушья, легкое головокружение, сродни эйфории. Дыхание воздушным пузырем всплывает на поверхность, и слева пустота. Не скоро проходит. Перед тем, как пройти, зевота нападает неудержимая. А на кардиограмме ни следа. На всякий случай медики рекомендуют не напрягаться.

А я не удержался, старый дурень! Так и помрешь ни за что. За какую-то кургузую бабу...

На очередной остановке народ гуртом вывалился из троллейбуса и на задней площадке обнаружилась собака. Овчарка. Великолепный пес, хоть и неухоженный. Морду на лапы положил. Поглядывает вполглаза. Устал. На башмаки и кроссовки реагирует без укора: вскидывает голову, пережидает и опять укладывается. Где твой дом, псина? Нету дома. Иначе не полез бы в троллейбусный смрад. Ни в одном движении, ни в одном взгляде нет надежды обрести хозяина или получить кусок. Не надежду он выражал, а равнодушное терпение и предчувствие зимы. Брошенный всеми верный Руслан. Вспоминаю кобелька у ног профессорской вдовы и думаю о странных предпочтениях жизни...

В голове вакуум. Слева в груди тоже. Одна надежда — не впервой...

Бесплодный письменный стол не может внушать уверенность.

Перед своей остановкой осторожно двинулся к выходу. Старуха вспомнила про меня, сунула в руку пару газетенок из своей сумки. Похоже, тоже разносит по Москве соблазн и порчу — мулаток-шоколадок и студенточек-конфеточек. Евлампию хоть совесть мучает, на коленях отмаливает, а эта... Впрочем, что я о ней знаю...

Вышел. Качнуло, но устоял. Пошел неспешно. Главное, не спешить, не напрягаться. В особенности, ступни ног не напрягать. В таком состоянии почему-то бес-сознательно напрягаешь ступни, точнее — пальцы ног.

Хорошо, что есть время не спешить, а отдышаться, отзеваться, если получится. Прийти в себя и не пугать Сережу перед дорогой. Он и так показался мне слишком многословным. Вроде как волнуется.

По пути, на развилке, небольшой сквер. Ухоженный, с голубыми скамеечками. Липы в две аллейки и березы вразброс. Деревья молодые, лет тридцати, высажены одновременно с застройкой. На пересечении аллеек памятный знак в честь чернo-быльских ликвидаторов. Перед знаком корзина с искусственными цветами и несколько увядших гвоздик.

В одном из памфлетов Петя назвал Чернобыль горбачевской Ходынкой. А чем, в таком случае, был «Адмирал Нахимов»? Или взрыв газа, спаливший в низине два встречных пассажирских поезда... Не слишком ли много Ходынок для одного генсека?..

Говорили, что он просто взял чашку с гербом страны, президентом которой пробыл неполных два года, и покинул свой кабинет. Забрал сувенир на память. Для чаепития в кругу семьи. Для привнесения былой государственной значимости в слишком женственный семейный уют...

Победители слегка ошалели от неожиданной удачи: их робкие надежды сбылись с необыкновенной легкостью. Отчаянно карабкавшихся по опасным политическим скалам, вязнувших в оползнях и топях, вдруг вынесло на утопанную тропу, вернее, на вощеный кремлевский паркет. Эйфория победы кружила головы. Их понесло, и они не церемонились.

Побежденному приходилось молча наблюдать, как спецслужба печатывает его бумаги для последующей передачи в архивы. Но чашку, уемистую, фарфоровую чашку с милым сердцу комбайнера рабоче-крестьянским гербом он взял на память. История не сохранила имен свидетелей этой сцены, заслуживающей быть занесенной в анналы истории.

Однако, слух о том, что президент унес домой чашку с гербом, ходил по стране, будоража и без того взвинченное народонаселение. Одни усматривали в поступке мудрость страстотерпца, другие — бесхарактерность подкаблучника, а кое-кто — прагматичную злокозненность агента влияния. Первые утешались бескровностью распада державы, избежавшей «югославского сценария», вторые возмущались аморальностью такого довода и простирали руки на юг, где что ни день, гибли сотни людей, третьи многозначительно улыбались... И мало кто слышал, что в чашке с

рабоче-крестьянским гербом, как в океанской раковине, жили голоса и звуки исчезнувшей страны. Слышать их было мучительно. Зато как радовала глаз великолепная аббревиатура, охватывающая герб снизу — С С С Р!

Что хотела сказать человечеству исчезнувшая страна? Неужели ее порыв и опыт оказались посевом на камне, усмешкой Сизифа, стрелой, пущенной в никуда? Почему же с такой надеждой и симпатией взирали на нее лучшие люди мира?

Нынче такое напоминание *н о н с е н с*. Подросшему поколению внушили, что лучших людей ввели в заблуждение. Облапошили. Но как? Пропаганда тех лет бесновалась пуще, чем в холодную войну, а наши возможности ограничивались одним Маяковским...

Для объективности необходима точная терминология: в 91-м году произошла контрреволюция (а не наоборот), затем наступила реакция, а теперь идет реставрация. Но контрреволюция и реакция быстротечны, а реставрированный режим недолговечен — таков закон истории.

Лучшие умы поняли происходящее глубже и разглядели дальше, а масштаб личности позволил им сохранить независимость. Мне известно только одно веское возражение на мои доводы: «Нет такой политической алхимии, с помощью которой можно было бы превратить олово инстинктов в золото поступков». Это сказал мудрый скептик Герберт Спенсер. Но только глухой не расслышит в его словах горечь и сожаление...

Надо же, как Петя задел своей студенческой прямокой — никак не успокоюсь. Или все эти мысли вызваны Дашей и ее просьбой? Разбуженными сомнениями и чувством беззащитности, беспомощностью?

О чем молчит колокол? Пора его будить. Надо бы привлечь к нашему делу Смурова. Его репутация может нам послужить. Попробую распропагандировать в дороге...

Дворы между домами перерыты: то ли трубы меняют, то ли асфальт.

Но светлая «Волга» стоит перед подъездом — вернулся.

На звонок открывает не сразу.

— Заходи, Федя, заходи... — торопливо проходит в ванную, оттуда к себе в кабинет. Мимоходом целует в щеку: так у него заведено, обыкновение такое южное — целоваться. Высунувшись из кабинета, манит рукой.

— Хочу познакомить с замечательным человеком, — когда подхожу, не без торжественности представляет: — Степан Тимофеевич Куренной, потомственный казак из Великокняжеской. А это Федор Вениаминович Краснопевцев, тоже не простых кровей — из старообрядцев. Как твоя местность родная зовется, Федя?

В кабинете вижу старика в полосатой пижаме: сивый чуб с рыжеватым отливом, непропорционально длинные руки, зоркий взгляд молодых глаз. Грудь в распахнутом вороте нежно белеет в сравнении со свекольно красным лицом и шеей; этот контраст замечательно воспроизведен Коржевым на одном из «суровых портретов».

Потомственный казак не суров, скорее насмешлив. Подходит, наклонив голову набок, протягивает руку. Ладонь тоже непропорциональная — трудовая деформация.

— Только что выписались из больницы, — говорит Сережа. — Так что можешь поздравить...

— Поздравляю, — говорю, — Степан Тимофеевич! Желаю вам долгой ремиссии.

— А по-русски не можешь? — задирается Сережа.

— По-русски я вам желаю подольше не обращаться к докторам, — разъясняю с улыбкой.

— То-то... — Сережа смеется. — Степан Тимофеевич человек особенный, докторов вообще не признает. Всю войну на передовой без единого ранения! У человека

три ордена Славы, полный кавалер, а его, представь, в коридоре положили. И лежал, пока я не увидел, — герой! Ну, я им устроил! Сразу в двухместную перевели.

— Наутро, — уточнил Степан Тимофеевич, и в коротком взгляде, брошенном в мою сторону, мелькнуло что-то от задиры-мальчишки.

— Погеройствовал на фронте, казак. Я три ордена назвал, а в день Победы, когда все надевает, еле ходит. Чистый Жуков!

Старик махнул на Сережу рукой и ушел в глубь кабинета.

— Не журись, Степан Тимофеевич! Он и после фронта на страну потрудились, помог поднять из разрухи. Вдовам-солдаткам дома подновлял, дрова колот, сено косил, а когда и утешал...

— Дурак ты, Сережа, хоть и писатель! — оборвал его старик. — Будь ты помоложе, ремня бы всыпал.

Сережа подошел к нему и поцеловал с чувством.

— Не сердись, Платоша! Не в укор говорю, а во славу. Я же помню, как по Великокняжеской рыжики забегали, и все одногодки. Теперь вот Расея в демографической жопе, а вытаскивать некому. Не стоит!

Старик снисходительно ущипнул его за щеку и прилепнул легонько.

— Чем полову молоть, лучше дружком займись, хозяин. Вам вроде в дорогу, — и вдруг мне: — Не слушай ты его, мил человек. Его надо читать, а не слушать. Когда слушаю — дурак дураком, а почитаю — другое дело! Вроде и не им писано.

— А ведь ты прав, Платоша. В лучшие минуты мне и самому так казалось. — Он еще раз поцеловал старика и совсем другим тоном обратился ко мне: — Кофе будешь?

— Нет, — сказал я.

— Оленька, не хлопочи! — крикнул он в сторону кухни, откуда доносились звуки радио и мягкие шаги. — Не хочет он ничего.

В коридор выглянула круглолицая моложавая женщина с ярким фартуком поверх халата и кухонным ножом в руке. Поздоровалась приветливо, спросила:

— А глазунью? Я мигом...

— Спасибо, Оленька, — ответил я. — Я позавтракал.

— Сергей Яковлевич сказал, что дорога неблизкая.

— И не такая уж далекая, не волнуйтесь...

Пока я разговаривал с Оленькой, Сережа смотрел на меня с той особой зоркостью, которую я знал за ним, когда он не придурился от избытка сил. В результате пристального всматривания был задан вопрос:

— Здоров?

— В соответствии с возрастом, — ответил я.

— Значит, хреново, — всмотрелся повнимательней, с видимой тревогой. — Что-то мне твой цвет лица не нравится.

— Все в порядке, Сережа, — сказал я. — Было в дороге по глупости, но уже отошло. Оклемался.

— Ну, раз так — в путь!.. Платоша! — бросил станичнику в глубь кабинета. — До вечера, друг мой! Смотри телевизор, почитай книжку. За Оленькой не вздумай приударять. В твоей бумаге при выписке написано: за таким казачком глаз да глаз...

Старик, шаркая, вышел в прихожую, молча поручался с нами.

Сережа сдернул с вешалки знаменитую клетчатую кепчонку, натянул набекрень, отчего сразу помолодел и слегка прилблатнился и, адресуясь в глубь квартиры, пропел:

— Адье, мон шер... А де маан...

Сколько помню, раньше он не пел из «Шербургских зонтиков»...

«Волга» стояла у подъезда. Несмотря на возраст, выглядела пристойно, коррозия на корпусе была тщательно затерта. Но ветровое стекло пересекала трещина.

Двинулись дворами, мимо груд асфальта и рабочих с отбойниками и лопатами.

Где-то на полпути к улице навстречу выкатился молочно-белый «мерседес». Мы медленно сближались, переваливаясь на неровностях. Чтобы поточнее разминуться, оба водителя приспустили оконца и я услышал, как смазливый юнец за рулем «мерседеса» озабоченно проговорил:

— Не зацепить бы эту гниль с советскими дедами...

Спутница легонько шлепнула его по губам и очаровательно улыбнулась нам.

— Слышал? — спросил Сережа, когда мы благополучно разминулись.

— Молокососы, — сказал я. — Что с них взять!

— Поле битвы остается мародерам.

— Какие же они мародеры? Прелестная пара.

— В бомбисты не годишься, — констатировал Сережа, маневрируя на неровностях.

— Не гожусь, — подтвердил я.

Обогнули сквер с памятным знаком чернобыльцам, выехали на оживленный бульвар и с предосторожностями, несколько чрезмерными на мой взгляд, влились в лавину машин на проспекте.

Время близилось к двенадцати, однако интенсивность движения не спадала.

Сережа вел машину скованно, напряженно, почти не разговаривал. Даже счел нужным пояснить:

— Три года дальше рынка и поликлиники не выезжал. Ради тебя рискнул, Федя, в поминальник-то запиши. По старому обряду... у Рогожской заставы...

Строгие фасады капитальных домов вдоль проспекта густо украшали мемориальные доски. Это значило, что некогда в этих зданиях занимались серьезной наукой и некоторые из работников заслуживали долгой памяти. Именами наиболее выдающихся были названы близлежащие улицы.

Проехали мимо сверкающего на солнце, пионерски наивного Гагарина со смешными закрывками на плечах и крагах. Аккуратно вырулили на второе кольцо. С каждой минутой Сережа все уверенней вписывался в движение, все мягче включал свой «автопилот».

Справа впереди засверкали купола Новодевичьего монастыря, по левую руку за Москва-рекой во всей роскоши октябрьского многоцветия запестрели деревья Нескучного сада.

— И снова осень валит Тамерланом? — с вопросительной интонацией продекламировал Сережа.

Я с удовольствием покивал в ответ, полюбопытствовал:

— Что это ты земляка своего то Степаном Тимофеевичем величаешь, то Платоном?

— Все просто, старик! — откликнулся оживленно. — Его невестка, Полинка, в девяностые годы вовсю челноничала. Польша, Турция, Греция — все, кроме Китая. И вот в одной из поездок, то ли в Салониках, то ли в Сиракузах наткнулась на майку с изображением Платона. Философа. Хлопковая майка с короткими рукавами, с изображением на груди, и написано PLATON. Надпись, конечно, на греческом, но Полинка в поездках поднаторела, прочитала, удивилась сильно: какой же это Платон, когда это ее свекор — Степан Тимофеевич, в полной красе и в нынешнем своем возрасте. Купила пять штук, привезла. А народу только того и надо, мигом старика перекрестили. Ему ничуть не обидно, смотрит себе на грудь и смеется: «Патрет...»

Нескучный сад — буйное тамерланово воинство — остался позади. Туда же отступили золотордяные Воробьевы горы. Их сменило бессистемное, циклопичес-

кое нагромождение кубов, параллелепипедов и пентаграмм, наваленных во всех плоскостях и проекциях. Левитана и Шишкина потеснили Бракк и Леже.

— Я тебе про того Платошу больше расскажу, — говорит Сережа. — Слушай... Приезжаю как-то летом в станицу. Давно еще, лет двадцать. И в первый же вечер — Платоша! Вроде как ждал. В кедах, галифе и солдатской гимнастерке, выгоревшей добела, чуть не с войны. Прямо с покоса пришел, с темными подмышками, ацетоном разит. Прислонил косу к липе, под которой я вечерял, и спрашивает: «Все балуисси?» Всякий разговор так начинал — все балуисси? «Все балуюсь, Степан Тимофеевич, — отвечаю. — Садись, вместе побалуемся». Присаживается и заводит разговор — удивительный! С прищуром насмешливым, охотничьим, но без улыбки: «Серега, ты мужик грамотный, скажи, сколько лет паскуде Рейгану?» «Зачем тебе, Степан Тимофеевич?» — «Хочу на поединок вызвать». Определенно так сказал, без понта, и в глаза твердо посмотрел. «Коли старик, придется отставить. Но вроде как ровня, даже моложе. В телевизоре видел с его стрекозой цыбастенькой в красном пальте...» — «За что на поединок? — спрашиваю. — Чем тебе Рейган досадил?» — «Чем молодых ребят класть по всему миру — своих, наших — сойдемся и порешим. Чья возьмет, того и правда». И представь себе, не шутит, Пересвет советский, не придуривается, а выпытывает, куда вызов слать: в ООН или в Белый дом. «А если проиграешь? — спрашиваю. — Он мужик здоровый! Ковбой...» Еще хитрей охотничий прищур: «Ты прям, как не казак, Серега! Нэ журысь, друзяка!..» — запорожца в себе вспомнил. Письмо турецкому султану!

Движение застопорилось. Из-за аварии. Машины стали тесниться, стекаясь в сузившуюся горловину. Сережа умолк, косясь на боковые зеркала и озираясь, но я, заинтригованный, потребовал продолжения:

— Ну!..

— Баранки гну, — откликнулся вполголоса; рулил сосредоточенно, осторожно.

Авария оказалась несерьезной: две «поцеловавшиеся» иномарки стояли в ожидании автоинспектора. Протиснувшись, мы облегченно ускорились, и Сережа вернулся к рассказу.

— В принципе я разделял его замысел, но пришлось убеждать в неосуществимости. Огорчился. Как пацан, сплюнул и поник головой... Мы допивали вторую бутылку, когда появилась его Мадина. «Куражка». У нее свое прозвище — Куражка. Несет его потную бейсболку и кричит: «Степа, опять куражку потерял!» Он Платон, она Куражка... По пути через двор взяла прислоненную к липе косу и в таком виде, с косой, предстала перед нами. Дядя Степа даже перекрестился. «По запаху нашла, *шатана*, нос привел! Все горы выкосил, всех архаров распугал, а ни разу не искупался, удушил совсем! Идем, *Анюта-воин*, я баньку истопила, кваску *остыдила*, спинку потру, веничком побую и будешь опять гвардии сержант, всем воинам воин». Стоит с косой в руке и улыбается. Он ее от кумыков увел, или от даргинцев, некоторые слова путала. Куражка... Платон и Куражка... Наши станичные Филефон и Бавкида...

Идущий перед нами «жигуленок» вдруг с чего-то заюлил, как на лысых покрышках по мокрой дороге.

— Что же он задом вертит, сука! — осерчал Сережа и крикнул, — Держи баранку, фраер!

Обгонять такого вертлявого было рискованно, он сбавил скорость. Пристроился в хвост и долго молчал, хотя движение отладилось.

— Представь себе, диагноз безнадежный.

— У кого? — не понял я.

— У Платоши моего, Степана Тимофеевича.

— Но он не похож на умирающего.

— Порода такая. Держится. Неловко людей собой обременять. Стыдно. Еле уговорил в Москву приехать. «Да я тут порежусь, Сергунь, в Буденовске, или Нальчи-

ке...» Воевать — пожалуйста! За страну на поединок — пожалуйста... А болеть стыдно. Особенно — помирать. — Он вдруг с силой хватил кулаком по баранке, отчего «Волга» громко вскрикнула. Несколько машин звонко откликнулись на сигнал.

— Только на Руси услышишь такое, — растрогался я.

— Не русофильствуй, мой милый, — возразил он. — Такое услышишь везде, где не перевелись мужчины...

В районе Бутово все-таки выкатились на МКАД и, гонимые общей силой, мчались в потоке километров восемь. Сережа упрямо держался правого ряда, но спидометр не опускался ниже ста.

Вспомнил давние свои ездки, когда окружную называли «дорогой смерти»; теперешний автобан не уступал европейским.

Стоило съехать на Каширку, как Сережа успокоился, закурил, приспустив оконце. Движение по Каширке и впрямь способствовало релаксации: после московских улиц и кольцевой шоссе казалось пустынным.

— Ну вот, старик, теперь наконец объяснишь, зачем мы едем в такую даль, — сказал Сережа.

— За деньгами, — ответил я.

— В наше время это лучший ответ из всех возможных. Много денег-то?

— Точно не знаю. Выяснится на месте.

— Берем банк вслепую?

— Выходит так...

— Но почему в Серебряных Прудах, а, к примеру, не в Мытищах?

— Там Евлампия обнаружила счет. Нашла позабытую сберкнижку.

— Что значит — обнаружила счет? Это уже интересно.

— Представь себе, ничего интересного. Зигзаг жизни.

— Блин! Человек навык вождения утерял, всю дорогу очко играет, ты его запряг, за бензин не платишь. Могу хоть профессиональный интерес утолить. Как бывший беллетрист.

Вводить в подробности не хотелось, но и отмалчиваться было нелепо.

— Как бывшему беллетристу, — неохотно сказал я. — Там жила женщина, из-за которой в свое время я наделал немало глупостей.

Всю скороговорку пропустил мимо ушей, выхватил только одно слово:

— Женщина?! Ради женщины в Серебряные Пруды ездил?

Я кивнул.

Покосился с любопытством.

— И долго это продолжалось?

— Два года.

— Ну, ты силен! Два раза из любопытства, куда ни шло, но два года! — В голосе смесь удивления и восхищения.

— Уймись, Сережа!

— Нет, правда. Разве в Москве этого добра мало?

— Не знаю, — промямлил я. — Вопрос не по адресу.

— Вот именно! — подхватил он. — Чем и заинтриговал. — Помолчал, барабанил пальцами по баранке. — Ну что ты косишься на меня, как Веняминыч на Яковлевича! У меня ведь интерес не пошло брутальный, а тонко беллетристический. Твой случай разве что в повестуху угодит, если бог попустит, а так — могила. Расскажи — с атмосферой, с деталями, как ценитель хорошей прозы. Заодно дорогу скоротаем, скучно ведь... — и скукислся просительно, артист. Скучно ему, непоседе. Бартер предлагает...

Я ненадолго умолк, как в аудитории перед лекцией.

— Где-то в семьдесят шестом, на ученом совете зашел разговор о преподавании литературы в провинциальных вузах, прежде всего — пединститутах. Я выступил

с предложением направлять туда на семестр или на два наших лучших специалистов, с курсом лекций, семинарами и прочее. Если помнишь, в начале шестидесятых было увлечение народными университетами культуры. Моя идея родилась в том же русле. Старики-предшественники свое дело сделали — привили любовь к классикам, рас-пропагандировали. Популяризаторство хорошего уровня. Один Андроников чего сто-ил! Вширь они поработали, теперь пора идти вглубь, прививать будущим учителям новые методы анализа текстов, а кое-где и фактографию уточнять, на основе новых данных. Мою идею поддержали. Сразу же нашлись охотники идти, так сказать, в народ: Мотылев Коля, Душан Митурич, Сташевский, еще кто-то — не помню... В первый год я выбрал Чебоксары, на Волгу потянуло, на другой подался в Ижевск, к оружейникам. А в семьдесят девятом оказался в Рязани. Там вызвались мою боль-шую монографию о Есенине издать, и условия предложили лучше московских. Я и решил совместить приятное с полезным: выпустить книгу и почитать лекции, припод-нять, так сказать, уровень филологической культуры...

Сережа недовольно покосился на меня.

— Что ты мне зубы заговариваешь, Федя? Твоя культпросветработа меня не интересует! За нее ты все получил: во Дворце съездов позаседал, в телевизоре покрасовался, Старовойтову послушал, Сажи Умалатову увидел. Не смею помыс-лить, но, может быть, даже поэту Лукьянову руку жал.

Всезнающий Смуров напомнил полузабытое, из прошлой жизни: сидение в Кремле, в белокаменном дворце, под профилем Ленина, вдруг ставшим бездушно-условным, как дорожный знак.

Писательская дружина оказалась на высоте: скованный Распутин и раскован-ный Евтушенко, ироничный Олейник и патетичный Адамович... Особенно хорош был степняк Сулейменов, посоветовавший депутатам вести себя с молодой демократией как с юной женой — не требовать от нее слишком многого!

Мой левацкий спич тоже услышали: пресса цитировала, а «Комсомолка» тисну-ла реплику: «Депутат Краснопевцев оправдал фамилию».

Но прозорливей всех оказался Юрий Бондарев, во всеуслышание заявивший, что самолет перестройки поднялся в воздух, не зная аэродрома посадки. Увы, артил-лерист оказался прав! Уже двадцать лет мы летим без маршрута и цели, потеряв на Земле все ориентиры и путаясь в какофонии мирового эфира. Потеря ориентиров обернулась отрицательной селекцией, что сказалось на всем — от футбола до кос-моса...

— Чему ты научился у кремлевских краснобаев, так это умению переливать из пустого в порожнее, — сказал Смуров.

— Сережа! — с видом оскорбленной добродетели растянул я. — Ты же сам просил рассказать с подробностями, с атмосферой. Я и стараюсь, как могу...

— Ладно, — разрешил он, — давай дальше.

— От Рязани до Серебряных Прудов минут сорок. Так что постепенно подбира-емся к месту действия. К эпицентру событий.

Он покивал, успокаиваясь.

— У них в бухгалтерии работала пожилая еврейка, Циля Израилевна. Рыжая, встрепанная, пучеглазая, с немыслимым акцентом, но ужасно заботливая. Прямо мать родная. «Випейте горячий чай, товарищ московский профессор. Ужас какая сирость! Я сама с Гомеля, но уже почти тридцать лет проживаю в Рязани. И первый раз вижу такой март! От трамвая до работы дорога тринадцать минут — и полное лицо снега! — Сережа хмыкнул от удовольствия. — Каждое утро полное лицо снега...» И вот милейшая Циля Израилевна доводит до моего сведения, что они платят гонорар не наличными, а перечислением, с каковой целью мне предлагается открыть счет. «Ви принесете мне ваши реквизиты и ровно через три дня спокойно получите в сберкассе ваш гонорар». Несмотря на трудности с большим скоплением «эр», она

сказала это доброжелательно-ласково и даже кокетливо. «Дорогой товарищ московский профессор, я сразу запомнила ваше отчество, потому что моего старшего брата Веничку зовут, как звали вашего папу, дай бог, он у вас еще живой. Вениамин Израилевич Кац. А я, как вам ни будет странно, Цецилия Израилевна Говядова. И дети мои Говядовы — Ванечка и Машенька... Вся Рязань говорит за ваши прекрасные лекции русской литературы, студентки третьего курса совсем в восторге от вашей эрудиции...» Видно, логопед приучил ее воевать с дефектным «эр»... К этому времени я уже больше месяца жил в Серебряных Прудах, в доме под старыми яблонями. Там и открыл счет. Отвез реквизиты милейшей Циле Израилевне и в точности по уговору, через три дня, получил хороший гонорар.

Я прокартавил это, как пародист-дилетант и замолчал. Задатками имитатора пользовался только в своей компании, для веселья. Имел успех, особенно в молодости.

После затянувшейся паузы Сережа с удивлением посмотрел на меня.

— И это все?

— Могу продолжить. Всплывший в разговоре Есенин напомнил. Оплаченный дражайшей Цилей Израилевной.

— Ну, ты даешь! Что тебе Есенин напомнил?

— В те же годы было дело, мы только в Афганистан вошли — вешка заметная.

— Ты что, издеваешься! — возмутился Сережа. — Причем тут Афганистан?! Причем Есенин?!

— Слушай, слушай... Я оказался свидетелем любопытного и весьма содержательного разговора.

— В рязанском пединституте? — спросил с сомнением.

— Нет, в Москве, в Доме литераторов, на нашей профсоюзной делянке... Выхожу как-то из института и, не спеша, в клуб. Там показывали феллиниевского «Казанову», и я обещал провести Петю с Беатой. Даше с Филей тогда было по годику, и такой выход в люди был для молодых родителей праздником... Вечер стоял удивительный, настоящий андерсеновский сочельник. Представь: крупными хлопьями тихо падал снег. Он завалил Поварскую, приглушил все звуки. Машины вдоль тротуаров превратились в сугробы: вереницы сугробов по обе стороны, от Гнесинки до Театра киноактера и Союза писателей. Шум Садового, поглощенный снегом, не проникал в переулки.

— Умеешь же, подлец, — буркнул Сережа.

— Что? — не понял я.

— Умеешь, говорю, рассказать, если хочешь рассказать.

— До прихода молодых оставалось время, и я заглянул в буфет. А навстречу, из дубового зала, Гоша Каюров с Гурамом Авалиани. Был такой грузинский критик, умница, плейбой и преферансист. На почве преферанса и сблизились: он называл наши пульки «тактичным литфондом». Обрадовались, обнялись. Гурам, полушутя, спросил, все ли напечатал из посланного ему. «Все, Гурам, спасибо, — говорю, — вся Москва знает: с чем тут не пробыться, можно к тебе». «Но не вся Москва пишет, как ты», — пошутил. По грузинскому обыкновению, расспросил об Ане, о Пете с Беатой, и вернулся к прерванному разговору с Каюровым. «Федя, дорогой, рассуди нас как глубоко мыслящий тростник. Битый час внушаю этому человеку, что вам — русским, надо наконец понять себя, вникнуть в корень, уяснить свою душу»... К этому времени мы вышли в большой вестибюль. Народ подтягивался к сеансу, было многолюдно. Поначалу на нас не обратили внимания: разговор шел типично цэдээловский, в духе места и времени, и даже в расхожей стилистике — «подшофе». «Чем тебя не устраивает тютчевская формула?» — спросил я. «Устраивает! — подхватил Гурам. — Очень даже устраивает. Но не понимаю, почему при такой высокой загадочности надо всюду лезть со своими танками!» От этих слов публика в фойе насторожилась. «В Будапешт с танками! В Прагу — с танками! Теперь в Кабул опять танки! Чуть что — вперед! Броня крепка и танки наши быстры! Сила есть — ума не надо! Вам бы лелеять свою

нежную есенинскую душу. У вас такая трогательная есенинская душа, хрупкая и красивая, как ромашка. Вы ведь не только Кабул и Прагу, вы свою душу давите теми гусеницами...» После этих слов народу в вестибюле сильно поубавилось. Осторожные бунтари и осмотрительные правдолюбцы писательского клуба уходили торопливо, недоуменно и неодобрительно оглядываясь. За несколько минут мы остались втроем, да кто-то пьяный спал перед включенным телевизором. Меня что-то не устраивало в словах Гурама, я не понимал — что, и потому не находил возражения. Зато Каюров, помалкивавший с невнятной азиатской улыбкой, наконец разродился: «Ты нас слишком суживаешь, Гурам. Прямо по Достоевскому. А мы — народ имперский. Другими словами — безграничный. Наша душа не есенинская, а пушкинская!» «Брось, пожалуйста! — отмахнулся Гурам. — При чем тут Пушкин? Посмотри на его губы, на его кудри! Он эфиоп. Арап Петра Великого. А я говорю о русском. Исконно русском...» А ты что скажешь, Сергей Яковлевич? Кто из них прав?

— Скажу, что не надо обращать нас обратно в древлян и кривичей. Мы дали человечеству «Войну и мир». Кто больше? Русское — не ромашка, а хмель. Преобразующий фермент. Болтун твой грузин и расист, если не понимает этого. А ты демагог и пройдоха. — И после паузы обиженным тоном: — Как ее звали-то?

Я не сразу понял.

— Кого?

— Твою, из Серебряных Прудов.

— Лесма.

— Не русская, что ли?

— Бабушка была латышка.

— Давно не видел?

— Почти тридцать лет, — ответил и умолк. Умолк капитально. Заговорил-таки зубы любознательному казачку. Обидел, кажется.

А все оттого, что терпеть не могу брутальностей. Сальностей, тем более. И никогда не любил. Мехти Везир, сосед по общежитию, кавказский жуир с мексиканскими «мерзавчиками» над губой, еще на четвертом курсе заботливо поучал: «Ты, Федичка, юноша просвещенный, но не посвященный. Признайся, даже не знаешь, у них щелка продольная, или поперечная...»

Я не признался, хоть и признал его правоту.

Упустил свое время, вот и сорвался на старости лет...

Смуrow — мой антипод. Вполне диаметральный. Хлебом не корми — и посплетничает, и поделится, и наврет. Двуликий Янус. Сундучок с секретом. Как большинство пишущей братии. Природа так распорядилась. Среди сынов ничтожных света, быть может, ничтожней всех прочих... Мимикрия. Бабочки-капустницы, вдруг превращающиеся в адмиралов и махаонов...

Сережа снял кепчонку, поскреб мизинцем в затылке, опять натянул. Это означает перемену темы: не абзац, а глава.

— В Серебряных Прудах, говоришь? — спросил нейтрально.

— Да.

— В домике под яблонями?

Я молча кивнул.

— Ты свое сказал, — оторвавшись от дороги, посмотрел на меня. — Теперь выслушай мое похвальное слово.

— Похвальное-то за что? — я-то думал, он обиделся.

— Слушай — узнаешь...

Я откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза, приготовился слушать.

— При наличии законной супруги каждый обустроивает зазнобу в соответствии с чувствами и материальными возможностями. Правильно рассуждаю?

Я промолчал. И глаз не открыл.

— Был у нас обожаемый всеми «нэбожитель», романтик и поэт. Большой интересант. Устроился комфортно, в двадцати минутах от дома, где хозяйничала законная супруга. Прогулка вдоль ручья, мимо святого колодца, над живописным прудом... Тук-тук-тук!.. А ученый, местами довольно скучный литературовед, волнуясь, заливал полный бак «жигуленка» и три часа мчался в один конец. Потом три часа обратно. — Помолчал, поглядывая на меня; я почувствовал это, не открывая глаз. — Я так думаю, что романтик и поэт проявил себя, как скучный литературовед, а скучный литературовед — как настоящий романтик.

Не открывая глаз, буркнул:

— Никогда не лезь в чужую жизнь. Особенно в постель.

— Понято, — без запинки согласился и присовокупил: — Что не меняет наших оценок...

На этот раз оба надолго умолкли.

Девятнадцатилетним ефрейтором он оказался в танке на главной площади Будапешта. Так угодно было его судьбе. А лет через семь в одном из московских журналов появилась его «Венгерская рапсодия», которую читают по сей день, через сорок лет. По реакции, по тому, как читатель принял историю любви венгерской девчонки и русского лейтенанта, это был не успех, а триумф. Бомба, сказали бы сегодня. Премии, переводы, переиздания, инсценировки, причем не только у нас, но и в Венгрии. Член Комитета по премиям говорил мне, что только молодость автора стала препятствием для присуждения Ленинской: синклит переадресовал супердебютанта комсомольскому ведомству. В считанные месяцы популярность смуровской повести достигла такого уровня, что на вопрос об авторстве «Венгерской рапсодии» участники разнообразных игр и викторин нередко называли не Ференца Листа, а Сергея Смурова (эти истории особенно забавляли его). Но пиком успеха стала картинка в новогодней «Литгазете» — дружеский шарж, воспроизводящий элиту советской литературы, на котором коротконосая скуластая физиономия с рысьим оскалом красовалась в компании с Шолоховым, Симоновым, Тихоновым и прочими «небожителями», буквально под носом у изображенного в профиль Расула Гамзатова... В ту пору Сережа еще не завел клетчатую кепчонку, впоследствии ставшую его эмблемой, непременным атрибутом всех фотографий, портретов и шаржей.

В его «Венгерской рапсодии» и впрямь есть что-то неотразимое, мужественное и вместе с тем пронзительно нежное: юная чистота, наперекор трагизму обстоятельств смело открывающаяся жизни. Все детали повести сами нашли свое место — признак подлинной удачи. Лирическое напряжение зажгло свечу, вот уже сорок лет горящую в память юной любви и девичьей преданности. Характерно, что «Рапсодию» одинаково приняли как в Союзе, так и в Венгрии: не то чтобы Смуров избегал политики; просто чистота нравственного чувства подняла его выше.

Слава богу, он не остался автором одной вещи, каких немало на моей памяти. В «Худлитовском» двухтомнике с моим послесловием нет ни одной слабой вещи, разве что интеллектуальная притча, сделанная под Кафку и шутиливо названная «Замок»; интеллект вообще не сильная сторона этого дарования. Но до чего хороши «Табун на заре», «Звездопад», «Камиль и Клавка», «Гноли» и «Когда отцветает липа»... А «Смерть волка»! Какими средствами, не живописуя ни альпийских лугов, ни снежных вершин в отдалении, ни туров и горных индеек на склонах, он достиг поразительного эффекта: текст источает чистейший разреженный воздух высокогорья. Бедная Аннушка часто просила почитать его в больнице. Кажется, я разгадал секрет, он совсем прост: рассказ написан словами, чистыми, как галька из горного ручья. А повесть «О, этот юг!..» о поездке в Гурзуф удачливого финансиста, молчуна-меломана, с бывшей однокурсницей, переживающей семейную драму! Их несостоявшийся роман дышит морем, лавром, эвкалиптами и полон мучительного, незавершенного

томления, накатывающего замедленно, томительно и бесконечно, как в любимом финансистом вагнеровском «Тристане»...

Повесть осталась излюбленным жанром Смурова: рассказа не хватало ему — для полноты высказывания, а на роман не хватало его.

В новые времена, ушибленный непривычным безденежьем, решил накопать сатирико-эротическое чтиво «Выбранные места из переписки с подругами». Неделю его возбуждал цинизм аллюзии и постмодернистский бесенок, но через неделю плюнул, сжег рукопись и долго парился в бане. Однако несколько баек уцелело: жанр «записки на манжетах» сменился «записками на компьютере». Например, как в псковской гостинице, в дни славного юбилея, его разбудил молодой коллега и сообщил, что ребята завезли в бар местных шлюшек: «Свежие и недорогие», — сказал он. Ну прямо французские булочки рекомендовал, подлец, или пирожки с печенкой!.. Гастрономическая рекомендация подействовала, не поленился встать и, пользуясь старшинством, попросил доставить «продукт» в номер. Девушка оказалась совсем юная, но бойкая и опытная. Для экономии времени она попыталась отделаться французскими штучками, при этом изображала бурную страсть и стонала: «Папочка!.. Папочка!..» — за каковой инцест и получила по полной, от и до. Слегка оторопела, но не возмутилась. Расстались довольные друг другом...

Не странно ли, что автор подобной похабщины написал дивный эпизод в «Венгерской рапсодии», который критики наперебой сравнивали со сценой на балконе из «Ромео и Джульетты»!.. Впрочем, талант — шкатулка с секретом. Общие правила не для него. Чем и тонизирует.

Помню годы, когда похождения Смурова обсуждались всей Москвой, вызывали строгую реакцию писательского Союза и даже фельетон в «Московской правде» под названием «О бедном гусаре замолвите слово!» Но те скандалы и похождения сопровождались публикациями — прозой, инсценировкой, экранизацией. Вернее, наоборот: за прозой карнавальная кавалькадой, кривляясь и гримасничая, скакали похождения. И вдруг как отрезало. В конце восьмидесятых кое-что еще появлялось в журналах, но этот полуфабрикат по дружбе выпрашивали редакторы в борьбе за подписчиков. А слово ушло. Четырнадцать лет молчания. Не творческий кризис, а беда. Причем не личная, а наша, общая...

Я раскрыл глаза и внимательно посмотрел на Сережу. Не отрываясь от дороги, он спросил:

— Выспался?

— Я не спал.

— Что же ты делал целый час?

— Думал о тебе.

— Делать тебе нечего! — усмехнулся весело.

— Вообще-то не только о тебе, — уточнил я. — О нашем деле.

— Коза nostra? — оглянулся на меня.

— О литературе.

— Серьезный ты мужик, Федор Вениаминович! — поощрительно повел подбородком. — Я об ей стараюсь вообще не думать.

— Почему?

— Бес-пер-спек-тив-но, — разделил на слоги.

— Не ерничай, Сережа. Нам, пожалуй, уже не к лицу.

— Ну и что надумал? Без ерничанья...

— Меня, например, интересует, что же все-таки случилось с тобой. Как ты сам понимаешь?

Он слегка притормозил:

— От такого вопроса можно в столб врезаться, старик. Или в кювет рухнуть.

Давай сперва до твоих прудов доедем, пессию твою проведем, а на обратном пути обсудим проблему. Впрочем, и обсуждать нечего.

— То есть? Почему — нечего?

— Потому что *к и р д ы к*. Оскудело наше дело, Федя. Сильно оскудело. Прямота растаяло, как арктический айсберг. И превратилось в забаву. Кубик Рубика...

Ехали придорожными поселками, через перелески и просеки. Осенняя цветовая гамма, охристо-золотистая и ржаво-терракотовая, то вспыхивала кроваво-пунцовыми вкраплениями, то сменялась глубокой, спокойной зеленью. Время от времени нас обгоняла лощеная иномарка и, задирая капот, оседая на задние колеса, устремлялась вперед. А навстречу тянулись трейлеры, мешающие пристроившимся легковушкам пойти на обгон. Самая нетерпеливая вихлясто высывалась из ряда и истошно сигналила, но смельчаков было мало, Каширка — узкое шоссе.

Глянул на спидометр, он держался на семидесяти; Сережа не ускорялся и не тормозил.

Похоже, мои слова задели его, он о чем-то грустно задумался.

— Ушло слово, Федя. Как ушло, куда, за что — не знаю. Не скажу. Я — что! Кто я? Сергей Смуров. Уже и забыть забыли, что был такой писатель. Гуляку помнят, среди ночи разбудили. Репутация! Думаешь, ребятки книги мои читали? Хотя бы «Рапсодию»? Нет. Про гусара слышали, про фельетон, вот и разбудили. А слово... Не я первый, не я последний, посерьезней потери бывали. Пришел писатель, погромел, посверкал, танец с саблями исполнил — и нет его. Куда делся? Вроде в клубе в траурной рамке не вывешивали, некролога не читали. А он, бедолага, живет, хлеб жует, водку пьет, даже больше прежнего. А писателя нету. Того, кого слово любило как самая нежная и пылкая любовница. Ушло слово, и остался он скучный, пустой, жалкий. Как Юрий Олеша. Не Сергей Смуров с его слюнявой «Венгерской рапсодией», а Юрий Олеша с его злой, великолепной «Завистью»... Или твой друг, о котором ты столько умных слов написал. Какой писатель! Какая проза! Я каждым его словом упивался, каждую фразу пил, как в жару из родника... Знаешь, из какого родника? Из Тургеневского, в «Записках охотника», «Лес и степь», заключительный очерк, родник возле леса, в лощинке. Вот из него рождалась его проза, и мы ее пили двадцать лет... — Он вдруг прервал монолог, сосредоточился, словно пересчитывал в уме, и совсем другим тоном сказал: — Нет, не двадцать... Меньше... Лет шестнадцать, пожалуй, даже пятнадцать... Много это или мало? Не знаю. Было же человеку дано слово, живое, русское. Трали-вали. Понял! Трали-вали!.. Бог дал, Бог взял... Эх!.. — Сережа тяжело вздохнул, съехал на обочину и остановился, зашуршав щебенкой.

— Случилось что-нибудь? — встревожился я.

— Не дрейфь. Хуже того, что случилось, не случится. Передохнем маленько...

Закурил и приоткрыл дверцу.

— У меня с ним случай был в цэдээле. Увидел в буфете и подошел. На взводе был, под мухой, иначе не посмел бы. Подошел и говорю: «Юрий Палыч, я давно хотел вам сказать, что вы великий русский писатель!» Ты бы видел реакцию! Смутился, испугался даже: «Ты это брось, брось!» — покраснел, рюмку хлопнул и ушел, только из дверей кулаком погрозил... Даже от *такого с л о в о* ушло. А я что за яичко пасхальное! Пшют! Фетюк! Вот тебе еще слово. Трали-вали... Они все есть, слова-то, живут, но к тебе не хотят. Разлюбили. И вот ведь загадка — силком не затащишь, не привадишь. А те что возле — ползают, как зимние мухи.

— Все-таки он пил очень, — сказал я.

— Ты что, Федя, глупый? Отчего он пил? Оттого, что родник иссяк или тот родник водкой замутил?

— Кто знает, — сказал я.

На что резко ответил:

— Я знаю. Писатель не запьет, пока с ним слово.

— Но написал же он под конец «Лампадку» и «Не плачь, дитя». Многие считают, чуть ли не лучшие свои вещи...

— Не напоминай мне о них, — хмуро сказал Сережа. — Я их боюсь. — Достал вторую сигарету, прикурил от первой и продолжил: — Вроде бы все его — и словарь, и ритм, и общая интонация, а что-то не так. Жутковато. Они как клоны, вот что... Лазарь, вышедший из пещеры. Любимая в «Солярисе». Страшно. Я живое за версту чую — поверь... Кого не тронет рассказ про позднего сына, маленького увальня с милыми детскими словечками... Заметь, прежде о детях не писал! А тут через отцовскую нежность, через детскую беззащитность и родной запах попытался вернуться в мир, где полновластно хозяйствовал. Прямо-таки вижу его тяжелые ладони, протянутые за помощью к малышу: выручай, сынок!.. Когда перечитываю, каждый раз сердце разрывается... И ведь, дурак, по его стопам пошел, тоже через сына попытался вернуться, через самую кровную привязанность. Поехал в Чечню, нашел место гибели Павлика, жил там и пытался писать — вот уж точно: пытал себя. С тех пор боюсь чистой бумаги, Федя. Так что нового от меня не ждите. Кроме трепа в телевизоре. В том году Сережа повесть анонсировал. Блеф! Думает заманить на Смурова сотню-другую подписчиков, чудак! Да кто его помнит, Смурова! Его уже нет — в метафизическом смысле, — посмотрел на меня с кривой усмешкой. — В экзистенциальном еще наличествует, существует. Даже везет старого кореша к какому-то там водоему. Я правильно понимаю смысл иностранных слов?

— Более или менее, — сказал я.

— Вычитал где-то, или сам дотумкал: художник приходит в мир со своей задачей. Точнее сказать — с заданием. Исчерпав ее, то есть выполнив, он уходит. Форма ухода любая. В нем уже нет необходимости. Все. Мавр сделал свое дело. По мне, суждение более чем убедительное. Особенно, если вспомнить всех наших, а с ними Шелли, Байрона, Петефи... Смешно к такому списку нашего брата присобачивать, но, думаю, что и с нами что-то в том же роде, на нашем, щенячьем уровне. Грустно, когда жизненная задача исчерпывается рано. Но не надо бухтеть про цензуру и Сталина. Возможности цензуры ограничены печатным станком. Чеховская чахотка исключение, а дуэли, игла и самоубийства вписываются... Толстой говорил о Лермонтове: если бы этот мальчик прожил еще десять лет, мне не пришлось бы писать «Войну и мир». Нет, дедушка, пиши сам, а я свой урок выполнил: вот вам «Тамань», вот «Мцыри», а вот незаверенное у нотариуса, но неоспоримое «Завещание»...

Сережа бросил на дорогу докуренную сигарету, тщательно раздавил ее и захлопнул дверцу. Хрустнув щебенкой, машина вернулась на гудрон.

— А самое ужасное скажу на ходу, чтобы тебе некуда было деться, как некуда деться всем, пережившим миллениум.

— Ты меня пугаешь, Смуров.

— Не знаю, как тебе, но у меня создается впечатление, что жизненную задачу исчерпали не отдельные литературные персоны, вроде меня или Рубцова — прости меня, Коля, а исчерпала ее вся литература. *К и р д ы к!*

Обобщение показалось чрезмерным.

— Что за чушь ты несешь! На каком основании ты ставишь крест на литературе?

— Дорогой и ученый друг, — проникновенно сказал он. — Я ставлю не крест, а памятник. Той литературе, которую мы любили, с которой пережили лучшие часы, которая сделала нас людьми.

— Которая помогла выжить! — азартно вклинился я. — Физически помогла! Со мной было, в жару, в тридцать пять градусов — оказался в метро на «Пушкинской». Толпа, дышать нечем. Чувствую — конец. И вдруг на стене над рельсами, от которых стараюсь держаться подальше, читаю:

«Недаром темною стезей
я проходил пустыню мира.

О, нет, недаром жизнь и лира
мне были вверены судьбой!»

Веришь ли, как окна настезь, Сережа! Или кислородную маску кто дал, тебе, слава богу, не доводилось...

— Верю, Федя, как не верить! Но многие ли ту строфу прочитали? Да и в метро ли Пушкина читать? А что сочинительство без читателя! Словоблудие. Зачем рассказывать жизнь, когда она рассказывает себя глаголами неизреченными.

— Была же литература нужна прежде! — возразил я. — Для воспитания чувств, для прибавления опыта жизни. Для выявления смыслов, наконец!

— И кто тебе его выявит? — усмехнулся криво. — Небритый умник из нонешних? Или Кати, Маши, Тани, Вали плюс Полины — Роксоланы?.. Обилие женщин в литературе свидетельство ее деградации. Дамы у компьютера не причина, а признак. Как сыпь при кори, или сопли при насморке... Хотя и среди них попадаются, — поправился, спохватившись, — Погоржельская, например, Люська! Каждый ее рассказ прокачивался по мне, как легкий танк, аж кости хрустели... Ладно, Краснопевцев, исключи меня или заткни кляпом. Давно столько не болтал. Точнее всех вопрос поставлен в «Театральном романе»: «Зачем тревожитесь новые пьесы писать, голубчики? Разве мало хороших пьес написано?» А? Федя! Да не хмурься ты на меня, как Венямыныч на Яковлевича! Лучше скажи, долго еще ехать?

— До Каширки сто тридцать, за ней еще семьдесят.

— И за сколько доезжал? На колесах любви...

— Когда как. Зимой случалось часа четыре.

— Ну, зверь!! — восхитился. — И с мороза — в койку? А? Или в баньку?

— Сережа! — с упреком растянул я, и он умолк. Милая улыбка, фривольная и одновременно смущенная, долго сходила с лица.

Судя по «Шербургским зонтикам», спетым на прощание Оленьке, в нем еще не перебродил гуляка-гусар. Жомини да жомини, а об водке ни полслова...

Глядя на разметку дороги, в который раз восхитился схемой разгрузки: разделительная полоса попеременно отдавала два ряда то левой, то правой стороне. Остроумный прием помогал проталкивать дорожные тромбы.

Поделился наблюдением со Смуровым. Он помолчал, потом снял кепчонку, поскреб мизинцем в затылке:

— Подумать только, такой светильник разума не приняли в академию!

Я от души рассмеялся.

На въезде в поселок сбавили скорость. По обочине брело небольшое стадо. За ним громыхал кирзачами пастушок в непомерно большой куртке и в кепке до бровей. Милая колхозная картинка!

— Как Даша? — спросил Смуров.

— По всякому — ответил я. — С ней всегда, если помнишь, не просто. И в школе, и сейчас.

— А кому сейчас просто? Особенно молодым.

— Думаю, есть такие. Особенно среди молодых, — откуда-то вылез старый телевизионный слоган: — И ты их знаешь!

Он вопросительно хмыкнул:

— Что-то я не понял: кого я знаю?

— Беспроblemную молодежь. Вроде тех, из белого «мерседеса» в твоём дворе. Покивал со значением, но ничего не сказал.

— Замуж не вышла?

— И не собирается.

— Что так? Теперь это у них недолго...

— У нее все не как у других.

— Давно ее не видел. Разок где-то на фуршете пересеклись, но она меня не узнала... А мальчик как?

— Какой мальчик? — не понял я.

— У Петра же и сын, насколько помню, внук твой.

— Есть такой, — подтвердил я. — Филиппом зовут. Они с Дашей двойняшки.

— Извини, своих не то что внуков, детей не всех помню поименно, — осклабился. — Ну!..

— Ладно, не извиняйся. В девятом классе поехал по обмену в Америку и там остался. Одаренный программист, они таких ценят. Все бы хорошо, но третий год нет вестей.

Оглянулся с тревогой.

— После 11-го сентября была связь?

— Была, — кивнул я. — Буквально на следующий день позвонил, вернее, среди ночи. Во время теракта оказался не в Нью-Йорке, а у себя в Мичигане. А потом как в воду канул. Петр с тех пор дважды побывал в Штатах, наводил справки. Не знаем, что и думать...

— Не волнуйся. Американцы народ аккуратный, не хуже немцев, если б что-нибудь, они бы вас разыскали.

— Что ты имеешь в виду? — насторожился я.

— Мало ли что! Авиакатастрофа, авария... Все под Богом ходим...

— Типун тебе на язык, Смуров! Утешил...

— А что слышно об ихней мамаше? О Беате? — На этот раз в голосе куда больше живого интереса.

Я помолчал, потом спросил сухо:

— Что может быть слышно о женщине, утонувшей десять лет назад?

— Будет, Федя! — упрекнул мягко, до колена дотронулся. — В общем, ведь все знают, что в Ялте было не совсем так...

— Как не так? Я, например, ничего не знаю.

— Помалкивают. Петины чувства щадят. Да и ты вдруг оказался суров, как горец. А я слышал несколько версий, и все, слава богу, со счастливым концом.

— Смотря что считать счастливым концом, мой дорогой!

— Из всех концов наихудший смерть. Такую красавицу рыбам скормили, бессердечные вы люди! Гриша Чухрай прошлой весной видел ее в Каннах. Говорит, все так же хороша. Со своим черкесом, как Грета Гарбо с Омаром Шарифом... Звезды даже занервничали, не любят, когда статисты теснят солистов...

— Спутал с кем-то. Те звезды на одну колодку. Особенно издали...

— Не психуй, Федя. Сам сказал, десять лет прошло. Через десять лет даже судебная ответственность снимается — за давностью. Не думаешь, что пора им уgomониться и подумать о перезагрузке? Хотя бы ради Даши. Мать, понимаешь, по кинофестивалям: Венеция, Канны, Сан-Себастьян, а там, понимаешь, всякие Том-Крузы, Ди Каприо, и как их еще зовут. А девочка почему-то в Новых Черемушках возле старого скучного деда.

— Если бы! — горько усмехнулся я. — Если бы возле деда?

— И слава богу! Все, что мог, Федя, ты ей уже дал. А молодость так быстротечна... — это вырвалось с такой горечью, что я удивленно оглянулся: надвинутая кепчонка придавала лихость скуластой рысьей физиономии, но глаза предательски блестели. Вот уж не ожидал...

Впереди на дороге показалась телега. Большая, на шинах, с высокими бортами, влекомая гнедым битюгом, она катилась по обочине, одной стороной заезжая на шоссе. Скоро мы поравнялись и увидели в телеге ораву детворы лет десяти-двенадцати: они уютно устроились в ворохе соломы, с любопытством озирались и весело

болтали. Из под курточек алели пионерские галстуки. Заинтересованный необычными попутчиками, Сережа замедлил ход, поехал вровень. Лошадка то по обочине идет, то по гудрону цокает: холка крутая, круп широкий, скребком до блеска выскоблена. А ребятня заметила наше внимание, оживилась. Один крикнул: «Дяденьки, далеко едете?» — и получил подзатыльник от соседа. Девочки приосанились, встрепанные волосы и косички приглаживают, под платочки убирают; пацаненок озорной соорудил нам рожицу и спрятался за товарища. Сережа с деланой строгостью головой покачал. «Никак не обгоните, дядя?» «Машина устала, — ответил я. — Овса просит...» Едем рядом, не обгоняем. Сидящего на козлах сзади не видно: вроде ссутулился мужик, по сторонам не глядит, уставился на круп. Сережа надал малость, оконце приспустил.

— Куда народец везешь, добрый человек?

— На Оку, — откликнулся возница.

— Шоссейка-то не для прогулок, движение, сам видишь...

— Ништяк, отец. Все схвачено.

— Ты б на своего битюга маяк проблесковый поставил, или синее ведерко: каких людей везешь!

— Спокуха, батя! Скоро Кашира, там загружаемся на теплоход и до Куликова поля.

— А галстуки красные откуда? — спросил я.

— Так пионеры же!

— Где столько пионеров набрал, чужак! В наши-то дни...

— Не бойсь, отец! У меня еще есть...

Возница обернулся и оказался не угрюмым мужиком, а пригожим парнем с мягко струящейся по щекам бородкой и спокойным, приветливым взглядом.

— Ну, смотри, вожатый, — крикнул ему Смуров, — береги генофонд!

Тот улыбнулся открытой белозубой улыбкой и красивым жестом приподнял шляпу.

Обогнали телегу, встроились в поток машин.

— Какая необычная экспедиция — проговорил Смуров. — Ты не находишь? Хотел бы знать, откуда они взялись...

Я пожал плечами. Меня больше занимало то, что услышал от Смурова о Беате.

Услышанное не было такой уж неожиданностью: полуслухи, полусплетни, полупамятки зашуршали сразу после события в Ялте, лишая происшествие трагичности и придавая ему гламурно-вульгарный налет. Никто не решался сказать правду Петру, в сущности, единственному автору и режиссеру трагической версии. Даже Смуров сообщил ее мне, зная, как ялтинская история со всей ее малопривлекательной атрибутикой больно ушибла Петра; боюсь, он так и не оправился. Что же до меня, то я с первой же встречи с Беатой на пороге дома, когда они заявили из Ислача, ждал чего-то в этом роде. Я просто испугался — уж больно была хороша! Не вписывалась. Не только в домашний интерьер — в эпоху не вписывалась. Как в песне: «Видно вы все перепутали: улицу, город и век...»

После Ступино дорога заметно пошла под уклон. Впереди открылась пойма Оки с рыжей октябрьской порослью на противоположном берегу и акварельно зелеными лугами на нашем.

Пристроились за тягачом с прицепом, груженным лесом. На концах могучих бревен трепыхались габаритные флажки. Прицеп вихлял, обходить его было опасно. Какое-то время ехали, уткнувшись в зад лесовозу. Наконец, Сережа собрался с духом и, истощно сигналив, пошел на обгон. Лесовоз оказался длиннее, чем мы ожидали. Почти поравнявшись с высоченной кабиной, увидели, что со встречной на нас двинулся черный «рейндж-ровер», при этом он залился истерично пронзительной

трелью, не гармонировавшей с мрачно-агрессивным обликом. Под испуганный вопль и душераздирающую истерику разминулись впритирку, только ветром жажнуло.

Минуты две оба приходили в себя.

— Сережа, мне очень нужны деньги, за которыми мы едем.

— Понято. — Он перевел дыхание.

И тут показалась Ока. Она текла поперек шоссе, и на дальнем, высоком берегу, левее моста белела Кашира. Она белела стенами, колоколенками и куполами, а по реке, вверх и вниз плыли белые пароходы.

Люблю Оку! Мне она милей своей именитой сестры, уж больно отекающей, набухшей аневризмами водохранилищ, с гигантской варикозной дельтой, кишасей тучной дичью и потрошенными осетрами. Все, что именитая сестра намыла на пути, все, что пережила, увидела и услышала, она катит на чужбину, к чуждальним персидским берегам, тогда как Ока все отдает ей — Волге. Я видел Оку в верховье и у Белоомута, у Коломны и Рязани, у Касимова и Муром: по мне она и есть главная русская река, как кушаком, охватывает исконную Русь. Всюду хороша — и среди заливных низин, и в Мещерских дебрях; но ничто не сравнить с Окой близ Константинова! Даль и ширь на Руси не редкость, стоит только оказаться на горке, а того лучше — на высоком берегу. Но нигде эта ширь не размыкает пространства так, как здесь, нигде ее не заливают такой ясный, такой *несказанный* свет.

Я был там с Лесмой, когда небольшой автобус привез из Москвы богатого японского туриста, почитателя Есенина. Японец оказался пожилым инвалидом в коляске. Сопровождающие бережно выгрузили его. Прежде чем направиться в музей, он подкатил коляску к обрыву и остановился. Стоял долго, полчаса — не меньше. Итогом долгого созерцания был тихий вздох: «Фудзияма!..»

Кашира не Константиново, но и здесь Ока дивно хороша. Я покосился на Смурова: знаменитый мастер словесного пейзажа индифферентно молчал.

За мостом шоссе поползло в гору. Две зимы эта круча испытывала моего «жигуленка», мы оба побаивались ее.

Не доезжая до развилки, завернули на бензозаправку. Там скопились десятки машин всех габаритов и марок. Бессистемное скопление походило на табор, но незримая сила управляла им, двигала, перестраивала. Пристроились и мы. Сережа пошел оплатить заправку.

Я тоже вылез из машины. Денек совсем разгулялся. Солнце припекало полетному. Теплый ветер, дышащий рекой и полем, пытался разогнать запах бензина; временами это удавалось.

К нашей «Волге» подошел мужчина кавказского вида, растерянно заглянул в машину, увидев, что она пуста, обратился ко мне:

— Извините, дорогой, вы не купите у меня кожаную куртку? Франция. Почти новая, хорошей фирмы... — Он протянул добротную вещь, похоже, только что снятую с себя.

— А что случилось? — полюбопытствовал я.

— Долгая история, дорогой... И неправдоподобная. Мне нужно, как минимум, три канистры, чтобы добраться до дома.

Я молча развел руками...

Вернулся Сережа. Постукал башмаками по крышкам. Подправил зеркальце. Залив бензин, осторожно вырулили на трассу.

Заокское предстепье зовется в учебниках *волнистой равниной*. Не раз убеждался в точности научных терминов. Длинные пологие спуски сменялись симметричными тягунами, в свою очередь опять переходящими в спуск.

По обе стороны шоссе неоглядно раскинулись скошенные поля с рыжей стерней, редкими стогами и еще более редкой живностью — пасущейся лошадей или

ощипывающей кустик козой, унылое одиночество которых скрашивало прощальное солнце бабьего лета. Всё грелось напоследок, накапливало тепло перед долгой зимой.

Так мы катили чуть ли не час на длинных ухабах: вниз-вверх, вниз-вверх, прямо русские горки для великанов из моего любимого «Лукового поля»¹.

За очередным взлобком, в конце длинного спуска обозначилась пойма Осетра. Реки не было видно из-за буйной растительности; по равнине петляла пестрая живописная урема. При сближении сквозь осеннюю листву стала проблескивать водная гладь, и, наконец, поперек нее лег простой железный мост, лилово-синий в рыжей осени.

Название реки поначалу вызывало у меня почтительное уважение: мне представлялись медленные осетры в прозрачной глубине, их доисторические хрящеватые спины, острые головы. Со временем я убедился, что в Осетре и голавль редкость. С тех пор многообещающее название стало укором, свидетельством оскудения земли.

Вот и знакомый мост. С другого конца почти одновременно на него въехал груженный «БелАЗ». Мы почувствовали, как завибрировали, как заходили металлические конструкции. Словно свирепый мамонт, «БелАЗ» пронесся мимо, обдав чудовищной энергией и смрадом солярки. Мост прогнулся наподобие батута и ощутимо подбросил нашу «Волгу». Это случилось, когда мы поравнялись с длинноногой женщиной в джинсах, ведущей на поводке великолепного ротвейлера. От сотрясения моста собака запаниковала, присела на все четыре лапы, и я услышал, как женщина резко прикрикнула: «Вейма! Спокойно, Вейма!..»

На взгорке за мостом показалась шоферская забегаловка — приятель давних лет. Мы частенько сживали там с Лесмой, которая не отличалась домовитостью и рада была любому общепиту.

Внешне заведение изменилось; отгородилось от шоссе кустарником, стены в свежей краске; крыльцо резное; в окнах занавески.

Смулов притормозил.

— Может, по кружке пива?

— Лучше на обратном пути, — сказал я.

Свернули с трассы и въехали в Серебряные Пруды.

Я с трудом узнавал поселок, впрочем, никогда не знал его толком, даже не видел прудов, давших название. Два года, как мучимый жаждой олень, я проделывал путь от трассы до дома, из окна которого виднелся купол церкви. Неподалеку от церкви ютилась поселковая сберкасса — вожденная цель. Запомнились ее казематные стены и тюремная решетка.

Сережа рулил по моим указаниям. То и дело объезжали горки строительного мусора, остатки цемента, штабеля досок. Похоже, поселок обустроивался.

В тесном проулке потревожили свинью, белым валуном лежащую поперек дороги. Она встала и на коротких ножках лениво пошла перед нами.

Ориентиром служил купол церкви. Он высился над крышами поселка обновленный, аквамариново-синий, с золотыми рельефными звездами. Из проулков церковь просматривалась вся до основания — салатно-голубая, с рисованным орнаментом вокруг окон. Мы медленно катили в ее сторону и наконец вырулили на широкий пустырь.

Я читал вывески над витринами — «Ксерокс», «Ремонт одежды», «Булочная-кондитерская», «Интернет-кафе», «Химчистка». На анемично розовом фоне с трудом разобрал стилизованное под китайские иероглифы: «Школа кун-фу и ушу. Цена договорная».

Сберкассы не было.

¹ По-видимому, речь об одноименной повести Анатолия Кима. (Примеч. ред.)

Я попросил Смурова сделать еще один круг.

Он поехал медленнее. Словно на замедленной съемке, переваливаясь на неровностях, мы замкнули еще один круг. Безрезультатно. Как щекотку в мозжечке ощутил зарождение тревоги. Робея, вылез из машины, пошел вдоль домов.

Стены кирпичные, каменные, бревенчатые. «Ушу, кун-фу», «Химчистка»... Сберкассы не было.

А церковь? Церковь была. Вот она.

Посмотрел на крест над синей луковицей. Крест сверкал на фоне облаков. Перевел взгляд на машину. На пустой площади стояла светлая «Волга», в ней, выставив локоть в спущенное оконце, сидел мужчина в клетчатой кепке...

Из подкорки, из подсознания, стирая все впечатления дня и холода сердце, стал подниматься страх. Вдруг показалось, что это все тот же тягостный ночной сон — поиск аллеи с бюстами в университетском городке в Вене или в Белграде...

Прислонился к фонарному столбу и полуобморочным взглядом обвел площадь.

Из проулка вышла свинья.

Вдоль домов пробежала собачонка.

Ворона терзала пакет из-под чипсов.

Это только усилило ощущение нереальности...

Стукнула калитка. Старуха в цветастом платке перекрестилась на церковь и пошла через площадь.

Я нетвердо шагнул наперерез, спросил требовательно:

— Где сберкасса? Тут была сберкасса!

Остановилась. Присмотрелась с интересом.

— Давненько же, батюшка, вы у нас не были...

— Да, давно, — подтвердил, обнадеженный.

— Сберкассе лет десять как перевели. Там теперь всякие банки, даже иностранные, немецкие, что ли, или казахские... И-и! — Она пренебрежительно махнула ладошкой. — Нам банки ни к чему, наши денежки в кошелечке умещаются. Но в сберкассе ходим, газ и свет оплачивать. Так что укажу, батюшка, слушай. Ступай вон той улочкой мимо музея нашего маршала, и в первый же проулок налево, — свои слова она сопровождала четкой жестикуляцией. — Как увидишь кирпичный дом с флагами — он там один такой — на первом этаже будет тебе сберкасса, то есть сбербанк по-нонешнему...

Я смотрел ей вслед, пока не скрылась в булочной. Потом направился к машине.

— Садись, Федя, — сказал Смуров. — Бабка так толково показала, что я все понял.

Выехали с площади, миновали дом-музей с бюстом маршала в палисаднике.

Кажется, никогда не испытывал такого тревожного нетерпения, готовый к тому, что в указанном проулке сберкасса не окажется, и мы станем петлять до тех пор, пока Смуров с машиной исчезнет, а я проснусь с глыбой льда на сердце...

Кирпичный дом с флагами полыхнул впереди, метров за сто.

Все-таки лучший из всех цветов — красный! Бодрый, энергичный...

Подъехали ближе.

Над стеклянной витриной белым по зеленому: «Сберегательный банк»! Справа от двери подробней: «Серебрянопрудское отделение Мособлсбербанка», и номер с дробью.

Облегченно откинулся на сиденье.

— Что с тобой? — удивился Смуров.

— Ничего, — сказал я. — Пошли.

— Мне-то зачем? — смотрел с интересом, вчуже.

— Вдруг денег много.

Усмехнулся:

— Держи карман шире...

Помещение сбербанка ничем не отличалось от московских: тот же цвет, та же мебель.

Народу ни души.

Юное создание по ту сторону оконца взглянуло васильковыми глазками и выжидающе приподняло брови.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Здравствуйте, — кивнула она.

— Дней десять назад я звонил из Москвы, уточнял обстоятельства своего дела. Мне сказали, что по телефону справки о счетах не даются и надо приехать. Вот я и добрался, — говоря это, извлек из карманов сберкнижку, паспорт, пенсионное удостоверение.

— Из Москвы? — удивилась девушка. — Вы, наверное, за компенсацией? — бегло заглянула в документы.

— Точно так, — охотно подтвердил я.

— Вам придется немного подождать...

На вращающемся стуле крутанулась к полкам с откидными дверцами, соригенировавшись, открыла одну, выдвинула ящик и стала перебирать картотеку. Четкостью и сноровкой производила впечатление опытного работника, хотя на вид не дал бы и двадцати.

— Во-от, — извлекла плотный, желтоватый лист, крутанулась в обратную сторону и, вглядываясь в бумагу, удивленно растянула. — Ой, как давно вы у нас не были!..

— И что?! — встревожился я.

— Я говорю, операция по вкладу произведена очень давно.

— Давно, — подтвердил я. — Больше двадцати лет.

— Ой! — повторила она и вдруг засмеялась. — Надо же! Вы открыли вклад в день моего рождения — двадцать восьмого марта тысяча девятьсот восьмидесятого года!

— С тебя магарыч! — бросил сзади Смуров.

Я не помнил таких подробностей и не интересовался ими. Меня интересовало только одно — сумма компенсации.

Девушка аккуратно тыкала пальчиком в калькулятор; хмуря бровки, вписывала что-то в карточку и в сберкнижку и наконец объявила:

— На вашем счету, Федор Вениаминович, пятнадцать тысяч семьсот три рубля сорок копеек.

Сумма настолько отличалась от вычисленной мной, что я не поверил ушам. Переспросил. Она повторила, на этот раз с ноткой сочувствия.

— Слышал?! — недоуменно обернулся я к Смурову.

— Да-а... — Он сокрушенно покачал головой.

— Нет, ты слышал?! Удвоить вклад, когда жизнь вздорожала во сто крат!

— Нет слов, Федя! Все слова сказаны Радищевым: звери алчные!

— Тебе бы все шутить...

— Не шучу я, Федя. Какие уж тут шутки...

Подумал было отказаться от денег, устроить демарш, но вместо этого наклонился к оконцу и со слабой надеждой спросил:

— Милая девушка, вы не ошиблись?

Вопрос задел ее. Васильковые глаза похолодели.

— Я оформила больше ста компенсаций. За любую ошибку мы несем материальную ответственность, — помолчала, глядя на меня, и ее детские глазки опять оттаяли. — Единственное, что могу посоветовать — не закрывайте счет. Не исключено, что через некоторое время вашему контингенту будут произведены доплаты. Есть такая информация, — тихо добавила она.

— А вам известна продолжительность жизни в нашей стране? — досадуя на свое

многословие, сказал я. — И сколько останется от нашего контингента через некоторое время... — Унял сбившееся дыхание и добавил: — Выдайте всю сумму. Не стану я ждать вашей доплаты.

— Доплата не моя, а сбербанка, — обиженно уточнила девушка. — По решению правительства.

— Извините, — смягчился я. — Мы наломали дров, а вам отдуваться...

Улыбнулась мягкой, немного виноватой улыбкой.

Итак, мои ожидания не оправдались, воздушный замок растаял. Что ж, не впервой. Старость — копилка обманутых ожиданий.

Кладу стопку купюр в бумажник, машинально поглаживаю себя по карману.

Но если не впадать в негодование и не метать икру, неужели потеря так уж трагична? В конце концов, Евлампия могла и не обнаружить книжку...

Нет, в этом обмане, в меркантильном рублевом эквиваленте выразился другой, горчайший обман — обман больших ожиданий, с которыми мое поколение начинало обновление страны, то, что называли перестройкой. Ожидания увлекли настолько, что оторвали от книг и любимой работы и бросили в гущу шествий, митингов, собраний, обернувшихся словоблудием. Большой обман складывался из малых, как в пазле с неожиданно циничной картинкой: сомнительный Форос, подленькое Беловежье, постыдное «Письмо 43-х», расстрел парламента, разрушение Грозного... А еще — метаморфоза лидера! Во что превратился, кем обернулся статный прямодушный парень с твердой поступью и мельхиоровым чубом!..

И вот у меня на руках рублевый эквивалент грандиозного обмана, итог не реформ, а афер.

Рублевый эквивалент выразителен. Нейтрально наглажен, как градусник или безмен. И мне ли горячиться, если нынче, в условиях рынка самородное астафьевское слово ценится в тысячу раз ниже косноязычной кохочубайсовской дребедени о приватизации! Положим, без десятикратной разницы хапуге-рынку никак; на сто-кратную рискнул бы наглющий тигр, но тысячекратная не пришла бы в голову даже монстру, придуманному Петром в его «Пире пираний»¹. И у такой системы находятся адвокаты!..

Я еще раз похлопал себя по карману с бумажником и обратился к Сереже:

— Что ж, Смуров, здесь нам ждать больше нечего. А в пивной тебя ждет честно заработанная кружка пива. На нее компенсации должно хватить...

Положительным следствием эпизода в сберкассе стало полное возвращение в реальность. Оплеуха — хороший лекарь. Все сделалось плотным и осязаемым, даже слишком: в машине я учуял сложную смесь табака, пота и машинного масла.

Не спеша покатали в сторону шоссе.

Церковь осталась позади, ориентировались на звук.

— Теперь понял происхождение миллиардных состояний? — спросил я. — Отобрать для всех — это в голове укладывается, в этом есть даже элемент справедливости, но обобрать всех — это уже извини меня!

Показалось, что проезжаем домик Лесмы: вроде бы узнал калитку с вырезанным сердечком, через которое просовывал руку и входил во дворик с яблонями и сиренью. От узнавания что-то тупо шевельнулось в груди.

Шоссе обозначилось усилившимся звуком проносящихся машин и грохотом моста над Осетром. Особенно гулко громыхали порожние самосвалы.

Припарковались возле кафе и вошли.

¹ Информация, кажущаяся невероятной гиперболой, вырвавшейся в запальчивости, подтвердилась: гонорар за книжицу о приватизации оказался ровно в 1000 раз больше, чем за последний роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». (Примеч. ред.)

Былую забегаловку не узнать: на столах скатерти, на окнах занавески, столы вдоль стен с полумягкими стульями, в торце две высокие стойки.

Но мест не было.

Зная торопливость проезжей клиентуры, я предложил Смурову подождать. Насидевшись за рулем, он предпочел стойку. Уборщица как раз прибирала освободившуюся. Пробегавшая мимо официантка по-свойски бросила в ее сторону:

— Она у нас борзая, мальчики, сейчас все будет тип-топ!..

Уборщица наспех протерла стойку и скрылась за выгородкой, сколоченной из деревянных планок.

Гул стоял басовитый и настолько громкий, что Смурову пришлось повесить голос.

— Твоя вотчина, Федя! Распоряжайся!

Пока он мыл руки, я заказал закуску и двести граммов водки.

Водку подали в изящном графинчике, облагородившем мизерный заказ.

— Версаль! — Смуров поцеловал кончики пальцев.

С небольшим интервалом, почти не закусывая, я опрокинул два стопаря, третий оставил на посошок.

Отвыкший от водки, перевозбужденный, сразу захмелел. Что называется, поплыл. Вздормученная память вытолкнула со дна пожарника Ермака-казаха, долговязого, с непомерно маленькой головой, продавшего свой скелет в анатомический театр; признался Смурову, что попытаюсь возместить нехватку денег тем же способом.

Смуров ел с аппетитом, посматривал с хитрецей, слушал вполуха.

Ослабился:

— Кому нужен твой скелет, Федя! С анатомической точки зрения в тебе нет ничего, кроме слабо выраженного лордоза.

— Это верно! — Я тоже засмеялся и обвел взглядом знакомое помещение. — Ну как тебе? А? Кормят неплохо, и пиво отличное...

— Все нормально, Федя! Отдыхай...

Гоня прочь остатки досады, я выпил еще и кружку «Невского» — за артподготовкой пустил легкую кавалерию.

— Чуть помедленнее, Федя! — озаботился Смуров. — Помни свой эпикриз...

Сердце ощутимо потеплело и размякло, узлы ослабли, поры открылись. Сделалось хорошо, уютно. Гул мужских голосов наполнил слух. Я приподнял графин с остатком водки и вопросительно поглядел на Смурова. Он категорически замотал головой:

— Нам еще до Москвы добираться...

Трезвая часть сознания восхитилась ответом.

За соседней стойкой галдела многочисленная компания. Судя по голосам, спор шел не скандальный, а познавательный. Один из спорщиков повернулся к нам, спросил:

— Отцы! В натуре, вы русские? Отцы... Только честно...

— Допустим, — сдержанно откликнулся Смуров.

— А что вам, собственно, надо? — с вызовом встрял я.

— Отцы, нам от вас ничего такого не надо. Мы только просим разрешить наш спор. Как старших и, так сказать, опытных товарищей. Как образованных людей. Выступить в качестве третейских или присяжных... Как вам лучше нравится, отцы.

— Слушаем вас, сынки! — это сказал я. — Считайте, что вам повезло! — отвел недовольный смуровский взгляд, спросил: — Итак, в чем суть спора?

После этого вопроса мужчина перенес на нашу стойку свою недопитую кружку и обратился ко мне, изредка взглядывая на Смурова.

— Отец, ты, конечно, знаешь этот жест? — Он поднял руку и развел средний и

указательный пальцы. На указательном у него не доставало фаланги, что забавно корректировало жест. — Так на радостях делают палестинские террористы, баскская ЭТА перед телекамерами, футбольные фанаты после победы. Дескать, наша взяла!.. Верно?

— Ну! — сказал я, в глубине души упиваясь брутальностью ситуации.

— Так вот: в нашу жизнь эту распальцовку ввел не кто иной, как английский премьер-министр Уинстон Черчилль. Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть кинохронику времен войны и фотографии тех лет. Вы люди советские, верно, отцы? Небось помните, как наш хитрожопый союзник щурил глазки, разводил толстые пальчики: дескать, привет, ребята, я совсем свой, посмотрите, как запросто, по-дружески приветствую вас!

— Ну, — Я тоже развел пальцы. — У Черчилля действительно получалось тепло и по-дружески. Я бы сказал, симпатично.

— Вот именно — симпатично! — перешедший к нашей стойке говорил сиплым голосом, то ли сорванным, то ли застуженным; и физиономия у него была соответствующая, заросшая до глаз, не из пижонства, а по безалаберности. — Тут-то, отцы, и суть нашего спора. Я говорю им, что этот симпатичный жест, — он опять развел два пальца, — то ли студенческий, то ли блатной, то ли свойский, берет начало в древнем Риме. Так вернувшийся из похода победитель приветствовал римлян. А они не верят: какой, на хрен, Рим! Это нынешние разборки! В любой дыре по всему свету, любой молокосос на радостях пальцы растопыривает...

— Ну, — в который раз повторил я. Меня распирает восторг от нелепости и необычности происходящего. Где еще в придорожном шалмане услышишь спор шоферов об античных жестах и символах...

— Отец, ты прям запряг! — обиженно просипел он. — Теперь мой черед: ну! Ну, кто из нас прав? Вы, люди культурные, образованные, с понятиями. Рассудите нас!

Я вознамерился было прочитать коротенькую лекцию о церемониях и ритуалах в Древнем Риме, но Смуров, тоже с удовольствием выслушавший сиплого, опередил меня.

— Орлы! Православные! — обратился он к покинутой сиплым компании. — Ваш кореш прав — и в частности, и в целом. Это, — он выкинул руку в их сторону и максимально развел пальцы, — восходит к величественному античному жесту триумфатора, проезжающего на колеснице под триумфальной аркой, и означает не что иное, как латинскую литеру V, другими словами, начальную букву слова «victoria», то есть — победа. Но, как верно заметил ваш друг, хитроумный английский союзник упростил его до того, что превратил в приблатненную распальцовку. Его «виктория» слишком смахивала на «буркалы выколо».

Сиплый забыл обо мне. Он с восторгом взирал на Смурова, иногда переводил довольный взгляд на своих друзей, словно говоря: «Слыхали?..»

— Таков был красноречивый фултонский герой и ничего с ним не поделать. Один пронизательный писатель верно заметил, что мир представлялся ему пепельницей для его сигары. Бог ему судья, ребята! — Смуров закончил спич, адресованный соседям, и обратился к сиплому: — Куда путь держите, орлы? Из столицы или в столицу?

— Отсюда до Москвы рукой подать, отец. Видал, как харчевня называется? Сто девяносто седьмой километр. Максимум — три часа. Разве стали бы мужчины перед домашними щами перебиваться казенным шницелем! Нет, нам еще ехать и ехать. Степь да степь...

— Далеко?

Сиплый помолчал, вроде как в раздумье, потом понизил голос и слегка подался к нам:

— Капустин Яр. — Он значительно подмигнул.

— Так там вроде все демонтировали, — полувопросительно сказал Смуров. — Причем не мы, а американцы...

— Все, да не все, — с той же значительной миной ответил сиплый. — Я как раз монтажников везу. Стало быть, работа найдется.

— На полигоне? — Я тоже с видом знатока вставил слово, поскольку кое-что слышал о Капустином Яре.

Сиплый перевел взгляд на меня, потом на Смурова, взглядом выражая то ли недоумение, то ли недовольство.

— Мое дело маленькое — вовремя доставить людей. А чем они там будут заниматься, меня не касается.

— А где это? — любопытствовал я. — Так сказать, территориально.

— Ты что, Федя, Капустин Яр не знаешь? — удивился Смуров.

— В самых общих чертах. С допуском километров в триста-четырееста.

— И хватит с тебя. Люди небось серьезные бумаги подписывали, а ты просишь карту-миллиметровку представить, штафирка!

— Да я просто удивляюсь, что они на колесах, по автострате. Мы с тобой еле до Серебряных Прудов дотелепались, а им небось еще сутки в дороге, если не больше. Разве не удобней на самолете? — обратился я к сиплому.

— Ясно море, «Антоша» «газель» обгонит, но у нас случай особый... Ты прям как резидент, отец! Так тебе все и скажи... — Сиплый покачал головой и опять поделился конфиденциально: — Между прочим, к нам особист приставлен, майор...

При упоминании особиста я оглядел сгрудившуюся у стойки ватагу, но никого не выделил.

— Не надо мне ничего говорить. — Хмель шумел и туманил голову. — Нас в свое время хорошо обучили: болтун находка для шпиона. А я человек эпохи москвошвея. Так что лучше вернемся-ка к древнеримским грекам и ихним календам.

— Во дает! — с неожиданной мальчишеской ухмылкой проговорил сиплый. — Это кто же такие — древнеримские греки? Разве ж такое возможно? Я так понимаю: или они греки, или древние римляне. Не так разве?

— Есть такая шутка. — Смуров решил поддержать мой статус в глазах сиплого. — В повести писателя Куприна. Читал такого?

— Еще бы! — ответил сиплый. — «Штабс-капитан Рыбников». Про японского шпиона в борделе. Круто! — и, задержав на Смурове зоркий с прищуром взгляд, спросил: — А вы сами, часом, не писатели? Нет?

— Угадал. Моя фамилия Смуров. А это, — он указал на меня, — Федор Красно-певцев, академик.

— Иди ты! — сиплый обернулся к своим. — Слыхали, братцы, с кем дорога свела! С известными писателями! Как говорится — ум, честь и совесть! Ну, дела-а! И жене расскажу, отцы, и сыновьям, дайте только до дому доехать! Я хоть и шоферу двадцать лет, а книжки уважаю, каждую свободную минуту читаю, что подвернется, и ребят своих заставляю. Они все больше у телевизора, или за компьютером, но книг в доме целая этажерка! А у вас с собой нет ли чего — на память? Как бы я берег!.. С автографом, как говорится... Товарищ академик! А?

— Не знаю, как Смуров, а я давно с собой книг не вожу, — сказал я.

— Вот досада, а? Прямо облом!

— Митяй! — сказал за соседним столиком мужчина в круглых очках. — Пора, друже... Сам знаешь, с Москвы из графика выбились...

— Да, — засуетился сиплый, — конечно, Семеныч!.. Иду... Ну что, пошли, ребята? — обратился он к своим. — Все на выход и по коням!.. Прощайте, отцы! — вернулся к нам и обоим потряс руки. — Дай Бог здоровья! И легкой дороги, и вам, и нам! — Подавая пример остальным, по-черчиллевски развел два пальца. Все, ухмыляясь, последовали его примеру и потянулись к выходу. Их оказалось семь человек.

С уходом куток возле стоек опустел, сделалось просторно и тихо. Гул голосов ослаб и сосредоточился за нашими спинами. Мне слышалось в нем забытое обаяние мальчишников и студенческих пирушек. Хотелось стоять у неприбранной стойки, слушать этот гул, щекотать нёбо холодным пивком, только не ехать в Москву, издали пугающую автомобильными пробками, сиренами и смогом...

Но Смуров, трезвый, четкий Смуров, напомнил:

— Пора и нам, Федя...

Хмель еще шумел в голове, к сердцу подкатывало невнятное, необъяснимое волнение. Чтобы хоть чуть-чуть оттянуть отъезд, я сказал, кивая на опустевшую стойку:

— Хорошие ребята.

— Нормальные казенные люди, — откликнулся Смуров. — Работяги.

— И слава богу! Кто-то ведь должен и работать. Но ты заметил с чего он начал?

— Кто?

— Митяй этот. — Я кивнул на место за нашей стойкой, где стоял сиплый. — Знаток древнеримских церемоний.

— С чего?

— Ну как же! «Отцы, в натуре, вы русские? Только честно, отцы!» — Я воспроизвел не только интонацию, но и голос.

— Вот ты о чем! — неохотно отозвался Смуров. — Что поделаешь, Веняминыч, демография удручает, пугает даже. Страна скукоживается, а это болезненный процесс. Ужиматься-то больней, чем расти. Вот их и корежит, сынов наших. То ли еще будет!..

Хотел уточнить, какой смысл он вкладывает в последние слова, что значит многозначительное «то ли еще будет», но тут услышал рядом, почти над ухом:

— Лесма! Убери стойку у входа! Слышишь, Лесма!

Это крикнула расторопная официантка, волчком вертящаяся между столами. Она гремела посудой и кружками, обдавала дезодорантом и потом, задевала локтями и задом, на ходу объясняя причину такой расторопности:

— День — туши свет! Того гляди, резьбу сорвет! Отпуска кончились, а они едут и едут — в Москву, с Москвы. Прямо не Шеметово, а Хоста, так ее мать!.. Лесма, куда ты пропала? Я уже на ногах не стою...

Из-за выгородки, сколоченной в виде расходящегося пучка лучей, вышла уборщица с пустым подносом в руке. Я хорошо ее видел и вполне сознавал необычность трижды прозвучавшего имени в сочетании с местом действия. Тем не менее я не узнал ее!

Подошла, сказала:

— Что, Федор Вениаминович, изменилась? — И голос не ее. Надтреснутый, с хрипотцой. А был, как колокольчик.

В растерянности покивал в ответ. Спросил:

— Что случилось, Лесма?

Пожала плечами:

— В каком смысле?

— Я тебя не узнал, — признался. — Ты не постарела, нет, — поспешил поправиться. — Ты просто другая.

Улыбнулась настороженно, недоверчиво: глаза залучились вопросом и обидой.

— Вот я постарел, но в собственной шкуре. А ты как будто сменила кожу...

— Как змея? — вкрадываясь в улыбку смешинка напомнила прежнюю Лесму. — Зато ты по-прежнему не владеешь своим лицом и прекрасно владеешь словом. Все выразил и все определил.

— Как тебя сюда угораздило? — спросил с опаской и сочувствием. — Что это значит? — дотронулся до ее пустого подноса.

— Это значит жизнь, — сказала она. — Кафе теперь принадлежит моей ученице. Девочка платит втрое против школы, и хозяйством разрешает пробавляться, свинью на отходах откармливаю. Дочкам помогаю, Федя, чтобы с пути не сбились, окорочка копчу и в Рязань, на рынок. Сейчас деньги всему голова, деньги рулят. А ты все тот же чистюля, профессор Краснопевцев?..

— Не знаю... — Я растерянно пожал плечами. — Что ты имеешь в виду?

— Постарел, конечно, пооблез малость, поседел, но как только вошел, сразу узнала. Такой же вальяжный, строгий, опрятный, как в аудиторию входил. Московский профессор! Заробела даже, как перед зачетом. Хотела на кухне отсидеться, но Зинка шумнула — народу нынче много... А вблизи, чудится, даже одеколон знакомый, прежний... — носом воздух потянула, вроде как принялась. — «Шипр», если не ошибаюсь... Верно?

— Не ошибаешься, моя дорогая, все верно. Я бытовой консерватор и общественный активист. Карбонарий, как шутят мои домашние... А где твой десантник-сержант? Ты же тогда вышла за него...

— Сержант? Вспомнил сержанта... — стала собирать посуду и кружки с соседней стойки. — Между прочим, он был не сержант, а старший сержант... Седьмой год в тюрьме сидит. — Сообщила вскользь, делано индифферентным тоном. — И почти столько же осталось.

— Силен! — удивился я. — Это за что же его так?

— Рэкет с тяжкими последствиями. Слава богу, хоть не убийство... Нам, прудчанам, памятку оставил, вывеску на площади: «Ушу и кун-фу — цена договорная». Школу единоборств открыл, драться учил и парней, и мужиков семейных. Тогда все чего-то в драку полезли, как с цепи сорвались. Зарабатывал хорошо, но мечтал разбогатеть, дурачок. Дружкам удачливым завидовал.

Подошла официантка, взяла у нее поднос с посудой.

— Ладно, Лесма, я сама отнесу. А тыними наконец фартук и сядь — вон стол у окна освободился... Посидите, поговорите по-человечески. А я вас обслужу, — вскользь улыбнулась Смурову.

Но Лесма не уступила поднос, унесла сама. Пока вернулась, официантка успела сочувственно поделиться:

— Совсем перестала за собой следить, а ведь еще не старая женщина.

Вернулась без подноса и без фартука. Спросила отчужденно:

— А что у вас, Федор Вениаминович? Раньше хоть в телевизоре иногда вас видела... Надеюсь, все хорошо? Помнится, у вас в тот год внуки родились, двойня. Теперь небось взрослые.

— Взрослые, — подтвердил я. — Совсем взрослые. Живут своей жизнью. Внук в Америке, а внучка со мной.

— А родители где же? — удивилась.

Я махнул рукой:

— Это долгая история, а у нас мало времени.

— Здесь у всех мало времени, место такое. Сто девяносто седьмой километр: и туда спешат, и оттуда... Мы привычные. Правда, Зина? — с наигранной лихостью бросила официантке.

— Как-то неожиданно все вышло, — сказал я. — Весь день такой, неожиданный. Вот и ты здесь... Смотрю и глазам не верю...

— Барабашка свел! — засмеялась официантка и простодушно попросила: — Мужчины, задержались бы, пока эти разъедутся, — кивнула в сторону столов. — У нас повар туляк, левша за плитой, ради нас что-нибудь сообразит. А Лесма стихи почитает... — Она обращалась преимущественно к Смурову.

— Как барин, — тоном крепостного «дядьки» промямлил тот. — По мне хоть с ночевкой...

Официантка захохотала, блестя на него глазами и полоща по ногам широкой юбкой.

— С ночевкой и того лучше! Утром сама кофе сварю, фирменный. А? И шкалик поднесу... а?

— Спасибо, голубушка, — сказал я. — В этот раз не получится. Надо засветло до Москвы добраться. Так, Смуров?

— Как прикажете... — Потупился, артист! Чинный, подневольный, скромно мнет сигарету, вроде указаний ждет. «Дядька» крепостной, или денщик при барине...

А я не знаю, что делать. Встреча закончилась. Инцидент исчерпан. Как-то очень уж быстро и сухо, однако затягивать не имело смысла. Пора уходить. Но как расстаться? Что сказать напоследок — надо же что-то сказать, не чужие вроде...

Одoleвала странная растерянность. Как над рассыпавшейся непрономерованной рукописью: у каждой страницы свое место, и вместе они текст, а порознь сумбур. Чушь и невнятица...

Я не знал, куда отнести, к чему приложить превращение Лесмы, перемену ее облика, голоса и походки, судьбу десантника и его дочерей. Их место в тексте пришлось бы долго искать. А эпизод в сбербанке, под укоризненным взглядом детских, васильковых глаз?.. А вывеска у-шу и кун-фу на пустыре перед церковью?.. О чем все э т о, и что это связывает?.. Неужели то, что некогда влекло сюда, а теперь сохранилось в памяти бледнее выцветшего фото...

Я не знал, что сказать напоследок Лесме.

Сказала она — легонько потянула за рукав и шепнула:

— Теодоро, если ты меня вспомнил, купи сто граммов халвы и стакан кагора! — и засмеялась прежним смехом — стыдливым и волнующим.

Текст встал на место, страница к странице.

Растроганный, я попытался обнять ее, но она уклонилась.

И в этом оказалась права. Всему свое время: время обнимать и время уклоняться от объятий. Наше время ушло, и не надо нелепых, неуклюжих потуг.

Остаток водки оказался кстати.

— За тебя, Лесма! — сказал я. — За твоих дочерей и твоего десантника! Не унывай, впереди еще много жизни. — И обратился к другу: — Поехали, Смуров!

— Прощайте, Федор Вениаминович! — сказала Лесма.

— Прощай! — откликнулся я.

Выходим.

Движение оживленное, машины мчатся без интервала.

С предосторожностями пересекаем шоссе, Смуров даже придерживает подлокоток.

Между деревьями снуют мальчишки: предлагают бензин в канистрах, родниковую воду в бутылках. Кому-то моют стекла.

Беру бутылку с водой, бросаю на заднее сиденье, сажусь туда же.

Вильнув с обочины, скатываемся на мост.

Опять пошло, теперь уже в обратную сторону, заокское предстепье, волнистая равнина с длинными, пологими тягунами и спусками, с рыжей стерней на полях, редкими стогами и столь же редкой унылой скотиной. Краем глаза поглядываю на бегущий ландшафт: изменившееся освещение внесло в него тоскливую ноту.

Не пройдет и месяца и заокское предстепье, всю среднерусскую равнину выбелит сплошь, без изъятия; земля под снежным покровом уснет на долгих полгода и будет вспоминать зеленую мураву и в ней букашек, цветочки на тонких ножках, гнезда перепелок и жаворонков, детские пятки и пальчики-кукурузинки... Все побелеет, припухнет, округлится, и только голые, облетевшие лесополосы будут темнеть вдали, как чернь на серебре...

А в конце марта автостреды засверкают, как серебряные — многокилометровые ленты серебра, на которые так же невозможно смотреть, как на солнце. И если от солнца защищал козырек на ветровом стекле, то сверкание бегущей встречь дороги слепило до рези; пришлось завести специальные очки автогонщика, удивившие простодушную Аню: «Ты кого собрался пугать, Федя?..»

Зимние поездки почему-то были особенно по душе. Прямо мазохизм какой-то! Невзирая на мороз (случалось за тридцать!), невзирая на бураны, поземки и зловредный подъем за мостом перед Каширой, на котором непременно застревал какой-нибудь «чайник» с лысыми покрышками или перегруженный трейлер, и машины скапливались чуть не до Ступино.

Но приезд искупал все. Жаркая печь, герани на окнах, чай с малиновым вареньем и пуховые перины с семейством подушек, младшую из которых звали *думкой*; Лесма унаследовала постель от бабушки и содержала в образцовом порядке: музей домостроя, зал семейного быта недавних предков. В перины погружались как в легкую, ласково щекочущую пену, не признающую никакой ткани на теле, даже тончайшего французского белья...

Быть может, все дело в елке, которую она наряжала ежегодно? Оба Рождества, Сочельник и Крещение елка стояла в большой комнате, упираясь маковкой в потолок, перебивая духоту гераней запахом хвои и мандаринов. Войдешь со двора, а там сверкание шаров и гирлянд, старомодные ватные ангелочки и зверушки, блеск мишур... И запах! Горьковатый цитрусовый смешивался с пресным хвойным. Просто-душная смесь детских утренников! Она странным образом соединяла радость и укор, обещание и сожаление. Только запах, живущий в глубинах памяти, способен волновать так живо и неотразимо. Как будто детство смотрит на нас...

Какова наша старость в глазах нашего детства? Я кое-что знаю об этом. Имею компетентное мнение. Любая старость — крушение. Даже успешная в плане творческой реализации, блестящая с точки зрения карьеры, внушительная по обличью — хотя последнее возможно лишь до поры. Всякая старость — ландшафт после бури: вывернутые деревья, обнаженные корни, неприглядные трещины. И не потому, что прожитая жизнь пуста, а тело немощно и смрадно, а потому что в сравнении со свежестью детства, с радостным и нетерпеливым ожиданием жизни, все урон и поруха.

Радость жизни мало связана с условиями жизни. Это биология, каждую минуту воспроизводящая клетки и вырабатывающая гормоны. Где лучше биология, там больше радости. В старости же нетерпение сменяется страхом, полет — тяжестью, сияющие зрачки — мутной катарактой. В таком состоянии трудно не растечься в неопрятную, дурно пахнущую кляксу, не сделаться бременем, а уйти достойно — ведь маршрут предстоит серьезный...

Тяжеловыен, Федор! Мрачен и тяжеловыен. Не хватает «марша фюнебр» для фона! Чего всю жизнь лишен, так это смуровской легкости. И легкомыслия Лесмы...

Бедняжка Лесма! Что ее так изменило — не сразу узнал. Особенно походка. Где прежняя вкрадчивость, Лисонька?.. Легкие девичьи ноги и пугливые коленки... Старость начинается с походки, по себе знаю: с утра ковыляю, как на протезах, пока не разойдусь. При чем тут я? Лесма на двадцать лет моложе! Впрочем, тоже уже не девочка... Может быть, пила со своим десантником. Или пьет... Я видел его не часто и всегда в подпитии... Имелась и у нее склонность, коей я не противился, скорее — потакал. Наши свидания так и проходили, под кагор и водочку. И весь серебрянопрудский роман вспоминается сквозь легкий хмель.

Да и десантник вошел в него, пошатываясь, с нетрезвой улыбкой на угрюмой физиономии...

Стоял май. Мы пили чай во дворе, под яблоней, куда Лесма вынесла старый ломберный столик, застеленный клеенкой; он не вмещал всего, что я навез из Моск-

вы. Лесма успела выпить пару стопок «Бенедиктина» и оживленно рассказывала что-то о своей школе и учительском коллективе.

Мимо проходили соседи, осторожно здоровались: Лесма рассекретила меня, на третьем году скрывать было уже нечего; весь поселок знал не только марку и номер моего автомобиля, но и краткую биографию: ученая степень и научные звания внушали уважение и проецировались на молодую учительницу...

Десантник появился на той же дороге, что и остальные: загорелый, в полосатой безрукавке и голубом берете; шел, слегка пошатываясь и мурлыча под нос. Единственный не поздоровался с нами, даже не взглянул в нашу сторону.

— По-моему, это Вовка, — неуверенно проговорила Лесма. — Володя Макунин, мой бывший ученик...

Часа через полтора — мы еще сидели под яблоней — десантник появился снова: теперь он шел в обратную сторону и почти не пошатывался, но нас по-прежнему не видел.

— Макунин! — окликнула Лесма. Тот не остановился, и она повторила: — Макунин, Володя!

Оглянувшись на голос, то ли недовольно, то ли с удивлением. Подошел к штакетнику.

— Здравствуйте, Лесма Яновна!

— Здравствуй, Вова! — Она тоже вышла из-за стола. — В отпуск или насовсем?

— Нет, все! — Он категорически замотал головой. — Дембель, Лесма Яновна! Отбарабанил. Отстрелялся! — И улыбнулся: улыбка преобразила его угрюмую физиономию.

— Федор Вениаминович! — Лесма обернулась ко мне. — Прошу любить и жаловать, это мой бывший ученик Володя Макунин. Как их армия-то меняет! А? Видал?

До армии я не видел его, сейчас же передо мной стоял рослый, плечистый парень спортивного вида с голыми по плечи мускулистыми руками, которыми он несколько театрально держался за ограду.

Так у них началось. А как развивалось, не знаю, и не хочу знать. Думаю, все сладилось быстро. Оскорбительно быстро. Возможно даже, вскоре после моего отъезда. Или через неделю. Что-то такое я увидел в их лицах, в прощальном взгляде: нагло-смелом — уверенного в себе юнца, и уступчиво-робком — женщины. Все упростилось до мычания. Сексуальная революция не только не настаивала на долгом предварительном музицировании, но прямо отменила его.

Но я-то был не из того призыва. На мне топорщился пиджак эпохи москвошвея. Меня сексуальная революция не выпестовала, а ушибла.

Не в свои сани не садись, дядя! Или сначала подзаймись фитнесом.

Я ушел без объяснений. Не хватало объясняться с молокососом-самбистом! Не то чтобы я боялся его, но в той вязкой паутине, из которой ткалась моя ревность, его физическое превосходство играло не последнюю роль. Мне было за пятьдесят, ему двадцать пять, Лесме под тридцать: женщина слышала первые отдаленные сигналы старения и неудержимо потянулась к молодому, полному сил самцу.

Говорят, что понять значит простить. Сказанное не относится ко мне. Воображение пытало меня сценами эротической инквизиции, коей, к вящему ее удовольствию, десантник подвергал Лесму. Он пластал ее так и этак, колесовал, подвешивал на дыбе, сажал на кол, утыкал лбом в вытертый палас и распинал на голой стене. Она умирала в долгой, сладостной агонии и воскресала, чтобы снова быть распластанной, распятой и посаженной на кол. Ужас! Ужас и стыд! Глядя на такое, трудно не превратиться в омерзительного павиана...

Я поперхнулся слюной и закашлялся.

— Что, Федя, нехорошо? — спросил Смуров.

Кое-как откашлялся, перевел дух.

— Ты не перебрал?

— Вроде нет, — просипел я. — Сейчас пройдет...

Взял бутылку с водой, отвинтил крышку, отпил. Вода оказалась холодной и удивительно вкусной.

— Не надо было пить на посошок, — сказал Смуров. — Там распетушился, а теперь вздыхаешь, как корова...

Я усмехнулся, угруз в своем углу.

То ли еду, то ли плыву в плотном тумане или в тяжелой воде. Что еще за тяжелая вода? Кто ее знает! Физики знают, а лирикам невдомек. И с мест они не сойдут... Физики и лирики — интеллектуальный инфантилизм оттепели. Скороговорка для логопеда... Та оттепель туфта, а эта пуста...

Посошок. То есть посох. Ожегов ничтоже сумняшеся называет посох длинной тростью. Как человек таежный, не принимаю такое толкование. Посох — необструганная палка, выражаясь по-крестьянски, дрын. Обычно выше человеческого роста, и уж, как правило, достигающий до плеча. На конце посоха уместен крюк, или естественный нарост. Ну а трость штука тонкая, фабричная, лакированная, с фасонным набалдашником, отполированным под руку. Трость для жуира, посох для странника. В особенности — *зрячий посох*...

Опять потянулся за водой. Спросил Сережу:

— Хочешь попить?

Покачал головой. В клетчатой кепке, которая со временем займет свое место на стендах литературного музея.

— А я попою.

— Это у тебя обезвоживание, алкаш...

Но водица хороша. От упоения пролил на грудь.

В деревне был чудесный родник, в отдалении, примерно в километре. Во дворах колодцы, а ходили к роднику, не ленились. Ставили на самокат молочный бидон с фермы и шли неспешно, под стрекот подшипников. Обычно Петя или Евлампия, но случалось и я, и даже Беата. Детки увязывались оба, и Филька, и Даша. К роднику, под горку, садились на самокат, придерживали позвякивающий бидон и жундели, как пчелки, в тон подшипникам, а на обратном пути помогали, как могли, упирались ручонками в холодный бидон и толкали изо всех силенок... Подъем пологий, почти незаметный, но с тяжеленным бидоном сказывался, тянуть даже вдвоем было трудно, во всяком случае, мне. А детская подмога, как ни удивительно, сказывалась. Им тогда годика по три было, или по четыре: голенькие, в одних трусиках, упрутся ручонками в бидон, попки отставят и пыхтят, стараются, и, ей-богу же, помогали, подталкивали! Но и уставали — по закону физики. Филя с полдороги начинал отлынивать, даже норовил на самокат подсесть; Даша честно трудилась до дома; упавшие на лицо волосики обеими ручками поправляла, вздыхала и опять упиралась, а когда взрослые останавливались дух перевести, присаживалась на краешек самоката — локоток в колено, подбородочек на ладошку, сидит, поглядывает снизу — прямо рафаэлевский ангелочек, тот, что слева, у ног папы Сикста... Аннушке сказал, так она прослезилась, и тут же велела Евлампии воду греть, чтобы девочке головку вымыть... «Дашута, ангел мой!..» — всю жизнь так звала. В старших классах, когда Даша иной раз лукавила, или утаивала что-нибудь от бабушки, укоряла ласково: «Ангел залгавшийся, тебе не к лицу...». В малышке и в самом деле было что-то; ангельское не ангельское, но необычное, незаурядное.

Раз с Евлампией пошел на родник. Дашута на самокате, Фили, сколько помню, не было. У родника Евлампия принялась бидон протирать—полоскать, из ковша наливать — дело долгое. Смотрю — Дашенька пропала. Нету рядом. Ни у родника, ни за скамейкой, поодаль сколоченной, ни в одичавшем малиннике. Пошел искать и вижу: на лужайке под раkitами стоит пегая лошадь, заднюю ногу поджала, не шелох-

нется, а у нее под брюхом, чуть ли не под ногой поджатой, Дашута на корточках: что-то в траве разглядывает, пальчиками копошится. Я так и обмер. Смертельный номер, если по совести! Хорошо, Евлампия не видела. Об Анне и подумать страшно... Главное, не спугнуть лошадку, не потревожить, чтоб не зашибла ненароком. Дашенька сама меня увидела, не пришлось звать. Встала, выпрямилась, до лошадиного брюха все равно не достала, и сосредоточенно пошла ко мне, идет и что-то невидимое в ручке несет. Лошадка, умница, опустила подогнутую ногу, вслед ей головой затрясла и фыркнула. А Дашенька подошла, ладошку доверчиво протянула, а на ней божья коровка: переползла с ладони на запястье и двинулась дальше. Дашенька с нее на меня вопрошающий взгляд переводит, ждет. «Это божья коровка», — говорю я. «Коровка?!» — переспросила недоверчиво, глаза от удивления округлились. «Да, представь себе, так она называется». «Дедушка! — взглянула с укором. — Ну, какая же это коровка! Коровки, знаешь, какие большие!..»

Так дитя новые слова осваивала, то удивлялась, то переделывала; каждое словечко в коллекцию дедушки Корнея, в избранное «От 3-х до 5-ти». Услышала, что косточка на ножке называется щиколотка и засмеялась удивленно: «Шоколадка?!» А бутылочку с меркой, в которой Евлампия детские смеси приносила, до третьего класса называла *битулечкой*.

С малых лет установила особые отношения с букашками и бабочками. На цветущем лугу, среди некосей и пушистых свечей иван-чая играла с подружками в придуманную игру: девочки разбегались по ее команде, как в прятках, и по счету замирали, кого как застало — кто пригнувшись, кто на одной ноге, кто со вскинутыми руками. Но главное следовало дальше: вокруг порхали бабочки — в то лето их было необычно много — и та из девочек, на которую садилась бабочка, объявлялась Принцессой лета. «Не знаю, что за чудо, чем такое объяснить, — говорила Беата, недоуменно подняв дуги своих бровей, — но бабочки выбирали исключительно Дашу! Я целый час за ними наблюдала...» «Потому что ангелочек», — походя, ласково и безапелляционно вставила Аня. А Петя недовольно проворчал: «Не дурите девчонке голову! Ей жить с людьми, а не с бабочками...»

Кто же из нас не понимал этого, но уберечь не смогли.

Что стало причиной ее срыва, так и не выяснили. Стечение обстоятельств, одно к одному: жаркая Ялта, солнечный удар, переломный возраст, или что-то с Беатой, ее тайное исчезновение и слухи вокруг...

Приятель-психотерапевт по моей просьбе беседовавший с ней, невнятно промямлил: «Случай непростой, Федя: и возраст сложный, и натура не подарок, склонная к крайностям. К самым радикальным крайностям — поверь. По-моему, девочка раздавлена гормональной бурей и, увы, ее долго придется ставить на ноги. Так что наберись терпения...»

Я и сам склонялся к такому заключению, которое, однако, не назовешь диагнозом.

Экзотическая генетика, акселерация, гормональный взрыв — все так; но еще происходившее в стране — распад Союза, крушение уклада, обнищание семьи. Все это ранило чуткое детское сердце. Она жила, как на лавиноопасной круче, вернее, чудом удерживалась на ней, никому не жалуясь и не зовя на помощь. И тут смерть бабушки... Мы все тяжело пережили потерю, но их связывали особые отношения, редкостное родство душ. Я лучше других видел и понимал это. Я был как антиквар с двумя редкими камнями в тайнике за пазухой...

Как Аня отнеслась бы к тому, что происходит сейчас? Где тот мир, в который она с легким сердцем отпустила бы любимую внучку? И каким должен быть мужчина, за которого согласилась бы отдать своего ангелочка? А выходят ли ангелы замуж? Насчет ангелов судить не берусь, про Дашу же Евлампия давеча сказала: «Не припоздниться бы... Нам за ней не углядеть...» Однажды встретил ее на Поварской с высоким симпатичным молодым человеком, обремененным виолончелью в футляре, но,

кажется, то был просто знакомый, ни на что не претендующий приятель, без матримонимальных поползновений. А летом сама привела в дом приятеля иного толка, с поползновениями, и довольно агрессивными. Представила как-то слишком нарядно — понтийский грек, потомок аргонавтов. На проверку оказался уроженцем Туапсе, точнее, Агоя (я проезжал это местечко по пути в Овсяно-Осиповку), но с именем нарядным — Христофор Димитриади. Понтийский грек произвел двойственное впечатление: недурен, хоть ростом ниже Даши, самоуверен и тверд, но себе на уме. Никак не смог выяснить его профессию и род занятий. На вопрос об образовании усмехнулся: «Восьмилетка в Агое». Ответ понравился. Прямотой и иронией. Да и кому нынче нужно образование! Самая уважаемая профессия — финансовый *слекулянт*, для успеха в которой достаточно иметь склонность к махинациям или еврейских предков. Кажется, его бизнес — перепродажа иномарок. Слишком грубо, Аннушка, уж извини, профессорской семье не к лицу. Но зато в духе времени. Впрочем, неизвестно, собирается ли грек жениться. Этой темы не касался, даже намеком. И к Дашеньке в комнату едва заглянул...

Насколько тревожно и непонятно с нашей девочкой сегодня, настолько спокойно и уютно в прошлом: походы в музеи, поездки в Ленинград и Киев, «Декабрьские вечера», премьеры друзей, чтение всей семьей чеховского «Студента» в канун Пасхи. А на Рождество «Зимний путь» с бесподобным Фишером Дискау...

Особняком разговоры о живописи, наглядные уроки Ани. Стоило развязать те-семки на больших плотных папках, хранивших сотни репродукций, как она преобразалась: из доброй, сдобной бабушки, безотказной *душечки*, превращалась в профессионала арт-критика, авторитетного знатока «Бубнового валета». Она ненавязчиво шлифовала вкус Даши, прививала любовь к своим любимым постимпрессионистам, к Сезанну и Малевичу, деликатно отклоняла «Большой стиль», и только новейшая живописная попса вызывала у нее сарказм.

Перебирая репродукции, Аня была немногословна: за зорким, несколько надменным взглядом следовала исчерпывающая оценка уверенного в себе профессионала: «Это *наполнено* ... И это *наполнено*, ты видишь? А вот это нет, *не наполнено*...»

Разок Даша попыталась воспользоваться полученными уроками и устроиться экспертом по составлению корпоративной коллекции; некоторые богатеи позволяют себе такое. К сожалению, сорвалось. А ведь надо найти занятие. Сколько можно плясать с Лилей в клубах и на корпоративах!..

Почему портрет какого-нибудь флорентийского юноши в красном берете «наполнен» до краев, а герой века Юрий Гагарин пуст, как пустышка?

Пустота или содержательность художественного образа зависят в большей степени от субъекта, нежели от объекта. Умная мысль, хоть и не моя...

Сорвалось с коллекционированием, пошла устраиваться в стюардессы. Вроде бы все при ней — и внешность, и языки, и осанка, но тоже не получилось. Испугалась в последнюю минуту. Видно, нервы еще не в порядке, фобиям подвержена. Если верить Евлампии, до сих пор метро избегает... Или уже не избегает? В сущности, я мало знаю о ее житейской жизни...

Что-то путаться начинаю... Сбиваюсь... Засыпаю, что ли?

Мы едем с Сережей. Едем с Сережей Смуровым на его «Волге». А не на моей «Ладе». Моя «Лада» отдала все. Как корова кормилица. Пятнадцать лет безотказно возила, а в черный день выручила тремя тысячами. Сейчас быгодились...

Корова много раз дает молоко, и только однажды мясо... Не мясо, доллары...

Откуда-то задувает... щекочет слегка... Хорошо...

Ей запрещали, категорически. Балетные ноги надо беречь, как скрипичные пальцы. Тогда ничего не боялась. Ни метро, ни велосипеда. Слава богу, обошлось. Обойдется ли теперь?..

Перевалили и вниз. Не перевал — взлобок. Конек-горбунок. Укачивает хорошо,

мягко. Мотор умолкает... И опять затягивает свой спиричуэлс: «мммммммммм»... Значит, снова в горку, до очередного взлобка. А там, глядишь, и Ока покажется ненаглядная, и дали откроются неоглядные... Фудзияма... яма... яма-а-а-а...

В полудреме-полусне ветерок щекочет, охлаждает. И чую, вроде сзади кто-то гонится, преследует нас. Не с угрозой — весело. Шутя-играя... Глянул через плечо в заднее стекло: метрах в двадцати следом велосипед катится трехколесный, на нем девушка: платице короткое, сандалики с перепонками, бант в волосах. Ну-у, педальки крутит, только коленки мелькают! Припала к рулю, смеется и кричит что-то. Я обрадовался было, но тут же встревожился. Показалось, что малышка на велосипеде — Дашенька, и гонится не ради забавы, а отстать боится. Нельзя ей отстать. Высунул в окно, голову вывернул — точно Даша. Зовет: «Дедушка! Подожди меня, дедушка!» А по обе стороны машины проносятся в опасной близости, ветром хлещут, волосики вздымают, вот-вот бант сорвут. Надо бы притормозить и как-нибудь взять девочку в машину, втащить вместе с велосипедом. Но на ходу это очень опасно. Смертельно опасно!.. Пока девочка за нами, все ее объезжают, и встречные, и попутные, если же замедлимся и отпахнем дверь, собьют, опрокинут и...

В тревоге оглядываюсь и чувствую, как холодеют корни волос. Там все переменялось. Нет ни велосипеда, ни девочки, ни машин на трассе. Сзади слышится стук да гром, и скачет тяжелым галопом по лесной просеке необычный конь — зловеще багряный, с султаном и перьями на спине, то ли цирковой, то ли с карусели, но большой, прямо-таки былинный. И на нем охлюпью, без седла, женщина в черных лохмотьях; тощая, прямая, худые ноги вытянуты, волосы вздыблены и кричит что-то беззубым ртом...

Торопливо просыпаюсь. Выныриваю на последнем дыхании. Хватаю ртом воздух. На испуганном сердце глыба льда. Сердце колотится часто-часто. Пытаюсь вдохнуть поглубже и растереть грудь. Понемногу отпускает. Но страх и нереальность продолжают.

Машина стоит, и Сережи в ней нет.

Снаружи голоса.

— Майна! Майна!

— Ну все, встало... Отпускай...

— Половина в кювете, а с асфальта не соскребешь.

— Оглоблей придавило. Крови много, но кости целы.

Слова загадочные, голоса нереальные, как на зимней станции среди ночи.

— Я из Каширы МЧС вызвала.

— Здесь нужней неотложка...

Еще не вечер, но смерклось изрядно. Несколько машин сгрудились, светят ближними фарами. Какие-то люди ходят, что-то разглядывают, отмеряют шагами. Лошадь вислобрюхая понурилась. Похоже на дорожное происшествие. Нечто выйти, выяснить...

Тут открывается дверь и в машину забирается Сережа. Садится за руль.

— Что там? — спрашиваю.

— Телега опрокинулась.

— Какая телега? — опять почему-то пугаюсь. — С детьми?

— С какими еще детьми? — недоумевает.

— С нашими, с пионерами.

— Окстись, Веняминыч! — оборачивается с укором. — Те пионеры сейчас на Куликовом поле костер жгут, картошку пекут... Какой-то хряк решил мужика проучить. Лошадь фарами ослепил, телегу боднул и укатил. А стожище сена в кювете, целое поле...

— Что значит — укатил? — с ходу включаюсь. — Надо привлечь, проучить!

— Брось, Федя, мы с тобой даже не свидетели. Нам бы до дому добраться...

Осторожно вырुливаем из скопления машин, объезжаем пустую телегу и, шурша рассыпавшимся сеном, едем. Скоро шуршание смолкает, под колесами асфальт.

На сердце по-прежнему холодный гнет; оно колотится мелко и слабо, как семечко в тыкве.

Что за жуть привиделась? То ли цирковой конь с султаном, то ли красный Пегас?..

Стыд-то какой! И уже не исправишь. Времени не остается, вот в чем беда! Нам не исправить, а им ни к чему. Им и так сойдет... Дашенька собирает на лечение больного мальчика. Не о себе хлопочет, подруге помогает... А дед возвращается пьяненький, с пустыми руками, пустыми карманами и пустой головой. И захлебывается слюной при воспоминании о коричневых сосках и розовом шраме на смуглой заднице... У-у, стыд-то какой!..

Замычал и поспешно опустил боковое стекло. В окно хлынул вечерний холодок. Подставился, закрыл глаза. Увидел всадницу на красном коне. Блудница на звере багряном...

— Поосторожней, Федя, — сказал Смуров. — Там похолодало.

Промолчал. Ветер облепил лицо как мокрой марлей с трепещущими краями.

Что же делать? Позвонить Петру. Потребовать. Настоять. Я знаю его возражения: благотворительность — то же штрейкбрехерство, ослабление нашего дела, дыра в общем фронте. Через каждый взнос, через каждый усовершенствованный протез, препарат или инвалидное кресло, оплаченное благотворителем, утекает энергия протеста, жесткие желваки отцов, слезы и отчаяние матерей, и чаша гнева превращается в решето. Так она никогда не переполнится и не смоет нечисть. Гроздь гнева никогда не созреют... Мысль трезвая, но недобрая. Как Петр дошел до такой?.. Почему я решил, что у него найдутся такие деньги? Десять тысяч евро! Или долларов? Хорошо, хоть, не фунтов: было бы совсем неподым. Какие у валют отвратные символы; похожи на увеличенных блох, клещей, червячков... Бациллы под микроскопом! Проникли в нас, заразили... Был шанс вывести их из организма, очиститься, да профукали сдуру... А что, если без тех паразитов человек не живет? Кишечная флора...

— Что ты все маешься, Федя? Стонешь, вздыхаешь...

— Плохо дело, Сережа, — ответил я.

— Ты о чем?

— Да все о том же. Даша моего возвращения ждет, на помощь надеется, а я еду с пустыми руками.

— Ну не совсем с пустыми...

— Ты о компенсации? — удивился я. — Брось, пожалуйста! Это издевательство! И катастрофа. Я не про безденежье, а про беспомощность. Поначалу кафе отвлекло, там вдруг Лесма оказалась, работяги с Черчиллем, да и захмелел сразу. А теперь вот протрезвел, и хоть домой не возвращайся.

— Не горячись, Федя. Петра привлеки. Строго, по-отцовски, пусть раскошелится.

— Думаю, у Петра таких денег и в заводе нет. Принцип есть, а денег нет.

— Что за принцип?

— Благотворительность приравнивает к штрейкбрехерству и коллаборационизму. Измена. Утечка революционной энергии!

— Что-то он у тебя осерчал! — оглянулся Сережа. — Я тоже с некоторых пор сердитый, но до такого не додумался... Товарищ Че! Амиго! Компаньерос. Впрочем, такие и делают дело. На них вся надежда. В «Новом мире» некто Шарыгин написал, что у нас в стране зарождается новое рабовладение, и для его внедрения губится образование, дабы необразованностью общества обезопасить элиты. Автор, между прочим, профессор математики, университетский преподаватель, и знает, что говорит. А я вот слаб, Федя: люблю Солдатенкова, и Шереметеву в ножки кланяюсь — за

странноприимный Склиф¹. Да слышал еще про артисточку из «Современника», Чулпан Хаматова — суетится, хлопочет, силится фонд организовать. Помощи детям, между прочим, так что учти...

Справа впотьмах вывернулась баба на велосипеде, с корзиной, притороченной к багажнику. Едва не сбили, объехали кое-как. Сережа чертыхнулся и умолк.

Минут пять оба молчали. К этому времени совсем стемнело.

В темноте миновали Каширу и проехали по мосту над Окой. У причала стоял пароход. Другой плыл вниз, в сторону Рязани; в воде отражались огни иллюминаторов, и чуть слышно доносилась музыка.

— Все-таки не пойму, — начал Сережа. — Если все так серьезно — извини, я не о тебе, даже не о Даше, а о больном ребенке — если с ним так плохо, почему ты не хочешь обратиться к Беате?

— Ты тоже меня извини, но ты предлагаешь общаться с призраками.

— Какими призраками, Федя? За пару недель я раздобуду ее адрес! Один из домов у них точно в Сан-Себастьяне, а там тоже теперь наши люди. Между прочим, с недавних пор Вася Аксенов. Ты бьешься, как об лед, а для ее черкеса десять тысяч пустяк, цена одного ужина. С тем же Васей.

— Потрясающе! — возмутился я. — Ты меня удивляешь, Смуров. Даже если все так, если она жива и купается в роскоши, где она была эти десять лет? Помнишь, что мы пережили с Дашей? Как девочка перемучилась? Мы могли ее потерять, и еще не известно, чем все обернется, какие будут последствия. А мать, видишь ли, жива, разъезжает по кинофестивалям и курортам и ни словом, ни звуком не дает о себе знать! А теперь мы объявимся: «Беатриче! Дорогая! Ненаглядная! Пришли нам денег, и мы все простим и забудем!» Кто это сделает, я спрашиваю? Во всяком случае, не я. Больше того, если она сама пожалует в Москву и встанет перед Дашей на колени с пачкой денег в зубах, та ее выставит: бичуй дальше, Биче! Вот бог — вот порог! Тут у тебя ни дома, ни дочери. За это я тебе ручаюсь!

— Все-все-все! — примирительно проговорил Смуров и даже, оторвавшись от баранки, поднял руки. — Это в вас предки бушуют, кровь староверов. Хованщина! Неужели и Даша такая?

— Не знаю, — сказал я. Подумал и повторил без прежнего напора. — Не знаю...

— Мы — казаки — сговорчивей, склонны к компромиссу. Половецкая степь воспитала, Хазарский каганат научил. Вот и подарили стране Горбачева.

— Так вот кому мы обязаны! — Я не поленился подмешать в интонацию толику желчи. — Но разве он из казаков?

— Во всяком случае, из тех мест...

На презентации двухтомника мемуаров в «Балчуге» я спросил: «Михаил Сергеевич, вы все еще верите в новое политическое мышление, или в политике по-прежнему есть только победители и побежденные?» Раиса Максимовна неприязненно оглянулась на вопрос, а сам завел что-то расплывчато-многословное про экологию, которая приведет-таки человечество к новому мышлению. В том смысле, что покорного судьба ведет, а сопротивляющегося тащит. Это он знает нутром. Девиз его крови — не перечь судьбе!

Совсем стемнело. Ехали лесом. За деревьями мерцали огни небольшой деревеньки. Один дом стоял особняком, в отдалении, его окно одиноко светилось во тьме. Я смотрел на него и чувствовал, как далекая тоска чужой жизни жалит сердце.

— Где мы? — спросил. — Ты следишь за дорогой?

— По-моему, проехали Ступино.

— Что-то долго. Уже ночь, а мы только в Ступино!

— Рано темнеет, Федя. Октябрь. Забыл спросонья?

— Неужели я долго спал?

¹ Купец Солдатенков — основатель Боткинской больницы; в Странноприимном доме графа Шереметева располагается ин-т им. Склифосовского. (Примеч. ред.)

— Не знаю, спал ты или кемарил, мне недосуг. Дорога — раздолбай. Хоть движение к вечеру поредело, и на том спасибо.

— Просто не хочешь признаться, что не тянет твоя «Волга».

— Еще как тянет! Я на нее не в обиде, — похлопал по баранке. — Вот пилот точно не тянет. Это правда...

Замолчал. После долгой паузы тихонько затянул из «Руслана и Людмилы»:

— Наина, где твоя краса? Скажи, ужели небеса тебя так сильно изменили?..

— Дурак, — сказал я. — Дурак, хоть и меломан.

— Извини, Федечка, — спохватился и кротко спросил: — Неужели на свой счет принял?.. Ну, извини, старик! Я просто, от балды...

— Ты и есть балда.

— Согласен, — кивнул поспешно. — Только не сердись. Не продумал репертуар. Извини...

— Я и сам был потрясен, — признался я.

Помолчали.

Спросил осторожно:

— Как ее угораздило в придорожную столовку? Чем в прежней жизни занималась?

— В прежней жизни преподавала литературу, — ответил я. — Между прочим, подавала к нам в ИМЛИ, в аспирантуру. Ценный материал собрала по раннему Есенину, по Спас-Клепикам и Солотче.

— Да ты не горячись, Федя. Я не сомневаюсь...

— Кое-что опубликовала: в Туле и в Рязани, но потом отдумала...

— Все, старик, все... Я все понял... Лучше про Дашу скажи. Кроме сбора средств для больного ребенка, общественной, так сказать, миссии, чем сейчас занимается? В постоянном режиме...

— Да ничем, в общем-то... Вернее, все тем же: танцует в элитных клубах, на корпоративы приглашают с подругой. Есть у нее из балетной школы наперсница, одноклассница, в один год отчислили. Лиля, татарочка прелестная, вместе и подвизаются.

— За что отчислили?

— Не поверишь: как акселераток. Не балетные габариты, и формы, видишь ли, избыточные. С точки зрения балетмейстеров. Ну, какие у Дашки формы?

Снял кепку, поскреб в затылке.

— Я так понял, что тебя это беспокоит, нервирует. Верно?

— Хорошего мало, — признался, — у меня барометр верный: как на это посмотрела бы Аня. А она была бы недовольна. Это для меня совершенно ясно.

— И напрасно! — откликнулся сразу. — Знаешь, как я твою Аню ценил, уважал, считался. И в жизни, и вообще. Но и она могла ошибиться. Да и время понеслось под откос с миллениума долбаного. Ты в Интернет заглядывал? Нет? Сходи осторожненько, не свихнись только. Мир перевернулся, Федя! Переменился, кожу сменил, мозги; кажется, пол меняет. Новый мир, другой! Не наш с тобой. Хороший, или плохой — не знаю, не поймешь сразу, но другой. Новый. А мы к нему со старыми мерками, с дедовскими понятиями, с домостроем и двуперстием вашим, таежным, извини. Не знаю, как у вас, у староверов, а у нас, у казаков, говорят: девка, как коза, поверх тына глядит, — повернулся и некоторое время испытующе смотрел на меня, я даже забеспокоился по поводу безопасности на трассе. — Только ты не обижайся, Вениаминыч! За девками наши предки не могли уследить, в теремах и башнях. Пояс верности сконструировали, придурки. От досады поговорок наговорили целую книгу. Бабьему хвосту нету посту. Во как!.. Муж в шанцах, жена в танцах. Продолжить?.. Извини, потому себе позволяю, что мало кто в Москве поймет тебя, как я. Я ведь тоже своего рода старовер. У нас, на Кавказе, закон даже построже, но и он дал трещину... Новый мир — новый лад, Федя, и не нам с тобой их на путь наставлять. Так что смотри на вещи просто...

Не понравилось мне его многословие, насторожило. Нет ли у этого всезнайки еще какой-нибудь новости для меня? Но спросить поостерегся.

А он перевел дух, сигарету закурил и сменил тон.

— Меня другое беспокоит, Федя. Хочу узнать, вернее, чувствую прямо-таки насущную потребность выяснить, давно ли ты, друг мой, за рулем сидел?

— А в чем дело? — полубопытствовал осторожно.

— Да ты не пугайся, — говорит. — Дело в навыках вождения, а они живучи. Я пять лет дальше поликлиники и базара не ездил. И то и другое рядом. А тут полтыщи километров отмахали. Считаю, шесть часов за рулем. Чувствую — устал. То ли глаза переутомились, то ли реакция, но с каждой минутой теряю уверенность. Особенно, когда встречная дальним слепит. Пока ты дрых, пару раз чуть в кювет не кувыркнулся.

— А ты остановись, передохни, — посоветовал я. — Куда нам спешить...

— Это можно. Но можно и не останавливаться, если ты поведешь. Не спеша, хоть километров по сорок. Все-таки ночь на носу, а тебе бы домой поскорей, разве не так? Да и мне тоже...

— Право, не знаю, — замялся я. — Я машину продал аж когда Аня болела...

— Кому ты говоришь! — усмехнулся Смуров. — Кто тебе покупателя привел, забыл?

— Забыл, — признался я. — Про ту зиму вообще мало чего помню.

— Ну так как? Вождение — рефлекс, как морзянка в подкорку въедается. Первые двадцать минут подстрахую, а дальше покатишь, как ас. Я же помню, как ты водил. И дорога знакомая...

— Ас не ас, но попробовать можно, — неуверенно согласился я.

— Ай, молодец! — похвалил и тоном спортивного комментатора объявил: — За рулем русского болида Федор Краснопевцев! Сейчас сделаемся вон у того верстового столба...

Проехав еще метров двести, подал к обочине и остановился. Под колесами хрустнуло и смолкло. На верстовом столбе значилось «37». «Не близко», — подумал я, хотя в былые годы на таком расстоянии считал поездку законченной и перестраивался на Москву.

Вылез из машины, обошел сзади и остановился, изумленный: передо мной открылась просторная поляна на краю бора. На первый взгляд обычная подмосковная поляна, по-дачному живописная, играющая с горожанами в лесные тайны, шутя пугающая чащобой и дебрями.

Но стоило глазам привыкнуть к сумраку, как я разглядел необычность открывшегося пейзажа: передо мной была иллюстрация Билибина к русским сказкам, загадочный пейзаж в сумрачном освещении, душа русского леса, явленная русским художником.

Между обломанными и замшелыми пнями, торчащими из зарослей папоротников, петляла тропа. Она уводила к небольшим елям, окруженным дружной порослью, и пропадала в траве. На макушке облетевшей березы нахохлилась ворона. А у своих ног я увидел семейство гигантских мухоморов с белой сыпью на шляпках...

И эту сумрачную картину, страшноватый лубок в темных тонах освещал необычный свет, источник которого я обнаружил, когда запрокинул голову и взглянул на небо: в плотных лилово-черных облаках светился вытянутый, по-билибински замысловато очерченный разрыв, прореха, наполненная изжелта-розовым свечением. То был свет гаснущей зари: перед наступлением ночи она напоследок освещала пейзаж, в котором обывкий глаз еще мог различить разные оттенки черного.

Я нетвердо брел по тропе к ближним елям и не заметил, как миновал их. Тропа так пружинила под ногами, что я оступался и пошатывался. Черневший стеной дальний бор дохнул теплой печальной сыростью. Все мое существо порывисто откликнулось на знакомый запах: как будто кто-то забытый, но близкий, ласково позвал меня. Кислинка сорванной травы на зубах тоже показалась своей, кровной. Вот ведь как хорошо, а? Остальное пустое, мелочное... Аня бы поняла... Одна Аня... Почему-то в такие мгновения вспоминаешь ушедших, и от этого щемит сердце...

Пахнет тайгой. Грустно и горестно пахнет тайгой. Как у нас на монастырском склоне. Не надышаться...

Сигнал машины останавливает меня. Смуров сигналил долго, в звуке недоумение и тревога.

Какое-то время стою под елями, среди невысокой поросли. Вокруг курчавятся разлапистые папоротники. Лимонно-розовое свечение в небе угасает.

Поворачиваюсь и бреду назад.

По шоссе проезжают редкие машины. Наша «Волга» слегка накренилась на обочине.

— Ты куда наладился, Вениаминыч?

Пожимаю плечами:

— Прогулялся.

— Расстройство желудка?

— Да нет, лесом подышал, пейзажем полюбовался. — Жест в сторону поляны.

Смотрит мимо меня, пригнувшись, бросает взгляд на небо.

— Я думал, ему по-большому приспичило, а он пейзажем любовался!..

— Что это ты разворчался?

— В Москву пора, Федя, — отвечает. — Если не передумал, садись... — подвигается, освобождая место за баранкой. — Грешным делом, решил, что у тебя медвежья болезнь разыгралась от предчувствия...

Я усмехнулся, буркнул:

— Запоры — спутник цивилизации.

Он вдруг посерьезнел, помрачнел даже. Вздыхнул:

— Ладно, Федя, с Богом! — и троекратно перекрестил дорогу.

Первую четверть часа двигались ползком. Обгоняющие машины негодуя сигналили, проносясь мимо. Но постепенно стрелка спидометра поползла вверх. Смуров одобрительно приговаривал: «Молодец, Федя, хорошо! Быстрее и не надо, мы ведь никуда не спешим...» О дорожной беседе забыли и думать. Я был так сосредоточен, что пропускал мимо ушей даже элементарные советы. «Свободней, Федя, — твердил Смуров тоном инструктора автошколы. — Плечи не зажимай». Хотелось послать его подальше, но от напряжения не мог выговорить ни слова.

Так мы ехали, пока на вираже какое-то чудовище, обло и стозевно, сверкающее десятком фар и никелевыми прибабасами, не ослепило меня, как молния. Я запаниковал, задержался, заюлил, изо всех сил нажал на тормоз, и только чудо (или вмешательство Смурова?) спасло от страшного продолжения.

После этого так и не удалось унять дрожь в руках.

А навстречу уже надвигалась Москва — ровным гулом, как бы исходящим из преисподней, и багровым заревом на низком небе.

Зарево над городом было такое зловещее, как будто русская столица опять исторгала корсиканца. Но то был отсвет огня не воинственно-патриотического, а меркантильного: стены и крыши московских домов полыхали рекламами, зазывая и предлагая все, от пива и косметики до земельных угодий на Адриатике. Охваченная торгашеским азартом, Белокаменная горела ярче, чем в патриотическом порыве, и думать не думала о том, что этот огонь испепелил ее душу...

Я сбавил скорость, с тревогой посматривая вперед, туда, где меня ждало главное испытание. Езда по бетонным просекам — цветочки, разминка, подступы к непролазным автомобильным скопищам...

Кажется, началось! Справа подперли, и слева тоже, и сзади кто-то плюет на дистанцию. Только бы не застрять! И не зацепить дорогу иномарку. От нее не откупиться. Беспредел родил промысел: имитация ДТП с последующим наездом. Говорят, квартиры заставляют продать, иначе наручниками к трубе!..

Когда же, кое-как завершив маневр, я въехал с Каширки на МКАД, в глазах зареяло так, что чуть не врезался в бетономешалку с нерусской надписью на вращающемся цилиндре. Этот-то цилиндр и вернул к реальности — напомнил игрушку, некогда подаренную Филе.

Резкое торможение вызвало цепную реакцию раздраженных гудков — точно тысячеголовое стадо заблеяло и замычало. В результате я оказался не на правой полосе, относительно безопасной по моим навыкам, а в середине потока, медленного и плотного, как погребальное шествие. Отовсюду мне раздраженно сигналили, грозили кулаками и крутили пальцем у виска. Я не знал, что делать. Стоило оторвать взгляд, пристывший к идущей передо мной синей «Ладе», как перемещение машин на периферии зрения вызывало тошноту и головокружение. Я боялся упасть на баранку, вдавить тормоз, сделать что-то такое, что остановит этот железный поток, прервет его движение, вызовет ступор, сопровождаемый воплями клаксонов и воем сирен. Из такой какофонии не выбраться! Она раскроит башку и расплющит. И никто не заметит, только обматерят покруче...

Я почувствовал, как остыла взмокшая плешь и похолодели руки.

Смуров помалкивал, но его тревога росла и переходила в панику.

Мучаясь головокружением и тошнотой, я включил поворотник и стал метр за метром выбирать вправо. Столько крепких выражений в свой адрес не упомяну за всю жизнь. Клаксоны надрывались, как на похоронах таксиста в Палермо.

Наконец я с облегчением увидел себя в правом ряду — хотя бы с одной стороны мне ничего не угрожало.

Правее были щебенка, редкий газон и высокая звукозащитная стена.

Подавшись еще правее, я остановился.

— Все.

Смуров с облегчением перевел дух, спросил:

— Живой?

Я покивал головой:

— Кирдык.

— А почему по-татарски?

— У тебя перенял.

— Поскребешь русского — обнаружишь татарина?

— Этот случай не тот, — сказал я.

— Что-то ты стал косноязычен. Как себя чувствуешь?

Тошнота, усилившаяся при остановке, хлынула в горло. Подавился, дернул дверь, пытаюсь выбраться. Смуров схватил за локоть.

— Ты куда?

— На минуточку...

— Сиди, Федя. Не надо. Нельзя.

— Мне нужен воздух! — взмолился я.

— Какой воздух? Здесь не Ступинский лес! Здесь задохнешься. Здесь я задохнусь! — захлопнул дверцу, щелкнул кондиционером. Сидел испуганно косясь на меня. Погодя, спросил: — Ну что?

— Что-то мне не по себе, — пролепетал я. Язык плохо ворочался, рот пересох.

Отпахнул бардачок, порылся. Нашел пустую аптечку, чертыхнулся.

— У тебя-то есть что-нибудь?

— Что?

— Что-нибудь от сердца? Валидол, нитроглицерин...

— Не знаю. — Я вяло полез в карман. — По-моему, ничего...

— С ума меня сведешь! — возмутился не шутя. — С больным сердцем в дорогу и ничего не берешь! Ты что, Федя, самоубийца? Или слабоумный?

Я откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза, попытался ничего не слышать и дышать поглубже... Досадно — всю поездку продержался, а тут сплеховал. Пугал холодок в груди на месте сердца.

— Сюда даже неотложку не вызвать, в этот вавилон на кольцевой дороге!

— В Вавилоне была кольцевая дорога?

— Он еще острит! Молчи уж, герой! Не надо было тебе за руль. Сам-то о чем думал, академик хренов! От этого зрелища не то что у тебя, у меня голова кругом...

Открыл глаза. Впереди над трассой светился надземный переход, безлюдный,

наполненный желтым светом. За ним стояло капитальное строение темного кирпича с надписью — «Урарту». С первого прочтения принял за аббревиатуру в ряду «Урал-маш» — «Уралсиб». Потом вспомнил про древнее государство и решил, что это армянский торговый центр на МКАДе. Армяне — древний торговый народ. Они пода-рили трон кому-то из русских государей. А графу Орлову продали алмаз, который тот поднес Екатерине Великой. Алмаз «Орлов» лучшее украшение алмазного фонда...

Головокружение ослабло, но я старался не смотреть в сторону движущегося потока машин.

— Будь другом, дай бутыль, — попросил Смурова. — Мне не дотянуться...

С готовностью перелез через сиденье, отвинтил крышку, протянул.

Вода и на этот раз пришлась по вкусу. Полегчало. Спазм отпустил, но пустота в груди не заполнялась. Ощущение было знакомое, почти привычное: утром испытал его в сквере, после идиотского «подвига» на троллейбусной остановке.

— Не бойся, Серый, обойдется... — счел нужным обнадежить.

— Ну вот! — Он почему-то поморщился как от лимона. — Совсем плохо дело.

— Почему? — не понял я.

— В первый раз Серым назвал. Как культурник с турбазы! Ну, какой я серый, Федя? Ни с лица, ни с изнанки...

— Твоя правда, — согласился я. — Потеря объективности из-за субъективности.

Присмотрелся удивленно.

— Златоуст!

Как диагноз поставил. Но с оттенком иронии, царапнувшим слух. Решил отмол-чаться. Расслабиться по своей методе и выровнять дыхание. Оно было поверхност-ное и легкое. Слишком легкое. Не по-бунински. Клинически легкое...

Смуров попытался поправиться. Сказал дружелюбно, с деланой бодростью:

— Главное, Федя, не отчаивайся. Надо только форму вернуть. Правильное питание, кора йохимбе и корень жень-шеня, и одинокие соседки выстроятся перед твоей дверью.

Все-таки он неисправим! Доколе, бедный мой гусар?

А он продолжал:

— Но как ты классно вырулил, а? Как в лузу сел. Я-то думал, капец моей «Волге», самым бы уцелеть... Но ты оказался на высоте! — Взял у меня бутыль с водой, приложился основательно. Оторвавшись, протянул обратно и сопроводил знакомой репликой: — Попей-ка моего кваску! А хорош!...¹

Вспомнил из любимой книги ради исцеления. Как живой водой окропил.

— Спасибо, Сережа, не хочу, — с признательностью дотронулся до его руки.

Завинтил крышку, бросил бутыль на заднее сиденье, спросил строго:

— А без валидола будешь ездить?

— Не буду. — Я покачал головой.

— То-то... Напугал ты меня, Федя. В этот раз обошлось, но впредь не гусар-ствуй, вози с собой кардиоминимум. Теперь, Бог даст, до дому довезу, и Евлампии вручу, и кардиолога обеспечу, если, конечно, захочешь... А покамест *один умни слово* скажу, *только ты не обижайся*, — со знанием дела изобразил кавказский акцент. — Помнишь наши поездки в Будапешт и на Балатон?

Я с интересом посмотрел на него: на фоне бокового стекла чернел знакомый силуэт — рысь в кепке. Крупная рысь — почти тигр... С чего это на Московской кольцевой, у торгового центра «Урарту» ему вспомнился Будапешт с Балатоном?

— Лайоша с Эржбетой помнишь? Переводчицу мою и издателя...

— Конечно, помню, — сказал я.

— Венгры народ верный, власть поменяли, а Смурова не забыли... Представь: в литературном еженедельнике опубликовали беседу со мной, вернее, ответы на воп-росы, присланные по Интернету. На целую полосу, и фото — в кепчонке этой дурач-кой, как в короне. Словом, чин чинарем! Старая любовь не ржавеет. За что я венгров

¹ Фраза из эпизода косябы в романе «Анна Каренина». (Примеч. ред.)

люблю, знаю, за что они меня — ума не приложу. Но не в этом суть... Две недели назад, представь, присылают гонорар. Через советника посольства по культуре. Пятьсот долларов, — положил руку мне на плечо, бережно так, по-братски. — Веньяминыч! Деньги небольшие, но случайные, неучтенные, налогом не облагаемые. Прими до лучших времен, — вытащил из нагрудного кармана стопочку. — От нашего стола, как говорят на Кавказе...

Надо же — дарит полтыщи долларов и чуть не извиняется!

Я опять разволновался, аж сердце свое расслышал.

— Какие лучшие времена, Смуров? Мои времена ушли. Мне, брат, хана.

— Опять на татарский перешел? Не говори глупостей, да еще не по-русски, а возьми на благое дело. Нынче все подспорье. Больше денег — меньше стыда. А ведь когда-то у нас наоборот было: больше денег — больше стыда. И не сидели они колом в башке! Ты ведь не ради воспоминаний в Пруды эти золотые поехал, нужда заставила, беда потащила... Когда синеглазка в сберкассе выдала твой бакшиш, я тогда же про гонорар вспомнил. Видел бы, какое у тебя лицо сделалось! Прости, Веньяминыч! Верно твоя приятельница сказала: хоть на старости лет научись физиономией управлять. А ведь не научишься уже. Все! Таким и предстанешь перед Господом — обиженным и растерянным. И безгрешным, несмотря на ту Лесму... Подмахнул бы в свое время красным, или подсюсюкал бы нынче белым, не побирался бы. А ты сорок четвертым подписантом не стал. И нынешних прошений не подписываешь. За это и люблю тебя, Федюша! За то, что физией своей не владеешь, мальчишкой остался. Это, брат, мало кому дано. Скелет свой мечтаешь продать! Знаешь, чего им не прощу? Ведь как бы ни хорохорились, в сущности, мы два старика. Наш ресурс исчерпан. Уходящая натура! Мы свое сделали, как могли. Как им и не снилось! Зачем же нас унижать напоследок? Ведь мы не в цэдээл наладились, и не в Пушкинский сквер, у фонтана подышать. Мы совсем уходим...

Смуров говорил, а я чувствовал, как у меня на глаза наворачиваются слезы. Даже голову запрокинул, чтобы не потекли по щекам. Не хватало уткнуться ему в шею и захлебнуться...

Пытаясь совладать с собой, перевел взгляд на автостраду и увидел сквозь дрожащую пелену поразительное зрелище: по широкой дороге двигались два раздельных потока; навстречу нам из теряющейся дали, дрожа, лучась и мерцая, текли жемчуга, тысячи сияющих жемчужин; грудой наваленные вдали, близясь, они разрастались, разделялись попарно и проносились мимо. А по другой стороне, горя и вибрируя, во тьму утекали рубины, почти такие же крупные, как жемчуга, поначалу разрозненные, а вдали скапливающиеся в тлеющее пожарище, в груды жарких углей, в подернутую пеплом раскаленную лаву.

— Спасибо, Сережа, — сказал я. — Спасибо тебе за все! — и, чтобы не разреветься, неуклюже пошутил: — Родина и Сталин не забудут тебе этого! — Попытался, воспользовавшись темнотой, утереть слезу, но Смуров заметил или расслышал.

— А вот этого не надо, Федя! Не позволяй этим засранцам видеть тебя вспотевшим!.. Как себя чувствуешь?

— Не волнуйся, — сказал я. — Гораздо лучше.

— Нам бы как-нибудь до дому добраться.

— Тогда выруливай потихоньку. Не век же тут стоять...

Мы еще раз поменялись местами и осторожно влились в поток, огненной лавой текущий в преисподнюю...

Сергей Васильев

Эта радость и эта тьма

* * *

Осенний небосвод тяжел и неприкаян,
В нем каждый дикий зверь на радости горазд,
В нем все всегда молчат — что Авель, а что Каин,
А кто и говорит, то лишь Экклезиаст.

Про солнечную ночь уж лучше и не помнить,
А блоковский словарь давно пора забыть.
Уж лучше карусель давно забытых комнат
Иль земляники дрожь — ну, так тому и быть!

Прости меня, Господь, за эту подвенечность,
За то, как в подворотне — портвуху из горла.
А говорили — Бог, а говорили — вечность,
Но знать бы, кто глядел на нас из-за угла!

* * *

Посмотри, как ресницы плывут во тьму,
Как синицы идут в дома.
Я не знаю, зачем и почему
Эта радость и эта тьма.

А кому-то останется снежная горсть,
Оплакиваемая судьбой.
То ли лисья желчь, то ли волчья кость,
То ли жизнь, то ли мы с тобой.

* * *

Я живу в аду. Проедаю плешь.
Здесь не страшно, скажу, совсем:
Поначалу ты меня с хрустом съешь,
А потом и я тебя съем.

А в раю печальней — Ева, Адам,
И попробуй прожить сумей,

Если целую вечность: «Аз воздам!» —
Говорит тебе хитрый змей.

Не отчаивайся, а выбирай,
Но подумай прежде стократ,
Что важнее для тебя — этот сумрачный рай
Или этот радостный ад.

* * *

Грачи прилетели, погода не та,	А чтобы пустых не услышать речей
И даже ресницы не тают.	В пространстве, слегка оробелом,
При чем тут Саврасов, колы Божьи уста	Услышь, как мурлычет весенний ручей,
От нас, как всегда, улетают.	Любуюсь подснежником белым.

* * *

«Мне скучно, бес...» Мне тоже нынче скучно,
Но к бесам не привык я обращаться.
Уж лучше забрести вон в ту церквушку,
Я, правда, слишком редко в ней бываю,
Мне то друзья мешают, то подруги.
Так вот, я забреду, поставлю свечку
За упокой родителей моих
И за здоровье и жены, и сына –
Глядишь, и на душе повеселеет,
Глядишь, и Бог обрадуется вдруг.

Флоренский Павел как-то говорил,
Он говорил: «Любой из нас — проект,
С любовью созданный великим Богом,
А как проект мы этот испохабим,
Зависит лишь от каждого из нас...»

Я думаю об этом и печалюсь.

* * *

Господи, твари какие-то сплошь –
Ладно бы ласточки или стрижи.
Вынь да положи эту блажь, эту ложь,
Правду неправдою ублажи.

В луже вороны грустно лежат,
В поле поспела желтая рожь.
Делай что хочешь — рожай медвежат,
Только любовь мою, Боже, не трожь!

* * *

Кто бы знал, как ты, Господь, одинок,	Там растет не роза, а белена —
Влекущий меня к греху.	Ты уж прости, Господь!
Горькая правда не между ног,	
А где-то там, наверху.	Но я люблю тебя потому,
	Что тебя полюбит любой.
Нету там ангелов, и больна	И если уж уходить во тьму,
Душа поболее, чем плоть.	То только вместе с Тобой.

Владимир Холодов

Рассказы

Шведская диета

Ну вот, теперь все можно спокойно обдумать, время есть. Чего-чего, а времени у него действительно навалом. Да и условия подходящие — строгий режим, которым все так пугали, оказался вовсе не таким страшным. И сокамерники, если особо не вникать в их статьи, люди как люди. Ну, наехали пару раз, чтоб проверить на вшивость, но когда обнаружили, что выйдет себе дороже, тут же оставили эти попытки. К решеткам и запаху можно привыкнуть, к еде он и раньше был равнодушен, ну а свобода — вещь вообще достаточно эфемерная. В армии, пожалуй, ее было не больше, а здесь тебе хоть в спину не стреляют, и растяжки не устанавливают на пути.

Того, что с ним произошло год назад, не вмещали ни разум, ни душа, ни сердце. Порой начинало казаться, что и не с ним все это было — так, рассказал кто-то байку перед сном; причем байку не столько страшную (на общем фоне историй сокамерников так просто ерунда, шалость и глупость детская), сколько непонятную, лишенную смысла и того, что принято называть причинно-следственными связями. Вот эта непонятность больше всего и угнетала. Почему-то казалось, что если наконец успокоиться, остыть и хорошенько подумать, то все ответы будут найдены, и все станет ясным и прозрачным, как это морозное сибирское утро. Только вот начинать надо не с самого события, а гораздо раньше, поскольку истинные причины произошедшего не в стечении обстоятельств и не в другом человеке, а в нем самом. Понимать-то он понимал, но вот с чего именно начать?

С чего вообще начинается жизнь — не биологическая, а когда осознаешь себя человеком, единственным и неповторимым?.. У Витьки Тарасова она началась с армии. И какой идиот первым сказал эту глупую фразу, что в армии все абсолютно серое, кроме гуталина на сапогах и души командира? Виктор был с этим категорически не согласен. Серым и черным для него было абсолютно другое — нищее и голодное детство, полуразвалившийся колхоз, пьяный отчим, непролазная грязь на размытых дорогах, кучи навоза на маминой ферме, школа за пять километров... Даже страшно себе представить, что было бы с ним, если бы не армия. В самом лучшем случае — работал бы на единственном в колхозе тракторе, ровеснике первых пятилеток. Но, скорее всего, просто спился бы и подох, как это произошло уже почти со всеми его одноклассниками. Тут уже не важно — сам ли, под родным забором от суррогатного пойла, или в обычной поножовщине на пяточке перед клубом.

Ему конечно же повезло, что попал в десантники. Были вроде ребята и покрепче, но отобрали его, единственного из всего района. После учебки он сразу попросился в Афган: хотелось испытать себя по полной программе.

Идея, видимо, была ложная. После таких испытаний у человека обычно едет крыша. Он свою крышу удержал, но исключительно потому, что научился отключаться. Близко к сердцу на войне можно принимать лишь приказ командира, все остальное тебя просто разорвет. Не сейчас, так потом — на гражданке.

Ребята уважали его, начальство ценило. Когда в часть прислали генеральского сына, Виктора определили ему в «дядьки». Парень оказался неплохой, но очень уж наивный и нежный, как тепличное растение. Он жаждал понюхать настоящего пороха, всерьез рассуждал об интернациональном долге, сочинял патриотические стихи, но физически был слабоват, стрелял плохо, да и нервишки никуда не годились. Отец его занимал крупный пост в Генштабе и каждый день названивал по вертушке узнать, как там его чадо.

А чадо рвалось в бой и страдало от чрезмерной, как ему представлялось, опеки. Ну, естественно, чрезмерной — какой же дурак станет рисковать своими погонами из-за этого инфантильного дурачка? Что, подвигов захотелось? Да никаких проблем — будет тебе, дружок, и бой, и подвиги, и фляжка со спиртом, чтобы не обоссался раньше времени... Как-то наши взяли кишлак, все там хорошенько зачистили и придумали организовать для этого оболтуса спектакль — взять кишлак по новой, но так, чтобы вроде по-настоящему: с артиллерийской подготовкой, снятием растяжек, автоматной стрельбой и трупами душманов вдоль дороги... Короче, концерт по заявкам Генштаба.

Сначала все шло по плану, и парень сиял от собственной смелости и отваги, но когда невеста откуда взявшиеся духи шарахнули из минометов, тут уже было не до шуток. Несколько человек накрыло сразу, и когда мальчонка увидел настоящую кровь и летящие во все стороны мозги и кишки тех, с кем еще утром травил анекдоты, он побелел от ужаса и впал в ступор. Виктор опрокинул его на землю, потащил в укрытие, прикрыл собой. Пока тащил, поймал-таки шальную пулю в плечо и пару осколков в ногу. Перевязывать времени не было. Вколол себе пару ампул промедола, чтоб не потерять сознание и чтобы хватило сил отстреливаться от сжимавших кольцо духов; они, видимо, знали из радиоперехватов о генеральском сынке и потому решили брать живыми. Не подозревали, козлы муслимские, какую армаду бросит на них командование... В общем, на этот раз все обошлось, да и приказ он выполнил — генеральский сынок остался цел и невредим, только обоссался малость, да полгода после этого заикался. Виктор же окончательно отрубился, когда его на носилках грузили в «вертушку». Успел подумать, что ногу, скорее всего, отчищают, но жить, видимо, будет.

Через неделю в госпитале его навестил генерал. Интересовался здоровьем и дальнейшими планами. Виктор отвечал, что ногу обещали спасти, что он после армии хотел бы учиться. Нет, карьера военного его не интересует, а вот хорошее гуманитарное образование получить было бы просто здорово: он любит книги читать, английский три года учит... Нет, в Москву вряд ли, там у него никого нет. Генерал настолько был признателен ему за спасенного сына, что в своем стремлении отблагодарить перешел все мыслимые и немыслимые пределы. Что солдатики каждый день носили Витьке в больницу большой пакет с апельсинами, копченой колбасой и другими редкими тогда деликатесами, которых хватало на всю палату, — это еще ладно. Но ведь его к званию Героя представили! Это уже был явный перебор, да и как-то стыдно перед ребятами.

Героя, конечно, не дали, и правильно сделали... Дали орден — и то вроде бы не за генеральского сына, а за прошлые заслуги. Еще дали однокомнатную квартиру на Юго-Западе — правда, отселенческую, в хрущевке и на первом этаже, — но разве мог Виктор раньше об этом мечтать? Когда же, уже после госпиталя, но еще на костылях он поехал в университет подавать документы, то выяснилось, что вступительные экзамены давно закончились, но проректор полистал его бумаги и, что-то уточнив по телефону, предложил поучиться на подготовительном отделении при экономфаке с гарантированным поступлением через год. Разумеется, Виктор был согласен, хотя

лично его больше интересовал филологический или, на худой конец, истфак. Но спорить с начальством он не привык.

Все произошло настолько неожиданно и быстро, казалось таким невероятным чудом, что Витька почти год находился в состоянии полной эйфории — ну, как в Афгане от маковой соломки: только голова была ясной, кайф полный, и ломка не наступала.

Москва обрушилась на него, провинциала, всей своей мощью: искушала, дразнила, открывала неведомые горизонты. Он яростно спешил наверстать упущенное, но всегда опаздывал. И дело не в том, что нога восстанавливалась медленно и ходить приходилось с палочкой, — пробелы в образовании, воспитании, неумение вести себя в приличном обществе каждый раз отбрасывали его на обочину. Первый курс он еще как-то одолел, но на втором уже после первой же сессии оброс хвостами и с каждым днем все безнадежнее отставал от учебного графика. В студенческой среде его сторонились и опасались как вероятного стукача, уж очень сомнительной представлялась его биография. Даже бывшие «афганцы», прошедшие через рабфак и общагу, упорно отказывались видеть в нем своего.

Человек, опекавший его в ректорате, посоветовал перейти на не менее блатной факультет журналистики — учиться там значительно легче, среда более пестрая, да и перспективы получше. Виктор без колебаний согласился, тем более что внутренне уже был готов совсем бросить учебу.

Тут ему очень повезло, он попал в «спортивную» группу, в которой учились, а точнее числились, ватерполисты, легкоатлеты, прыгуны на батуте, — появлялись они редко, уровнем были не выше его, да и в общении проще. Он постепенно оброс друзьями-товарищами, появились девочки, своя компания, свой круг.

Никаким журналистом он, естественно, не стал, но до диплома дополз без приключений. Ногу восстановил, стал активно заниматься спортом и после окончания университета остался там же, на кафедре общей физической подготовки. Нельзя сказать, чтоб он был в большом восторге от этой работы. Платили немного, но зато всегда на воздухе, всегда в хорошей форме, всегда в коллективе. А подрабатывал на стороне — вел платную секцию по рукопашному бою в одной из первых полуподпольных «качалок».

С женским полом проблем не было. Чаще всего он находил себе временных подруг среди своих же студенток. Обтягивающая спортивная форма, неизбежность легких, будто бы случайных прикосновений и несколько дежурных комплиментов делали этот процесс на удивление легким. Впрочем, серьезно он еще не влюблялся никогда и, если честно, не видел в этом большой необходимости.

Как-то, выходя из «профессорской» столовой, которая раньше находилась между обсерваторией и стадионом, Виктор обратил внимание на двух теннисисток, разминающихся у стенки. Одна из них была очень даже ничего — мальчишеская стрижка из густых каштановых волос, озорной взгляд, чуть вздернутый носик и какая-то вся летящая, по-детски стройная фигура. Но он почему-то прилип взглядом к другой, у которой никаких внешних достоинств как раз и не было. И вот эта другая первой поймала на себе его пристальный взгляд и на миг обернулась. Потом что-то сказала подруге, и обе рассмеялись.

Это уж мне, «красавица», в пору над тобой смеяться, с раздражением подумал Виктор. Ну ничего не было в ней, чтобы вот так стоять и пялиться. Абсолютно! Однако же почему-то стоял. В отличие от подруги, эта вторая была уже явно не девочкой. И личиком несколько подкачала: черты лица, в общем-то, правильные, но ни смазливости, ни какого-то особого шарма в нем не было. Грудь была маленькой, едва заметной, — как говорится, и поддержаться не за что. Ножки могли бы быть и стройнее, и длиннее. Пусть не такие, как у его знакомой барьеристки — у той кроме ног, казалось, вообще ничего не было, — но все же... Попка была ничего, но эти нелепые «булочки» на бедрах (так она потом это называла) портили всю картину. И еще, Виктор всегда не любил жгучих брюнеток, их чрезмерную мохнатость внизу и непре-

менные усики над верхней губой, которые что выбривай, что обесцвечивай, — все равно пробиваются.

Словом, дама была отнюдь не в его вкусе, а почему он смотрел на нее, одному Богу известно. У него уже бывали подобные легкие помешательства — как-то сидел в засаде и так долго смотрел на карабкавшегося по тропинке душмана, что едва не забыл выстрелить. Или когда первый раз в театре был, — закончилось первое действие, зрители похлопали и заспешили пить свое пиво и пирожные жрать, а он так и просидел весь антракт в своем кресле; почему, даже сам не понял.

Через пару дней Виктор опять ее встретил, только теперь уже у метро. Зачем-то поперся следом, сел в поезд, идущий в обратную сторону, и снова пялился как дурак. Даже на пересадку пошел вместе с ней и только когда доехал до Сокола, и она вышла, — он наконец опомнился. Изругал себя последними словами и дал зарок больше подобных глупостей не делать.

Слова он не сдержал. Зачем-то стал наводить о ней справки, караулил у факультета. Выяснилось, что ей двадцать три, что она с отличием закончила филфак и только что поступила в аспирантуру. Вроде бы не замужем, хотя данные здесь расходились. Живет с родителями, а напарница ее по теннису — двоюродная сестра.

И зачем ему все это нужно? Чтобы впервые в жизни узнать, что такое бессонница, хотя раньше мог спать под обстрелом, в «вертушке», в прыгающем по кочкам газике?.. То, что творилось в его душе, было настолько новым, всепоглощающим, что название этой томительной, но все же сладостной боли он подобрать не мог. Что не влюбленность, это понятно... Он знал, он влюблялся не раз и не два. И уж тем более не любовь, о которой он все прочитал в книжках и почему-то вынес глубокое отвращение даже к самому этому слову — любовь. Нет, здесь что-то другое, что не определить словами. «Просто эта женщина моя!» — тупо говорил он себе, как ребенок про понравившуюся ему игрушку. Он хотел ее видеть, он хотел быть рядом с ней, он хотел никогда не разлучаться. Но почему он этого хотел, что для этого надо сделать и во что все это может вылиться, — он не знал, не понимал и даже думать в этом направлении отказывался. Просто представлял, что завтра снова увидит ее, и сердце билось учащенно, как перед затяжным прыжком. И этого ему с избытком хватало, потому что подойти, познакомиться, объясниться — означало лишь все опошлить, превратить уникальное и штучное в банальность, интрижку, очередной роман. Он хотел чего-то совершенно другого, но как называется и как достигается это другое, он пока не понимал.

Кто знает, сколько бы еще все это продолжалось, если бы однажды, когда он сторожил ее в факультетском коридоре, не донеслось со спины:

— Вы не находите, что это уже слишком? — Она смотрела на него строго, как завуч на провинившегося школьника. — Зачем вы меня преследуете?

Он молча смотрел в ее глаза, слушал хрустальный, так по-московски акающий голосок, но что он мог ей на это ответить?

— Я же не девочка уже, да и вы не мальчик, — что за детский сад?.. Неужели не понятно, что вы меня компрометируете, посмешищем делаете?

«Она к тому же еще и дура! — подумал Виктор. — Ну, что она такое говорит?.. Как можно **этим** скомпрометировать?»

— У вас вообще-то с головой все в порядке? — с издевкой в голосе спросила она.

— Обычно да, сейчас нет, — честно ответил он и властно взял ее за руку. — Пойдем, здесь не место!

Это было и дико, и странно, и неотвратимо, как судьба. Она даже представить себе не могла, что когда-нибудь позволит незнакомому человеку вот так с собой поступить. Однако же позволила... И руку вырывала не очень настойчиво, да и то лишь сначала. При этом она вполне отдавала себе отчет в том, что сейчас происходит и даже успевала здороваться и отвечать на вопросы проходивших мимо сокурсников, преподавателей, просто знакомых.

Улица и свежий воздух ничего в принципе не изменили. Разве что странный

спутник отпустил наконец ее руку и начал говорить — сбивчиво, взволнованно и не очень внятно. Он словно пытался оправдаться в том, что так нелепо и некстати ее полюбил, что он не хотел и не собирался, но что же делать, если это вопреки всем его желаниям, убеждениям, планам все же случилось и справиться с этим чувством он не может? При этом он виртуозно избегал произносить само слово «любовь», прибегая к довольно витиеватым и с трудом воспринимаемым эвфемизмам. Они уже миновали метро и зачем-то шли по правой стороне Вернадки, где ни тротуаров, ни домов, лишь заборы вокруг недостроенных офисных высоток.

— А куда мы, собственно, идем? — наконец спросила она и остановилась.

— Да какая разница? — Он впервые ее обнял и посмотрел так, словно знакомы они тысячу лет. — Как тебя зовут, чудо мое?

По-разному ее называли в этой жизни, чудом — никогда.

— Нателла, — ответила она, физически ощутив, как резонируют в ней чужие чувства, как ее несет навстречу неведомому, и сопротивляться этому уже нет ни сил, ни желания. — А тебя?

— Господи, какой кошмар! — вместо ответа вздохнул он. — Я думал, хоть имя у тебя нормальное.

И этот большой, сильный и очень странный человек опять потащил ее куда-то и снова нес нечто невразумительное, но очень приятное, и было уже совсем не страшно и даже почти все равно, что, где и как с ней сейчас произойдет. Они перешли наконец проспект, поплутали какими-то грязными дворами и остановились напротив трухлявой пятиэтажки. Из подъезда тянуло сыростью и кошачьей мочой. Нателла зажмурилась и — как Анна Каренина под свой поезд — смело шагнула вперед... И навалилось все снежным комом, смешало прежние планы и установки и понеслось неудержимо, непоправимо; и произошло все в один день и в один час. Все сразу и до конца. И впервые она, как какая-нибудь вокзальная шлюха, узнала имя своего любовника не до, а после. И это почему-то не только не оскорбило ее, но показалось пикантным и милым... На второй день, уже ближе к вечеру, когда туман рассеялся и наступило некоторое опустошение, она решила, что пора наконец возвращаться домой. Когда выходила из ванной, он смотрел на нее, все так же по-детски улыбаясь.

— Варвар, ты что со мной сделал? — сказала она. — У меня все болит... Я же теперь до метро не дойду.

— Извини, не хотел.

— То есть как не хотел? — Она бросила в него подушкой. — Ты хочешь сказать, это я тебя изнасиловала?!

Он собирался что-то сказать, но она прикрыла ему ладошкой рот.

— Все, больше никаких слов!.. Иначе все опять покатится по новой, а я уже позвонила, меня ждут.

На следующий день она переехала к нему, и более счастливого времени в ее жизни не было никогда. Ей нравилось, что он сильный, спокойный, уверенный в себе. Что он хороший и чуткий любовник. Что он тактичен и неназойлив. Что может часами просто смотреть на нее. Не важно, занимается она в это время своей псевдонаукой или дремлет, по привычке свернувшись калачиком. Она вообще чувствовала себя здесь очень уютно и комфортно, хотя ее, девушку избалованную и вздорную, в принципе должно было раздражать все — и низкие потолки, и убогий аскетизм обстановки, и это зарешеченное окно. Но вот ведь загадка природы — почему-то не раздражало.

Виктор не был любителем сексуальных рекордов, поэтому сам не понимал, зачем он так настойчиво добивался очередной близости. Сексапилкой, способной выпить из мужика все соки, его избраница явно не была, да и не так уж сильно он ее хотел. Тут был скорее инстинкт, стремление как бы пометить каждый уголок, каждый закоулок ее тела, оприходовать, застолбить за собой, присвоить навечно. И это при всем том, что он, человек достаточно искушенный, развращенный и опытный, вовсе не был слепцом и по-прежнему видел все недостатки своей возлюбленной. Но это

уже не имело никакого значения, потому что это уже было **его** тело. И женщина эта была **его**.

Впрочем, он понял все это еще тогда, когда увидел ее в первый раз; там, на корте. Только сформулировать смог не сразу, уж очень неожиданно все случилось. Мужчина может выбрать женщину, чтобы с ней переспать, сходить в кино или на недельку в Сочи смотаться. Свою единственную он выбрать не может, он должен просто ее найти. Виктор раньше никогда об этом не думал и к встрече этой никак не готовился, да и не ждал он, если совсем честно, никаких таких встреч, но ведь это произошло! И все стало ясно как божий день: о н а... Интересно, а как все это происходит у женщин? Неужели иначе? И эта мысль — что для нее он, возможно, никакой не единственный, а просто очередной любовник и не более того, — настолько выбивала его из колеи, что он места себе не находил.

Когда Нателла переехала к нему жить окончательно и даже перевезла свои вещи и часть книг, он успокоился на время и даже помогать стал ее не чаще, чем она сама этого хотела. С ней вообще все было иначе, чем с другими женщинами... Он не особенно их баловал, а когда приводил новенькую, сразу предупреждал:

— Только давай договоримся: первый раз для меня, второй — для тебя. И чтоб без обид, ок?

— А третий? — игриво спрашивали те, что побойчее.

— А третий — в пользу стадиона.

— В смысле?

— В смысле — перебьешься, — отвечал он, уже заходя на свой первый.

И еще он никогда не оставлял их у себя ночевать. Потому что утром все выглядит иначе, да и чувствуешь себя почему-то скотом. Многие на это обижались, одна даже пощечину чуть не влепила ему на прощание. Впрочем, все это были естественные и понятные издержки.

Ну и разве мог он раньше представить, что теперь будет просыпаться на рассвете и, еще не открыв глаза, испытывать светлую и ни с чем не сравнимую радость от того, что рядом спит родной человек, и ее тихое, едва слышное дыхание наполняет смыслом грядущий день; да что там день, — жизнь.

Вот что ему совершенно не нравилось в ней и раздражало безмерно, так это имя.

— Что же теперь поделаешь: назвали так назвали, — отвечала она. — Зато у тебя имя красивое. И главное, очень редкое!

Он на ее язвительные подколы не реагировал, привык.

— И все же, откуда оно? Ты что, не русская?

— Да во мне столько всего намешано, не разобрать. Я неизвестная нация. Помнишь у Аксенова?..

И она долго цитировала писателя, которого в ее кругу, видимо, стыдно было не знать. Виктор не знал. Но стыдно ему не было, он просто продолжал про себя уменьшать и видоизменять ее имя, чтобы оно хоть как-то ласкало слух и не застреvalo на языке: начал с одного конца, потом с другого.

— Все, придумал, — объявил он. — Я тебя буду звать Элик, с одним «л».

— Ты с ума сошел! У моей подруги так собаку зовут, — рассмеялась она. — И, между прочим, это кобель.

— Ну, не знаю, если тебя это так напрягает, пусть подруга даст ему другую кличку.

— Да ладно, переживу. Мне мое имя, если честно, тоже не нравится — то за грузинку принимают, то просят тарантеллу станцевать, то пошло рифмуют: Нателлу — по телу.

Самым тяжелым днем у Виктора был вторник: четыре пары в университете и две вечерних тренировки, последняя из которых заканчивалась в половине двенадцатого. В течение дня он несколько раз пытался дозвониться Элику, но трубку никто не брал. Поэтому возвращался не только уставший, но и злой, ибо понятия не имел, что будет делать, если не застанет ее дома.

Оказалось же, что Элик готовила ему сюрприз — весь день мыла, чистила, драила его холостяцкую берлогу, выбрасывала всякое старье и хлам. Купила и уже повесила новые шторы, а сейчас сидела смертельно уставшая за накрытым столом и ждала его. Виктор никогда не был сентиментальным, но в этот миг едва не заплакал от переполнившей его нежности и любви к этому чудному, близкому и теперь уже родному человечку.

— Элик, давай поженимся, — неожиданно для себя предложил он.

— Сейчас? Или подождем до утра? — Она явно хотела обратить все в шутку и даже сонно зевнула для убедительности.

Виктор опустил перед ней на колени, прижал к губам ее руки.

— Не увиливай, я ведь вполне серьезно... В общем, я прошу твоей руки!

— Господи, как патетично... А сердце? Обычно ведь в плохих фильмах просят одним флаконом — руки и сердца.

Ну да, возможно, он сказал это неуклюже, неправильно, но все равно смеяться над этим не стоило... Виктор обиделся, отошел к окну. На душе было тоскливо и холодно, как ночью в чужих горах: кричи — не услышат, стреляй — промахнешься, проси — не дадут.

— Разве тебе со мной плохо? — Элик подошла, обняла, взъерошила ежиком его волосы. — Тебе чего-то не хватает, милый?

В ее нежности не было ничего искусственного, нарочитого, показного; тут же прошла и обида, и злость.

— Я хочу, чтобы мы всегда были вместе, — сказал он.

— Если мы оба этого захотим — будем. А если кому-то надоест, то кто и что сможет его удержать?

Он понимал, что она права. И что даже если они действительно поженятся, страх, от гипотетического «если кому-то надоест», все равно будет мучить его и разъедать душу. Потому что жизни своей без нее он уже не представлял. И было очень странно сознавать, что каких-то пару недель назад они вообще не знали о существовании друг друга... Это недоумение было сродни детскому, когда он держал в руках книгу, выпущенную годом раньше его рождения: как же такое может быть — его еще не было, а книга уже была; сейчас он держит ее в руках, а где она была, когда его не было?

Процесс познания другого человека возможен лишь тогда, когда человек этот вам по-настоящему интересен. И как медленно, дискретно добавляются важные и очень яркие штрихи к тому, что ты, кажется, уже досконально, во всех подробностях и деталях изучил, прочувствовал, испытал. Но нет, каждый день несет с собой все новые и новые открытия... Сейчас Виктору нравилось в Элике практически все. Он не то чтобы не находил в ней недостатков, он перестал их замечать. Ему нравилось, как она пахнет. Как ходит. Как рукой поправляет волосы. Как щурит глаза, пытаясь что-то вспомнить. Нравилось, что она аккуратистка и чистюля. Что никогда не ходит в халате. Что утром она не красится, потому что в этом нет необходимости: у нее от природы прекрасная, чуть смуглая кожа и черные длинные ресницы. А как она заразительно смеется!.. Как гордо держит голову. Как точно и язвительно может ответить на любую бестактность. Как умеет держать дистанцию. Какая она умница, как много знает. Как тонка и тактична, как легко и изящно делает любую работу по дому. Как красиво она расчесывается перед зеркалом, гладит белье и даже спит она красиво.

Разумеется, он не мог всего этого знать, когда увидел ее в первый раз. Но он словно угадал на интуитивном уровне. Это, наверное, и называется судьба: когда среди миллионов находишь одну свою, единственную. И понимаешь практически сразу, что это она и доказательств не ищешь, хотя и не знаешь еще ничего.

Их совместная жизнь постепенно входила в свою колею. Уже не было эйфории первых дней, отношения стали мягче, спокойнее. И даже прежние тревоги и страх ее потерять куда-то ушли и почти забылись. Тот отрезок жизни, что он прожил без нее,

казался теперь и не его вовсе. Возникло даже легкое сожаление, что они встретились так поздно. Это было несправедливо, словно несколько лет у них было украдено. Он стал выпытывать у нее подробности прежней жизни. Причем интересно ему было буквально все, начиная с детского сада. Когда после настойчивых просьб она привезла наконец свой альбом с фотографиями, он часами рассматривал пожелтевшие снимки и радовался как ребенок, когда узнавал персонажей ее воспоминаний.

Но это лишь сначала... Ревность, дремавшая где-то в дальнем углу, все больше накрывала его своей мутной волной. Лучше бы она не привозила этот альбом... Он ревновал ее ко всем без исключения. К вислоухому Димке, с которым она обменивалась записочками в шестом классе. К смазливому Олежке, с которым целовалась в восьмом. К вожатому, что едва не совратил ее в крымском пионерлагере. К приехавшему по вызову врачу скорой, который выщупывая живот в подозрении на аппендицит, залез своей потной ручонкой в ее трусики. Двух последних мерзавцев он, если бы встретил, прибил на месте. Нет, это не было слепой ревностью самца... Он ревновал ее не только к мужчинам, но и вообще ко всему на свете — друзьям, родителям, местам, где она была без него, прочитанным книгам. Он не хотел делить ее ни с кем в этой жизни — ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Он понимал, что когда-нибудь у них будут дети и заранее содрогался от этой мысли, потому что к ним он ее будет ревновать уж точно сильнее всего. Конечно, это было ненормально, неправильно, но осознание этой явной патологии шло мимо его сердца, он с каждым днем ревновал все сильнее и поделаться с собой ничего не мог.

Она была девочка тонкая и конечно же прекрасно понимала, что с ним происходит. Но ей почему-то доставляло удовольствие дразнить его и рассказывать то, что любящему человеку рассказывать нельзя никогда... Даже если он тебя об этом просит. Даже если настаивает, — нельзя!

Девственности она лишилась по нынешним меркам поздно, где-то в конце первого курса. Некий швед приезжал в университет на шестимесячную стажировку. Он занимался у себя в Гетеборге химией, и зачем ему был нужен русский язык, совершенно не понятно. Познакомились случайно, в столовой. Швед начал движение к цели со скандинавской основательностью — ухаживал долго и прежде чем поцеловать, две недели водил по кафе и театрам, остальные этапы преодолевал и того дольше.

Он заинтересовал ее не как мужчина, а как представитель другого, незнакомого ей мира. Кроме того, она чувствовала, что с ним ей ничто не угрожает: границы дозволенного устанавливала она, и никаких попыток преодолеть их он не предпринимал.

Да, он поступил иначе. Это у русских язык для того, чтобы лясы точить. Швед же вылизал ее, что называется вдоль и поперек. Так что он сначала своими изощренными ласками развратил ее, пробудил чувственность, вызвал первый в жизни оргазм и, лишь когда она сама попросила, настояла, потребовала, — овладел ею. Если бы он проделал это не с Элик, а с кем-нибудь другим, Виктор бы ему сказал: молодец, викинг!

Правда, северный темперамент шведа не позволял заниматься любовью чаще одного-двух раз в неделю, и он внушил ей, дурочке, что это и есть мужская норма. Раскочегаренная донельзя, она хотела и чаще, и больше, но пришлось смириться. Так их отношения постепенно дотлели до своего логического конца. Тем более скоро выяснилось, что швед, оказывается, женат. Брак этот, правда, весьма специфический: его супруга — бисексуалка, так что живут они втроем... Нет, с любовницей жены он не спит, она чистая лесбиянка, и мужчины ее не интересуют.

Когда он уезжал, Элик почувствовала, что беременна. Сказать не позволила гордость, да и что бы это изменило?.. В то время, когда она лежала в абортарии, он давно уже забыл среди своих колб и реторт обо всем, что с ним было в России. Во всяком случае, не позвонил ни разу.

Сначала этот рассказ Виктора просто надломил. Помимо неясного чувства брезгливости им овладела такая ярость, что хоть вторую Северную войну шведам

объявляй. Но потом он понял, что у Элика эти раны давно зарубцевались, никаких чувств к этому задрипанному шведу не осталось, да и не было их, в сущности, никогда. Со временем вся эта история вообще превратилась в некий миф, повод для шуток и приколов; угроза «посадить на шведскую диету» означала теперь на их языке половое воздержание и жесткий аскетизм.

Виктор понимал, что ее амурные истории на этом не заканчиваются, но про остальных слушать уже не было ни сил, ни нервов. Он нутром чувствовал опасность тому хрупкому, едва не треснувшему миру, которым так дорожил.

— Напрасно, юноша, напрасно. — Она словно продолжала его дразнить. — Я ведь и замужем успела побывать... История, надо сказать, офигенная.

— Все, Элик! Не хочу, не могу, не буду!.. Не буди во мне Отелло. Я хоть и белый человек, но это уже перебор.

Ну, нет так нет, она и настаивать не стала. Виктор чуть позже сам вернулся к этой истории. И не для того чтобы пощекотать себе нервы, — ему было интересно, нет ли там ответа на вопрос, почему она теперь замуж не хочет. И главное, относится ли это только к нему, или это уже жизненная позиция.

Элик долго уговаривать не пришлось. Но сама она прежний кураж потеряла, поэтому рассказывала сухо и буднично, не отрываясь от вязания, — как год назад она решила, что пришло время выходить замуж, и ответила согласием на предложение хорошего, умного мальчика из обеспеченной интеллигентной семьи. Как шила платье, делала покупки. Как играли шумную свадьбу, длившуюся три дня. Как ездили в изумительное путешествие — круиз по Рейну, от Базеля до Амстердама. Как ошале-ла она от замков, музеев, игрушечных средневековых городков, чудного вина и неслыханного комфорта. И как ночами пыталась тактично и ласково пробудить в своем избраннике мужское начало, безнадежно подорванное многолетним изматывающим онанизмом. Все было тщетно... Это не получилось на Рейне, не получилось и в Москве. Он чувствовал себя виноватым. Говорил, что уже пробовал лечиться. Думал, рассчитывал, надеялся, что женится, — и все пройдет. Элику стало его очень жалко. Кто-то из медиков посоветовал ей, как и через какие этапы привести мужа к норме. И она заменила его руку своей, но он стеснялся, и ничего не получилось. Она пред-приняла еще одну попытку. И еще. Уже и грудью пыталась поднять, и губами, и языком. Вот уже, казалось, и прогресс некий наметился, но все так и оставалось на груди, губах или в руке, — донести до нужного места он не смог ни разу, да и, собственно, нечем было нести... Через месяц они развелись, так ни разу и не пере-спав друг с другом.

Виктор подумал, что в ее рассказах, пожалуй, слишком часто встречаются импотенты и всякого рода извращенцы. То ли их действительно так много в жизни, то ли она пытается, как бы косвенно, сделать ему комплимент, — ведь она такая, прямо ничего не скажет, все пунктиром, намеками. И еще подумал, теперь уже с некоторым сожалением, что из их сексуальной палитры теперь наверняка выпадет оральная составляющая. Во всяком случае, заниматься этим после подобно рассказа уже совсем не хотелось.

— Элик, а у тебя нормальные парни были? — спросил он. — Ну, хоть про одного что-нибудь хорошее сказать можешь?

Она сказала про двух. Причем одного из них Виктор даже знал, случайно в компании встретились; действительно нормальный мужик — умный, толковый, до-вольно симпатичный.

— Ну а с ним-то почему рассталась? — недоумевал Виктор.

— Удивляться надо не тому, что чужие люди расходятся, — возразила она, — а тому, что они почему-то живут вместе.

Возможно, в этих словах и не было никакого намека, но предательский холодок по спине все же пробежал.

— Элик, а мы с тобой тоже чужие? — спросил он.

— Мы с тобой не чужие, мы просто разные, — ответила она. — Настолько разные, что иногда страшно становится.

— Ну как ты можешь такое говорить? — обиделся он.

Впрочем, она могла говорить и не такое, — похлеще.

Как-то раз позвонила поздно вечером, сказала, чтоб не волновался, что она будет ночевать у родителей. Почему? Зачем?.. Нет ответа. Он промаялся до утра в подозрениях, что звонила не от родителей, что ночует где-то, у кого-то... С трудом преодолел искушение позвонить, проверить. В тот раз, слава богу, не унизился, устоял.

На следующий день пришла, как ни в чем не бывало — легкая, цветущая, живая. Поймав на себе его хмурый взгляд, сказала назидательно:

— Да будет вам известно, молодой человек, что каждый рождается свободным... Да, и женщина тоже! Я не давала тебе никакого повода подозревать меня в чем-то нехорошем или тем более постыдном. Если я тебе изменю, ты первый об этом узнаешь.

Утешила, блин! Успокоила.

— Ты собираешься мне изменять? — ошарашенно спросил он.

— Не придирайся к словам: я сказала «если»...

С этим «если», как под дамокловым мечом, он жил еще два месяца. Виктор понимал, что удержать сможет, только найдя способ чем-то крепко ее привязать. Но чем и как? О браке он уже и заикаться боялся. Самое простое, конечно, это дети. Пеленки, горшки — куда от них убежишь? Желание иметь детей у Виктора не возникало никогда. И квартирка тесная, и с финансами туговато, но проблема-то в другом: Элик говорила, что аборт у нее был неудачным, так что забеременеть и родить она вряд ли сможет. Нет, надо искать что-то другое... И Виктор не нашел ничего лучшего, как призвать себе на помощь Господа Бога, предложив Элику обвенчаться.

— Где? — усмехнулась она.

— Как где? В храме.

— В каком, Витя?.. Ты православный, а у меня одна бабка — польская католичка, вторая — стопроцентная иудейка, у дедов же вообще полный коктейль: от татар и мордвы до немцев и черногорцев.

— Но ты-то себя ощущаешь русской? — не отставал он. — Да и крестик иногда носишь, я видел.

— Прежде всего, я ощущаю себя человеком. И с Богом у меня отношения сложные... А крестик этот лютеранский, я ведь в Литве родилась, отец там работал.

Как все запуталось — и не развязать, и концов не найти. И разговоры-то все не про то, не так... Ну неужели она не понимает, что, если уйдет, ему не жить. По косвенным данным — намекам и оговоркам — Виктор догадывался, что вот это как раз она знает наверняка. Потому и не уходит, потому и возможной изменой пугает, словно провоцируя его на импульсивный и необдуманный шаг. Не дождется, у него хватит и нервов, и сил. Первым он ее не бросит никогда. И не выгонит, что бы она тут ни вытворяла.

Он попытался зайти с тыла, через родителей: звонил, старался понравиться, расположить к себе. Элик строго пресекала эти попытки, заявив, что родители уже получили свою порцию переживаний, больше не нужно. Проносились дни и недели, оставляя прежнее напряжение и прежнюю, такую мучительную неопределенность. Внешне их отношения не изменились, лишь разговоры заметно потяжелели и несколько сменили тематику.

— Скажи, тебе там, в Афганистане убивать приходилось? — буднично спросила она за ужином.

Он едва не поперхнулся яичницей, но врать не стал.

— Приходилось. А почему спрашиваешь?

— Да просто хотелось узнать, что думает человек, отнимая жизнь у другого человека.

— Те, что думали, в дурке лежат или в могиле... Я ничего не думал, я приказ выполнял.

— А без приказа слабо? — подначивала она. — Без приказа смог бы убить?

— Кого?... — Он перестал злиться и принял условия игры.

— Ну, не знаю... Меня, например.

— Тебя — запросто!.. И знаешь, что я при этом подумаю?

— Без приказа? Подумаешь?... Не клевети на себя.

Победить ее в этих словесных турнирах было почти невозможно.

Элик свободно говорила на четырех языках, с двух могла переводить даже сложные технические тексты, чем и подрабатывала себе «на иголки», как она выражалась. В тот вечер, вернувшись домой, он как раз и застал ее за этим занятием.

Виктор уже знал, что уезжает, но объявить об этом решил позже, чтобы оценить ее реакцию: до этого больше, чем на день, они не расставались. Дотерпел почти до ужина. А пока просто смотрел в ее глаза и, кажется, только теперь понял, чем они его так притягивают. Как море в неустойчивую погоду, они были все время разными, меняя свое выражение, цвет, размер. То были невозмутимы и спокойны, как мордвин, проживший свой век на одном месте и никуда не стремившийся. То неожиданно вспыхивали, как горные вершины Монтенегро. То с гиканьем проносились в них татарская конница, уступая место русской удали и бесшабашности. То вдруг они сужались, становились холодными и презрительными и, казалось, из них просто сочится ядовитая польская спесь. А потом, без всякого перехода вдруг открывалась такая бездна и такая вековая печаль, какую можно почувствовать только в древних еврейских псалмах.

— Тебе придется некоторое время посидеть на «шведской диете», — произнес он заранее заготовленную фразу.

— Что так? — Она на секунду оторвалась от словаря. — В лифте прищемило?

— Попросили на соревнования поехать, с командой.

— Надолго?

— Неделя.

— Ты знаешь, а это очень кстати: отдохнешь, развеешься... А то что-то совсем ты у меня подкаблучником стал. Ну не сердись... Шучу я.

В ту их последнюю ночь они как-то особенно нежно и долго любили друг друга. И стало казаться, что все плохое пройдет, да и не было у них этого плохого, они просто притирались друг к другу. Элик права, они очень разные, нужно терпение и время. И характеры у обоих будь здоров, и гордыни у каждого на полк принцев датских: ведь ни разу ни он, ни она не сказали друг другу, что любят. Но ведь любят!.. Оба знают, и оба молчат. А вот он сейчас возьмет и сломает эту глупую и никому не нужную игру в самолюбие. Виктор уже повернулся к ней лицом и даже рот приоткрыл, но Элик его опередила.

— Я сегодня опять у цыганки была, только уже у другой, — сказала она.

— Да врут они все, деньги выманивают.

— Ну это понятно, только предсказывают почему-то одно и то же! Эта вообще отпустила мне не больше месяца.

— Элик, ты же у меня умная, образованная, зачем ты этим мазохизмом занимаешься?

— Да предчувствие нехорошее, вот и занимаюсь. Веришь, я уже улицу боюсь переходить?

Он стал ее утешать, успокаивать, рассказал какую-то смешную историю, а когда она уже засыпала, тихо прошептал на ухо:

— Я люблю тебя, Элик.

Она долго молчала, и он уже решил было, что спит. Но она не спала.

— А я до сих пор не знаю, люблю ли... Ты уж меня извини.

Все внутри натянулось тугой струной. И он тупо ждал, что вот сейчас и рванет. Но не рвануло. И Элик больше ничего не сказала. И сон не приходил.

На рассвете он встал, собрал вещи и уехал в аэропорт. С Элик он не простился и жалел об этом все то время, что длилась командировка. Даже на войне он так дни не считал. Но кончились и они. Москва встретила густым туманом, сели удачно. Из Внуково он взял такси, чего обычно никогда не делал.

Дома никого не было. И, видимо, давно... В чайнике зацвела заварка, холодильник был пуст.

В шкафу не хватало половины ее вещей. Он почувствовал во всем этом признаки надвигающегося конца. Звонить не хотелось, пусть все идет как идет.... Лег на кровать, закурил, зачем-то включил телевизор. Где-то через час в коридоре звякнул ключ, открылась входная дверь.

— А я тебя только завтра ждала. — Она стояла в проеме с сумками в руках. — Вот, на рынок смоталась, хотела обед сварить.

Виктор тут же забыл обо всех своих обидах и подозрениях, вскочил, бросился к ней... Элик была такая трогательная, домашняя — в промокшем пальто, в какой-то дурацкой шляпе, с сумкой, из которой торчала куриная нога. «Ну, какой же я дурак! — подумал он. — Мы просто обречены судьбой жить вместе долго-долго и умереть в один день».

Выпили чаю, отогрелись. Потом вместе чистили картошку, готовили обед, говорили о какой-то ерунде. Наконец он не выдержал захлестнувшей все тело истомы, прильнул к ее плечу, сказал возбужденно:

— Пошли в комнату, я уже не могу... Соскучился страшно!

— Картошка сбежит, — сказала она.

— Не сбежит. — Он выключил газ.

— Подожди. — Она остановила его рукой. — Это нужно сказать до...

Его остановила не рука, а как-то странно изменившийся голос.

— Что? — все еще не понимал он. — Что сказать?

— Ну помнишь, я тебе обещала... Так вот, это произошло.

— Нет, Элик, нет. — Он не верил, он не хотел слышать этих слов, он, наконец, давал ей путь к отступлению.

Она стояла, понурив голову, но соврать или обратить все в шутку уже не могла.

— Видит Бог, я не хотела тебе изменять, так получилось.

— Я тебе не верю. Не надо меня провоцировать.

— Я уже и сама себе не верю, так все случайно и глупо... Прости меня, я знаю, как тебе сейчас больно.

И только после этих слов до него наконец дошло, что это не розыгрыш и не шутка. И он почувствовал, что проваливается туда, откуда нет возврата. Сквозь шум в голове доносились ее слова о какой-то подруге, о дне рождения, о каком-то особо хмельном вине, о даче в Ильинке. Все это не имело никакого смысла, потому что главное уже было сказано, а детали лишь углубляли рану и делали боль нестерпимой.

Что было дальше, он помнил с трудом. Вроде бы просил ее замолчать, но она все продолжала и продолжала говорить, а когда эта попытка стала невыносимой, он сначала закрыл ей рот, а потом сжал горло. Нет, он не собирался ее душить, он просто не мог ее больше слушать и хотел лишь прервать этот поток рвущих душу подробностей. Когда же вдруг вместо слов услышал хрипы, сначала даже не понял, что произошло. Он убрал руки, и Элик медленно, как сорванный ветром лист, сползла на пол. Виктор еще пытался привести ее в чувство, но было уже поздно, жизнь из нее ушла. Лицо было неестественно белым, потом стало сереть, и лишь глаза оставались прежними: смотрели на него удивленно и словно о чем-то просили. Он их закрыл и тут же понял, что этим закрыл и всю свою оставшуюся жизнь.

От адвоката он отказался. Ему не хотелось обсуждать с посторонними мотивы своего поступка. Во время следствия на вопросы отвечал односложно, протоколы подписывал, не читая. Ему хотелось, чтобы все поскорее кончилось. Результат не имел никакого значения.

На суде поймал себя на том, что ищет в зале ее лицо. Это было естественно: он чувствовал, что она где-то рядом и что так будет всегда, потому что они одно целое.

Когда зачитывали результаты экспертизы и вскрытия, он не поверил своим ушам и переспросил. Этого не полагалось. И ему сделали замечание. Но все же прочитали еще раз: выходило, что Элик была на третьем месяце беременности. Но ведь забеременеть она могла только от него и ни от кого другого! И если это действительно так, и Элик об этом знала, то никогда бы она не стала пить вино, потому что хорошо представляла, как это может отразиться на будущем ребенке. А если не было вина, то не было и измены. И значит, Элик соврала, сочинила всю эту дурацкую историю, чтобы... Чтобы что? И зачем? Элик, родненькая, зачем?

Теперь он с ней разговаривал постоянно, часто вслух. Ни камера, ни зал судебного заседания ему не мешали... Все это дало основания направить его на обследование в институт Сербского. Но раз все-таки вlepили срок, значит, признали вменяемым.

Уже в лагере он ощутил некое равновесие духа. Не было больше дурацких вопросов, бесконечной чреды чужих, равнодушных лиц. Но самое главное: им с Эликом здесь никто не мешал. Можно было спокойно все обсудить, взвесить, принять какое-то решение. Но для этого надо было ответить на один, самый главный вопрос: «Зачем?...» Она молчала, а он в одиночку этого ответа не находил.

Виктор тогда еще не знал, что срок ему скостят, и на свободу он выйдет не через десять лет, а через восемь. И что вернется он в совершенно другую страну, где будет другая власть и другие деньги, и даже в его бывшей квартире будут жить другие люди, которые и на порог его не пустят. Но это покажется ему такой ерундой, что и заморачиваться глупо. Все годы он был одержим лишь одной мечтой — найти могилу Элик и получить наконец ответ на свой вопрос. Если же вдруг она опять не ответит, то просто лечь рядом, благо он помнил, где закопал привезенный с войны ствол.

Но могилу ее он так и не найдет, потому что единой справочной по московским кладбищам нет, а спросить не у кого: на том месте, где она жила с родителями, строила себе виллу знаменитая в прошлом фигуристка. На факультете никто ничего не знал, из здания суда выгнали, а для центрального паспортного стола нужны были полные данные, которыми он не располагал.

От ребят, с которыми вместе служили, я недавно узнал, что Виктор живет сейчас где-то в районе Мытищ. С кем и на что — неизвестно. Общения избегает, да и тяжело с ним сейчас общаться. Он не то чтобы окончательно повредился рассудком, но голоса слышит регулярно и тогда его лучше не трогать. Ребята как-то вытащили его на наш праздник в парк Горького, но кончилось это печально, потому что пить Витек разучился и сначала отметелил своего же кореша, а потом принялся за ментов. Силушка у него, надо сказать, осталась прежняя, поэтому нейтрализовали с трудом. Ну, у мусоров его, естественно, отбили и даже домой на такси отвезли, чтобы не отчебучил чего похлеще. Повторять же подобные эксперименты не хочется уже никому.

Лично я думаю, что все зло в этом мире от баб. Не войны нас, мужиков, ломают, а именно эти заразы. Три брака лишь укрепили меня в этой уверенности. Уж если с Витюхой — а у нас в полку его считали человеком без нервов, — смогли сделать такое, то чего, спрашивается, ждать остальным?

Шершеля, или Половой разбойник из Шемонаихи

Школы Леха не помнил. Чему-то вроде учили, но чему и как — осталось в густом тумане. С трудом одолел восьмилетку, но больше чем считать — писать, оттуда не вынес. А учителя были такие, что слова доброго сказать язык не повернется: одна любила указкой в лоб засветить, другая — вызвать к доске и обозвать дебилом или валенком сибирским, третья вообще все время вязала носки и заставляла по очереди читать вслух учебник. Было ли в его детстве что-нибудь хорошее? Да,

несомненно: картинки из журналов. Они дарили надежду, что кроме этой, забытой Богом бесконечной казахстанской степи где-то есть совершенно другой мир — безбрежные океаны, густые леса, большие города, красивые, хорошо одетые люди.

Впрочем, настоящая большая жизнь скоро сама пришла в их глухомань — в десяти километрах от поселка начиналось строительство огромного горно-обогатительного комбината союзного значения. Туда брали всех — лимиту, освободившихся зэков, даже вьетнамцев безъязыких, но на местных существовала жесткая квота. Это казалось ужасно несправедливым, но у властей имелись свои резоны: оголить окрестные и без того нищие городки, поселки, деревни — значило их убить.

Лехе неслыханно повезло, его устроил на комбинат знакомый урка, в промежутке между своими отсидками. И вовсе не потому, что с ним, как злословила округа, сожительствовала сестра, а просто они понравились друг другу, да и выжрали вместе не один литр шмурдяка.

Поначалу определили его, малолетку, разнорабочим первого разряда. Конечно, было немного обидно, что всякие перезрелые шлюхи и доходяги получают вдвое больше, но на жратву и общагу вполне хватало, силушкой бог не обидел, так что все остальное — вопрос времени. В работе Леха был безотказен. Безропотно махал киркой в траншее, таскал носилки с раствором, шестерил на подхвате у каменщиков и скоро был замечен бугром — тот и разряд ему вне очереди повысил, и на курсы определили, и стал давать более выгодную и квалифицированную работу.

Первое время Леха очень уставал, но втянулся быстро, и скоро ребята в бригаде стали считать его своим. Даже про возраст иногда забывали и отправляли домой, лишь когда мастеру на глаза попадется — в стране развитого социализма шестичасовой рабочий день для несовершеннолетних соблюдался достаточно строго... Душевая-временка в это время обычно была пуста, но в тот день, дернув дверь, он так и остался стоять на пороге: молодая, красивая деваха млела под душем в мыльной пене. И тут что-то с Лехой произошло. Он и раньше не был паинькой — и за девками на реке подглядывал, и тискал их пару раз в темном дворе, и даже чуть мужчиной не стал в седьмом классе; просто очередь до него не дошла, — эту лярву стала искать по огородам мать, она испугалась и убежала, успев ублажить лишь троих.

Нет, сейчас все было совсем по-другому. Взгляд почему-то выдергивал из общей картины не плотское и похабное, а то, например, как красиво выглядят из мыльной пены бутончики сосков, как на плече играет радуга, как изящно кивком головы отбрасываются назад волосы и как стекает по телу вода, разбиваясь на ручейки и уже у самых ступней превращаясь в капли.

— Ну что, насмотрелся? — заметила наконец его деваха и без всякого смущения весело предложила. — Тогда иди, что ли, спину потри.

Лехе очень хотелось бы это сделать, но он с места не мог сойти. И, видимо, покраснел сильно, что ее окончательно рассмешило.

— Ты семафор-то свой погаси и рот закрой, — ржала она. — А то еще приснюсь ночью — греха не оберешься!

И тут, то ли от обиды, то ли не в силах справиться с нахлынувшими эмоциями, Леха пулей вылетел из душевой. Но плохо она его знала, ночи он ждать не стал, а нашел ее этим же вечером, на танцах. Встретившись с ней взглядом, Леха понял, что она его не узнала. И это почему-то больно ударило по самолюбию. И еще с ней был какой-то хмырь, беззастенчиво и нагло лапавший ее прямо на площадке. Она при этом глупо смеялась и рук его не одергивала. Когда в середине танца хмырь отошел в сторону, чтобы в очередной раз бухнуть из горла, Леха его тут же заменил, взяв ненаглядную за тонкую талию, неумело повел в такт музыке.

— Какой же ты шустрый, — рассмеялась она. — Но танцевать не умеешь.

— Я научусь, — пообещал он и, краснея, напомнил, что они уже виделись сегодня. И что он думал о ней весь вечер. И еще сказал неожиданно дрогнувшим голосом. — Ты очень красивая!

— Спасибо, конечно, но это вопрос спорный, — ответила она. — А вот то, что я

для тебя слишком старая и что тебя, кажется, бить собираются сомнений не вызывает... Рвал бы ты когти, дружок!

Вот еще! За кого она его принимает? Да и поздно бежать... Леха несколькими опережающими ударами разбросал эту пьяную братию, схватил свою ненаглядную за руку и потащил в темноту. Потом они долго бежали какими-то дворами, перелезали через заборы, отбивались от собак и остановились лишь тогда, когда погоня отстала.

— Ну и дурак же ты, — отдышавшись, сказала она. — Завтра тебя поймают и подрежут. Эти ребята чикаться не станут, я их знаю.

— Мы еще посмотрим, кто кого, — продолжал хорохориться Леха.

— Курево-то у тебя есть, Ромео? — с усмешкой спросила деваха после небольшой паузы. Потом привычным движением оторвала фильтр, жадно и с удовольствием затянулась. — Ну и что мы с тобой будем делать?

Что делать, Леха знал. Он не знал как. Полагаясь на многократно слышанные рассказы старших товарищей, он сначала неумело ее обнял, потом столь же неумело поцеловал, потом непослушными, предательски дрожащими руками приподнял ее юбку и опрокинул в траву. Что было дальше, помнил с трудом. Помнил, что все, вопреки рассказам, произошло как-то уж очень быстро.

— У тебя, спринтер, платок есть? — спросила она.

— Есть. — Леха выполнил просьбу, мучительно размышляя над значением незнакомого слова. — Ты это... если что не так, не взыщи. Я ведь в первый раз, понимаешь?!

— Ну, это и пьяному ежику понятно, что первый, — вздохнула ненаглядная. — Но вот когда тебе еще раз обломится от какой-нибудь дуры, ты уж, мальчик, как-нибудь постарайся управлять собой.

— А как? — глупо спросил он. — Ведь оно само.

— Ну, не знаю, у каждого свои способы: один заставляет себя думать о чем-то постороннем, другой таблицу умножения повторяет.

Леха помрачнел. Думать, да еще неведомо о чем, он не привык. А таблицу умножения забыл. Они лежали в траве и смотрели на звезды.

— Слышишь, самолет летит?

— Слышу!

— Вот о самолете в следующий раз и думай. Словно ты летчик и дорога тебе предстоит дальняя. Скажем, в Москву или Париж.

Информация была новая и ценная, ни о чем таком ребята не рассказывали. Впрочем, они и таблицу умножения наверняка знали.

— Я попробую, — сказал он.

— Эй, ты куда?.. Дурачок, я же чисто теоретически. Ну перестань, ты же не сможешь, полежи немного.

Это чего это он не сможет? Еще как сможет!.. Вот только про самолет бы не забыть.

— Да, недооценила я тебя, — сказала деваха. Потом, видимо, неожиданно для самой себя стала понемногу заводиться, задвигалась, тяжело задышала. — Ну ты даешь!.. Только теперь не спеши, летчик, не спеши... Вот так, молодец... Еще раз так сделай! Еще!

Ее голос едва проступал сквозь гул работающих моторов. Он летел сквозь звездную ночь сопящим лайнером — тугой, большой, сильный, и ничто не могло его остановить. Время перестало существовать.

— Ну, все, слышишь, все, — донеслось откуда-то снизу. — Теперь можно и тебе.

Ее слова, призывы, упрёки пролетели мимо, как редкие кучевые облака. Леха молча и сосредоточенно продолжал свой полет и готов был лететь вечно, если бы минут через пять не услышал жаркий и страстный шепот:

— А теперь я хочу вместе с тобой, слышишь?.. Только вместе, прошу тебя, — и ее пятки вонзились в его ягодичи.

Перед тем как направить самолет в пике, Леха выдержал небольшую паузу и —

под рев моторов, стон и крики пассажиров и что-то острое, несколько раз царапнувшее по обшивке самолета, — резко пошел вниз и отбросил штурвал.

Из рассказов своих более развращенных друзей Леха знал, что в эти минуты некоторые женщины стонут, кричат и даже больно царапают спину, но в этих рассказах за техническими и физиологическими подробностями терялось главное. То, что словами не передашь, да и есть ли такие слова?

Откуда вдруг это ощущение света, когда кругом ночь? И этот комок в горле от странного чувства, что прежняя жизнь кончилась, да и тебя прежнего больше нет. Ты словно заново родился, поэтому и мир вокруг другой — не чужой, не враждебный, как раньше. Он большой и прекрасный, он теперь открыт для тебя. Точнее, тебе его открыли... Вот эта женщина, что лежит рядом. Голова ее чуть запрокинута, рот приоткрыт, глаза усталые и счастливые. Она что-то тихо говорит тебе, но слова не важны. Потому что ты уже все знаешь. И понимаешь больше, чем она может сейчас сказать.

У нее было странное и редкое для того времени имя — Дарья. В столицах так своих детей еще не называли, в провинции уже не называли давным-давно. Ей было двадцать семь лет, из которых шесть она отсидела за убийство мужа. За превышение пределов необходимой обороны, как написано в решении суда, а грубо говоря, он спьяну стал в очередной раз ее избивать, а она не выдержала и пырнула его кухонным ножом.

— Жалеешь? — спрашивал Леха.

— Нет. Потому, что и меня никто никогда не жалел. Я ведь подкидыш... Из детдома вышла дура душой и сразу замуж — за первого, кто на меня ласково посмотрел. А он оказался скотиной.

— Я тебя буду жалеть, — пообещал он.

— Ты хороший, но ты еще очень маленький... А я старая кошелка, моя песенка спета: теперь вся жизнь по лимиту — от одной стройки к другой.

Он вдруг представил, что она действительно может в любую минуту вот так запросто взять и уехать, и ему стало страшно.

— А как же я? — глупо спросил он.

— А что ты? — не поняла она. — Ты юный и сильный, у тебя вся жизнь впереди. И баб у тебя будет немерено, да и меня забудешь, как только влюбишься по-настоящему.

— Да не нужны мне никакие бабы, я тебя люблю!

— Ну ты, я смотрю, совсем теленок, — усмехнулась она. — Еще скажи, что женишься на мне.

— Конечно, женюсь, — уверенно пообещал он. — Как только восемнадцать исполнится, так сразу и женюсь.

— Господи, да ты еще и малолетка к тому же?.. Ох, чую, меня скоро опять на нары определят.

«Ну, что она такое говорит? — думал он. — При чем здесь нары и его возраст? И каких-то баб еще приплела... Ну какая же она старая? И разве может быть теперь жизнь без нее, когда такое случилось?»

На третий день, когда Леха опять шел на свидание, его подкараулили и так измелили, что едва дополз до общаги. Хорошо хоть под воскресенье, — весь день он отлеживался, а вечером пришла Дарья. И как только нашла, непонятно.

— Они тебя больше не тронут, — сказала она.

— Зато я их трону, — пообещал Леха. — Выслежу и вырублю по одному.

— Ты Отелло-то из себя не строй! Я с ним месяц жила, вот ему и обидно, что какой-то сопляк из-под носа увел.

Леха насутился и даже отворачивал голову, которую Дарья пыталась ему перевязать.

— Будешь злиться — уйду! — пригрозила она. — Сам ведь потом поймешь, что не драться тебе сейчас надо, а учиться.

«Прямо как Ленин на съезде», — подумал Леха, но обороты сбросил.

И стала для него эта женщина почти на два года и любовницей, и другом, и учителем, и даже матерью. Она следила за тем, чтобы он одевался по погоде, вовремя и не всухомятку ел, перестал сквернословить и пил не чаще, чем раз в неделю. Он записался в библиотеку и в вечернюю школу, заказал в ателье первый в своей жизни костюм, стал чаще мыться и пользоваться одеколоном, — и все это исключительно благодаря своей Дашуне. Она отказывалась с ним спать, если не выучены уроки и не решены все задачи, но даже в постели учеба продолжалась; правда, гораздо более приятная. Дарья обучала его не внешней, примитивной стороне секса вроде экзотических поз и прочей белиберды, — она пыталась объяснить Лехе, что женщина — совершенно иное существо, чем мужчина: она по-другому чувствует, от другого возбуждается, да и ждет от своего возлюбленного или просто партнера существенно больше, чем он, как правило, может дать. Только потом, спустя годы, Леха понял, что Дарья была абсолютной альтруисткой. Он давно и хорошо знал все ее эрогенные зоны и всегда умел сделать так, чтоб ей было хорошо с ним. Но Дарья готовила его для другой жизни и для других женщин; ей хотелось, чтобы ее Лешеньку любили все и всегда, чтобы его миновали банальные мужские комплексы и чтобы он, наконец, был счастлив, когда найдет свою единственную.

Окончить десятилетку Леха решил исключительно для и ради своей ненаглядной, но учеба его неожиданно увлекла, да и способности, в которых ему всегда отказывали, открылись нешуточные; особенно в точных науках. И память, как выяснилось, у него хорошая, и соображалка — будь здоров! Вот с историей были проблемы, да и литература его напрягала — если бы не Дарья, он бы всю эту хреномоту и читать не стал. Как бы там ни было, но школу он закончил почти круглым отличником. И тут же встал вопрос: что дальше? Леха, откровенно говоря, думал поступить в политех, на заочный, но все вокруг — от бугра до директора школы и Дарьи, — убеждали, что это лишь пустая трата времени. Комбинат по плану должны сдавать через четыре года, и специалисты нужны будут позарез, но не заочники же, — их и на стройке не уважают, и даже в школу преподавать берут неохотно... Эх, кто бы мог тогда предположить, что пройдет несколько лет, и уже почти готовый комбинат зарастет бурьяном, Союз развалится, а Казахстан станет отдельным независимым государством — от всех независимым, включая Леху и всю его родню, вынужденную спешно перебираться на Алтай.

— Тебе в Москву надо ехать, — приняла решение Дарья. — Есть там такой институт — стали и сплавов называется. Вот это фирма! Тебя после него на комбинате с руками-ногами оторвут.

— А ты? — решил уточнить Леха. — Ты-то со мной поедешь?

— Вот в Москве меня как раз и не хватало, — усмехнулась она. — Прямо ждут не дождутся.

— Без тебя не поеду! — твердо отрезал он.

— Лешенька, ты так и будешь всю жизнь за мою юбку держаться?.. Ты же взрослый, умный и сильный мужик, тебе нужно искать себя и свое место под солнцем, бороться, побеждать! Ведь иначе ты просто засохнешь, станешь неинтересным и себе, и другим, я же первая тебя и брошу!

Подействовал не призыв, а угроза. И Леха смирился. И поехал в эту чертову, совершенно ему ненужную Москву. Дарья провожала его на вокзале и, чувствуя женским нутром, что не увидятся они уже никогда, наговорила ему столько хороших слов, что Леха тут же пожалел, что уезжает, а уже в поезде едва справился с искушением сорвать стоп-кран. Точнее, проводник помешал.

Поступил он легко. Конкурс был небольшой, поэтому знаний, полученных в провинции, хватило с избытком. Коротая время перед началом занятий, Леха бесцельно бродил по городу и ежедневно отсылал Дарье подробные пухлые письма. Почта работала плохо, первое ответное письмо пришло перед тем, как весь первый курс вместо учебы отправили «на картошку» под Зарайск. Житуха там была веселая: с водкой, танцами, песнями. Да и ребята нормальные, все быстро перезнакомились,

подружились, по вечерам подолгу засиживались у костра. Леха иногда помимо своей воли засматривался на девчонок и тупо собираясь хранить верность, все же отметил про себя ту, которой он, как ему казалось, был симпатичен и которая явно была не против. Держался он долго и лишь когда смотавшись в Москву за письмами, не получил ни одного, — выпил с тоски стакан водки и провел с этой девчонкой ночь в стогу сена. Она была симпатичная, но разве кто сравнится с его Дашуней? Утром ему было стыдно, он ругал себя последними словами и дал себе зарок, что это никогда больше не повторится.

Вернувшись в Москву и уже приступив к занятиям, Леха получил от своей возлюбленной прощальное письмо. Дарья была очень рада за него, желала успехов и счастья, но она не хотела и не могла быть гирей на его ногах. И еще она сообщала, что взяла на работе расчет и уезжает на Дальний Восток. Заканчивалось письмо словами «прощай, мой мальчик!» — это не оставляло никаких надежд и так надломило Леху, что он неделю на занятия не ходил, а не запил по-черному лишь потому, что денег не было. Но как-то потихоньку отошел, смирился, и постепенно превратилась его ненаглядная из женщины в сказку и путеводную звезду: стоило только о ней подумать, и на душе становилось светло и ясно.

Учебный график он скоро нагнал, к общаге привык, и даже Москва перестала казаться чужой и отталкивающей. Леха устроился подрабатывать грузчиком в соседний магазин, там его уважали за трезвость и безотказность, даже клинья подбивали, но он продавщицами манкировал, — очень уж не любил, когда женщины орут и ругаются матом. Да и не до женщин было — приближалась сессия, и он даже выспаться как следует не мог.

На их курсе среди общей массы юнцов были и ребята постарше: кто после армии, кто с трудовым стажем; вот с ними Леха и скорешился. Со сверстниками же чувствовал себя как в детском саду. Один, правда, набивался к нему в друзья, жили вместе. После того как спихнули сессию, он предложил:

— Ну что, Леха, как говорится, шерше ля фам?

Французским, даже на этом уровне, Леха не владел. Сосед, изображая из себя заправского ловеласа, пояснил, что есть у него на примете пара девчонок с параллельного курса — разбитные, негордые и выпить любят. Леху долго уговаривать не пришлось, у него уже, что называется, из ушей капало... Ну, завалились к этим девчонкам, выпили, выключили свет, и понеслось! Правда, «понеслось» только у Лехи. Тому, как выяснилось в коридоре, куда вышли перекурить, — не давали. «Ну, хочешь, махнемся?» — предложил Леха. Тот радостно согласился; не понимая, дурачок, что между «не дает» и «не умеешь взять» очень большая разница. Что, впрочем, и подтвердилось: ему и здесь не обломилось.

И покатило у Лехи, и завертелось, и начал он свое нескончаемое путешествие из одной постели в другую, находя в этом и кайф, и смысл, и стимул для всего остального в жизни, что существовало как бы автономно и параллельно, нисколько не мешая, а скорее дополняя друг друга. И трудно сказать, какой из этих миров был главным и основным. Они жили по разным законам и правилам, а когда пересекались — случались накладки. Одна из них послужила уроком на всю жизнь... Увидел он как-то на улице девушку и, что называется, запал. И ноги обалденные, и фигура, да и личико под стать им. Ну, подвалил, стал клеить, назначил свидание. И место для встречи нашел, и условия создал. Но, что называется, как-то сразу не пошло, словно на стену наткнулся. Нет, она ему отдалась практически сразу, но глаза оставались какими-то рыбьими, сухость внизу как в Сахаре, и таким холодом от нее веяло, что ничего кроме опустошения и злости это свидание не принесло. И с тех пор дал себе Леха зарок, что никогда больше не подойдет к женщине, если поймет, что она этого не хочет. И научился с тех пор смотреть не на ноги и грудь, а в глаза. Прежде всего в глаза. Потому что именно там написано все и сразу про то, что есть, и что может быть, и что никогда не будет, уж как ты ни старайся. Много позже он научился и более тонким вещам — по взгляду, позе, жестам, дыханию определять не только желания, но и

настроение, самочувствие, направление мыслей. Он сам не понимал, как и откуда появился этот дар, но женщин он чувствовал и понимал, как егерь чувствует зверя, лесник природу, а скульптор — казалось бы, совершенно мертвый и безъязыкий камень.

Вторую сессию он из-за своих амурных дел едва не завалил. Стипендии не хватало, приходилось подрабатывать, накопились «хвосты». Последний экзамен пересдавал уже в июле, когда приехала абитура. Почему-то особенно много было девчонок. И таких, что глаза разбегались. Больше всех притягивала взгляд рыжая дылда в миниюбке. У нее были глаза — пылесос, жадно втягивающие в себя все вокруг. Леху тоже втянули, когда он просматривал газеты у вахты.

— Гульнем? — предложил он.

— Не могу, экзамен завтра, — с явным сожалением отказалась она.

На следующий день Леха явился к ней с бутылкой вина.

— Что отмечать будем? Надеюсь, не завалила?

— Да ты что!? Я ж медалистка, сроду меньше пяти баллов не получала.

И впустила в комнату. Там была еще одна девица: у нее последний экзамен был послезавтра, зубрила в постели математику. Познакомились, обмыли поступление, обменялись все объясняющими взглядами. Обстановка, конечно, не очень располагала, но делать нечего: Леха уронил ее на кровать, потом спросил шепотом:

— Тебе важно ее мнение?

— Нет, — гордо и громко ответила та. — Я вообще человек самодостаточный.

Ну, это, конечно, она загнула: самодостаточные мастурбируют втихаря, им до мужиков и дела нет. Эта же повелась сразу, с пол-оборота... Они еще и к делу всерьез не приступили, как соседка не выдержала и выключила настольную лампу.

«Что за молодежь пошла? — думал Леха. — Когда в искусстве любви знают толк опытные и зрелые женщины вроде его Дашуни, это понятно. Но где набираются знания и опыта юные провинциалки, уму непостижимо... И оргазм-то у нее какой-то перманентный, и усталости не знает».

Впрочем, рыженькая насыщалась бурно, но недолго. И отрубилась мгновенно. Леха же почему-то уснуть не мог, изредка проваливался в легкую дремоту и вновь просыпался. Сквозь полужакрытые веки он видел, как другая девчонка подошла к окну и нервно закурила. Что-то заставило Леху проснуться окончательно. Если бы это был мужик, то и сказать нечего: ну, курит себе и курит. Но в женщинах — даже в предрасветной темноте и со спины, — он уже умел читать если не все, то многое. Конечно, он мог ошибиться. Конечно, это еще надо было проверить.

— Ты чего не спишь? — спросил он, закуривая и становясь рядом.

— Как же, уснешь тут с вами!

Глаз ее в темноте видно не было, но и по голосу уже все было ясно. Леха положил ей руку на плечо, потом медленно опустил ее вниз. Девчонка задрожала так, что даже сигарета из руки выпала.

— Глупенькая!.. — пожалел он ее. — Почему же ты к нам не пришла?

Она задержала его руку и — то ли вздохнув, то ли вскрикнув, — кончила прямо там, у окна.

— Не знаю, — ответила она и бессильно повисла у него на плече.

Почувствовав, что возбуждение не стихает, Леха взял ее на руки, отнес в кровать и щедро компенсировал принесенные неудобства.

Проснулись где-то к обеду, втроем на сдвинутых кроватях.

— Эх, шершеля вы мои, шершеля, — сказал Леха, прижимая к себе обеих. — И за что я вас, дур, так люблю?!

Девчонки не ответили, лишь сладко и синхронно зевнули. А Леха лежал и думал, каким это непостижимым образом, да еще так незаметно любовь к одной конкретной женщине переросла в любовь к женщинам вообще.

Да, если в начале мира было слово, то в начале Лехи безусловно была женщина. Одна его родила, вторая вдохнула в него душу. Поэтому жизнь без женщин для него не

была возможна в принципе. Общаясь с мужчинами, он иногда робел, чувствовал себя неуверенно; но с женщинами — никогда. То ли он лучше их понимал, то ли само их присутствие служило неким катализатором всех жизненных процессов. Причем было совершенно не важно, кто эти женщины, и сколько им лет: это могли быть зрелые дамы или, скажем, совсем девчонки — ну вот как эти абитуриентки, — эффект был один и тот же: они преображали мир и наполняли душу жизненной силой. Как это у них получалось, почему, в силу каких таинственных закономерностей, — размышлять бессмысленно и глупо: голову сломаешь. Но это, как говорится, медицинский факт, и от него ни отмахнуться, ни спрятаться, ни отвертеться.

Интимная сторона вопроса была отнюдь не главенствующей. Может быть, со стороны кому-то Леха и мог показаться похотливым козлом, но это было очень далеко от истины. Более того, инициатором близких отношений практически всегда был не он, а женщина. Просто Леха умел увидеть в ее глазах, почувствовать кожей то, чего женщина хочет, даже если ей в этот момент самой кажется, что ей не хочется ничего. Но ведь желание уже написано в ее глазах! Говорить она может при этом что угодно и руками размахивать. И даже указывать на дверь, — но стоит ли обращать внимание на эту милую и трогательную в своей наивности игру? Ведь ты уже прочел, нутром почувствовал и ожидание, и надежду, и это томление, без которого любые сексуальные игры бессмысленны, как пинг-понг: много движений, пота и суеты, а в чем кайф, понимают только китайцы.

Если бы не женщины, думал Леха, он бы никогда не смог по-настоящему ощутить вкус жизни. Дело не в сексе. Точнее, не только в нем, — тут для полной и взаимной гармонии хватит какого-то одного приема, вроде усвоенного им мастерства в почти бесконечном авиабаражировании. Тут вопрос почти философский... Ведь все люди страшно разобщены и одиноки, думал он. Все жаждут простого человеческого общения, но преграды из условностей, норм воспитания и предрассудков, которые цивилизация возвела между людьми, практически непреодолимы. Я не могу, думал Леха, посмотреть на интересного мне мужчину так, как смотрю на женщину, — это всегда двусмысленно и подозрительно. Но никогда, ни одну женщину не оскорбит заинтересованный мужской взгляд. Она может его как бы не заметить, проигнорировать, но пропустить — никогда. Потому что взгляд — это всегда обещание, начало чего-то нового, вызов, если хотите... Все остальное потом — и слова, и действия, но самый острый момент в любви вовсе не оргазм, как полагают многие, а это первое столкновение взглядов, когда становится ясным практически все.

— Когда же ты утихомиришься, наконец? — как-то спросила его одна из подруг.

— Не знаю, — искренне ответил Алексей. — Хотелось бы верить, что никогда.

— А как же семья, дети?.. Так и будешь кобелировать до седых яиц?

Что тут ответить?.. Вот на Дарье, подруге своих лет молодых, он женился бы, не раздумывая. Потому что каждый ее взгляд, поворот головы, походка, — были как первый раз, волновали, томили, возбуждали до исступления. И глаз не замыливался от, казалось бы, бесконечных повторов... Вот найду такую же, — и женюсь, думал он.

Когда Леха заканчивал уже третий курс, занесла его какая-то нелегкая в центр, и где-то у Манежной он встретился взглядом со странной, какой-то нескладной, но очень приглянувшейся ему девушкой. Нет, упустить он ее не мог, поэтому, не теряя времени, приступил к осаде. Но вся его вступительная речь пошла насмарку: выяснилось, что она англичанка, приехала в МГУ совершенствовать свой русский язык. Хотя что там было совершенствовать, неизвестно: понимала она не больше двух десятков слов, говорила и того меньше.

Впрочем, Леху это не смутило. Он отправился ее провожать, напросился в гости. Жила она в высотке на Ленгорах, у нее была своя маленькая комнатка в блоке на двоих. Ох, и намучался он с этой Джейн... Сначала казалось, что она поплыла и дозрела уже в дороге; весь путь в метро стояли тесно прижавшись друг к другу. И не то чтоб народу в вагоне было слишком много, и не то чтоб не замечала она, чем занима-

ется его правая рука. Но стоило войти в ее комнату, — и как отрезало: «Ты меня обманить...»

Господи, да чем же он ее «обманить»? Выяснял почти целую неделю, мотаясь в неблизкий путь чуть ли не каждый вечер; ночевать она не оставила ни разу. Тут были какие-то непонятки: и глаза у Джейн горели, и целовала так страстно, что крышу срывало, и бутончики ее конопатые тянулись к его губам как два истомленных жаждой путника. Но дальше — шлагбаум железобетонный. И длилось это так долго, что у него уже ночами поллюции начались, как у прыщавого школьника.

— Неужели ты не хочешь узнать, как русские любят? — спрашивал Леха.

— Я догадаться, — отвечала она. — Русская медведь всегда грубо.

Ну, блин, это уже слишком! Выяснили же, что замуж за него она не собирается. И не боится, как наши девки, что поматросит и бросит, поскольку сама скоро отбудет в свой долбаный Бирмингем. Ну, не может же она, в самом деле, быть девушкой в свои двадцать три! В России, даже в провинции и в двадцать днем с огнем не найдешь, а уж в просвещенной Англии... Слова девственность Джейн не знала. Он, как мог, объяснил и даже что-то нарисовал на бумаге. И тут Джейн покраснела, как трехрублевый рак в кипятке, — то есть избыточно и с явным перебором.

— Да ты бы сразу об этом сказала, — Леха направился к двери. — Я бы в первый же день и слинял!

— Why? — Джейн от растерянности даже перешла на родной язык и кинулась его останавливать. — Why, darling?

Насколько Леха обожал женщин, настолько же он терпеть не мог девственниц. Каждая из них, а у Лехи был сей печальный опыт, — искренне полагала, что несет в себе некое сокровище, бесценный клад и любое, даже осторожное сомнение в этом трактовала как смертельное оскорбление. Но ведь даже вор знает, что наличие металлической двери вовсе не означает, что в квартире есть какие-либо ценности. Там может быть любой хлам или вообще ничего, как в новом, недавно сданном доме... Нет уж, английских перезревших целок Лехе и даром не нужно, его от отечественных тошнит.

Джейн понимала, что он уходит и уже никогда не вернется, и она устроила такую истерику, что ее соседка по блоку, толстая негритянка из Франции, решила, что ту убивают. Хорошо, хоть оперотряд или милицию не вызвала... Джейн ей открыла и долго что-то верещала, размахивая руками. Француженка переводила — по-русски она говорила почти свободно: Джейн очень сожалеет, она просит у тебя прощения, она тебя любит и, если ты уйдешь, она не знает, что с собой сделает.

Вот такие получились пироги... Ну и как тут уйдешь? И откажешься от протянутого дара? И не сделаешь чужую работу, пока бравые парни из Туманного Альбиона смотрят футбол или пьют свое противное темное пиво... Удовольствие, как он и предполагал, оказалось куда ниже среднего. И раскошегаривать Джейн пришлось куда дольше, чем наших девчонок. Но уж когда раскошегарил, то и сам пожалел: более ненасытной женщины у него в жизни не было. Она быстро усвоила всю палитру русского разговорного языка, а уж в постели и вообще всякий стыд потеряла. Словом, зависла девчонка крепко.

Эх, если бы Леха знал, что все комнаты иностранцев прослушиваются... И про брата ее, который работает в английской разведке Ми-6. И про то, что Джейн, оказывается, миллионерша хренова, и что сам он давно находится в оперативной разработке соответствующих органов, и что его дальнейшая судьба, как тем казалось, давно predetermined. Леху ведь и не остановили вовремя, и по шапке не дали исключительно потому, что в отношении него имелись соответствующие, далеко идущие планы.

Его захомутали в самый неожиданный момент, когда он спешил на занятия в институте. Если бы этот хмырь вовремя ксиву свою не показал, он бы вырубил его там же, в подземном переходе, — ну что за манера сзади хватать за плечо?.. Вербовали упорно и долго. Всего-то делов: сначала жениться, уехать в Англию и получить там

гражданство. Потом... Да не хочу я в Англию, мне и здесь хорошо, отбрыкивался Леха. Что значит, надо? Вам надо — вы и езжайте. Да мне по фигу, что она миллионерша, я с нее денег не брал. Ну не было у нас с ней разговора о брате, вы же все разговоры прослушивали — не было!.. Ребята, отстаньте вы от меня! Ну не гожусь я в шпионы, я типа по другому делу.

По глазам чекистов Леха понимал, что его считают там полным идиотом: в Англию ехать не хочет, жениться на миллионерше тоже... Сначала пытались убедить, взывать к комсомольской совести и чувству патриотизма, потом стали сулить всякие блага, а когда доводы кончились, перешли к угрозам. Короче, прессовали долго и нудно, но все же отступили — взяли подписку о неразглашении и строго предупредили, чтоб к иностранцам больше ни ногой! В общем, Джейн он так больше и не увидел. Понимал, что поступает по-свински, но ведь и выбора не было: уж лучше так, чем вопреки своей воле в штирлицы угодить.

Ну вот, уже и пятый курс, остался лишь диплом, да два «госа». И с профессией все устаканилось, и распределением, ну а с женщинами и вообще — лучше некуда. Если, конечно, не искать на свою задницу приключений: боготворя всех женщин сразу, Леха явно потерял бдительность и забыл непреложную истину, что в любой семье не без уroda. Впрочем, и закономерность просматривалась — две женщины дали ему жизнь, еще одна ее сломала. Короче, был у них на потоке один полный дебил — комсомольский главварь факультетского масштаба. А курсом ниже училась его невеста, блядушка еще та. Но жених, разумеется, считал ее чистой и непорочной. В грязные слухи не верил, да и желающих не находилось рассказать ему об этих слухах, — себе дороже выйдет. Так что ходили по общаге эти голубки, чуть ли не за руки держась: ребята даже из телевизионки выбегали на них посмотреть — зрелище было еще то... И вот эта самая невеста давно забрасывала клинья, чтоб Леха ее трахнул. Ну обидно ей было: почти всех перетрахал, а ее нет. Насчет «почти всех» это, конечно, перебор, да и не в его вкусе была эта сучка, не любил он профурсеток. Но чем больше он отлынивал, тем больше приставала, зараза, и липла как банный лист к тому самому месту.

И вот однажды заявила, когда Леха был один в комнате: чертил на кульмане приложение к диплому. И сказала ему эта лярва: так, мол, и так, Лешенька — жених на конференции в райкоме и самое время нам заняться любовью. Ну чем же я тебе так не нравлюсь? Ты видишь, как я хочу тебя? Дай я тебя поцелую... А теперь его! Сейчас мы поднимем этого разбойника... Ну, Лешенька, сладенький мой.

Надо было — рукой по морде, ногой — под жопу, а он, кретин, отодвинул кульман и лег с этой курвой в постель. В это время, почти как в анекдоте, вернулся женишок, ему кто-то стукнул, что его благоверная в такой-то комнате, к экзаменам будто бы готовится. Тот пошел, постучал, за дверью темно. Позвал по имени... Услышав его голос, эта сучка так испугалась, что ее брак, да и вся судьба под большой угрозой, что не придумала ничего лучшего, как изобразить, что ее не просто насилуют, а девственности лишают. Ох, как же она орала, зараза! Перепонки лопались. Но, когда для полного правдоподобия она стала отвешивать Лехе пощечины, а потом укусила за руку, — тот настолько был ошарашен этой наглостью, что просто поднял свой кульман с дипломом и опустил на голову этой орущей проляди... Когда взломали дверь, оба они были в крови. А Леха вдобавок и без трусов.

— Я тебя убью! — замахнулся на него жених своим комсомольским кейсом.

— Он не успел, — успокаивала его «невеста». И поправила на всякий случай слухи. — Кажется, не успел.

Когда Леха уже сидел в КПЗ, его сначала заочно исключили из комсомола, а потом и из института с формулировкой «за поведение, не совместимое со званием советского студента». «И чего я, дурак, в Англию не уехал?» — думал он, коротая время в ожидании суда.

Сначала ему предъявили обвинение по двум статьям: изнасилование и злобное хулиганство. Но та сучка, из-за которой он погорел, экспертизу проходить не

стала, а вовремя подсуежилась и отдалась своему жениху на исходе критических дней, умело симитировав потерю так ценимой им девственности. Тот ходил по коридорам общаги гордым петушком, а первую часть обвинения переквалифицировали с изнасилования на его попытку.

На суде вклеили Лехе по совокупности обоих преступлений пять лет общего режима. Это считалось почему-то немного, тем более что скоро ожидалась некая очередная амнистия. И все бы, казалось, ничего, но очень уж ему не повезло с сокамерниками... То ли действительно в стране развелось слишком много голубых, то ли в этой конкретной камере их всех по недосмотру собрали, — короче, в первую же ночь его попытались опустить. И если бы не природная силушка, и не опыт, полученный в драках, — все бы кончилось быстро и бескровно, как и происходило с каждым пацаном, который сюда попадал. Но за свою «честь» Алексей сражался отчаянно и зло. Он был готов лишиться жизни, но не допустить совершения над собой этой гнусности. В первую ночь его просто избили. Во вторую предложили альтернативу — оральный конвейер. Поскольку ноги были связаны, а на каждой руке висели по два бугая, Лехе ничего не оставалось, как укусить вонючий болт, уже вставленный ему в рот. То, что было дальше, он уже не помнил. Теперь уже не просто били, убивали. Потом, видимо, пришло новое решение: в назидание другим кастрировать непокорного, причем по полной программе — отрезать пытались и яйца, и член. Скол алюминиевой кружки не очень годился для этой затеи, хотя пилили добросовестно, долго и по очереди, но когда кровищи стало уж слишком много, его просто бросили подыхать на цементный пол у параши. Когда под утро его наконец отнесли в медчасть, он был еще жив и даже пришел в сознание, но было ясно, что при такой потере крови Леха уже не жилец. Но даже если жизнь и удастся спасти, то жизнь это будет бесполой. А на хрена она такая нужна?

«Удаляем?» — услышал он уже на операционном столе и, с трудом приподняв тяжелые веки, с мольбой посмотрел на хирурга.

Это была женщина средних лет, чуть полноватая, с едва заметными усиками над верхней губой. Он знал таких женщин, он их понимал, — если есть хоть малейший шанс, они этого варварства не допустят. И Леха в ней не ошибся.

«Ишь ты, какая прыткая, — возразила она своей ассистентке, — ты лучше у своего отрежь, чтоб на сторону не бегал».

Медсестра не обиделась, но очень удивилась.

«Чо, будем эту яичницу штопать?»

«Непременно!»

«А с этим чо?» — Она брезгливо ковырнула пальцем в резиновой перчатке кровавое месиво, неведь как не отвалившееся по дороге из камеры на операционный стол.

«И это пришьем! Во всяком случае, попытаемся... Знаешь, почему у тебя мужики не держатся? Дура ты!»

Через три года, когда тюрьма, больница, снова тюрьма и даже долгожданная амнистия были уже позади, никакой радости Леха, увы, не испытал. Жизнь не просто остановилась, она поблекла, утратила смысл и цель. Он помнил, как некогда мечтал, дурачок, о том моменте, когда к женщинам, от которых одни проблемы, тянуть его больше не будет. Это же сколько сразу освободится и времени, и сил: можно и книжки почитать, и в кино сходить, и спортом, наконец, заняться. Ну, вот он и дождался этого самого момента. И гораздо раньше, чем предполагал... Казалось бы, ему неполных двадцать семь, совсем еще молодой мужик: и в институте можно восстановиться, и жизнь новую начать, только уже совсем по-другому, по-умному. Можно, только вот мешает одна маленькая деталь: без тяги к прекрасному полу умирают, как выяснилось, и все остальные желания. Впрочем, не столько умирают, сколько обесцениваются. И почему-то такая тоска наваливается, хоть волком вой.

Да и мир окружающий без присутствия в нем женского начала был каким-то серым и пресным. И находиться в нем было неуютно, дискомфортно, противно,

словно ты и не живешь вовсе, а смотришь в деревенском клубе черно-белое довоенное кино: поле, лес на горизонте, полуразвалившаяся ферма, разбитая дорога; детишки, выбегающие из школы после звонка.

На учительнице взгляд задержался чуть более подробно. Она была приезжая и, в общем-то, такая же всем здесь чужая, как и он сам. Алексей поздоровался с ней, она приветливо ответила. Он еще долго провожал ее взглядом, словно набирающим цвет объективом.

«Шершеля, — с удивлением и надеждой подумал он. — Все-таки, еще шершеля».

Та сельская училка стала его первой женой. Потом были еще две официальных и несколько гражданских, пока он не понял наконец, что возлагать на женщину — пусть самую замечательную, добрую, красивую, умную — задачу заменить собой всех женщин мира может лишь безнадежный глупец или отъявленный садист.

Жизнь дает женщина и, быть может, именно поэтому в лучших своих проявлениях она столь же прекрасна и столь же не познаваема до конца. Другое дело, что жизнь всегда открыта для любого исследователя, женщина же, как правило, обуславливает право доступа дополнительными условиями: возраст, внешний вид, социальный статус, семейное и материальное положение... К счастью, все эти мнимые преграды существуют лишь на первых порах. Да и что это за преграды для профессора, преподающего на практически стопроцентно женском факультете? Конечно, пользоваться своим служебным положением не очень хорошо, но ведь не виноват же он в том, что все эти аспирантки и преддипломницы лишены не только мужского внимания, по которому они так тоскуют, но и мужского общества как такового — на дискотеку уже поздно, в старые девы рано, замуж никто не зовет. А желаний, нерастраченного тепла и чертиков в тихом и уже почти покрывшимся болотной тиной омуте столько, что особенно и выбирать не приходится, и морщиться брезгливо, и попкой вертеть... Нет, профессор, ты не виноват в том, что в России так много одиноких женщин. Поэтому и стыдиться тебе нечего.

Жизнь, желание, женщина, жажда... Удивительно, что все эти слова начинаются на одну букву. Причем букву для кириллицы необычную, загадочную, похожую на иероглиф. Странно, что этого никто не замечает. Еще более странно, что большинство людей живет как бы по инерции, совершенно не испытывая потребности в познании — женщины ли, окружающего мира, самого себя, наконец.

Впрочем, у медали этой есть и обратная сторона: голова уже с проседью, дети почти взрослые, а ты, как тот бравый сосед-фронтовик, — голова трясется, руки дрожат, ноги парализованы, а его все на войну тянет, которая закончилась шестьдесят лет назад с гаком. Ну что ж, у каждого своя война и свои победы. Тут уж кому как повезет.

Мария Мартысевич

Роди президента

С белорусского. Перевод Георгия Бартоша

Плохо, когда миротворец стреляет в воздух

Плохо, когда миротворец стреляет в воздух.
Благо, когда миротворец творит мир.
Просто из воздуха, полную голубую каску
на потребу простых мирян и клира.

Ведь когда миротворец исправно творит мир —
то тогда чудотворец исправно творит чудо,
и тогда все по плану: плачущая Божья Мать,
тянущий губы Иуда, улыбающийся Будда.

Роди президента

Твердишь, что иголкой цензуры зашит твой рот
Подлее времен, чем сегодня, уже не будет
А по мне, все в твоих руках, опущенных на живот:
Роди президента, какого хочешь, — себе и людям.

Говоришь, что Народ и Слово не стоят и цента.
Ну, так в чем задержка? Роди президента.
Убеди себя: «Чем я хуже сударынь Линкольн и Кеннеди», —
и роди.

Станет взрослым — Змию голову отсечет:
Папа Римский сядет от него слева,
Голубь Мира пристроится ему на плечо,
А у ног его — Британская королева, —

Мартысевич Мария Александровна — поэт, переводчик. Родилась в 1982 г. в Белоруссии, в Минске. Окончила в 2004 году филфак Белорусского государственного университета, в 2005 — отделение философии/ литературы Белорусского колледжиума. Работает в газете «Новы час». Автор книги «Цмокі лятуць на нераст: эсэ ў вершах і прозе» («Драконы летят на нерест: эссе в стихах и прозе», Минск, 2008) и сборника поэзии «Амбасада: вершы свае і чужыя» («Посольство: стихи свои и чужие», Минск, 2011). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Минске.

Бартош Георгий Львович — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1967 году в Беларуси, в г. Щучин Гродненской обл. В 1993 г. окончил исторический факультет Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка. Работает обозревателем в Яндексе. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Минске.

ибо вы молодцом, мамаша, сделали все ништяк
хотя, допускаю, у вас это получилось просто так,
и отныне — все будет именем Отца и Сына,
и орел демократии воспарит в несказанной сини.

И ты — причина того, что теперь за деревьями виден лес —
принимая в послеродовом журналистов малыми группками,
откажешься от виллы в Ницце, умилая консервативную прессу,
отдашь преимущество хутору где-то под Крупками.

Возле дома посадишь пионы, флоксы и мак
Он толкается ножкой — это хороший знак.
Чуешь — в чреве подрагивает плацента?
Роди президента.

Слава — Иисусу Христу

Здравствуй, Господи ты моё
Добрый день, Езус.

Батюшка задал тебе написать письмо,
вот я к Тебе и лезу.

Баба Стефа говорила, что ты умер и воскрес,
и Ты все можешь,
что у тебя больше, чем у Деда Мороза, чудес,
потому что Ты — Сын Божий.

У меня все хорошо, хотя с сентября
я живу в деревне пока,
немного скучаю по пацанам со двора
и боюсь клевачего петуха.
ЗБ, по правде, — мой самый нелюбимый предмет:
батюшка ругает нас с Тадиком,
что не умеем креститься,
Радзюка зовет нас Нехристь и Магомет,
а девчонок, которые в брюках, называет блудницы.

Что еще Тебе рассказать?
Почему двойка, а не пять
(не сдал календарь природы за прошлый месяц)?
А еще девчонок на дискотеке мы обливали,
а еще мы с Тадиком хотели Радзюка побить,
только не поймали.
Короче, грехи есть, хотя мне всего 10.

Батюшка говорит, звонок, и чтобы я сдавал,
поэтому о главном.
Прости, если от серьезных дел оторвал,
сделай, чтобы там без подставы...
сделай, чтобы маму не лишали родительских прав.
Твой раб Станислав

см. (о.Николай)

Держаться

Телефонные звонки в деревню —
как связь с линией фронта.
— Бабуля, как ты там?

— Держусь!
Минус пятнадцать,
все занесло,
хожу с клюкою,
чтобы не упасть, —
держусь!

— Держись!

— Плюс тридцать пять,
сиджу в тенике,
пережидаю полдень,
чтобы не сомлеть,
держусь!

— Держись!

— Артрит замучил,
радикулит наступает с флангов,
давление скачет,
вены сдались врагу.

— Будем на выходных,
подвезем мази,
держись!

— Держусь...

...Она кладет трубку и спешит в поле,
«да разве ж можно, чтобы наши —
сложь руки сидели?»

Ее старость привязывает к рейкам ростки фасоли —
всегда при деле.

Стихотворение середины лета

Жители деревень на севере Швеции
ответственно подходят к празднику
середины лета.
Главное, считают они,
чтобы пламя твоего костра
было выше, чем у соседей,
чтоб в коммуне это было самое высокое пламя.
Для этого все что горит тащится на луг
и складывается штабелями.

Если бы с парнями с севера Швеции
имел возможность перетереть
сосед моей бабуси
с севера Беларуси,
один такой Мишка,
он мог бы дать им кучу полезных рекомендаций.
и все в тему:

«Основа костра — покрышки, —
сказал бы Мишка, сплевывая под ноги
разжеванную шкурку от сала, —
запомни, малой, покрышек,
никогда не бывает мало.
Чем больше покрышек,
тем круче пройдет Купала.

Чем больше покрышек,
тем костер твой выше,
реальный костер бывает только с покрышками.

В Даманове говорят, что покрышек
должно быть не меньше, чем по одной на мальчика,
тогда девки будут давать весь год,
только мы в Заречье в такую чухню не верим —
у нас не такая дыра — некоторые учатся в универе.

Купалу в Заречье празднуют так:
складывают покрышки горкой,
резиновым муравейником
прекрасным антрацитовым тортом,
после добавляется изюминка — смоченная бензином газета.
Где взять много покрышек? Все средства хороши для этого.
Например, года два назад, я пробил все восемь колес
дядькиного трактора.
Дядьке пришлось выбросить покрышки в канаву.
Ох, и матюкался он на всю деревню, а когда узнал, —
сломал мне ребро и ногу табуретом...
Но я тебе отвечаю — это было высшее лето!»

Вот что сказал бы Мишка
мальцам с севера Швеции,
только теркам таким
не суждено осуществиться,
покрышкам от Volvo
низкое шведское небо
не коптить,

хотя лично я не сомневаюсь
что мальцам с севера Швеции
острую потребность в таком опыте
пора уже ощутить.

Мишка не умеет говорить по-английски
и уж , тем более по-шведски,
и даже по-фински,
и если бы он встретился с мальцами
с севера Швеции,
они бы, скорей всего, подрались,
а после набухались,
но все это молча
или отчаянно жестикулируя,
даже не подозревая,
как много у них
общих тем.

Поэтому сегодня,
по случаю окончания летней сессии
накануне праздника летнего солнцестояния
если вы, люди,
власть имущие в моей стране,
думаете, как сделать
нашу жизнь
еще краше
(потому что вы думаете об этом всегда, кто бы сомневался!)
я призываю вас:

ради взаимопонимания народов
ради слезы умиления из Божьих глаз
просвещайте село,
присылайте в деревни инъяз!

Исажон Султон

Рыба

(Из серии «Ферганские рассказы»)

*«Если бросишь в отца щепку, годы спустя
Твой сын может бросить в тебя камень...»*

Младший сын

Айван...

Ее опоры, потемнев от времени, обрели коричневатый оттенок, а местами почернели, растрескались по всей длине. В одних трещинах копошатся мелкие муравьи. В трещине побольше устроили гнездовые желтые осы. Их рой небольшой, всего восемь или девять ос. Ранним утром, когда воздух насыщен влагой, они держатся вместе, просушив на солнце крылья, разлетаются. Оса с влажными крыльями издает низкие глухие звуки. Когда крылья сухие, оса летит звонко жужжа.

Ранней весной их укусы безвредны. Все лето они набирают силу. А вот осенью они жалят болью. Осы и муравьи не враждуют. Ибо все заняты своими заботами.

Двор словно выбелен из-за проступившей соли. Местами растет лебеда. Кое-где можно увидеть и стебли пальчатки, но они слабые, желтые, сухие. Ломающая камень, растущая где придется, эта сорная трава почему-то не любит солончаки, сколько бы ее ни поливали, не растет, лежит, скукоженная, под палящим солнцем. Если же ветер, подхватив подсохшие легкие стебли, переносит на новое место, почувствовавшие влагу стебли пускают корни и, за три-четыре дня хорошо укоренившись, начинают разрастаться.

На террасе плетеная корзина. В ней хранится хлеб. Очень вкусный, а подсушенный хлеб еще вкуснее. Только мать не дает поесть досыта. Когда просим хлеб, дает нам ломти. Иногда готовит хлебный плов. Обжаривает старый хлеб, добавляет туда морковь, мне такой плов не нравится, я выбираю только кусочки лепешки.

Исажон Султон (Султонов) родился в селе Авазбой Риштанского района Ферганской области (Узбекистан). Окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета. Первая повесть — «Мольба» вышла в 1990 г. (изд. «Чулпон», Ташкент), а в 1995 г. вышел второй сборник — «Лунный родник» (изд. им. Г. Гуляма, Ташкент).

В 1997 г. был принят в Союз писателей Узбекистана. Рассказы Исажона Султона были опубликованы в различных литературно-художественных изданиях.

В 2010 г. художественно-литературным журналом Союза писателей Узбекистана «Звезда Востока» опубликован роман «Вечный скиталец». Рассказ «Лунный родник» вошел в «Антологию узбекского рассказа XX века» (Издательство Узбекской Национальной энциклопедии, Ташкент, 2009).

Вообще мать старается попридержать хлеб. После еды она собирает все до единой крошки, старается скормить старшему брату, иногда мне. «Съешь, богатырем будешь», — говорит она. Но у меня никогда не было особого желания добирать крошки.

Во второй корзине курт. Хотя шарики и облеплены глиной, но жирные и вкусные.

За домом приусадебный участок. Он у нас вспаханный, ухоженный. Нам не разрешают там играть. Борозды ровные-преровные, скошенные книзу, при поливе они не оседают и вода их не размывает, все борозды равномерно заполняются водой. Конец участка окружен плодовыми деревьями. Здесь растут яблони с большими красными яблоками, груши разных сортов, орехи. Почему-то под абрикосовыми и ореховыми деревьями трава не растет.

За садом выстроились высокие опрятные тополя. Когда они вырастают большими-пребольшими, их спиливают, от сладковатого запаха древесного сока кружится голова, то же самое бывает, когда со стволов сдирают кору. Ветками топят тандыры. Ствол идет на изготовление каркаса или на потолочную балку. Поэтому тополей много, больше пятидесяти. Их листья шелестят даже от легкого ветерка.

Дальше — приусадебный участок соседа. За ним еще чей-то. Потом поле, в конце поля дренажная канава. Весной вода в канаве цвета глины, летом прозрачная, осенью становится сине-зеленой, успокаивается.

Речь пойдет о канаве. Вернее, о диковине, которую я увидел в канаве.

Там водится золотая рыба.

Об этом известно лишь Богу и мне.

Как же она оказалась в канаве? На днях по небу перекатывался гром, сверкали молнии, казалось, что от грохота раскололось небо, обрушилось потоками воды на землю. Люди говорят, снега и ледники на вершинах гор, которые видны даже отсюда, пришли в движение, они смывали кишлаки, которые встречались на их пути и селевыми потоками обрушились на долину, все дренажные каналы до краев заполнились водой, может, тогда она и приплыла?

Ближе к полудню, когда припекает солнце, она поднимается на поверхность воды. Изогнувшись, глядит на солнце, потом изо всей силы бьет хвостом по воде, раздается резкий звук.

Камыш тоже издает резкие звуки. Ведь его ствол полый, когда он колыхнется на ветру, слышится потрескивание.

До чего же мне нравится окраска рыбы. Она радужная, переливающаяся. Когда рыба в воде, ее красотой не налюбуешься, когда появляется на поверхности, она уже не переливается. Самые нежные цвета и оттенки от головы до хвоста незаметно переходят один в другой. Густой красный цвет плавно переходит в бледно-розовый и сменяется золотисто-желтым. Плавники красноватые, с желтой в черную крапинку оторочкой, они напоминают мокрые крылья бабочки, оставшейся под дождем.

Я точно знаю, что она прислушивается к моим словам. Когда я говорю, молча смотрит. Терпеливо выслушивает меня до конца. Когда она всплывает, смолкает пение птиц, насекомые прекращают стрекотать. На стеблях камыша замирают стрекозы. А шум ветра, наоборот, усиливается, кажется, что он что-то шепчет.

Рыбе нравится ветер. Должно быть, ей приятно, что мелкая рябь на воде разбивается о ее тело, цвета металла. Лучи солнца, отражаясь на воде, играют на ее блестящей чешуе. Алмазами сверкают капли. Беловато-желтоватые жабры размеренно дышат. Кажется, что она вся, вплоть до ободка вокруг глаз, сверкает и светится.

Ровно в полдень мать со старшим братом идут закрывать воду, потому что в жару нельзя поливать огород. Посевы поливают рано утром или вечером. Перехожу на приусадебный участок соседа, чтобы не попасть им на глаза. Сосед, чтобы оградить свои владения, по всей длине участка посадил кукурузу, она стоит стеной и шумит. Ее стебли больно стегают локти.

Я иду на берег канавы, сажусь на бугор и, глядя на воду, жду. Рыба чувствует, что я пришел, но не спешит показываться. Ну, а я пока тянусь к лягушачей траве. У нее светло-зеленые цветы, неказистые, грубоватые, внутри чашечки маленькие точки, лишь дотронешься, цветок сразу сворачивается. Пугливая, настороженная трава как будто закрывает глаза.

Иногда некрасивая хищная личинка стрекозы поднимается со дна на поверхность воды — заползает на стебель камыша или травы. Она очень прожорливая, пожирает все, что встретится на пути, иногда и своих сородичей. Она может надолго застыть на стебле, ожидая, когда ее плечевая часть разломится, из этого разлома на белый свет выходит совершенно другое создание — большеголовая, глазастая стрекоза с блестящими прозрачными крыльями. Перелетев на кочку, просушив на солнце крылья, улетает с легким стрекотом... Мельтешающим в воде головастикам тоже предстоит видоизменение — превращение в лягушат. Жизнь еще одной твари, обитающей в полый части хвоста головастика, подвергается изменениям, дня два она лежит неподвижно и превращается в личинку майского жука, некоторое время спустя он выпускает крылья, жужжа, пускается в полет... Чуть подальше, в корнях старой срубленной ивы, покрытых водой, живет змея. В полуденную пору она выныривает из воды. Но не может переносить прямых солнечных лучей, она укрывается в тени пня, обвив корень телом, может часами лежать в оцепенении, иногда сбрасывает кожу...

В тот миг, когда моя рыба всплывает, все живое замолкает. Даже бабочки замирают.

Насколько мне известно, во всей округе не водится рыба такого цвета и окраса. Не могу припомнить, чтобы кто-то еще видел ее или говорил о ней...

Средний сын

О том, что та рыба была послана Богом, никто, кроме меня, не знал.

Когда младший брат сказал о ее существовании, я несколько раз тайком ходил на берег канавы. И каждый раз видел ее.

Она была таинственной рыбой. Когда она всплывала наверх, насекомые и птицы теряли голос.

...В детстве я много раз допытывался у матери: что происходит с человеком после смерти. «Вот когда похоронишь меня, будешь приходить на могилу, тогда узнаешь», — говорила она. «Вы после смерти не сможете выйти оттуда?» — спрашивал я. «Если Бог пожелает, выйду», — отвечала она. «А если Бог не пожелает? — «Как же я тогда выйду, мой мальчик?» Как-то мать проговорила, что после смерти душа человека может вселиться в тела других существ, чаще всего в бабочек или более мелких насекомых, а иногда в животных. Бабочка прилетает и сидит тихо-тихо, а душа умершего, вселившаяся в нее, наблюдает за всеми, осматривает все вокруг.

Мать рассказывала об этом года два назад. Сейчас она болеет, почти перестала видеть. Мы водим ее за руку.

Оглушительный сель, бушевавший на прошлой неделе, смыл кладбище вместе с могилой отца, я подумал, может, душа отца вселилась в рыбу и приплыла сюда.

Потому что на следующий день мне приснился какой-то старик. Он стоял возле канавы. И будто бы говорил: вы подросли, но ваша мать измучилась. Отец приплывет к тебе рыбой, скажи брату, пусть он приготовит рыбу и накормит мать, она поправится, сказал он. Ах, каким необыкновенным человеком был отец! Он был степенный, важный, молчаливый, под отцом земля дрожала, когда он появлялся во дворе, его величие приводило всех нас в дрожь... и рыба была под стать ему...

Я много думал о своем сне, наконец решил, что ведь отец может вселиться в другое существо и вернуться к нам... а эту рыбу, наверное, и вправду нужно приготовить для матери, глядишь, она выздоровеет, и я решился открыть брату тайну рыбы.

Брат взял отцовское ружье и торопливо куда-то ушел. Не прошло и получаса, как он выловил ее. Я ее не видел, рыба была в мешке. Я убежал на приусадебный участок, так и сидел там безвылазно. «Отец... дорогой... ты умер, а наша мать болеет... что же теперь и ей умирать... мы ведь не тебя едим, ты ведь можешь вселиться в другую рыбу», — плакал я.

Брат взял большой нож и, подойдя к очагу, стал счищать чешую.

В это время... появился младший брат... Казалось бы, что он, несмышлениш, понимает... Но он очень обиделся, что я открыл тайну, подошел ко мне поближе и стал избивать меня и таскать за волосы...

Младший сын

Когда я пришел, увидел, что мама, как птица, присела на террасе, перед ней стояла полная чашка мяса. Услышала мой голос, и ее морщинистое лицо разгладилось в улыбке, она заговорила необыкновенно ласково:

— Иди к нам, сыночек, иди сюда! Нам, беднякам, улыбнулось счастье, твой брат принес рыбу, иди, ты тоже попробуй! — звала она.

Рядом с террасой, на земле, из глиняных катышей был наскоро сделан очаг, над ним висел котел... дрова догорали, огонь был подернут пеплом... горел трепеща.

«Рыба?!»

Возле очага лежала содрванная рыба чешуя, голова и хвост. В это время появилась соседская кошка, она одним прыжком добралась до головы и утянула ее в сторону. Не отрывая от меня зеленых глаз, стала торопливо грызть ее.

— Это священная рыба, — донеслись до слуха слова матери. — Она восходит к той мифической рыбе, которая проглотила преподобного пророка Иону.

Старший брат говорил, что очень давно не ел рыбу, удивлялся, что она тает во рту, какое же это наслаждение, восклицал он и, чтобы продлить удовольствие, старался подольше жевать.

— Аллах создал рыбу чистой, лишенной скверны, — продолжала рассуждать мать. — Она чиста в любом виде: и живая, и мертвая. Поэтому он прорезал ей жабры.

Рыба?!

Она ведь принадлежала только Богу, и только мне?!

Средний брат сидел под тутовым деревом, опустив голову.

— Ты почему проговорился им? — закричал я охрипшим голосом и бросился на него. — Они ведь едят рыбу!

Странно, средний брат не ответил на мои удары, он только обхватил голову руками и продолжал сидеть на земле. Я думал, что он плачет от страха или, может, от обиды, что ему не удалось отведать такой удивительной рыбы, я опять набросился на него:

— Ты хоть знал, что это за рыба была? Она была золотой рыбой! Если бы еще немного подросла, стала бы той самой волшебной рыбой!!!

Средний брат, не чувствуя моих тумачков, безутешно плакал. Только тогда я расслышал, что он повторял:

— Отец... дорогой отец...

Огонь погас, потрескивание дров стихало, потом и вовсе прекратилось.

Старший сын

Среднему брату приснился старик, и сказал, если мать поест рыбу, выздоровеет, глаза будут видеть. Если в пятницу выйдете на берег канавы, отец приплывет в виде рыбы, вы ее поймаете, приготовьте для матери, сказал он.

Когда я, прихватив отцовскую двустволку, пришел на берег, рыба и вправду была на поверхности воды. Закатав брюки, спустился в воду, дно канавы было глинистым, затонувшие сучья кололи ноги. Зарядив ружье дробью, прицелился, опустил курок, рыба затрепыхалась и опрокинулась верх брюхом.

Когда я вернулся, ко мне подбежал средний брат. По его бледному лицу было видно, что он сильно испугался.

— Ты что, сдурел? — прикрикнул на него для острстки. — Это ведь всего навсего еда. Иди, уложи дрова в очаг!

Сам содрал с рыбы чешую, вспорол ей брюхо, выпустил кишки, очистил нутро, нарезал белое мясо с желтым жиром на куски. Сам развел огонь в очаге, когда котел зашипел, вложил в него куски рыбы жиром вниз.

Отлично, сказал сам себе удовлетворенно, все сложилось как нельзя лучше!

«... Вот наконец ты жарись в котле, отец. Я хотел, чтобы ты так жарился в аду. В знак того, что мои мольбы услышаны, Бог прислал тебя к нам, прислал для того, чтобы ты горел в огне.

Ты помнишь, как я хватал тебя за руки, когда ты избивал мать? Вот тебе! Жарься, жарься!

Помнишь, как напившись, ты переворачивал все вверх дном? Бросив в меня кетмень, рассек плечо, рубец так и остался, не на плече, в сердце, он все еще кровоточит!

За всю жизнь ни разу не решился подойти к тебе, а мне так хотелось опереться на твоё плечо, но твой грозный вид и окрики пугали меня, до двенадцати лет я боялся, что ты поднимешь и забросишь меня на крышу дома, однажды ты так подбросил младшего брата, ревуший ребенок онемел от страха, когда упал на кукурузном поле, не издал ни звука... Когда ты вынес из дома ружье и закричал на мать: «Я сейчас тебя застрелю!», бедная мама ответила: «Если хочешь, застрели, ты уже давно все во мне убил!» — бросилась на землю и зарыдала...

Ты садился на коня и как уезжал, так пропадал. Я не видел тебя неделями. Через несколько дней ты возвращался, к седлу были привязаны подстреленные тобой две-три сизоворонки, лысухи. Ты говорил зло: возьмите, съешьте, как противоядие вашему яду... Следом появлялись твои собутельники, мама поспешно готовила угощение из твоих трофеев и заносила к вам, нам доставались лишь косточки да крылья...

Вот теперь жарься в огне!

Мало того, что я в детстве не видел отцовской любви и заботы. Когда вырос, день и ночь стал пропадать на нашем участке. Сколько помню себя, тружусь, ты так нагнал страха, что я не смел выйти на улицу.

Вот, до сих пор с ног до головы в пыли, в грязи.

Жарься, жарься!..»

Отец

Будто бы заросли камыша. Стебли сухие, светло-желтые, высокие-высокие...

Зарослям не видно конца-краю, камыш шумит. А небо синее-пресинее.

Вот уже тысячу лет я скашиваю камыш в этих зарослях.

Камышу не видно конца. Я ступаю по лужам, водяные скорпионы жалят ноги, иногда слышу всплески, пытаюсь узнать, что это, но мне не удается.

На тысячу лет растянутые бесконечные заросли камыша... мягко разлетающиеся метелки камыша...

Когда я до конца скошу камыш, то что-то произойдет. Лишь бы успеть скосить.

Каждый день надо мной кружит птица и клюет в голову.

«Ты кто, почему так мучаешь меня?» — спрашиваю я.

«Проклятый отцом, проклятый отцом!» — выводит на все лады певчая птица.

Лицо отца очень смутно запомнилось мне.

В каком-то кишлаке мы жили в нищете, не было хлеба, чтобы утолить голод, не было воды — утолить жажду. Я помню, что кричал на него... как тряс отца за плечи...

...Однажды заросли камыша закончатся. В тот день и птица не прилетит. Тогда я избавлюсь от этих мучений.

Камыш... камыш...

...Я так и не успел узнать, что в конце зарослей.

Изменения произошли самым неожиданным образом. Небо раскололось... Нет, вначале поднялся ветер, пух от метелок разметало во все стороны, камыш трещал и ломался, взлетал в небо вместе с корнями. Объяв собой все: небо и землю, все стороны света, все сверху до низу, прозвучал громогласный приказ: «Будь рыбой!» — и вдруг я увидел себя плывущем в грохочущем потоке лавины.

Казалось, что поток не остановится никогда, и так и будет носить меня с собой.

Но наконец я очутился в канаве.

Не знаю, сколько времени я там пробыл. Казалось, что снаружи было тихо, невероятно тихо, вдобавок ко всему, очень опасно, может, все воспринималось так тревожно и мрачно из-за того, что я смотрел на мир через толщу воды?

Однажды я вновь поднялся на поверхность воды, вновь все живое вокруг замерло-замолкло. Затем я увидел, нацеленное дуло ружья в руках у парня, глазами и обликом так похожего на меня...

Мать

С того самого дня, как я стала терять зрение, мне стал сниться их покойный отец.

«Ты не видишь, это я пришел. Ешь рыбу, ешь рыбу!» — кричал он.

Я увидела его так ясно, словно наяву.

Он был безжалостным человеком. Никем, ничем в жизни не дорожил. Была в нем некая грозная сила, если кто-то встречался ему на пути, он сокрушал, уничтожал.

Он пытался заняться земледелием, однако посеянные семена не всходили, саженцы высыхали на корню.

А все потому, что он поднял руку на отца. Это было в те времена, когда по распоряжению сверху старикам запрещали совершать намаз. Его отец продолжал тайком ходить в мечеть. Изрядно выпив, по случаю какого-то праздника, сын накинул-

ся на отца: «Из-за вас прикажете в тюрьму садиться?!» Он потрянул отца за плечи и толкнул, старик упал и камыш из циновки вонзился ему в глаз. «Чтоб ты высох, как камыш!» — проклял его отец.

Поскольку от земледелия не было проку, он раздобыл где-то ружье и целыми днями пропадал в тугаях, рыская в зарослях до ночи, иногда привозил лысуху, иногда сизоворонку.

Насколько он был жесток, настолько и широк, но все, что он затевал, было бесполезно, прости его Боже! Но что-то ему ведомо, иначе, откуда ему знать, что я ослепла, откуда эта забота: «поешь рыбу, выздоровеешь», сказал он?

Приготовленная сыном рыба такая вкусная. Вроде и зрение проясняется. Может, не сегодня завтра прозрею?.. Я его простила, пусть его душа упокоится в раю.

Лишь бы и он меня простил...

Младший сын

Это была золотая рыба. У нее на голове была корона.

Если бы средний брат не открыл тайну, а старший брат не поджарил ее для матери... то она бы росла-росла и однажды стала бы настоящей золотой рыбой. Тогда бы мы пошли все вместе, поймали бы ее. «Просите все, что хотите», — сказала бы она и выполнила все наши желания.

Что же мне теперь делать? У меня было столько желаний, кому теперь поведать их?

Только Богу?.. Одному лишь Богу?

Я — маленькая страна

С узбекского. Перевод Николая Ильина

Чагониён¹

Кумган,
Кумган,
Полный песком кумган.
Глиняными черепками сыплются века.
Здесь не встретится ни один курган.
Курган,
Курган,
Полный песком курган.
Впитываясь, как вода,
 уходит
 в песок строка:
«Кто видел край, что мне от рожденья дан?..»

География моей души

Я — маленькая страна,
Где годы — мои города,
Где жители — месяцы,
А дни — это детство месяцев.

Я — маленькая страна,
Столица ее — моя жизнь.

Сирожиiddин Сайиид — поэт, переводчик, журналист, народный поэт Узбекистана, первый заместитель председателя Союза писателей Узбекистана. Родился в 1958 г. в Узбекистане, в Сариясийском районе Сурхандарьинской области. Окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета. Автор поэтических книг: «Карта моей души» (Ташкент, 1985), «Страна любви» (Ташкент, 1987), «Береги» (Ташкент, 1988), «Отдай свою веранду ласточкам» (Ташкент, 2004) и сборника эссе «А любовь остается» (Ташкент, 2001). Перевел на узбекский язык стихи А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, В. Высоцкого, А. Файнберга и др. Живет в Ташкенте.

Ильин Николай — поэт, переводчик, литературовед, кандидат филологических наук. Родился в 1950 г. на Урале, в г. Златоусте. Окончил филфак Ташкентского государственного университета. Редактор журнала «Преподавание языка и литературы». Автор 5 сборников стихов. Переводит на русский язык узбекских поэтов. Живет в Ташкенте.

¹ Чагониён — древнее название местности в центральноазиатском регионе.

И я — покровитель этой столицы,
И я — ее население.
Все остальные — странники.

Я — маленькая страна,
И память моя — музей,
Где в зеркалах туманных
Хранится еще мое прошлое —
Как азбука жизни.

Я — маленькая страна,
Рождение и смерть —
Пространство моей географии.

В запутанной карте времени
Стирается моя жизнь
И от нее останется
Лишь карта души — моя песнь.

* * *

Старый карагач. Суфа,
Пиалушка чая.
Старец белее, чем облака,
За чаем меня встречает.

С суфы, земли и со стен,
Полдень почти неожиданно
Как циновку, плетеную тень
Потянул и сложил уже.

Утро. Душно. Густая тишь.
Никого около.
Одна пиалушка чая лишь
И старик — белое облако.

Сумрак спустился. Это судьба,
Безысходная, хоть бросайся в крик:
Одна чайная пиала —
И потемневший старик.

Пехлеван Махмуд

Долги твои печали,
А стихи коротки.
Каких ты не видел нищих,
Каких не встречал султанов!
Нух¹ прожил тысячу лет —
И видел один потоп.
Ты не жил его жизнью,
Но пережил тысячу бедствий.
От кого-то останется трон,
От кого-то — лишь дерево.
Твое же наследие — бейты —
Созвучия грусти и боли
... Сшить бы из них одежды —
Хватило б согреть этот мир.

¹ Нух — кораническое имя библейского Ноя.

Анатолий Головков

Рассказы

Табакерка

1.

Лека Сосновский получил от жены шахматами по голове, и приперся среди ночи. Благо, что живем через двор. С бородой, в кожаной скрипучей куртке, в берете, кое-как натянутом на забинтованный лоб, он был похож на раненого повстанца. Гнев переполнял его, руки дрожали, глаза горели угольями.

— Я прикончу эту мерзавку! Задушу колготками и пушу вниз по Яузе! Все, конец фильма!

Мы закусывали немецкими корнишонами, до того кислыми и несъедобными, что казалось, Германия все еще мстила нам за проигранную войну.

Лека был настроен решительно.

— Чаша терпения переполняется только один раз, — вещал он хрипловатым баском, выпив водки и пытаясь просунуть толстые пальцы в банку, чтобы уцепить очередной огурец из мутного маринада. — Убью и срок отсиджу!

Я сочувствовал.

— Почему бы тебе просто не подать на развод?

— Развод? Без брачного контракта? Я и глазом не моргну, как она разменяет хату через суд! В общем, попадалово по полной программе! Дикая запара, чувак!..

Правда, подробности прицельного метания он опустил. То ли безумная парочка вместо секса задумала сыграть в шахматы, и Лека схлопотал мат. То ли они до этого повздорили, и шахматная доска оказалась у жены под рукой. А мне, если честно, и не хотелось спрашивать. Над городом уже занимался шизоидный рассвет, из тех муторных и тоскливых, когда кварталы выплывают из тумана, подобно айсбергам, и не хочется на работу.

Я помогал другу найти ботинки в прихожей.

Анатолий Эммануилович Головков (род. 1945, Москва) — писатель, журналист, киносценарист. Вырос в Риге, закончил МГУ им. Ломоносова и до 1992 г. работал в центральной прессе, печатался во многих странах мира. Самые известные публикации в журнале «Огонёк» времен редактора В. Коротича. Лауреат премии Союза журналистов СССР за очерки из «горячих точек» (1990) и Союза журналистов России в номинации «Честь, достоинство, профессионализм» (2005). Автор нескольких романов, книги рассказов и детской сказки «Где растут макароны», по которой на НТВ был поставлен сериал «Котовасия». Известен также как исполнитель песен на свои стихи и музыку. Начиная с середины 1990-х гг., не прекращая заниматься литературой, работает в области кино. Живет в Москве. В «ДН» печатается впервые.

2.

Атаманские замашки Леки мне были известны давно. Под его предводительством мы прыгали с гаражей под наволочкой вместо парашюта, воровали мороженое, приставляли испачканную дерьмом метлу к двери дворника, поливали из шланга прохожих и показывали им свои тощие зады. Нас отлавливали родители, а Леку адъютант его отца, генерала Генштаба. Мы жили в хрущобе, а Лека в сталинской высотке, в квартире, отделанной дубом до потолка, отчего она напоминала табакерку. Когда мы стали старше, из-за мечты Леки завербоваться наемником в иностранный легион, его прозвали Африкой.

Когда умерли его родители, он спустил в казино все их сбережения, едва сохранив квартиру, и стал падать на дно жизни. Тут и повстречался ему учитель жизни, бывший метрдотель «Националя», тихий человек с проседью в висках и большими глазами, похожий на Калиостро. За какие-то провинности графа сослали в пивной погребок на Пушкинскую.

Калиостро ставил гроздь кружек на стол очень бережно, словно они были из драгоценного фарфора. На самом деле он пребывал в таком диком похмелье, что каждый стук болью отзывался в его затылке. А Леке хотелось поговорить. Выслушав его жалобы на безотрадную жизнь, на долги, на полставки, которые платили в журнале «Животноводство», граф молвил:

— Кажется, я знаю, как вам помочь, сеньор. Попробуйте писать детективы.

— Я не умею, — признался Лека.

— Научитесь!

Другой бы плюнул и забыл, но Африка взял в голову. Он прочел с карандашом всего Сименона, Агату Кристи и уселся за письменный стол отца.

Первый его роман с банальным, но вполне коммерческим названием, кажется, «Смерть на трассе», не хотели печатать из-за обилия ужасов и оргий. Его герои тонули в цистернах, висели в сараях, подрывались на растяжках, умирали от яда любовниц, им отрезали головы. Потянулись месяцы ожидания между отказами издательства. Тогда Лека взял рукопись и снова поплелся в погребок.

— В жизни бывает и покруче, — заметил граф, прочтя роман, — но они не станут это печатать.

— Почему? — искренне удивился Африка. — Разве я пишу неправду?

— В том-то и дело, что правду, — ответил Калиостро и принес свежего пива.

После долгих дискуссий они с графом сменили место действия, придумали другие имена героям. Вместо зачуханного райцентра на страницах детектива расцвел европейский курорт. Вместо криминальных авторитетов в телогрейках и кирзовых сапогах, Иванов да Василиев с их вечными разборками, появились некие Джоны и Бээзлы, которые элегантно истребляли друг друга.

И вот, когда он уже почти отчаялся заключить договор хоть с каким-то издателем, откликнулись шведы. Потом финны и голландцы. И пошло-поехало. Африка приучил себя писать ежедневно по пять страниц в любом состоянии. Через несколько лет он стал широко известен в узком кругу, а за границей — по псевдониму Питер Штерн.

Раздав долги и оплыв молодым жирком, Лека неслабо зажил в обществе морской свинки Мегре. Свинка вылезала из клетки, Лека играл ей на флейте. Вечерами он сажал Мегре за пазуху, и они гуляли по набережной Москва-реки. Иногда он разрешал навестить себя кому-то из подруг. Я путался в их именах, но жениться Африка не хотел. Очевидно, детективы приучили его рассуждать системно, да и писал он не столько о любви, сколько об ее последствиях.

Но когда ему стукнуло сорок, все переменялось.

3.

Юбилей отмечали в ресторане, похожем на сераль арабского шаха. Гости, многих из которых я не знал даже в лицо, мало ели, много пили и, как водится, не говорили ни слова правды. И тут в самый разгар веселья в дверях зала возникло очаровательное создание, влетело, запорхало, попрыгало вдоль стола, чмокнуло юбиляра в щеку, и Африка объявил:

— Дамы и господа! Имею честь представить мою невесту! Это Ксения!

Пока Ксения помалкивала, розовела юными щеками, а глазами испускала загадочные лучи, женщины оценивающе улыбались, а мужчины завидовали Леке. Но затем она освоилась, перелила вино из бокала в салфетницу, наполнила его водкой, выпила до дна, эротично отставив в сторону мизинец, и обратилась к публике с приветственным словом:

— Ну, чего, мальчишки? На похоронах, что ли? Тоже прилепились здесь!.. Люди притихли. — Споем или как?.. — не унималась Ксения. — Может, эту, про остров!..

— Дорогая, не сердись и не ругайся, — терпеливо заметил Лека, — но у нас петь хором не принято.

— Не мешай, — возразила Ксюша после второй, — я их мигом расшевелю!.. А то сидят, как эти!.. — И прежде чем Африка опомнился, указала перстом в сторону лысоватого типа в смокинге. — Вот вы, Березовский, и начинайте!..

Гости переглянулись.

— Я не Березовский, деточка, — обиженно возразил мужчина, утирая пот. — Я литературный агент господина Сосновского.

— Ой-ой-ой! Только не надо лгать, мужчина! Я вас сразу узнала! Я вас по телеку видела!.. Начинайте смелее, я подхватчу!.. Ну?.. Без меня тебе любимый мой!.. Ну?..

Не дождавшись соло литагента, она принялась петь сама, задушевно, но совсем не музыкально, с неким завыванием, — казалось, будто закрывают скрипучую дверь и никак не закроют.

— Где ты откопал это сокровище? — спросил я друга, когда мы зашли отлить в мраморный туалет.

— Как это где?.. — отвечал Африка. — На встрече с читателями! Она живет под Вологдой, парикмахерша! Ей, между прочим, нет двадцати! Правда, прелесть?

— Она погубит твою репутацию.

— Откуда в тебе такая неприязнь к людям из народа? Только в русской глубинке еще можно встретить чистоту души и непорочность помыслов.

— Насчет непорочности я бы не торопился...

— Ну, да, да, она немного наивна...

— Точнее, глупая провинциалка!

— Не глупая, а скромная! Прочувствуй разницу! Еще Диоген говорил, что невесты красят чистота и стыдливость!

— Диоген Синопский или Диоген Лаэртский?

— Синопский, мать твою, тот, что из бочки!

— Ага, ага!.. Наверное, ему оттуда было виднее. Но все же мне показалось, что она наглая, как паровоз!

— Зато сколько первозданной свежести, а!.. Снова станешь спорить?.. Цветочек! Ласточка! В Москве такие уже не водятся!.. Они давно собрались в стаи и подались в теплые края! Ксюша — это, быть может, лучший проект моей жизни!..

— Да неужели?

— Вот посмотришь! Скоро я превращу ее в светскую львицу! Считаю, что она глина, а я скульптор!..

4.

После свадьбы Ксюша переехала в табакерку. Придя к ним в гости, я почти не узнал квартиру. Повсюду были расставлены куклы, стояли вазы, кувшины, орлы и рога, явно из Гусь-Хрустального. Любую свободную плоскость украшали кружевные салфетки. Оригинального Фалька в гостиной сменила репродукция Саврасовских «Грачей». В спальне, на розовом покрывале с лебедем, как бы желающим взлететь, возвышалась пирамида подушек.

— О да! — только и сумел вымолвить я.

Ксюша толкнула мужа в плечо.

— Я же говорила, ему понравится! Ладно, мужчины, вы тут секретничайте, а я пока сделаю оливье!.. — Потом она вдруг вернулась, с гордостью показала мне открытку. — Ты себе представляешь?! — Это была фотография Пугачевой. — Подписано после концерта! — Она чмокнула фотку, оставив на лбу примадонны помаду. — Ой, прямо не знаю, до сих пор не верится!..

— Это настоящая удача! — одобрил я Ксюшу, недвусмысленно глядя на Леку. — Поздравляю!

— Что скажешь? — спросил Африка, когда его жена удалилась. — Китч? Согласен!.. Но ничего нельзя менять резко!.. Мы ведь с ней только в начале пути!

Я не успел ответить, поскольку в комнате появилась женщина в рейтузах с ведром и шваброю, потребовала, чтобы мы вышли в другую комнату.

— Новая домработница? — спросил я, когда мы перебрались в кабинет.

— Это Ксюшина мама, — отвечал мой друг, закусив губу, — она у нас временно...

Поиздержавшись, Африка ждал очередного гонорара, а холодильник драматично пустел. Теща уже была готова сурово объяснить с зятем, но он неожиданно принес кучу продуктов. Женщины разглядывали коробки с деликатесами, и Ксюша, указывая на мужа, твердила матери с гордым восторгом: «Добытчик!.. Добытчик!..» Выяснив, что все это великолепие куплено лишь на аванс за одну книгу, теща быстро усекла финансовую взаимосвязь между сидением Леки в кабинете и наполнением холодильника. Пока Африка сочинял, она заглядывала в замочную скважину, представляла ухо к двери, и однажды, не вытерпев, вошла.

— Что вам угодно, мама? — огорчился Лека, розовея щеками. — Я же работаю!..

— Извиняй, — ласково пела теща, шаркая по паркету с подносом и ставя перед Африкой кофе с бутербродами. — Я думала, ты проголодался.

— Но мы недавно завтракали, — возражал Лека, глядя на часы.

— Извиняй еще раз!.. Я тут послушала, как ты бодро щелкаешь по клавишам! А потом тишина!.. Говоришь, работаю, а ни одного щелка!.. В чем дело?

Африка ухмыльнулся:

— Прежде чем написать, мама, нужно подумать!

— А ты и не думай! Ты пиши, пиши!

Склонный к одиночеству, но оказавшийся под опекой двух женщин, Лека вел себя отважнее, чем ожидалось. Он терпел, когда они случайно отравили Мегре просроченным питанием, и ветеринар едва спас любимца. Убеждал тещу, что шубы гостей не нужно опрыскивать от тараканов, а в гостиной — сушить дамское белье. Снисходительно принимал подарки по праздникам — китайские трусы с рынка или чугунную пепельницу в форме свиньи.

Но терпению пришел конец, когда он заметил, что все книги в доме переставлены по высоте и цвету корешков: белые к белым, зеленые к зеленым. Учитывая, что библиотека насчитывала почти десять тысяч томов, он теперь не мог найти решительно ничего.

— Я вас спрашиваю, — кричал он, — куда подевался двухтомник Витте!

— А кто такой Витте? — испуганно спрашивала теща, вытаращив глаза.
— Вам не все равно?! — бушевал Лека. — Царский премьер-министр!
— Милый, не обижай маму! — Ксюша висела на руке мужа. — Мы хотели сделать тебе сюрприз! Просто вспомни, какого цвета твой Витте?
— Голубой! — гремел Африка.
— Тогда ищем среди голубых!

Назревал развод, и теща предпочла вернуться к себе в деревню. Опасения Леки, что жена начнет делить родительскую квартиру, не оправдались. Но после истории с шахматами, Ксюша тоже исчезла, не оставив после себя ни тапочек, ни записки.

5.

А потом с Лекой случилось несчастье: у «Москвича», который подвозил его домой, отказали тормоза. Водитель-узбек погиб на месте. Лека получил множество переломов, повредил позвоночник. Эта новость быстро облетела знакомых, и в больницу повалил народ с цветами и фруктами. Однако к нему не пускали. Африка лежал в реанимации, где ему поддерживали искусственную кому, чтобы он не умер от болевого шока. Со временем происшествие, которое сначала обрастало слухами и невероятными подробностями, постепенно перестало быть событием для тусовки, и его навещали разве что мы с графом.

— Тебе хорошо, — мрачно шутил Калиостро, держа Леку за руку, — ты скоро умрешь.

Африка еще не мог говорить и улыбался одними глазами.

В больничном буфете мы с графом пили неважный кофе и обсуждали новость от врача, который предупредил, чтобы мы готовились к худшему. Ноги у Леки оказались парализованы, и на всю оставшуюся жизнь его ожидало инвалидное кресло.

Неожиданно в больнице объявилась Ксюша.

Какое-то время она стояла посреди палаты, не узнавая Леку. И он тоже не сразу узнал ее. И не только из-за темных очков и короткой стрижки — она вернула волосам прежний цвет. Очевидно, школа совместного проживания с Африкой не прошла для нее даром: в темном костюме и белой блузке она смотрелась очень элегантно.

— Привет, Ксюха, — прошепелявил Африка из-под бинтов.

— Будь я проклята, — молвила Ксюша, — на кого ты похож, Лешка!.. Получается, тебя ни на минуту нельзя оставить!

— Ты как раз вовремя, — съязвил он, — а то здесь бывает некому судно подать! Как ты пронюхала, что я в больнице?

— Из Интернета, — ответила Ксюша.

— Знаешь, ты лучше уходи, — сказал Африка. — Я списанная единица, от меня никакой пользы.

— Зато и вреда тоже. — Она откинула одеяло, критически оглядела его туловище и ухмыльнулась. — И запчастей не надо, вроде пока все на месте.

И Ксюша вернулась в табакерку.

Какое-то время после выписки из больницы Леке еще звонили издатели, а также поклонники из тех, кому нравилось выпить на халяву. Через месяц звонков стало меньше. Через полгода телефон замолчал...

Но больше всего меня удивляла Ксюша. Что уж там произошло с этой барышней, я так и не смог въехать. А может, просто не сумел разглядеть за яркой внешностью — ум, жесткость и решительность повзрослевшей женщины. Она погрузилась в медицинские книги, полезла в сетевые ресурсы, и вскоре знала о его болезни больше, чем доктор. Слушая, как она свободно сыплет терминами, ссылаясь на статьи, иные доктора спрашивали, не врач ли она.

Леке дали инвалидность. Они жили на его ничтожную пенсию и на Ксюшины подработки: она тайком от него убирала чужие квартиры. В остальное время возилась с Африкой, как с капризным ребенком. Калиостро смастерил для него поручни, и коридор стал напоминать учебный класс для балерин. Ксюша заставляла Леку вставать, но он падал, скандалил, стучал кулаками по бесполезным ногам, плакал и матерился.

Наконец, в каком-то индийском трактате о бессмертии он вычитал, что жизнь его якобы завершила первый цикл, и теперь можно переходить во второй. Однажды Ксюша, проснувшись, увидела Леку у окна, а на паркете лужу крови: он пытался перерезать вены. Она наложила ему жгуты и вместо неотложки вызвала нас с графом.

Африка пообещал нам больше не убивать себя в обмен на то, чтобы Ксюша покинула его.

— Если ты решил таким способом отблагодарить жену, мой друг, то клянусь, я не понимаю тебя, — заметил граф.

— И я, признаться, тоже, — оставалось добавить мне.

— Что тут понимать, мужики? — бормотал Лека, когда жена, закрыв руками лицо, вышла, хлопнув дверью. — Она на двадцать лет моложе, а я старый урод. Со мной ей ничего не светит. Разве не ясно? Ксюша не заслужила, чтобы я испортил ей жизнь!

— Да пошел ты к чертям, слабак гребаный! — сказала она, вернувшись и укутывая ноги мужа пледом. Я не заметил ни слезинки на ее лице. — Ты так ни хрена и не понял! А если я еще хоть раз услышу такое, сама выброшу тебя через окно!..

Но выбрасывать Африку не пришлось. Настал день, когда он наконец пошевелил пальцем ноги. Потом, не веря удаче, сделал первый шаг. Вопреки мрачным прогнозам докторов, его ноги обрели чувствительность.

Когда Лека из пассажира коляски окончательно сделался пешеходом, у них с Ксюшей родилась дочка, и он начал диктовать жене первые главы новой вещи. Это был уже не детектив, а совсем другая история.

И вдруг оказалось, что мир, который раньше казался нам таким широким, теперь может разместиться на узком пространстве. Мы думали, что нас — не очень умных, не одаренных, а просто вменяемых и адекватных, — много, и твердили вслед за поэтом, как заклинание: «Возьмемся за руки, друзья!» А теперь не верили даже в сайт одноклассников. Нас оказалось мало на этом кораблике, в этой табакерке, плывущей над нашей Москвой, всего-то горстка людей: неистовый Лека по прозвищу Африка, его жена Ксюша с дочкой, и Калиостро, официант пивного погребка с печальным лицом.

Зато эти люди не задают лишних вопросов, умеют читать мысли по глазам, а поэтому имеют доступ к твоей душе. И нужно признаться себе в единственной правде, с которой легче дышать: они — это все, что у тебя есть. Поэтому не нужно гадать, кто будет молиться за тебя, кто поддержит плечом, а когда придет срок, прикроет тебе глаза.

Отзвуки

Почти никого не осталось.

Они жили по обе стороны реки, и уже не понять, куда подевались. То ли ушли по руслу на плотях, то ли паводком разрушило мост, то ли их забрали инопланетяне. Подо льдом не видно, как обмельчала речушка, а когда-то она мне казалась чуть ли не с Волгу. Если приедешь с понтом на джипе, бесполезно: никого не увидишь и ничего не услышишь. А если в общем вагоне, где тебя качает и баюкает, а потом еще автобусом, выйдешь негромко к берегу, начнешь различать и блеяние козы, и мычание коровы, и не очень музыкальные вздохи гармони, но главное, голоса...

Река

Летом я бежал к реке босиком под солнцем, светившим, разумеется, лично в мою честь, и клевер застревал между пальцами. Меня разбирала злость, что не могу перепрыгнуть речку. Я разбегался, но в последний миг тормозил у края берега. Плавать я еще не умел.

Трофим дымил самокруткой, сплевывая крошки махры. Он штопал гимнастерку, чинил деревянный протез: ремешки часто рвались. Русло, говорил, неглубокое, только посередине омут. И если с разбегу, запросто можно перелететь место, где глубоко, а там ухватиться за камыши. Даже немцы перепрыгивали. Как уж погнали их, прыгали как зайцы, только кальсоны сверкали, а тебе, рыжий суслик, слабо?

Подул северный, облака заслонили солнце, и мне стало одиноко. Я прилег на траву, положил голову на культю Трофима. Мне нравилась его теплая культя, зашитая в брючину, вместо подушки. От штанины пахло чужим жильем, мылом и медом. Он укрыл меня телогрейкой и дразнил, щекоча нос соломинкой, я, не вытерпев, чихал. Он говорил: не надо было обещать. Не прыгнешь — никто из наших на этой стороне реки слова не скажет, а уважать не будет. И ты сам не будешь. И что-то насчет своей батальонной разведки. Я обещал: немного отдохну, и попробую еще разок.

Тут конюх Монахов привел напоить лошадь, услышал спор насчет реки. Он почему-то завелся, снял кирзачи, обернул голенища портянками, разделся до трусов, нашел шестину, поднял палец в назидание: показываю последний раз. Разогнался и прыгнул. Конюх дядя Монахов сильно оттолкнулся, и мы видели, как он полетел через речку, будто сказочный скороход. И вдруг раздался взрыв. Лошадь усакала. Ухнуло теплой волной, мы встали, глаза слезились, нас трясло. Трофим обнял меня, сильно прижал лицом к себе, чтоб не смотрел на реку. Над водой воняло дымом и еще чем-то сладким. Успокоившись, он сказал тихо: я же саперам говорил: ищите лучше. Мелочь поубирали, а какой-то фугас остался...

Касля и Пеликан

Когда вечер, снег, и синие сумерки подбираются к дому вплотную, снежинки летят откуда-то из глубины мира. Узкая мамина фигурка угадывалась за окнами во дворе. Она сдирала замерзшее белье с веревок вместе с прищепками, как фанеру. И вот она: дверь настежь, облако пара, холодная волна по коленкам. Ворох едва в двери пролезал, вносила, бросала на диван, и я зарывался головой в белье. Чем оно пахло? Не знаю. Снегом, пылью, а еще чуточку дымом, вороньими перьями, берестой, воздухом между соснами. Ты — носом в скомканные ледяные простыни, тебя оттуда — за шиворот. Но как оторваться от этого снежно-крахмального, щемящего, горького мира?

На плите уюти: один, с надписью «Кемерово», для угольев, и еще маленький, литой здоровячок, каслинский. Большой уютище стоял на краю плиты с разинутым ртом, как голодный пеликан. Каслинский раскалялся на плите. Каслю мама обычно поднимала бабушкиной ухваткой мягкого войлока, как шкодливого щенка, плевала на чугун для проверки, он приветливо шипел. Она гладила отцову рубашку, приговаривая, что хоть Касля и тяжел, какая ручка ладная, и сам он будто «надменный буксир». Словно нарочно его придумали — воротнички разглаживать. А для простыней, пододеяльников, нагревали Пеликана. Она набирала совком пылающих угольев в печке, ловко пересыпала в пеликанье чрево, запирала задвижку. Ставила на подставку, и

Пеликан становился похож на дреднот, терпящий бедствие при пожаре в открытом море.

«Дуй!» — «Зачем, мама?» — «Мелкие уголья дырки прожгут в белье, надо чтоб вышли, дуй!» — «Давай вместе?» Фу-у-у-ух!.. Летели искры со всех щелей, фейерверк, Пеликан важно пыхтел, и вообще врагу не сдастся наш гордый «Варяг»...

Я смотрел, как она кладет в печку полено за поленом, и вдруг накатывала странная волна, щекотало в носу. Но отчего слезы-то? Ведь, наоборот, прекрасно, спокойно, дивно хорошо, даже очень! Мама приседала на корточки, вытирала щеку мою краем фартука. Получается, я псих, что ли? Она, придерживая прядь своих волос, прикуривала от лучины «беломорину», смотрела на меня, прищурив один глаз от дыма и качая головой. «Дурачок. Никакой не псих. Русский ты».

Златые горы

Под столом, может, и не самое почетное место. Но куда деваться, когда тебе велели спать, а на улице красным-красно от флагов и в доме гости? Вокруг ноги в габардине или в капроновых чулках, свисают подошвы из крепдешина, креп-жоржета; скатерть светится желтым, и кажется, будто находишься внутри абажура.

«Ну, что же, друзья? За товарища Сталина?» — «Может, за прекрасных дам?» Это отец. Мамина туфля наступает ему на ботинок. Шпокает пробка, булькает вино. «Не будем нарушать традицию». Звенят бокалы. Хвалят закуски так, что слюнки текут. А холодец-то с чесночком!.. А винегрет!.. А утка с черносливом!.. Не утка, а конфетка!.. Мама говорит, за утку рубль пятьдесят отдала, а в райцентре у кооператоров, слышала, по рубль двадцать, вот в чем досада и огорчение. Продавала тетка Зина с другого берега. Они не уступают нашим, хоть лопни, хоть тресни, хоть до ночи обторгуйся!.. Спасибо, хоронить наших приходят! Так ведь и кладбище на их берегу! И родня, что ни говори! Все мы давно родня!

У меня уж сидеть спина затекла, разлегся на домотканом коврик. Теперь вместо неба видна крышка стола, и ладони мужские лежат на женских коленях. Говорят, о снижении цен: кто бы еще в прошлом году мог подумать? И что надо бы ситцу набрать, пока снизили, а то вдруг потом передумают? И мыла со спичками. Советская власть не передумает. Нет, ну, так, на всякий случай. До войны тоже говорили, ничего не будет, а что потом началось...

Ладно, хватит! Давайте за детей? Правильно, за наших детей! (Это значит, и за меня, ура!) Пусть им повезет! Повезет, кто в институт поступит. А у нас тут что? Или на МТС, или на ЖБК! Не будем о грустном, праздник все-таки! Песню, песню!.. Кто начнет?.. Пусть Галя запекает!.. Галь, давай!.. Да ну вас!.. Про околицу, что ль?.. Лучше про горы! Ну, про горы, это Федя, он и все слова знает!.. Вермуту ему подлейте! Мне бы вон ту, с белой головкой!..

Кто-то грохает кулаком по столу так, что посуда звенит. Это дядя Федор, его шоферский кулачище. И сразу — с таким отчаянием, с такою силою, что мурашки по коже: «А имел ба я златые горы и реки полны вина...» И все хором: «Все отдал ба за ласки, взоры, чтаб ты владела мной одна!»

Они пели, и я понемногу засыпал. Но не на первом, конечно, даже не на втором куплете, а только когда тетя Шура, Федорова жена, выводила сердечно: «Но как же, милый, я покину семью родную и страну...»

Можно, конечно, оставить эту не очень удачливую страну. Только покинет ли тебя река, и берег, где ты родился, и другой берег, куда ты так и не допрыгнул? А там, через мосток, ближе к лесу, на Веселой горке, запутанные жимолостью голубые ограды... так что сворачивай с обочины, и пехом по тропинке. Давай, смелее, вдоль столбов, похожих на кресты для римского распятия. Туда, где торчат дома из сугробов, словно костяшки домино, тряпки флагов по углам, рамы с ватой, от абажура на снегу клинья желтого света. Там родители вдвое тебя моложе, бабушке — как тебе.

Пенициллин

А этот конопатый, стриженный под новобранца, дрожит под двумя одеялами, — кто такой? На лбу полотенце, в глазах двоится, ветер завывает в трубе. Вот бабушкина тень плывет. Юбки задевают елку, звенят цепочки, крутятся шары, дрожат грецкие орехи в фольге, качается картонный заяц. Пахнет хвоей, мылом, камфарой, сырыми, скоблеными досками пола.

Неужели я умру? За полгода до чистописания? За год до первой девчоночьей косички, которую дерну? До первой драки в школе за рекой? Значит, перо уже никогда не чмокнет чернильницу: вниз толстая, вверх волосая: наша Родина — СССР?

Скажи ему, танкисты не плачут. Бу-бу-бу!.. Сам скажи!.. Да не плачет он, вспотел, скарлатина же! Полотенце выжимают над ведром. Буль-буль, хрю-хрю!

Не достанешь пенициллина, пеняй на себя. Это бабушкин голос. Отец: ну, вы иногда и скажете, мама! Уж сказанули, мам, так сказанули! Чесслово! Его-то и в самой Москве не сыщешь! Тогда ступай к плотнику Тихону на тот берег, гроб заказывать! Пи-пи-пи! Хрю-хрю! Да перестаньте вы! Ребенок все слышит! Не слышит! А вот как не поедешь в город, он вместо нас ангелов услышит! Ангелов не бывает!.. Смешно!.. Мордочку ему утрите кто-нибудь! Мам, где вафельное?

Целый час у гаража греют «студебеккер», сколько кипятка извели, а масло как антрацит. И правильно. Что хорошего эти капиталисты могли нам подсунуть?.. Бу-бу-бу. Одно говно. Не надо, «студик» нам на фронте жизнь спасал. Бу-бу-бу.

На дворе двадцать, до города шестьдесят, мост закрыт, но лед на реке уже надежный. Наши проверяли. Я погнал.

Помогай тебе Бог!

Как отец добирался до области, по каким заносам, где сорвало цепи с колес, кто грузовик толкал, в какие ворота он бил сапогом, какие слова нашел, чтобы дали лекарство, — вроде рассказывал, да не вспомнить. Не потому ли, что беды легче забываются? А утро выздоровления — перед глазами. Свет его хрустален. Сосны его зеленым-зелены, почти синие. И ни слез больше, ни тоски, ни пота, с кухни пахнет пирогом, а вокруг свои.

Что хочешь нынче проси. Правда, бабушка?.. Да, да!.. Даже «Орленка»?! С багажником и звонком?! Ну!.. Что же вы делаете с пацаном?.. Замолчите немедленно!.. Мам, и вы!.. А то ж!.. И не подумаю!.. Он ведь чуть не помер! Кто ему откажет?.. Не слушай папу, считай, что велик у тебя в кармане!.. Да постойте вы!.. С неба же не падает!.. Выиграй хоть одна облигация, ну, хоть одна-одинешенька, тогда и другое дело!..

Да я вот ведь тоже говорю, заняла вчера очередь за постным маслом...

Дина

Сойти с весов? Пожалуйста. Бабушка, прикусив губу, смотрит то на меня, то на планку с гирями, будто на рынке обманули. Либо весы врут, либо врач. Записано: перед каникулами ребенок весил тридцать два кило. Теперь двадцать шесть. Это как? А круги под глазами? А тело в синяках? Его же не в Освенцим отправляли, а в пионерский лагерь!.. Меня выпроваживают в коридор поликлиники, бабушка остается в кабинете с врачом, шепчутся...

Здесь будто бы тоннель времени: линолеум, параллели плиток уводят в бесконечность. За рядами клубных сидений, — окно и солнце, и ветка каштана, спелые колючие плоды постукивают по стеклу. Все думают, я болен, поэтому вернулся не розовым и упитанным, как поросенок, а худым и побитым, как пес. Мне по этому тоннелю назад, к той девочке, которая врезалась в память, никакая фотокарточка не нужна: узенькие плечи, красный галстук, карие распахнутые глаза. Мне — к тому имени, что еще долго буду повторять днем и ночью: Диночка, Дина. Впервые я увидел ее, когда она построила наш отряд. С тех пор ходил за ней повсюду.

Пионервожатая может отругать пионера, отогнать, даже отшлепать по заднице. Как любит директор лагеря, отставной полковник Ломтев. Но вместо этого Дина поручает то сложить поленницу, то принести воды для рукомойника, то подмести. Пацаны из отряда смеются. Девчонки ревнуют: прикинь, ей ведь 18 лет, старуха! И выше на голову!

Чтобы самому себе казаться выше Дины, учусь ходить на ходулях, падаю, встаю, снова падаю, ноги и руки исцарапаны. Накачиваю петушиные мышцы, корячусь на турнике, давлю прыщи перед зеркалом, расчесываю волосы с бриолином на пробор. Кладу ей под двери ромашки в банке из-под огурцов. Стащив у рабочих белила, мажу кистью на заборе имя ее метровыми буквами. У костра, расталкивая остальных, пристраиваюсь рядом с Диной, впитывая журчание ее голоса: «Обрадовались буржуины, и записали Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство». Через вырез в сарафане видна ее грудь, а на ней родинка и тонкая синяя жилка... Как хочется оттопырить ситец и дотронуться! Хоть на секунду! Хоть одним пальцем! Грудь Дины вздымается вместе с сарафаном, наверное, от волнения перед талантом Гайдара: «И дали Плохишу целую бочку варенья да целую корзину печенья». А мне? Ни шиша. Я не получаю ничего, хотя аромат ее кожи и волос почти лишает меня рассудка...

Тем же вечером, придя к ней с кульком конфет и яблоком белый налив, встаю на колени (видел в кино, как это делают чеховские кавалеры), зажимаюсь и признаюсь... Думаю, засмеет. Но она молчалива и грустна. Все, оказывается, гораздо хуже: у Дины есть жених. Вот это катастрофа. Раз у нее другой, зачем мне жизнь? После отбоя, оставив записку, иду к реке. Она — следом. Завидев меня, одетого, по горло в воде, без колебаний прыгает с кладок...

Мы переплываем реку и уходим вверх по течению, сушим одежду у костерка абсолютно нагие, плача, целуясь и дрожа, пока не бледнеет небо над горизонтом. Нам не от кого таиться на том берегу. Мы больше никого не боимся. Даже полковника Ломтева. Кажется, мы остались одни в мире — перед Богом и советской властью. Мы разрешаем друг другу далеко не всё, что хотим, но всё, что можем. И нет на свете существ более одиноких.

Щука

Лодки скользили по реке между травой и лилиями, пока эскадра не выбралась к озеру. Вокруг мелькали огни. Отец подключил фару к аккумулятору, направил в воду, и стал ждать. В длинном плаще, шляпе и ботфортах, с боевым трезубцем, он возвышался на корме, как Нептун. Но рука его сжимала не трезубец бога, а острогу браконьера, жестокое оружие против хищников пресных вод. Да и сама рыбка напоминала учения гражданской обороны.

Острога вонзилась в воду, и тотчас на дно лодки плюхнулась щука. Она извивалась, дергалась, но папа был тоже не промах и треснул рыбину по голове. Вокруг раздавались плеск и сопение, мужики размахивали острогами. Я забился в нос лодки. Отец протянул дубинку, облепленную чешуей вперемешку с кровью. «Долбани-ка гадину еще разок, не помешает!» — «А можно я ее поглажу?» — «Чего?!» Отец замер, вытаращил глаза, а потом так расхохотался, что едва не выпал из лодки. «Да ты знаешь, сколько она полезных мальков пожирает?!» Он безнадежно махнул рукой, сплюнул и снова уставился в зеленые глубины, где плавала еще не убитая рыба.

Щука уже пришла в себя: она едва заметно раздувала жабры. Я наклонился пониже, и дальше случилось то, во что никто не верил и в жизни не поверит, кроме детей. Я шепнул, чтобы барыня рыба простила отца, который мог не знать, что щук обычно о чем-то просят... «Эти не просят, — печально усмехнувшись, возразила щука, — эти жарят». И вдруг прошептала: «Ты будешь плакать по мне?» Я обещал. «Тогда загадывай желание. Только поскорей, чтобы рыбаки не услышали». — «Ма-тушка щука, сделай, пожалуйста, так, чтобы мне купили пианино. Звуки сидят во мне, как иголки, от них щекотно, честное слово, иногда даже больно, и я мечтаю выпустить их наружу». — «Понимаю. Только пианино твоим родителям не по карману. Им захочется купить баян».

«Сколько раз отец может тебе объяснять, что слово «литература» пишется не через два «и», лити, а через «и» и «е», лите!.. Ах, тебе, засранец, всё равно?! На русскую грамматику, стало быть, тебе наплевать?! Видать, по хорошей трёпке соскучился!.. Что значит, ты больше не будешь, бездарный ублюдок! Бери тетрадь и напиши это слово триста раз: литература, литература, литература!.. И никакого кина в половине пятого!»

Невшуткузанемог

Это ничего, если этажерка выше тебя ростом. Можно ее обойти, как Измаил, и взять хитростью с тыла. Понюхать старые тома, рассмотреть вензеля с блеклой позолотой. Найти между страницами травинку или бабочку, только она рассыплется прямо в пальцах.

Мама любит читать вслух.

Она сажает меня между портьерами, у подоконника, где бабушкин гриб в банке похож на медузу. К окну прижимается сумрак. Коптит фитиль на подоконнике, пахнет керосином, лампа отражает мое фиолетовое лицо. Но откуда-то я знаю: не на траву, а сквозь меня идет дождь и поит душу ядом надежды. Это к моим плечам тянется жимолость. Это меня пытаются изменить небеса, за мою пока еще убогую, но уже бессмертную душонку сражаются тени.

«Не бойся, мы под защитой, взгляни-ка!» — Мама открывает книгу, указывает мизинцем на портрет мужчины в густых бакенбардах и с шотландским пледом на плече.

Спасибо, мы уже знакомы. Нас представила друг другу этажерка. Он попрекал меня за безграмотность. И что я не знаю каких-то Руслана с Людмилой. Я жалел его за печаль в глазах. И был убежден, что его зовут Невшуткузанемог.

Когда я от скуки подрисовал ему усы и навел румяна, мне выписали пенделя, а от книги с подпорченной иллюстрацией отлучили. По портрету я не скучал. Орест Адамович Кипренский изобразил румяного сатира: раздвинешь кудри, а под ними, может, и рожки.

Заодно меня отлучили и от всей русской литературы.

Пендель оказался щадящим, как родительское напутствие. Отлучение — долгим.

Мать жалуется, что отдала за книжку 16 рублей. Бабушка говорит: это, считай, тазик клубники, если брать на рынке за рекой. Или пару кругов ливерной колбасы в райцентре. Или заварное пирожное. Или полкило сыру. А мама — про стихи: вот главное!.. И как славно, что хоть набрали текст по полному собранию!.. А он (это я, значит!), дубина стоеросовая, бесчувственный чурбан! Прекраснейшему пииту, отцу языка, на котором мы все говорим, — подрисовывать усы и называть Невшуткузанемогом?!

Полное собрание вышло в тридцать седьмом, поэтому многие подписчики так и не увидели первого тома. Избранное отправили в печать в июне сорок шестого, — нищего, рваного, безпогонного, в кружение листовок, под духовые вальсы, очереди за крупой, под стук колес и пенье пьяных инвалидов. Зимой этого сорок шестого мне еще нагревали утюгом шерстяного зайца и совали под одеяло для сугреву.

В школьную пору Невшуткузанемог околдовал мое пространство до последнего полосатого столба. Все остальное собралось на реке, дало прощальный гудок и куда-то отчалило. И прокуренный солдатский клуб, где крутили «Падение Берлина». И кумач на стенах. И темное ханство квартир с запахами белья из выварки, гуталина, кошачьей мочи и духов «Красная Москва». И пленные фрицы, рывшие колодец. И пьяные конвоиры. И драки до первой крови, и танцы под трофейный «Hohner» во дворе: два шага вперед, один назад.

На обложке избранного «Огиз» не удержался и тиснул-таки фрагмент из того же Ореста в виде шоколадного горельефа на ледерине. Зато внутри — рисунки Добужинского. И вот это уж — да!..

Я как зачумленный разглядывал гравюру с вечной Татьяной, вечным Евгением на вечных коленях, припавшим губами к ее вечной девичьей кисти: «Она его не подымает // И, не сводя с него очей //, От жадных уст не отымает // Бесчувственной руки своей». Сколько раз я канючил этой даме в боа и в малиновом берет: товарищ Ларина, будьте наконец человеком, простите Евгения, он больше не будет! Зачем вам этот старик-князь, к тому же инвалид?

Я научился просить и за больного дядюшку Евгения, который «уважать себя заставил», и за испанского посла, и за автора романа, который их придумал. И уж, конечно, за себя, грешного. Я просил, чтобы не оставляли меня без Пушкина.

Человек

У меня полно работы. Я сражаюсь с духом Йода и Эфира, дразню отражение на крышке стерилизатора, ловлю солнечных зайчиков, направляю их на медицинские плакаты, — на голове лондонка, за щекой гематоген, в голове туман.

Среди призраков, что обитают в маминном кабинете, выделяется Человек. Он состоит из одних мышц и сосудов, протягивает ладони, улыбается последним оскалом: сам знаю, что страшен. Еще бы! Ведь с него заживо содрали кожу. Иначе, говорит, я зря в науке? Зато взгляни, как мудро устроен наш вид, homo sapiens! Ничего лишнего!

Мама мечтала, чтобы я стал хирургом.

Между прочим, в анатомическом театре... (Она говорит тихо, чтобы не рассердить духа.) Где?.. Я сразу вижу сцену, задернутую синим бархатом с золотыми кистями, слышу увертюру... Нет? Нет, другой театр, в сущности, морг. Вот так. Она вытягивает ладони, шевелит пальцами, словно надевает перчатки. Но представь: ванна с формалином, в ней плавают части тела. Я бы сказала, мой друг, как белые рыбы. Белые рыбы? Угу. Но это совсем не страшно. Ты веришь?.. А если веришь, почему нос морщишь?

От маминых волос пахло ландышем и табаком, они щекотали мне шею.

В пятом, что ли, классе она впервые показала трофейный фонендоскоп «Кирхнер и Вильгельм», «KW»: поступишь в медицинский, — твой. Она касалась мембраной моей петушиной груди, вставляла трубки, и я слышал через них мерзкое чавканье. Будто внутри меня кто-то кого-то ел. Она сердилась: уж извини, ничем помочь не могу, это конкретно, твое сердце.

Зимой она вдруг попросила съездить с ней на вызов. Серым днем на полустанке коченел товарняк, пыхтел паровоз, кисло пахло углем, с рельс стекали молочные струйки снега. Машинист с шапкой в руке тупо смотрел на снег, и на пятно в снегу, как если бы пролили вишневое варенье. Там лежал мужик без ноги и смотрел в пустое небо. Будто кого-то ждал. Я не сразу узнал Сутягина, кузнеца с другого берега реки. Мама закончила с раненым, его понесли в грузовик. Тут он забеспокоился насчет второй ноги, стал ерзать и материться. В этом не было проку, пришивать конечности еще не умели. Но мать все равно послала меня за ногой.

Поодаль из сугроба торчала ступня. От удара валенок мужика Сутягина вместе с калошей отлетел в сторону. Меня удивили не осколки костей, не обрывки жил и

сосудов, а дырка в носке, из которой торчал палец с желтым ногтем. Я ухватил ногу и понес на руках, как воин-освободитель спасенного ребенка, но вырубился. Очнулся от нашатыря и ладони матери на лбу: «Жаль, не получится из тебя доктора».

Фронтальной фонендоскоп достался моему сыну.

Офелия

В большом городе людей будто стирают ластиком: вчера был, сегодня нет. Был Иванов, нет Иванова. Есть другие, похожие, тоже Ивановы, но это не ты, такой-сякой. Так что проваливай, гуд-бай, Америка. Но когда домов раз-два обчелся, похороны заметнее. А наша улочка ведет как раз на косогор, где сидит церквушка.

Жарко, и у меня еще температура. Радио поет про куст ракиты. Бьет колокол. Жужжит муха.

Я прилипаю лбом к стеклу. Мимо окон несут тесаный крест, следом переваливается на ухабах телега с гробом, за нею плетется черная родня. В хвосте дядья-алкаши, с надеждой на похмелку. Перелетая по веткам, каркают вороны. Замыкает процессию девочка. Она не просто идет. Она парит, скользит по пыли сандалиями, аки ангел на коньках из фильма «Серенада Солнечной долины». В кулаке зажат букет полевых цветов, который она держит перед собой, как проводница флажок. Поверх распущенных волос наброшен кусок застиранного тюля, явно от занавески, соломенная шляпка, на которую повязаны муаровые и пурпурные ленты. Сквозь тюль мерцают любопытные глаза.

Жужжит муха, но я ее поймал, и теперь в кулаке бьется и щекочет.

Голоса соседок у ворот слышны: «А кого понесли-то?» — «Корноухова, обходчика!» — «Это тот, что печень пропил?» — «Не печень, а почки!» — «Да хрен ли теперь разница?» — «Глянь лучше, как девчонка убивается! Не внучка ли покойнику?» — «Ой, ой!.. Эта, что ли? Придурочная с того берега! А вы не знали? Там ее Офелией зовут! Если похороны, она тут как тут!»

Через пару недель несут буфетчицу Конакову. Офелия за гробом. Потом участкового дядю Мишу, что пьяный утоп. Он, между прочим, так и не показал мне пистолет, но научил чечетке, а еще делать свистки из камыша и свистеть по-воробыному: фьють, фьють.

Офелия идет и за этим гробом. Гроб вносят в церковь. Я за Офелией.

В кромешной духоте среди лазури и золота пахнет конфетами. Офелия, откинув с лица тюль и морща носик, пробирается между взрослыми, поднимается на цыпочки, пристраивает в гробу букет, отходит к стене и, зажмурившись, подпевает хору тонюсеньким голоском, до последних строк канона, до «Трисвятого». И даже когда заканчивают читать, и умолкает хор, она все еще шевелит губами: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!

Я догоняю ее за церковной оградой: зачем ты ходишь на все похороны подряд, балда? Ты веришь, что они, как на автобусе, едут в гости к Богу? Она не понимает. «Это с нашего берега едут, — объясняю я, — а с вашего, бабушка сказала, неизвестно куда...» «Дурак!» — показывает язык. «Сама дура! Шла бы лучше к своей мамочке!»

Я гневаюсь на все свои девять лет и два месяца, а она обижена — на все семь с половиной: «Здесь так красиво поют!» — Она утирает щеку краем желтого тюля. — Куда же они уходят один за другим? Куда, куда, куда?»

«Их забирает река».

Фьють.

Зинаида Палванова

Утреннее зеркало

* * *

Если я приеду в Москву,
а ты не найдешь для меня и часа,
это будет настоящее возвращение
в ту Москву — в ту мою тоску.

Это будет победа над временем.
Я вернусь не в московскую зиму,

не в московское зодчество,
а в московское одиночество.

Назову тебя старым именем —
про себя, молчком, разумеется, —
и послушно, неотвратно,
никого не кляня, ни с кем не споря,
помолодею с горя.

* * *

Стоит в метро человек,
держит в руках картона кусок,
а на нем написано крупно, коряво:
«Помогите Христа ради! Умирает сынок».

Меня уносит подземный поток.
Выбралась, и вернулась, и помогла чуток.

Мне говорили, чтоб я не верила
в городе этом огромном, опасном
нищим разных мастей
и лохотронщикам разным.

Умный совет,
добрый совет,
трезвый совет мне дан.
Вот я и не верю —
что это обман.

Люди, люди, люди
со всех сторон...
Есть надежда все же,
что — лохотрон.

* * *

Господи, не унижай!
Днем придет она или в ночи,
Господи, не унижай перед смертью,
не топчи.

Убывает время любви,
прибывает время достоинства.
Чтобы улыбаться всерьез,
нужно дорасти до смерти, до звезд,
до таинства.

* * *

Сама не знаю, как лучше —
когда ты рядом, но впереди разлука,
или когда тебя рядом нет,
но встреча уже намечена,
куплен билет...
Так и так грустновато.
Так и так есть просвет.

А лучше всего, когда ты приехал
и с утра побежал по делам.
И я осталась в доме одна
и навожу порядок.
И глоток одиночества сладок,
и за окном розовеет,
горчит, как миндаль, весна.

* * *

Вдруг приснилось, что я влюбляюсь,
настоящий трепет сердечный приснился.
Это самое трудное нынче —
трепет сердечный.

Вот смотрю на тебя и влюбляюсь,
и ничуть мне во сне не тяжело
от слов твоих милых, простых:
«Сделай себе подтяжку».

Утреннее зеркало

Просыпаюсь черт знает когда
с обрывками сновидений,
торчащими из головы
седыми клочьями...

Ах, утреннее зеркало,
закрывать его —
нет, пока не надо,
но и смотреть не стоит.

Поздним вечером вновь —
беготня по каналам
в поисках витаминов
для зимней души.

Красный плед,
уютная кошка,
ночной телевизор,
ледяная постель...

А сегодня — личный рекорд.
В три легла — проснулась в одиннадцать.
Дошла до ручки!
Впрочем, нет, не до ручки — до дна.

Оттолкнуться — и вынырнуть из вязкой мути,
и дойти наконец до ручки, до строчки,
до себя на прозрачном твердом рассвете,
и взглянуть бесстрашно
в утреннее зеркало.

Александр Джумаев

«Двойственность сознания» и евразийский синдром

Национальные традиции выживания

Разрозненные мысли и случайные наблюдения иной раз странным образом предвосхищают грядущие отдаленные события. Почти за сто лет до прихода русских войск в Среднюю Азию довелось услышать русскому служилому человеку Филиппу Ефремову пересуды жителей Бухары: «Прежде снег выпадал здесь самый большой вершка в 2, а как с 1774 года у тех бухарцев стали быть христиане, то выпадал в поларшина, а иногда и больше, когда ж солнце взойдет, то весь растаивает; бывает же и холод; бухарцы судят из того, что, когда не было русских, не видали снегу и холоду, и примечают, что их города всеконечно будут в российском владении» («Девятилетнее странствование» Филиппа Ефремова). Несколько позже среди жителей Ташкента оказался хорунжий Николай Потанин. В своих «Записках о Кокандском ханстве» (1829—1830 гг.) он отметил, что они не только любят музыку, увеселения и «пляска у них в большом употреблении», но к тому же «ласковы и чрезвычайно женолюбивы».

И не одни Ефремов с Потаниным, а и многие другие, и на протяжении десятилетий отмечали эти удивительные склонности «сартского народа» (как называли тогда жителей городов, в основном узбеков и таджиков). Особо приметны они, когда История с грехотом переворачивает свои пожелтевшие страницы. И что, казалось бы, веселиться и любить, когда все кругом рушится? Ан нет. Много позже, и тоже в переломное время, глубокомысленным рефреном прозвучал в спектакле ташкентского театра «Ильхом» на первый взгляд банальный вопрос: «А как там наши греки?» — «Да все так же — танцуют и поют». Режиссер Марк Вайль, много поразмышлявший на сцене и в жизни о жизнелюбии и радости бытия ташкентцев и «туркестанцев», протянул всем понятную «ниточку»: древние греки — современные узбеки, разделенные тысячелетиями, разделяют одно мироощущение.

Это, конечно, хотя и весьма лестное, но все же явное упрощение. Пропаганда легкомыслия и беззаботности. Ведь есть и другая часть национального сознания — прямая противоположность первой; вместе они и образуют своеобразную «бинарную оппозицию»: обреченное спокойствие, погружение в состояние бездействия, все терпение уповающих на Всевышнего и — деятельная и неизбывная страсть к поиску развлечений и наслаждений. На этой исходной, теперь уже архаичной форме оппозиции-двойственности впоследствии выросло множество ее ситуативных проявлений. Замечательный пример двойственности, не разрушающей целостности сознания, а, наоборот, соединяющей и примиряющей противонаправленные устремления. Двойственности, которую европеизированное сознание, воспитанное на диалектике противоречий, привычно именует (при этом широко используя) лицемерием, двуличием или, в современной политической терминологии — «двойными стандартами».

Но работает ли «схема»? Ведь и Марк Вайль, творивший панегирик просвещенному исламу и воспевавший неистребимое жизнелюбие местных сибаритов, пал от рук молодых религиозных фанатиков, жестоко убивших режиссера в подъезде его дома в любимом им Ташкенте. Нет, не работает, и нет закономерности. Во всяком случае, не работает как универсальное правило. Двойственное сознание проявляет себя по-разному. В зависимости от ситуации. Оно, как и многое другое в теперешней нашей жизни, ситуативно. Легко приспосабливается к ситуации, мимикрирует. Может привести к противостоянию или, наоборот, — к компромиссу и сотрудничеству. Оно устойчиво присутствует — в позитивном или негативном смысле — в жизни среднеазиатов. Попытка объяснить и разобраться с этим феноменом наталкивается на очень сложную проблему. Она состоит в том, что позитивное и негативное взаимосвязаны, во многом условны, одно перетекает в другое. И то, что позитивно в одних обстоятельствах или одном историческом времени, в других превращается в свою противоположность.

У нас в сравнении с другими народами картина будет все же несколько иной. В большей степени, чем где бы то ни было (а это все же феномен общечеловеческий), двойственность с ее гибкостью, способностью к приспособлению, конформизмом, что ли, — это механизм выживания, своего рода «палочка-выручалочка» на жизненном пути. Возможно, что это и есть один из знаков евразийства. Он позволяет без особых проблем «ассимилировать» все, что представляется ценным, а точнее — практически полезным, выгодным и... приятно-комфортным для образа жизни, из опыта европейско-христианской и азиатско-мусульманской цивилизаций, из других различных сообществ, традиций и конфессий. Сравнительно безболезненно переносить смену политических систем и форм правлений. Аллах дал — Аллах взял. И так на протяжении столетий.

Вот сейчас на «повестке дня» в Центральной Азии вопрос — как интегрироваться в новый глобализованный мир, как приспособить к своим нуждам технические и культурные достижения Запада, овладеть ими, не поступившись при этом собственными самобытными национальными культурными ценностями. Легко осваивается все, что связано с бытовой стороной жизни. Появился даже соответствующий компонент в массовом сознании: «евроремонт», «евродом», «европол», «еврообои», «евро-стандарт» и множество аналогичных сочетаний, характеризующих новый уровень комфортной жизни, новое эстетическое понимание среды обитания человека. Все эти «бренды» так и мелькают на придорожных транспарантах, вывесках магазинов, в газетных объявлениях. Они уже охватили и «низовую часть» общества. Смотришь иной раз, стоит на стихийно возникшей «бирже труда» какой-нибудь загорелый парнишка откуда-нибудь из Сурхандарьи (юг Узбекистана), а на груди — табличка с надписью на русском — «Евроремонт», и поражаешься причудам «глобализации».

Еще легче постигают среднеазиаты открывшиеся возможности немислимых в советское время развлечений. Новое время открыло состоятельным представителям разных, в том числе и мусульманских народов (впрочем, в этой сфере давно уже нет никакой разницы между народами) новые, неизвестные ранее возможности разнообразить жизненные удовольствия. Масштабы и пространства изменились радикально. Слетал на недельку ли, на пару-тройку дней в Лондон — и тебе приятно, и держателям энтертеймента. Для них — будь ты хоть сам черт с рогами, лишь бы при деньгах. Откуда, что — какая разница? А вот если ты азиат и не толстосум, то и не рыпайся. Это же и дураку понятно, что ты — потенциальный террорист или скрытый возжелатель поживиться на даровых харчах «европейского экономического чуда»: подработать там незаконно, горшки ли их помыть или улицы подмести и тем самым нанести урон экономике страны. Не спит классовое сознание «старых демократий», демонстрируя свои собственные европейские «двойные стандарты».

Экономическая необходимость, материально-экономические интересы — у нас это что-то вроде компьютерной оболочки. На этом примере мы видим, как в условиях глобализации проявляет себя двойственность, как она превращается в свою противоположность. За этой «оболочкой» скрывается что-то такое, что не только не исче-

зает, но и с трудом поддается изменениям и даже крепнет. Это — «наши священные национальные традиции и ценности». Хочу сразу предупредить, что я не против традиций. Наоборот: я категорически за их сохранение и всемерное развитие, так как считаю, что в них один из самых — и теперь, видимо, единственных — эффективных факторов и способов сохранения гуманистических начал в культуре в условиях обвального нашествия несанкционированных «ценностей» и тотальной дегуманизации всех сторон жизни. Вопрос заключается в другом: о каких традициях и ценностях мы будем говорить.

Парадокс: чем дальше углубляется интеграция в мировое экономическое пространство, тем больше укрепляется фактор национальной интеграции по самым различным параметрам. Получается, что идет двусторонняя интеграция — по своим старым признакам-ценностям, родоплеменным, клановым и иным, и — интеграция в мировое экономическое и культурное пространство. Причем те, кто уже вроде бы вполне интегрировался (недвижимость и счета в западных банках, пристроенные там же детки и их бизнес и т.п.), начинают почему-то остро чувствовать потребность в «малой» интеграции у себя на родине. Толкуют о патриотизме, национальной гордости, национальных ценностях и уходящих в неведомую (шумерскую) глубь корней... Казахский философ и поэт Ауэзхан Кодар как-то заметил: для них что Отан, что НАТО (поясним: Отан, дающее в обратном чтении «НАТО», — это название правящей политической партии, что означает «родина»; на узбекском будет «ватан»). Хотя современная «компрадорская буржуазия» Центральной Азии уже давно пребывает в тесном содружестве со своими «братьями по классу» на Западе и в США, свои народы она хотела бы держать в рамках исключительно национального сознания, в национальных границах.

Местные элиты интегрируются внутри страны, подтягивая вокруг себя своих близких и дальних родственников и образуя что-то вроде «противоракетного щита» по периметру. А ну как все гуртом навалится на кого-нибудь или на какую-нибудь проблему — мало не покажется. Понятно, что в Казахстане различия по трем жузам (большой, средний и малый) — это уже серьезный фактор (политический, экономический и иной), работающий в разных областях и на разных уровнях. Например, в формировании руководящего кадрового корпуса. А главное — он уже глубоко «сидит» в сознании человека, будь то интеллектуала или же обывателя. И продолжает укрепляться, притом что страна, как известно, в регионе самая интегрированная в мировое экономическое пространство. В Кыргызстане, хотя жузов нет, но есть свои богатые традиции (чего стоит «Север-Юг», но об этом уже много сказано). Помнится, во время очередной тамошней бучи промелькнула забавная, но весьма характерная для нынешних времен информация. Когда в центре учинили препятствия какому-то (не суть важно) депутату из Иссык-Куля, его многочисленные сторонники, назвавшие себя «народом Иссык-Куля», в отместку перекрыли автотрассу в сторону озера. Можно представить, как побегут все эти родственники со всех сторон для получения должностей и «теплых местечек», как только тот или иной их «глава» получит доступ к большой должности. И бегут, и бежали, и будут еще до-о-олго бежать. Это традиция, очень давняя. Справедливости ради скажем, что она в разной степени существует по всей бывшей советской Центральной Азии. Ну как не помочь своему родственнику, хоть чуток? Это же почти «савоб» (богоугодное дело), зачтется на том свете. А вот если бы наоборот — то было бы очень странно.

«Новый» удивительный феномен формируется и в Узбекистане — объединение принципа махалля (общественного объединения) и кланово-родового принципа. Тот или иной богатый «глава рода» скупает участки земли либо уже готовые дома и начинает заселять туда подряд всех своих близких и дальних родственников. Образуется однородный квартал (махалля), состоящий только из родственников, из своих надежных людей. Интересно, что похожая практика была отмечена арабскими историками еще аж в IX веке (например, у ал-Йа'куби в «Книге стран»), когда выходцы из одного города или местности (хорезмийцы, бухарцы, мервцы, балхцы и т.д.) образовывали в Багдаде свои отдельные кварталы, не смешиваясь с другими. Понятно, что

в ту далекую эпоху это было вызвано реалиями времени — необходимостью противостоять «напастям жизни», оказывая взаимную поддержку и помощь.

Даже большевики не смогли выкорчевать это мышление, хотя и применяли суровые меры, не в пример нынешним. Сколько голов посносили, чистки партийного и госаппарата проводили, чуть ли не массовые репрессии учинили, а все зря, бесполезно. Свидетельств много по каждому периоду истории. Вот, в 1929 году посетил известный журналист Михаил Кольцов Сырдарьинскую область и с удивлением поведал советской общественности (среди прочих «чудес») о том, как местный бай «приглашает к себе закусить весь партийный актив, и актив является и смиреннько ест из баевых рук». Большевики думали, что легко искоренят отдельные «негативные» народные традиции, сохранив некоторые другие, «прогрессивные», а традиции как стояли, так и стоят. Одно время, в самом начале периода независимости, повалилось было повсеместно писать, что, мол, большевики и советская власть ослабили, исказили, притеснили (чуть ли не совсем уничтожили) наши древние богатые и самобытные национальные традиции, испортили наш народ. Ан нет, все на месте, напрасно беспокоились, господа-товарищи писатели. И даже еще больше окрепли наши традиции, в соответствии с духом и вызовами времени.

В последние два десятилетия за дело по всей территории постсоветской Центральной Азии взялись многочисленные европейские и американские международные гуманитарные организации. Их стратегическая задача состоит в оживлении «творчества масс» и его переводе на новые рельсы развития, свободные от старых советских подходов и консервативных традиций (не дают покоя успехи большевиков-реформаторов). Используя новейшие технологии по развитию человеческого ресурса — всевозможные перманентные тренинги, обучающие семинары, менеджмент и т.п., — многое они, конечно, изменили к лучшему. Прежде всего, в стиле работы и повышении профессионализма, что, как все понимают, должно стать главным критерием развития. Но, увы, не в сознании среднеазиатского человека. Оно удачно приспособилось, мимикрировав, мастерски освоив современную лексику и понятия и проявив в очередной раз свою неистребимую гибкость и двойственность. Взять хотя бы такой частный пример. Объявят конкурс в газетах на замещение должности, а вопрос-то уже давно решен. Позвонит один «большой начальник» другому, родственнику, и скажет: тут у меня «невара» (внучка) подросла, такая умная, три языка знает (в смысле — английский, русский и национальный), компьютер знает, в шахматы и большой теннис играет... Ну, хорошо, скажет другой, пусть несет резюме, там посмотрим. И посмотрит. (Может, и преувеличиваю немного, схематизирую, но кто же человека «с улицы» возьмет-то ?!) Нужно понимать, что доходные места — прерогатива элит. А для народа (как говорят в самом народе) есть три главные и обязательные «привилегии»: законы, налоги и (упаси Аллах) войны.

Похоже, капитализм у нас «не торопится» размывать все эти перегородки, как обещали его теоретики. Наоборот, своеобразно укрепляет и развивает их. Вывод по повестке дня можно сформулировать словами из советской армейской, грубоватой по тем временам песенки: «Чей ты, откудава? А ну, иди отсюдава». То есть, если ты не наш (не нашего «призыва»), то иди отсюдава к своим. И не примазывайся. Но остается больной и не решенный вопрос: элита ведь — выходцы из народа, от плоти и крови его. Тем более бывшая советская, новая еще только подрастает. У многих в графе «соц. происхождение» записи были однообразные: «из рабочих», «из крестьян», «из служащих». Как же она успевает так быстро «портиться»? А может, она — не из рабочих и не из крестьян вовсе? Или же и это — тот самый удивительный и неистребимый феномен двойственного сознания, адаптированный к новой ситуации?

Вернемся, однако, к исходному вопросу о двойственности. Для некоторых народов и стран двойственность — это бремя «испорченного» сознания. Это раздвоение, и оно трагично и губительно, расшатывает сами устои существования народа и государства. Иные именно в этом видят корень зла. Уже почти два века наблюдают многие русские интеллектуалы у себя на родине: мечется сознание между двумя полюсами — рационалистическим техногенным Западом и созерцательно-неспеш-

ной Азией, — порождая временами шедевры интеллектуального умствования. То одно возьмет верх, то другое. А нет бы совместить их в одном так, чтобы — раз и навсегда, без колебаний и метаний. Чтобы сформировалась двойственность непротиворечивого содержания. Бродит идея Евразии по пространству бывшего СССР, как в свое время «призрак коммунизма» по Европе. Свою модель Евразии (по-турецки — Авразия) развивает и Турция. Но и там все тоже разломано на две части.

Известный современный исламский ученый Узбекистана и Центральной Азии шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф опубликовал недавно свою новую книгу в переводе на русский — «Васатыйя — путь жизни». Васатыйя — принцип умеренности в исламе, и книга адресована мусульманам. Но она, как кажется, может быть полезна и смятенному сознанию современного человека, независимо от вероисповедания, принадлежности к атеистическому мировоззрению или страны обитания. В особенности же — потенциально евразийскому человеку, чтобы помочь остановиться, одуматься и вступить на «умеренный путь». Тема эта — излюбленная на мусульманском Востоке в трудах по «практической философии» на арабском и персидском языках. И в большом пространстве мусульманского мира народы всегда повторяли поговорку на арабском языке: «Хайрул умури авсатуха» — «Лучшее в делах — это середина».

Истоки формирования двойственности уходят в глубь веков. Узбеки — наследники чагатайской культуры, представленной в уникальной исторической цивилизации Тимуридов, впервые в исламском мире синтезировавшей в таком объеме и на таком уровне тюркские и ирано-таджикские элементы на протяжении почти целого столетия (XV в.). Другие известные исторические примеры не идут в сравнение с этой цивилизацией. Все последующее развитие ситуации в Средней Азии — это постепенное угасание данного «двойственного феномена» и избавление от этого синтеза. Его окончательный распад мы наблюдаем только сейчас — с образованием новых реальных независимых государств Узбекистана и Таджикистана. (Хотя, впрочем, никто не может предсказать, куда повернет «матушка История» в будущем, если будет отпущено время существовать роду человеческому. Может, еще и сольются эти два разъединенные историей и политикой народа в один.) И если таджики (также законные наследники цивилизации Тимуридов, а следовательно, и ее чагатайской составляющей) в силу разных причин дистанцировались от этого наследия, от тюркского элемента, и устремились в иранский мир, то об узбеках этого сказать нельзя. В культурном плане узбеки не устремились к Турции, хотя Турция продолжила развитие чагатайской культуры и сама ассимилировала ее наследие.

Узбеки, на современном этапе акцентируя внимание на своем собственном, тюркском (или больше — древнетюркском или даже пратюркском) субстрате, продолжают и сохранять чагатайское наследие, и наращивать усилия по усвоению иранского культурного базиса. Что выражается, например, в огромной переводческой работе с персидско-таджикского на узбекский. Узбеки уже сами по себе двухсоставная нация, где соединились два противоположных компонента — тюркский и иранский (индоевропейский). Таким образом, их двойственность идет от самого их этногенеза. Они толерантны, трудолюбивы, миролюбивы, не фанатичны и не агрессивны в своей вере, достаточно уступчивы, достаточно прагматичны, гибки и предприимчивы в житейских и бытовых ситуациях. С оптимистическим взглядом на жизнь и здоровым, как было сказано, устремлением к ее радостям. Гибкость, предприимчивость, трудолюбие — основа успешности в делах — могут быть и причиной раздражения, иронии со стороны соседних народов, и причиной позитивной зависти и уважения. Интеллектуалы — представители других народов всегда понимали чрезвычайную ценность этой черты в характере сартов-узбеков и нередко призывали своих сограждан следовать в этом их примеру.

Двойственная природа сознания узбекского народа глубоко отражена в культурных феноменах, но истоки их происхождения не всегда осознаются. Это и значительный массив персидской лексики в языке, которая в сравнении с другими соседними тюркскими народами почти не подверглась ассимиляции (искажению в соответствии с собственными национальными фонетическими правилами). Это и присущая

художественному мышлению категория парности, симметрии, двойственности форм. Конечно, это особенность не одних узбеков, и она не охватывает нацию в целом. То же мы видим и у других тюркских народов — у таджиков, иранцев, других народов мусульманского Востока. У нас существует, например, архитектурная традиция «кош» (буквально: сдвоенный, двойной, парный), когда напротив друг друга строятся два идентичных или сходных по замыслу архитектурных объекта, образующих единый «двойной ансамбль». Их замечательные примеры средневекового времени можно наблюдать в Бухаре. Но тем же можно объяснить и совсем недавнее неожиданное появление в современной застройке-реконструкции Ташкента вторых курантов, образующих точную копию-реплику к зданию, выстроенному в 1947 году в честь победы в Великой Отечественной войне. Не раз доводилось слышать, как во время исполнения узбекской традиционной музыки каким-либо хорошим певцом воодушевленная аудитория начинала кричать после окончания первого исполнения: «джуфт, джуфт болсин!» — «Пару, пару давай!»

Позже к тюрко-иранской двойственности добавился еще и третий компонент — русско-советский. Среднеазиатский человек, не знавший до прихода русских европейской культуры, хотя и не был предрасположен к освоению и совмещению разных культурных влияний в форме неожиданной интервенции, но в силу присущей ему двойственности сознания легко улавливал их практическую полезность, выгодность. Благодаря взаимодействию с Россией и с русским (российским) типом сознания двойственность расширялась и усиливалась, обогащалась новым содержанием. Получив новый импульс, оживились обе составляющие парадигмы «двойственного сознания». Были здесь и свои особые «формы контактов», значение которых до сих пор не осознано в должной мере. В научном плане, по-видимому, и говорить о них как-то не принято (нет таких научных категорий и понятий), и вроде как не совсем серьезно. Но потому и интересно попытаться прояснить некоторые стороны этого «феномена» — ведь его влияние (в скрытом виде) на разные стороны жизни, общественные отношения, политические перипетии и национальное сознание ощущается и в наши дни в каждом из новых независимых государств. И к тому же таким способом мы еще и отвлечемся от назойливой политизации темы, которая так и лезет в сознание пишущего о современной проблематике.

Ищите белую женщину

Люблю Мамаджан, уважаю,
Через тебя, Мамаджан, в Чимкент уезжаю.

Как полагают, не очень хорошая песенка. Но с нее начинался для кого-то свой XX век. С неведомыми ранее, диковинными возможностями развлечений и «объектов почитания». Знак и символ наступающей новой эпохи — эпохи соприкосновения отдаленного и разделенного — и неотступно расширяющейся свободы выбора. Пелась она, а чаще звучала с граммофонной пластинки, в ресторанах, публичных домах и других значных заведениях «новых городов» русского Туркестана. Так называемая «русско-туземная» песенка, двуязычная. О белой русской женщине и ее местном поклоннике. Можно сказать, почти городской фольклор.

Образ белой русской женщины еще задолго до появления песенки покорял воображение и новое географическое пространство. Раньше всех и всего остального. Белая русская женщина — исключение на фоне европейской исключительности. Ничего общего с «комплексом белой женщины» — высокомерной, чопорной и недоступной. Речь не идет, конечно, о тех, что завозились в Туркестан из стран Европы для работы в местных «веселых домах» (а ведь было и такое, а не наоборот, как теперь!). И совсем не то, что в песенке-сказке фольклорного обличья у соседа-афганца — «Ман ва он сафид» («Я и та белая»). Ее манеры, жесты, поведение, ее наряды, ее

голос — все это вызывало восторженное отношение, близкое к обожествлению у просвещенных мужчин Туркестанского края — поэтов, сановников, коммерсантов. Тех, кто имел возможность воочию наблюдать и созерцать, воспевать и вдохновляться. А может, и обладать. Ахмад Дониш, Фуркат, Хамза... И это лишь те, чьи имена вошли в школьные учебники — в узбекские и таджикские. К ним можно добавить ряд имен известных просветителей-джадидов, выдающихся поэтов и писателей предреволюционной поры, которые были женаты на русских. Общение с русской женщиной вносило облагораживающее начало в воспитание среднеазиатских мужчин, помогая им легче и глубже усваивать европейские культурные ценности.

К ней, просвещенной, умной и доброй русской женщине, называя ее своей сестрой, обращала свои мольбы, у нее искала понимания и сострадания ферганская поэтесса и философ Анбар Отын (1870–1915). Ее сочинение «Философия черных» подразумевает существование «философии белых» («белая» и «черная» женщины — сестры). Уже скоро эти две линии должны будут пересечься, чтобы поколебать незыблемые вековые устои «двойственного сознания» применительно к противоположному полу. Но не будем создавать мифы. Были случаи, когда, не дрогнув, поднималась рука и на «белую женщину» во имя «второй» составляющей парадигмы. Из опубликованного можно припомнить известное произведение советского писателя-историка Яна.

А пока «мужская страсть» расширяет свое пространство. И не только среди просвещенных и богатых. Но даже у тех, кто не симпатизировал русским и был настроен антиимперски. Один из них — бухарский сановник Мирза Салимбек, противник русского присутствия, а затем — враг большевиков. Менее известен, чем Ахмад Даниш и его вирши в адрес певицы Патти. Он умиляется и льет слезы восхищения, вспоминая одну из русских девушек — «лунолицую, фееподобную, с красивыми манерами». «От ее красоты озарены девять тарелок. Она была в совершенстве красивой. Очаровательному ее младшему брату было лет четырнадцать-пятнадцать. Сама она, фееподобная, была семнадцати лет. В доме [Назарова] мы жили десять дней. За это время его луноликая дочь ни на минуту не переставала ухаживать за нами. Каждый раз она по нашему вкусу приносила различные обеды и сладкие фрукты и до полуночи, находясь при нас, напевала ласковые песни и проявляла обязательность. Все мы, очарованные той розоликой и стройной [девушкой], десять дней не сочили даже за десять часов» (Мирза Салимбек. «История Салими»). Образ русской красавицы не отпускал Салимбека до самого возвращения из Петербурга в Бухару: «Поезд двинулся, но я до самого приезда в Казанскую область не смог удержать себя от слез. И это все из-за расставания с луноподобной красавицей». И может, совсем не случайно уже позже приглашает Салимбек русский цирк на свадьбу своих сыновей в Кермине под Бухарой, где присутствовал сам эмир: «Каждый вечер русские показывали цирк, где красивые девушки, луноликие христианки устраивали групповые танцы и пели песни».

Отвлекаясь, заметим, что плакать и тем самым выражать свои чувства, живое эмоциональное отношение к жизни, как свидетельствуют Салимбек и другие восточные авторы конца XIX — начала XX века, было принято среди среднеазиатских мужчин по разным поводам — отрубая ли головы и проливая кровь, наблюдая ли появление своих сединок, слушая поэзию и музыку или расставаясь ненадолго с друзьями... Чего совсем не скажешь о нынешнем времени — так радикально изменились нравы людей за сто с небольшим лет! Производя реально или мысленно, в зависимости от страны обитания и ситуации, контрольный выстрел в голову своего поверженного противника (или каким-либо другим способом ставя точку), нынешний «исполнитель» и даже сам «держатель капиталов» в лучшем случае только мрачно выругается.

Но и на «противоположной стороне» страсти накалялись не меньше. «Конкурентки» белой женщины — озорные девушки казахских кочевий и прекрасные сартянки в городах. Будущий известный в Туркестане капельмейстер, российский подданный, немец Август Эйхгорн, направляясь в 1870 году через степи в Ташкент, впервые знакомится с «красивой киргизкой» (казахов тогда называли киргизами). Ее откры-

тость, доступность и свобода в общении поражают воображение музыканта. «Отправляемся в путь-дорогу. Наш экипаж впереди, она позади, покрикивая: «Айда! Пошел!» Вот так девчонка! (вероятно, уже женщина). Молодая, веселая, удалая, глаза блестя, белоснежные зубы, при этом лукава и любезна. Если бы эта девушка была образованной! Но и в такую, как она есть, я мог бы влюбиться. Как фантастично, как красочно она одета. Длинный, ниспадающий, оригинально повязанный тюрбан. Как плутовски и одновременно смело она выкрикивает свое: «Па-шо-л!» Это «пашол» воспринимается моим слухом как какая-то знаменитая ария, спетая Патти! Нет — еще красивее!» («Дневник военного капельмейстера Августа Эйхгорна»).

Но через полстраницы романтический пыл сменяет пробудившийся «первый и главный инстинкт» белого человека (разумеется, не только белого, но открыт он и тотально взлелеян в культуре «белым человеком»). «Эта девушка-молния охотно проехала бы с нами еще один перевал, но киргизы взяли нас под подозрение, будто мы... И, что греха таить, их подозрение было обоснованно, ибо в темноте... у нас были самые естественные намерения в отношении нее. И, Бог мой, 1–3 рубля — и девушка прыгала бы от счастья!»

Сартянка — совсем иная, закрытая и таинственная. Но не менее привлекательная и желанная. И чем больше она закрыта и недоступна, тем притягательнее и сильнее желание увидеть и познать ее. Об этом находим немало признаний в воспоминаниях и путевых записках. (Позже о сартянках, которые любят душой, слагали стихи многие русские поэты и художники). Попытки добиться желаемого чаще всего оставались безуспешными. Тут кавалерийским наскоком не возьмешь. Вскоре, однако, легально и нелегально, стали появляться, как тогда говаривали, «веселые дома». Они возникали в крупных городах как часть доходного бизнеса. И вовлекались туда не только русские и европейские женщины, но и представительницы азиатских народов.

Хотя и сдерживающие факторы были еще очень сильны. Обострилась протестная направленность официального и народного ислама, его полемический пафос. Мужская половина правоверных мусульман как могла противостояла падению нравов и развращению собственной молодежи. Протестные петиции, составленные авторитетными мусульманами, с требованием закрыть или не открывать публичные дома (а также кабаки, различные питейные заведения и т.п.), не такая уж редкость в те годы. Открыто, в лицо высказывал старик-туркмен путешественнику Н. Д. Логофету свое недовольство поведением русских и порчей нравов мусульман: «Много веселья, много вина, водки и пива пьют, в карты играют. К вольным девушкам ходят и молодые, и старики. Все, что имеют, туда отвозят и там оставляют, а дома ничего нет. Наши райсы бессильны смотреть за мусульманами в русском городе, но и в туземном Чарджуе они также не смотрят, и там правоверные стали напитки пить. А наших женщин тоже много в веселых домах живут» (Д. Н. Логофет. «В забытой стране. Путевые очерки по Средней Азии»).

По рукам ходили обличительные тексты в стихотворной форме на таджикском и узбекском языках, бичевавшие падение нравов. В одной только Самаркандской области, по некоторым подсчетам, насчитывалось более 25 публичных домов. Но не так-то просто было остановить это «увлечение», если даже сам великий князь Николай Константинович Романов (к слову сказать, «трактуемый» ныне некоторыми историками исключительно как прогрессивный деятель, благодетель и «знаток Востока») промышлял этим прибыльным бизнесом, открыв публичные дома в новой части дореволюционного Ташкента. Впрочем, пополняя таким и другими способами свой капитал, тот же великий князь приобретал самые разнообразные художественные ценности, еще при жизни завещая свою богатейшую коллекцию предметов искусства родному Ташкенту. (Она и составила основу Государственного музея искусств Узбекистана.)

Отвлекаясь, скажем: понятны попытки некоторых современных историков и писателей идеализировать светское общество русского Туркестана (чаще с прицелом противопоставить его невежеству и варварству большевиков и Советов, погубивших «процветающую страну»!). Так хочется видеть там исключительно высокий полет

мысли и благородство, жертвенность, покровительство наукам и искусствам — что, несомненно, тоже имело место. Но было и другое, о чем как-то стало не принято говорить. Однако поговаривают уже, что, мол, и М. Е. Салтыков-то-Щедрин был совсем не прав, и вообще его образ «господ ташкентцев» не имеет отношения к Ташкенту — так, дескать, просто нашел подходящую ко времени метафору. Торопятся сильно. Тот же А. Эйхгорн, активный участник великосветской жизни почти сразу же после завоевания Ташкента, откровенно сообщает многое такое о нравах в обществе, что начинаешь понимать сатирический пафос Салтыкова-Щедрина.

Бизнес бизнесом, а чувства людские — это совсем другое. Это не только романтическое средство защиты от официального чванства и пошлости, карьеристских устремлений и интриг. Случалось немало тайных встреч по обоюдному искреннему влечению между «киргизками», сартянками и «белыми мужчинами». Страсти кипели. И даже приобретали порой трагический оттенок. Материалов и сюжетов, если поискать, вполне наберется на многие увлекательные романы и полнометражные фильмы. Старый русский полковник поведал Д. Н. Логофету, как неудержимо владело ими, молодыми тогда солдатами, желание встреч с местными женщинами и как, прельстившись близостью с загадочной девушкой-сартянкой, он вдруг с ужасом обнаружил, что она больна проказой, и всю жизнь потом прожил в страхе, не женился, чтобы не проявилась болезнь в его потомстве.

Народы сами творят свою историю — народную, находя «точки соприкосновения». Они — то сходятся и забывают старые обиды, то расходятся и припоминают друг другу всякое плохое, а потом опять сближаются... И в этом кружении всегда сохраняется влечение к противоположному полу другого этноса-народа, оно никогда не исчезает до конца. Даже в эпохи противостояния и крушения государств и империй. Хотят ли того или не хотят «вожди народов» и их «высокообразованные» идеологи, носители «сокровенного знания» или разного уровня религиозные иерархии. Народная история — все еще не предмет историографии. Хотя и есть блестящие исключения. Интеллектуалы помалкивают. Похоже, что нет внятных методик. Не так-то просто «выстроить историю» — соотнести событийный неуправляемый и многомерный поток жизни с обстоятельствами краткосрочного бытия «венценосных особ», «сильных мира сего». «Он начертал так», «этот повелел эдак»... А народ продолжает вытворять свое, будь-то в благоприятных или неблагоприятных условиях, при «популярности властей» или при их «пристальном внимании».

Большевики решительно разрушили все иерархические перегородки, вековые препятствия и предрассудки — этнонациональные, сословные, конфессиональные, родовые, клановые и иные — и сомкнули народы в их желании перемешаться. На несколько десятилетий смешанные браки волной накатили на территорию Средней Азии и Казахстана. Говорят, что особенно поощрялись они среди начинающих карьеру партийных работников и общественных деятелей разных уровней (от районного до самого высокого) из числа местных национальностей. И действительно, в истории нашего региона было немало различного рода и уровня деятелей, женатых на русских женщинах или имевших верных помощниц из их числа. Смешение дальних кровей и рас (а здесь кроме русских участвовали другие славянские народы, европейские евреи, татары, иные народы и этносы) привело (вместе с другими причинами) к взрыву интеллектуального и энергетического состояния среднеазиатского общества. В этом нашло себя одно из проявлений евразийского комплекса — славяно-тюркский и, шире, славяно-тюрко-иранский или христианско-мусульманско-иудейский мир (парадоксально объединенный на атеистической платформе) пришел в движение, раскрепостился, образуя сложный синтез.

«Большевистское евразийство», хотя и на короткий срок, но дало свои удивительные плоды, позволившие осуществить гигантский гуманитарный, технический и модернизационный прорыв. И прежде всего в самом сознании. В результате этого смешения народов выросли тысячи высокообразованных и прогрессивно мыслящих деятелей культуры, науки, техники, свободных от средневекового ханжества и невежества. С советским образом жизни связано усиление толерантности и интернацио-

налистских черт. Советы, будучи атеистической идеологией, подвергшейся в последние десятилетия обвинениям в безнравственности и бездуховности, не позволяли переступить порог нравственности. Публичные дома были сразу же ликвидированы, пропаганда секса, порнографии и т.п. — категорически запрещена и уголовно наказуема. Интересно провести параллели с некоторыми странами мусульманского Востока того же периода, где все это открыто и весьма широко практиковалось как часть прибыльного бизнеса.

В этом контексте разве не удивительно узнавать теперь «задним числом» об отдельных замечательных примерах приспособления нашей местной элиты к советскому режиму, даже в самые суровые годы идеологического диктата. С гордостью сообщают некоторые из них (дожившие до новых времен) или их внуки и правнуки в разных воспоминаниях, как им удалось перехитрить режим, пойдя на вынужденный (но временный!) компромисс и сотрудничество с ним. Как они, не веря в идею, а тайно соблюдая все обычаи и традиции, достигали многого и на официальной карьерной стезе. И в этом тоже одно из проявлений удивительной «двойственности сознания», способного обеспечить выживание в любых самых трудных и невероятных жизненных испытаниях.

Особую роль в формировании евразийского комплекса в Центральной Азии сыграли женщины-татарки и в целом этот талантливый и деятельный народ-просветитель. Русский обыватель, чего греха таить, в массе своей боится ислама. И никто серьезно не работал в этом направлении, чтобы просветить его и объяснить, что ислам — религия миролюбивая и терпимая к любой нации и человеку. А мусульмане, в свою очередь, побаиваются православия и русских как носителей этой веры. Удивительное исключение — татары, которые как бы идут (уже, пожалуй, два столетия) между двух конфессий и «берут» с обеих сторон. В этом их особая жизненная гибкость и устойчивость, а также и своя особая культурная миссия в Центральной Азии. Феномен этого, можно сказать, центральноазиатского народа (а проникали они сюда и оседали уже в Средневековье) заслуживает глубокого осмысления. Не побоюсь даже сказать об их серьезном вкладе в культурный этногенез ряда центральноазиатских народов последних двух столетий. Их исламская доктрина и вероисповедание отличаются трезвым здравомыслием, естественным и органичным синтезом собственно азиатских и европейских ценностей, способностью уравнивать и предотвращать всяческие мистические крайности и «ортодоксальные» шараханы.

Русский человек и «двойственность сознания»

Понять русского человека в регионе Центральной Азии — это большая тема, ждущая в будущем отдельных глубоких исследований и художественных обобщений. Мы же коснемся очень коротко только одного аспекта — соотношения «русской ментальности» с традицией «двойственного сознания».

В этом контексте легче и проще можно понять русских, например, в Узбекистане «от обратного». Приведем лишь пару небольших примеров для пояснения. Если узбеки имеют, так сказать, тройную защиту — семья, родственные (клановые) структуры и махалля, то у русских она, как правило, сводится только к одному — семье. Стоит, однако, отметить такой позитивный факт, как усиление в период независимости тенденции интеграции русских (русскоязычных) и в структуру махалля. В то же время семьи — ненадежные, легко возникают и также легко распадаются в нынешних условиях рыночных отношений и чувств. (Конечно, не только у русских, и это знак времени.) Никакого вам предварительного отбора по ценностям и правилам традиционной семьи. Никакой предварительной «разведки», как это обычно бывает у узбеков: может, в семье имеются (или имелись) алкоголики, наркоманы, тунеядцы, осужденные — тогда ищите невесту в другом месте. А тут — увидели, полюбили и соединились, по типу «Орфей полюбил Эвридику» или — «с милым рай и в шалаше». Крепкие

семьи если и есть, то это такие, в основе которых современный совместный бизнес или производство по типу «крестьянских хозяйств».

Слабое звено у русских в Центральной Азии — торговля, а ведь она составляет главное звено в «восточной народной экономике». В целом и общем не умеет русский человек торговать и торговаться. Легко уступает, махнув рукой. От обратного если смотреть — то мало чему в этом смысле он научился у узбеков и таджиков. Там торговля — это радость сердца, отдохновение души, праздник на всю жизнь. Это пространство для молодецкой удали и удачи. Спросишь иной раз на базаре: а почему сегодня дороже? Отвечает: это не я, это Куйлюк-ата установил. В том смысле, что я, мол, этот продукт купил сегодня рано утром на Куйлюк-базаре по такой-то цене, вот потому и моя цена соответственно поднялась на нашем базаре. Русских, занимающихся таким бизнесом, никогда не встречал в Узбекистане, ни в советское время, ни в период независимости. А ведь это-то и есть капитализм, или лучше сказать — народный капитализм. Или народная рыночная экономика, как теперь предпочитают говорить. И сколько ее самых различных форм существует у нас — не пересчитать!

Очевидное отсутствие у русских «двойственного сознания» было нередко причиной недопонимания местной специфики «экономических отношений», возникавших противоречий и противостояний в прошлом. Неоднократно доводилось слышать типичное для русского (а если шире — советского) сознания неприятие «коммерческих операций» местного населения и их торговой деятельности. В условиях государственной социалистической экономики все это воспринималось (и справедливо!) как спекуляция и спекулятивная нажива.

В то же время отсутствие «двойственного сознания» — также и причина притягательности образа русского человека для местных жителей, например, в Узбекистане. Русский человек — это «не белый человек». В общем и целом он лишен «комплекса белого человека». В Центральной Азии у него не было и нет снобизма и высокомерия. Свойственная русским простота, открытость, и особенно прямота, порой прямолинейность, которые отсутствуют в структуре «двойственного сознания», да и вообще в «восточной психологии», заполняли собой ту лакуну в культурном поле среднеазиатских народов, в которой время от времени ощущалась острая потребность. На этом базировалось и отсюда возникало уважительное отношение к русским как к носителям идей справедливости, честного и открытого образа жизни. Много раз доводилось слышать и в Узбекистане, и в Таджикистане от разных людей старшего и среднего поколения о той прямоте русских, которая теперь стала дефицитом в отношениях между людьми. И сейчас нередко приходится слышать сожаления по поводу отсутствия и недостатка русских людей среди руководителей в структурах новых независимых государств, так как именно они, по мнению населения, способны говорить, пусть даже и в грубой форме, правду в глаза. Очевидно, что дефицит этих качеств с учетом продолжающегося (теперь уже замедленного) отъезда русских и русскоязычных и концентрации моноэтничности будет ощущаться еще острее.

По-видимому, эти две составляющие — «двойственность сознания» и прямолинейность и открытость — и являют собой две наиболее важные культурные парадигмы, на которых может строиться будущее общего евразийского пространства. Они являются надежным психологическим обеспечением и для успешного продвижения в мировое экономическое пространство, и для самосохранения этого самостоятельного, самобытного явления. Они дополняют и поддерживают друг друга и создают ощущение близости и родственности народов, населяющих эту геополитическую территорию. Не этим ли чувством задолго до нас вдохновлялся поэт В. Хлебников, попытавшийся в «максималистской форме» скрепить это уникальное единение:

Ах, мусульмане те же русские,
И русским может быть ислам.
Милы глаза немного узкие,
Как чуть открытый ставень рам.

Сергей Комков

Образовательный коллапс, или Детские игры взрослых идиотов

Уже давно ни для кого не секрет, что Россия быстро и уверенно превращается в страну третьего мира. Об этом свидетельствуют следующие факты. Экономика страны все больше и больше приобретает сырьевой характер. И, несмотря на то что руководители государства Российского постоянно говорят о необходимости «слезть с нефтегазовой иглы», мы все глубже и глубже загоняем ее в свой организм.

Резко возрастает социальная напряженность. Падает уровень общего культурного развития. И конечно же — уровень общей образованности граждан. А как следствие этого, — общий уровень интеллектуального развития всего государства. И это — несмотря на то, что практически 90 процентов выпускников средних школ стремятся сегодня всеми правдами и неправдами попасть в высшее профессиональное заведение.

Но самое страшное заключается в том, что год от года растет уровень дебилизации нации. Да и сама российская нация, как таковая, практически давно уже перестала существовать.

И дело даже не в том, что уже с ельцинских времен в России начался активный распад единого национального пространства, и каждая национальная республика, являющаяся составной частью Российской Федерации, фактически взяла курс на самоизоляцию.

Главная проблема заключается в том, что уже более двадцати лет идет активный процесс развала единого образовательного пространства некогда великой страны.

Кто же нас довел до такой жизни? Некие внешние враги или наша собственная глупость, граничащая с преступлением?

Давайте попробуем подробно во всем разобраться.

Здравствуйте! Я ваш дядюшка из Америки!

Совершенно очевидно, что развал великой державы под названием СССР произошел отнюдь не по желанию самих ее граждан. На Референдуме о сохранении СССР более 80 процентов его граждан сказали «да». Но страна рухнула в одночасье, как от прямого попадания молнии.

Что это было? Заговор западных спецслужб? Или наша собственная преступная оплошность?

Думается, что и то и другое в равной степени.

Я не сторонник «теории заговора», но нельзя сбрасывать со счетов факт существования знаменитой Директивы Совета национальной безопасности (СНБ) США № 20/1 от 18 августа 1948 года, которая прямо называлась «Задачи в отношении России». Долгие годы эта директива лежала под сукном, упорно ожидая своего часа. И этот час пробил с окончанием «брежневской эпохи». Поэтому уже в середине 80-х годов на основе данной директивы был разработан знаменитый «Русский проект», который в 1987 году был утвержден Конгрессом США. И на него единовременно было выделено 350 миллионов долларов.

Но весьма характерно, что в рамках этого «Русского проекта» главный упор был сделан не на политические, а на социальные факторы. Не на изменение политической системы, а на изменение общественного сознания в некогда огромном и сильном государстве. То есть на работу с подрастающим поколением.

Именно поэтому, сразу после событий августа 1991 года в Россию хлынула огромная армия западных «консультантов» и «аналитиков». И в первую очередь из далекой Америки.

С этой целью уже в 1992 году в России на деньги Всемирного банка (полностью находящегося под контролем США) была создана специальная площадка, которой отводилась роль плацдарма для внедрения «новаций», целью которых было разрушение интеллектуального потенциала российской нации.

Так появилась «Высшая школа экономики». Ее научным руководителем стал один из ведущих гарвардских профессоров с двойным (российским и американским) гражданством — Евгений Ясин. Но для прикрытия «аналитической» деятельности ВШЭ была зарегистрирована как учреждение высшего профессионального образования.

Ректором «Вышки», как ее сразу окрестили все специалисты, стал молодой начинающий «специалист» Ярослав Кузьминов. Человек этот ничем особенным в образовательном и научном мире не отметился. Разве что своей кандидатской диссертацией на тему «Трудовые отношения в первобытно-общинном строе». Именно туда — в первобытно-общинный строй — видимо, и вознамерился тащить молодой амбициозный ректор «Вышки» всю Россию.

Середина 90-х годов ознаменовалась тем, что Россия стала экспериментальной площадкой для разного рода американских проходимцев.

«Новые» учебники, появившиеся с то лихое время, до сих пор хорошо помнят все специалисты. Особенно — учебники по общественным и историческим дисциплинам. Фактически под руководством некоторых американских «советников» в России попытались переписать российскую историю, унизив и оскорбив народ некогда великой страны. Например, изданный тогда «знаменитый» учебник истории России фактически был призван внушить школьникам, что все жители России — люди ущербные и что вся история России — цепь неудач и позора, а образцом для подражания является конечно же западная цивилизация. И это разработчикам данных «учебных пособий» вполне сходило с рук. Так как они очень быстро (и, думается, не без помощи своих американских политических руководителей) нашли покровителей за Кремлевской стеной.

Более того. Их с распростертыми объятиями встречали все тогдашние руководители Министерства образования России. А деньгами Всемирного банка активно воспользовались все наши новоявленные иуды для уничтожения системы российского образования. И гранты, выдаваемые в рамках «Русского проекта», стали одним из главных источников финансирования разработки и проведения «реформ» в системе образования России.

Но, может быть, нам действительно стоило поучиться у наших заокеанских

коллег в развитии и становлении системы образования? Может быть, мы действительно к тому моменту слишком отстали от всего «передового мира»?

Для того чтобы понять, что именно понесли нам американские эмиссары, надо немного углубиться в историю реформирования самого американского образования.

Как удалось «опустить» Америку

Сразу после Второй мировой войны стало совершенно очевидно, что США заняли в западном мире не просто ведущее, но и полностью доминирующее положение. Старой растерзанной Европе достаточно долго пришлось прикладывать усилия для элементарного восстановления экономической и политической жизни. И даже в чисто европейском военном блоке НАТО янки заняли отнюдь не второстепенные роли. Поэтому уже через двадцать лет после окончания войны это стало изрядно досажать ведущим европейским политикам и финансовым магнатам.

Именно тогда в европейских политических кулуарах было принято решение «опустить» Америку. Сделать ее более управляемой со стороны Старого Света, более послушной и более предсказуемой.

Ведущую роль в этом процессе отвели «старой доброй» Англии.

И тогда в недрах британской спецслужбы «МИ-6» родился уникальный проект по началу изменения общественного сознания граждан США. С этой целью в Америку была направлена «спецгруппа» под руководством кадрового английского агента Александра Кинга. Эта «бригада» при содействии американских «агентов влияния» (среди которых одну из главных ролей играл человек, приближенный к семейству Кеннеди, — Хуго Джастин Хейг) должна была (ни много ни мало) провести реформу образования в США.

И они это блестяще сделали.

Именно тогда в США были полностью изменены стандарты общего среднего образования, фактически исключившие всю развивающую деятельность из раздела обязательных школьных предметов. Было введено повсеместное тестирование, которое уже к началу 90-х годов довело всю систему образования Америки до полного абсурда. И фактически был осуществлен перевод всего образования США на прикладные рельсы.

Это означало, что в процессе обучения в американской школе главное внимание теперь уделялось не развитию интеллекта и творческой активности учащихся, а практическому тренингу использования тех или иных навыков, полученных в ходе обучения. То есть, попросту говоря, американских школьников начали натаскивать на огромное множество тестов по всем учебным дисциплинам и учить пользоваться простейшими приспособлениями, необходимыми в повседневной жизни.

И это уже очень скоро возымело свое действие.

Уже в середине 90-х годов многие ведущие эксперты стали отмечать, что уровень интеллектуального развития и творческого мышления американских школьников резко упал. А к началу 2000-х годов этот процесс принял угрожающий характер.

Один из богатейших людей мира, американец Билл Гейтс, создавший уникальную экономическую империю «Майкрософт» исключительно за счет своего интеллекта, уже тогда называл Америку «страной идиотов». А в 2005 году, выступая на конгрессе американских губернаторов по вопросам образования, он прямо заявил, что, «если мы не прекратим издевательство над американской школой и будем дальше превращать подрастающее поколение американцев в идиотов, не способных самостоятельно создавать интеллектуальный продукт, Америку ждет неминуемая национальная катастрофа».

Вот так! Ни много ни мало.

В середине 90-х годов мне неоднократно доводилось посещать США, сопровождая наших московских школьников по линии образовательных обменов. И даже в тот весьма непростой период развития нашего государства мы каждый раз убеждались в том, что наши старшеклассники в своем интеллектуальном развитии значительно опережали своих американских сверстников. Видимо, тогда в российской школе пока еще по инерции сохранялись лучшие традиции советской педагогики.

А американская школа под руководством «консультантов» из «группы Кинга» уже полностью перестроилась на новый лад. И именно эту прогнившую насквозь систему образования нам потащили американские эмиссары в 90-е годы.

То есть они, по примеру того, что с ними самими пытались сделать (и практически сделали) их европейские политические конкуренты, решили осуществить в России.

И сделали это блестяще! «Добрый дядюшка» из Америки стал главной фигурой при проведении всех «реформ» в системе российского образования. Теперь они вознамерились, по своему образу и подобию, полностью и окончательно превратить и нашу страну в страну идиотов. Тем самым окончательно добившись ее крушения на геополитической арене.

Наши доморощенные «гарвардские шалуны»

Но совершенно очевидно, что любые потуги наших американских «дядюшек» были бы полностью напрасными без активной помощи так называемых «агентов влияния» внутри страны.

Прочно обосновавшись в Министерстве образования России и в Высшей школе экономики, американские и британские «советники» и «аналитики» Всемирного банка конечно же сделали ставку на наших собственных чиновников.

И здесь следует упомянуть об одной немаловажной разработке американских спецслужб.

Еще в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века в недрах Агентства национальной безопасности (АНБ) США родился проект организации «сетецентрических войн». Авторами его стали американские военные эксперты Джон Гарстка и Артур Себровски. Они доказали, что для завоевания любого государства в современную эпоху можно обойтись без применения какой-либо военной силы. Для этого достаточно лишь запустить внутрь государственного механизма так называемого «червяка». То есть агента, способного дезорганизовать деятельность того или иного государственного ведомства и направить его в нужном направлении. Но для начала надо создать такую ситуацию, при которой работа этого ведомства фактически окажется парализованной. То есть возникнет некий управленческий коллапс.

Сделать это одномоментно не получится. Подобного рода «агентов» надо готовить. Причем зачастую они и сами не должны подозревать, что являются «агентами». То есть все опять упирается в проблемы образования и воспитания. Надо добиться того, чтобы через одно-два поколения к руководству страны пришли люди, не просто элементарно неквалифицированные и морально разложившиеся, но и полностью подчиненные воле своих заокеанских хозяев.

Однако на первом этапе необходимо было приручить тех чиновников, от которых непосредственно зависело принятие управленческих решений.

И этот процесс активно пошел с середины 90-х годов.

Под предлогом «реформирования» устаревшей и прогнившей системы образования России в рамках деятельности группы «советников» в Высшей школе экономики началась разработка государственной программы «Модернизации системы рос-

сийского образования». И в 1998 году данная программа была представлена на суд общественности.

Прямо скажем, наши доморощенные «гарвардцы» постарались на славу.

В рамках программы предполагалось перевести всю систему образования из разряда важнейших социальных функций государства в сферу платных услуг. С этой целью была разработана программа перехода образования на нормативно-подушевой принцип финансирования. То есть финансирование образовательных учреждений напрямую увязывалось с количеством обучающихся. И это в условиях России, раскинувшейся на тысячи километров с запада на восток и с юга на север, с огромным количеством малых сел и деревень с небольшими малокомплектными школами означало полную гибель образования в глубинке. Что фактически и произошло. За двадцать лет в России было закрыто более 18 тысяч школ. Такого не было даже в годы самых страшных испытаний и может быть расценено как политика образовательного геноцида российского народа.

В «программе» же это значилось всего лишь как «реструктуризация» малокомплектных сельских школ. Что фактически означало ликвидацию всех малокомплектных школ в малых и средних населенных пунктах России.

Предполагалось внедрение единого государственного экзамена в форме тестирования. Да, да — того самого ЕГЭ, который стал сегодня притчей во языцех для всех выпускников и их родителей. Того самого ЕГЭ, который фактически поставил крест на всей системе классического фундаментального образования, сложившейся в нашей стране на протяжении нескольких веков и дававшей нашей системе образования преимущества перед всеми образовательными системами мира.

Предполагался переход к образовательным стандартам «нового поколения», которые полностью исключали бы в качестве обязательной развивающую деятельность школьников.

Главными проводниками этой программы «модернизации», как я уже сказал ранее, стали в первую очередь чиновники Министерства образования России. Тогдашний министр образования РФ Владимир Филиппов прямо заявил: «Реализуя данную программу, мы сделаем все для выведения образования страны из тяжелейшего кризиса на уровень мировых стандартов». Но в результате реализации данного проекта наши горе-руководители загнали его в кризис еще больше.

Поэтому в 2004 году господин Филиппов без всякого сожаления расстался со своим министерским креслом и уступил его еще более проамерикански настроенному Андрею Фурсенко.

Господин Фурсенко, в отличие от Владимира Филиппова (который до назначения министром все-таки был ректором Российского университета Дружбы народов — РУДН), вообще никогда никакого отношения к системе образования не имел. Особенно школьного. Зато имел непосредственное отношение к бизнесу и к американским «советникам». С которыми сообща делал этот самый бизнес в рамках так называемого «Инновационного центра» в Санкт-Петербурге. И он очень активно с утроенной энергией начал внедрение всех элементов американской модели образования в России.

Еще раз повторю: той самой модели, которая привела саму систему образования США к полному краху.

В России началась эпоха шабаша «гарвардцев». С одной стороны, гарвардский «агент влияния» Андрей Фурсенко, прочно усевшийся на долгие годы в кресло министра образования. С другой стороны, гарвардский профессор Евгений Ясин, надолго обосновавшийся в российской «Вышке» в качестве ее главного научного руководителя.

Законодательное слабоумие

Так уж сложилось исторически, что во всех цивилизованных странах мира в качестве естественного барьера на пути всякого рода авантюрных «реформаторов» становится законодательная власть.

Что же случилось с нашей отечественной законодательной властью? Почему она не просто не воспрепятствовала «реформаторскому зуду» «гарвардских шалунов», но и всячески начала им покровительствовать?

Законодательная власть России вместо того чтобы профессионально разрабатывать и принимать необходимые государству законодательные акты, оказалась втянутой в достаточно грязную политическую борьбу за власть.

Уже с появлением первого состава современной Государственной Думы России стало очевидно, что наследником советских традиций в ней осталась лишь одна фракция — КПРФ. Все остальные в той или иной мере являлись проводниками новых либеральных реформ, во главе угла которых стояла «теория рынка». Эту самую теорию все проправительственные фракции очень быстро перенесли и на социальную сферу. И в первую очередь на систему образования. Поэтому началось бесконечное латание и перекраивание принятого в 1992 году Федерального закона «Об образовании». И уже к началу 2000-х годов в данный закон было внесено несколько сот поправок и изменений. При этом за основу всех изменений были положены все те же положения пресловутой «Программы модернизации».

В настоящее время законодателями узаконены: ЕГЭ, нормативно-подушевое финансирование общего среднего и высшего профессионального образования, перевод образовательных учреждений в разряд организаций, самостоятельно зарабатывающих средства для своей деятельности. И это несмотря на то, что против данных законопроектов выступали не только национально ориентированные российские эксперты, но и подавляющее большинство населения страны.

Каждый раз инициатива о принятии соответствующих изменений и дополнений (а иногда и отдельных федеральных законов) исходила либо от правительства (читай: от Министерства образования), либо от Администрации Президента. И каждый раз думское большинство послушно штамповало данные решения. Сохраняя при этом антизападную и антиамериканскую риторику.

При внимательном взгляде со стороны все это выглядит до идиотского смешно. Потому что, обвиняя часть российских либералов в заигрывании с американскими политическими и общественными институтами, правящая партия в Государственной Думе фактически сама действует по указке американских «советников».

Когда в недрах правительства готовился закон об изменении статуса муниципальных учреждений (в первую очередь учреждений системы образования), ведущие независимые эксперты предупреждали о возможных серьезных негативных последствиях данного закона. Потому что он фактически ставил крест на бесплатном среднем образовании в России.

Все муниципальные образовательные учреждения, в соответствии с данным законом, делились на три категории: автономные, бюджетные и казенные.

Предполагалось, что казенные будут исключительно существовать за бюджетные деньги, выделенные им для реализации государственного заказа. И даже то, что сумеют сами заработать, должны зачислять в бюджет.

Бюджетным разрешалось зарабатывать самостоятельно дополнительные средства и оставлять их у себя на счету. На выполнение госзаказа им выделяются средства из бюджета. А на все остальное (в первую очередь на организацию некоей развивающей деятельности, а также на совершенствование своей учебно-материальной базы) они должны расходовать свои собственные заработанные средства. Таким образом, школа фактически превращалась в некую торговую лавочку, стремящуюся всеми возможными силами заработать дополнительные средства.

Автономные образовательные учреждения полностью отпускались в вольное плавание. И, за вычетом небольшого количества бюджетных средств, которые они также получали бы за счет реализации госзаказа, все остальное вынуждены зарабатывать сами.

Вся тонкость заключалась в том, как определить этот самый госзаказ. То есть набор обязательных предметов, за обучение которым должно платить государство.

И тут законодатели сели в лужу. Потому что никто из них до сих пор не знает, что же входит в этот самый обязательный набор, который называется «Федеральным государственным стандартом общего полного среднего образования» (сокращенно — ФГОС).

Долгие годы российская школа жила без ФГОСов. И это приводило к полной анархии и неразберихе. Потому что каждый регион (и в особенности в национальных республиках) придумывал свои собственные программы и составлял свои собственные учебные планы.

А тут еще по инициативе и при активном содействии американских советников из Всемирного банка началось активное внедрение ЕГЭ. И тут вообще дело дошло до полного абсурда. Стандартов образования нет, а экзамен должен был проводиться с использованием контрольно-измерительных материалов (КИМов), разработанных и составленных на основе этих самых стандартов.

На этой почве стали происходить анекдотичные ситуации.

Так в 2009 году группа родителей Дивеевской средней школы Нижегородской области потребовала от местного управления образования, чтобы им предъявили те самые стандарты, на основе которых их дети должны были сдавать пресловутый ЕГЭ. Чиновники им конечно же отказали в их законном желании познакомиться с этим уникальным документом. Тогда родители подали заявление в суд с требованием обязать местное управление образования предъявить им все-таки документ под названием «Федеральный государственный стандарт общего полного среднего образования». Но суд им тоже отказал с уникальной формулировкой: «Выполнить требования, заявленные в иске, невозможно в связи с отсутствием такового документа».

Вот вам и весь сказ. Как говорится, идиотский круг замкнулся. И выпускникам российских школ на протяжении всех лет внедрения ЕГЭ предлагали сдавать этот уникальный тестовый экзамен при полном отсутствии единого государственного образовательного стандарта.

Ну а что же наши законодатели?

Видя, что проблема разработки и внедрения образовательных стандартов стала неразрешимой задачей, они переложили ее на плечи все того же совершенно дистрофированного министерства. И тут произошел еще один уникальный казус. Если раньше государственные стандарты должны были приниматься исключительно отдельными федеральными законами, депутаты от правящей партии очень быстро протащили решение об утверждении этих самых государственных стандартов всего лишь приказами министерства.

То есть теперь министерство, полностью находящееся под влиянием американских (и прочих иностранных) «советников» и «аналитиков», не только определяет всю государственную политику в области образования, но и само контролирует реализацию этой политики.

В настоящее время идет активная подготовка к принятию новой редакции Федерального закона «Об образовании». Варианты, представленные Министерством образования, больше напоминают смесь глупости с предательством. Предательством интересов России. Потому что в новом варианте законодательно закрепляются все те уродливые искажения, которые полностью уничтожают национальные основы традиционного российского образования и против которых так активно все эти годы выступала вся педагогическая общественность. Но перед законодателем поставлена задача как можно быстрее осуществить принятие данного закона.

И в связи с этим возникает вполне закономерный вопрос: зачем так активно

форсируется решение данной проблемы? Почему это хотят сделать, не просчитав все последствия от возможных изменений?

Вариантов ответа может быть только два. Либо кому-то очень уж хочется побыстрее добить остатки российского образования и приступить к следующему этапу уничтожения нашего государства. Либо это — очередная игра взрослых идиотов, мечтающих о геростратовой славе на ниве образования. А, возможно что в данном деле присутствуют оба элемента.

Это странное слово из трех букв

Но верхом глупости и показателем полной политической несостоятельности нашего законодателя является принятие закона о ЕГЭ.

История возникновения единого тестового экзамена (в российском варианте — ЕГЭ) начинается во Франции середины 60-х годов прошлого века.

В этот период шел процесс активного признания независимости бывших французских колоний. Но, получив формально политическую независимость, бывшие колонисты не стремились окончательно порвать отношения со своей бывшей метрополией. Более того, они настояли на том, чтобы их дети смогли сохранить французское подданство и получили возможность учиться в лучших французских высших учебных заведениях.

Тогда-то и был придуман этот единый тестовый экзамен. Бывшие аборигены французских колоний получили возможность сдавать этот тест, не покидая родных территорий. И, в случае успешного прохождения тестового испытания, они могли приехать непосредственно в Европу и претендовать на поступление в лучшие французские вузы. Был создан, как теперь выражаются активные российские сторонники ЕГЭ, своеобразный «социальный лифт».

Но «лифт» этот очень быстро дал сбой. Оказалось, что приехавшие из бывших колониальных территорий граждане, в силу различий и подходов в преподавании предметов в своей местной школе и в силу своей интеллектуальной неразвитости, были не в состоянии полноценно обучаться на уровне европейских стандартов. И уже в первый год «эксперимента» большая часть из них уже после первых двух семестров была из вузов отчислена и оказалась на улице. Начались массовые молодежные выступления, которые в конечном итоге превратились в массовые погромы и закончились отставкой всего правительства генерала Шарля де Голля.

Вовремя спохватившись, Общественная палата Франции (в отличие от нашей Общественной палаты, орган весьма авторитетный и уважаемый) тут же приняла решение прекратить все эксперименты с единым тестовым экзаменом. Иначе, как заявили члены Общественной палаты, через три-четыре года от системы высшего профессионального образования Французской Республики не останется и следа. И в 1971 году на французском ЕГЭ был поставлен большой и жирный крест. Правда, в это же время «спецгруппа» ранее упоминавшегося нами Александра Кинга уже вовсю внедряла эту «новацию» в США.

Чем же так страшен этот единый тестовый экзамен?

Тестовая форма проверки знаний известна специалистам давно. Но тестовые задания используются исключительно как рабочий инструмент в процессе обучения. При его помощи преподаватель получает возможность определить, какие разделы изучаемого предмета отработаны им достаточно полно, а какие требуют доработки. Тесты могут определить лишь некоторый уровень фактических знаний учащихся. И не более того. И они полностью не пригодны для определения итогового уровня понимания того или иного предмета.

Американцы, увлекшись тестовой формой итоговой проверки знаний, поставили подготовку к этим тестовым испытаниям на поток. И стали применять эту форму проверки без разбора по всем предметам. А на основе этих тестовых испытаний

стали делать выводы о фактическом уровне знаний учащихся. Вся учеба в старших классах средней школы вылилась в бесконечное натаскивание на решение тестовых заданий. И это привело к тому, что американский выпускник не мог ответить ни на один поставленный вопрос без предоставления ему нескольких вариантов ответа, из которых он мог бы выбрать правильный ответ. Вместо того чтобы научить молодых людей логически размышлять, их учили вытаскивать из памяти заученный ранее ответ или попросту угадывать.

Эту же схему американские «советники» перенесли и на российскую образовательную территорию.

В Америке игры с единым государственным тестированием закончились с приходом президента Барака Обамы. Уже в январе 2009 года он внес в Конгресс США предложение полностью покончить со всеми уровнями тестирования в средней школе. И запросил на перевод школы в нормальный процесс классической итоговой аттестации 4 миллиарда долларов.

А мы в это же самое время приняли решение о всемерном наращивании усилий по развитию в России ЕГЭ. И российские законодатели, вкупе с так называемой Общественной палатой, пытались вздохнуть уверить население страны в том, что другого пути подъема качества образования нет.

И уверили. И сдача ЕГЭ вылилась в конечном итоге в нескончаемый криминальный скандал. С каждым годом выявляются все новые и новые формы обмана при проведении этого так называемого государственного экзамена. А уровень коррупции по выводам Департамента экономической безопасности МВД России вырос за последние годы более чем в два раза.

И это вполне естественно. Потому что слишком уж высока оказалась цена бумаги под названием «Свидетельство о сдаче ЕГЭ». За нее готовы платить любые деньги. И никого не волнует, что при этом реально знает получивший его вчерашний школьник.

Изменение акцентов

Все последние двадцать лет российская средняя школа катится к полной дегенерации. Образно выражаясь, вниз по ведущей вверх лестнице. Что очень ярко было показано в скандальном фильме Валерии Гай Германики «Школа». После выхода фильма на телеэкраны со всех сторон раздались возмущенные голоса: «Кто позволил так издеваться над российской школой?! Такого не может быть! Немедленно к ответу авторов!»

Я же, в отличие от массы критиков, отнесся к произошедшему философски. Можно сколько угодно возмущаться увиденным на экране. Но истина такова: неча на зеркало пенять, коли рожа крива! Мы получили то, что получили. Долгие годы полного развала школьной системы дали свои результаты.

Переход на новую парадигму образования, в которой во главу угла ставится формула: образование — это сфера коммерческих услуг, привел к полному уничтожению этого самого образования. Потому что на самом деле образование — это сложный процесс формирования личности подрастающего человека. И превращать его в коммерческую услугу — значит выхолащивать саму его суть.

Сегодняшняя российская школа — это уже не светоч знаний и не храм науки. Это — сборище обездоленных людей, именуемых по старой привычке учителями, и совершенно затравленных и никому не нужных детей, перед которыми родители поставили лишь одну задачу: всеми возможными средствами получить бумажку под названием «аттестат» и затем пристроиться в какой-нибудь вуз.

Из школы как-то незаметно ушел самый главный процесс — процесс воспитания. Американские «советники» намертво вбили в головы наших «реформаторов» мысль о том, что главная задача школы — напичкать учеников набором некоторых

практических знаний, при помощи которых они потом смогли бы ориентироваться в жизни. Вот они и идут по жизни: с пустотой в глазах и со злобой в сердце!

За прошедшие с событий 1991 года двадцать лет произошел процесс смены целого поколения. А исторический опыт показывает, что при качественных изменениях общественного сознания в течение жизни двух поколений процесс становится необратимым. То есть уже к 2030 году Россия может превратиться в качественно иное государство. Государство, в котором народ будет обладать лишь отрывочными знаниями из некоторых областей науки. В котором народ будет обозлен на всех и вся. Но при этом будет готов делать все ради зарабатывания презренного «бабла», не считаясь ни с какими моральными и нравственными нормами.

Недоучки с дипломами

Но заработать это самое «бабло» с каждым годом будет все труднее и труднее. Потому что в России уже начался серьезный кризис профессионализма.

Да оно и понятно. О какой профессиональной подготовке можно вести речь, если в высшие профессиональные учреждения страны поступают сегодня выпускники школ с весьма слабо развитым интеллектом и с весьма туманным представлением о том, чем им предстоит заниматься потом всю жизнь.

Система ЕГЭ стала в России не «социальным лифтом», а всего лишь способом проникновения на студенческую скамью. Причем, как показал опыт, поступающие в вузы абитуриенты порой вообще не представляют, зачем идут именно в этот вуз. К тому же и сами сертификаты о сдаче ЕГЭ ни в коей мере не отражают реальных знаний поступающих на обучение выпускников.

Так два года назад на факультет журналистики успешно поступили выпускники с высочайшими баллами ЕГЭ, которые при проведении уже после процедуры зачисления контрольного диктанта умудрились в одном предложении сделать по несколько ошибок. Экзаменаторы — известные литераторы и журналисты — к большому для себя изумлению обнаружили в контрольных работах вновь принятых на обучение студентов такие грамматические перлы как «карова», «гинирал», «дохтур» и прочее в этом же роде. Какие специалисты выйдут из этих девушек и ребят, остается только гадать.

Но это — журналистика. А вот что будет через некоторое количество лет с российской техникой и с российским производством даже страшно подумать.

Однако беды российской высшей школы с фактом поступления в нее абсолютно неграмотных и морально не подготовленных к обучению студентов не кончаются.

Наши доморощенные «реформаторы» за последние годы так «перестроили» всю систему высшего профессионального образования, что от нее не осталось и следа. Некогда четкая и отлаженная система подготовки профессиональных специалистов претерпела такие изменения, что Россия откатилась из первой тройки лидеров на задний план, оказавшись где-то между Кенией и Камеруном.

Что это? Случайность или специально спланированная акция?

В конце 90-х годов ряд европейских стран приняли решение об объединении усилий в системе высшего профессионального образования. Это было обусловлено общими политическими интеграционными процессами и должно было обеспечить создание на территории Европы единого образовательного пространства. Которое, в свою очередь, должно было способствовать созданию единого рынка профессионального труда. Так появилось Болонское соглашение.

Это Соглашение к тому же было призвано обеспечить безопасность европейского образования от американского влияния.

Россия тоже изъявила желание влиться в Болонский образовательный альянс, и в 2003 году подписала данное Соглашение. И начала участвовать в согласительных процедурах по вхождению в Болонский процесс. С этой целью даже была создана

специальная межведомственная правительственная комиссия, которой предписывалось проработать все вопросы, связанные с качественным вхождением в Болонское соглашение.

В первую очередь требовалось провести работу по согласованию стандартов высшего профессионального образования между Россией и странами Евросоюза. Однако уже в 2004 году данная комиссия «приказала долго жить». И российские чиновники решили, что главное совсем не в общих стандартах. За основу была взята лишь внешняя форма организации системы высшего профессионального образования. То есть деление всего высшего образования на две ступени: бакалавриат и магистратуру.

Но российские горе-чиновники не учли одной немаловажной детали. Подобная система давно исторически сложилась в Европе и не имеет никаких реальных корней в России. Тем не менее началась тотальная ломка всего и вся. За кратчайших промежутков времени всем вузам страны было предложено перейти на обучение по принципу бакалавриат — магистратура.

Эти игры «специалистов» из Министерства образования и науки закончились тем, что мы до основания разрушили традиционно сложившуюся в нашем государстве систему подготовки специалистов, наплодив огромную армию никому не нужных бакалавров-болонок. В российских условиях вновь появившиеся недоучки-бакалавры (формально имеющие диплом о высшем профессиональном образовании) оказались не просто не востребованными на рынке труда, но и полностью не приспособленными для выполнения каких-либо профессиональных функций. Мы получили, по мнению ректора МГУ им. Ломоносова Виктора Садовниченко, всего лишь армию «квалифицированных лаборантов». Только ответить на вопрос, зачем стране такое количество лаборантов, до сих пор не может никто.

К тому же уже в рамках самого Болонского соглашения с момента вступления туда России появились непримиримые противоречия. Поскольку, как я уже говорил ранее, данное Соглашение было направлено на противостояние американским подходам в системе высшего профессионального образования. А Россия оказалась полностью ориентированной именно на них. Поэтому никакого диалога между Россией и Европой не получилось. И никакого согласования образовательных стандартов не произошло. В результате мы как были, так и остались на обочине европейского образовательного пространства.

Спрашивается, зачем тогда было ломать копья?

Почем нынче высшее?

Но самым главным «достижением» наших доморощенных «реформаторов» стал перевод всей системы высшего образования на платные рельсы.

Началось все с того, что группа «гарвардцев», вняв увещаниям своих заокеанских наставников, подготовила проект перевода всей системы высшего профессионального образования на нормативно-подушевой принцип финансирования. То есть, в соответствии с данным принципом, государство должно спускать некие контрольные цифры приема на бюджетные (бесплатные) места в вузах. Затем, в соответствии с неким утвержденным нормативом, давать из бюджета средства на обучение данных студентов.

Но с каждым годом количество этих самых бюджетных мест становилось все меньше и меньше. Особенно тотальному сокращению подверглись бюджетные места в гуманитарных (и в первую очередь в педагогических вузах). С другой стороны, был дан зеленый свет на увеличение числа «договорных» студентов. И, если в середине 90-х годов соотношение бесплатных и «договорных» мест составляло 75 процентов к 25 процентам, то уже в начале 2000-х оно было 50 на 50 процентов. А в настоящее время составляет 40 к 60 процентам.

Продвигаясь таким темпами дальше, мы к 2020 году получим соотношение 20 к 80 процентам. А к 2050 году Россия может вообще полностью перейти на стопроцентное платное высшее профессиональное образование.

И это в то время, когда весь цивилизованный мир движется в обратном направлении. Япония, например, уже в 2010 году перешла на полностью бесплатное высшее профессиональное образование для своих граждан. А Германия к 2020 году будет иметь 90 процентов бесплатного высшего профессионального образования.

То есть мы опять оказались впереди планеты всей. По своей глупости и недомыслию.

А может быть, это опять чей-то коварный замысел?

Тогда надо прямо задать вопрос: кто заинтересован в резком снижении уровня высшего профессионального образования в нашей стране?

Ответ на него достаточно прост и напрашивается сам собой. Видимо, те силы, которые вот уже не одно десятилетие стремятся превратить Россию в сырьевой придаток промышленно развитых держав мира. И в первую очередь — США.

Но есть и другой немаловажный аспект проблемы профессионального образования.

Начав в 90-е годы бурную приватизацию промышленности, наши новоявленные политические руководители фактически способствовали уничтожению материально-технической базы среднего профессионально-технического образования. Были пущены с молотка и разрушены сотни ПТУ и техникумов. Это произошло в результате того, что, купив промышленные предприятия, новые хозяева начали в спешном порядке избавляться от «непрофильных» активов. И посчитали для себя дальнейшее содержание ПТУ, существовавших при этих предприятиях, непозволительной роскошью.

Поэтому общее количество ПТУ уже к началу 2000-х сократилось более чем вдвое.

Это, в свою очередь, привело к полному перекосу и в работе средней школы.

Если раньше значительная часть школьников после 9-го класса напрямую направлялась в ПТУ для получения конкретной специальности, то теперь большая часть учащихся старших классов стала ориентироваться исключительно на вузы. И, как грибы среди ясного дня, начали расти и плодиться негосударственные институты и университеты. Потому что мест в государственных попросту стало не хватать.

Вместе с этим резко падал промышленный потенциал страны. Резко закрывались действующие производства. Зато росла сфера обслуживания и административно-управленческий аппарат. Поэтому значительная часть выпускников школ стала ориентироваться не на получение конкретной профессии, а всего лишь на завладение всеми возможными средствами дипломом о высшем образовании.

Так впервые в московском метро и на рынках появились скромные молодые люди с табличкой «дипломы». В России началась активная и ничем не прикрытая торговля документами о высшем профессиональном образовании.

И этот процесс вполне поддается объяснению. Действительно, зачем какому-то мелкому муниципальному чиновнику владение какой-либо конкретной специальностью? Ему достаточно иметь навык грамотно освоить бюджетные средства или использовать свое служебное положение для пополнения собственного счета. Но при этом обязательным условием является наличие диплома о высшем образовании. Так что спрос на «корочки» резко возрос. И возник особого рода криминальный бизнес по изготовлению и продаже заветных документов.

Одновременно с этим возникла огромная масса «шарашкиных контор», получивших лицензии на право ведения образовательной деятельности и аккредитации на право выдачи дипломов государственного образца. Это стало чрезвычайно выгодным «бизнесом». На нем в конце 90-х — начале 2000-х годов наживались все. Но больше всего наживались чиновники соответствующих структур Министерства образования. Получение негосударственным вузом лицензии могло стоить до 100 тысяч

долларов, а получение им же государственной аккредитации — до 1,5 миллиона долларов. И при этом никого не волновало, будут ли так называемые «шарашкины конторы» вообще давать своим «студентам» какие-либо знания.

Дело порой доходило до полного абсурда. Так в Москве на улице Кедрова появился «уникальный» вуз — Всемирный технологический университет, который присвоил себе право выдавать дипломы ЮНЕСКО. И никого из чиновников Министерства образования России даже не смущало, что на самом деле ЮНЕСКО никогда и никому не давала никакого права выдавать дипломы от их имени. Зато это была прекрасная приманка для легковых соискателей красивых «корочек». И по сей день в целом ряде государственных структур успешно «трудятся» выпускники этого «всемирного» мыльного пузыря.

Сегодня же, словно очухавшись с похмелья, руководство Министерства образования и науки решило в экстренном порядке сократить все вузы (особенно негосударственные) в два раза, обосновывая это борьбой с «шарашкиными конторами». Забыв при этом, что в первую очередь необходимо воссоздать альтернативу им в виде ПТУ и техникумов. И перестроить всю психологию мышления нынешних выпускников. Потому что ни один чиновник министерства не в состоянии ответить на вопрос: куда денется вся масса вчерашних школьников при полном отсутствии каких-либо перспектив продолжения профессионального образования? И при полной их не востребоваемости в таком состоянии на рынке труда.

Комментарии, как говорится, излишни.

Зачем стране столько недоучек?

Анализ деятельности нашего государства в системе образования показывает, что все эти «пореформенные» годы в стране было поставлено на поток производство недоучек.

Начиналось оно с детского садика. Продолжалось в средней школе. И окончательно формировалось в массе «шарашкиных контор», громко именуемых вузами.

Кому и зачем это было нужно, покажет история. Но ясно лишь одно: чрезмерное перепроизводство идиотов уже пагубно сказалось на всей жизни нашего государства.

Сегодняшний выпускник средней школы уже с трудом может считать в уме и порой вообще не способен логически мыслить.

Загнанный в прокрустово ложе ЕГЭ и вынужденный большую часть своего учебного времени заниматься натаскиванием на совершенно глупые тесты, он с трудом осознает, ради чего это все происходит. И достаточно смутно представляет себе свою дальнейшую судьбу в плане своей профессиональной ориентации.

Вынужденный большую часть свободного времени заниматься поиском заработков и средств для оплаты учебы студент за период обучения в вузе не успевает освоить даже азов своей профессии. И выглядит при получении заветной «корочки» полным профаном. Его выбрасывают в жизнь практически недоучкой на так толком и не сформировавшийся в России «рынок труда», обрекая на нищенское существование и вечную социальную неустроенность.

За последние годы страна получила огромную армию нигде и никем не востребованных «болонок» с дипломами бакалавров. И лишь единицы из них смогут за государственный счет получить вторую степень образования — диплом магистра. Который тоже, кстати сказать, ничего особенного в их жизни значить не будет. Потому что этот диплом предполагает дальнейшее продвижение по научной линии. А наука в России спокойно «почила в бозе». Так как большая часть научных центров и организаций за последние годы была уничтожена, а оставшиеся впадают в жалкое существование.

И все это вполне находит логичное объяснение с точки зрения экономики.

Существует давно и всем известная истина: приоритеты государства определя-

ются его реальными бюджетными вложениями в ту или иную сферу. Так вот! В Российской Федерации давно уже развитие образования перестало быть приоритетной сферой. И это очень легко доказать. В наше отечественное образование вкладывается менее 4 процентов ВВП. В то время как в Европе в среднем — 7—8 процентов ВВП, в США — 11 процентов, в Японии — 14 процентов, в Финляндии — 16,5 процента, а в Южной Корее — аж 25 процентов ВВП.

За те небольшие деньги, которые со своего барского стола кидает народу на образование наше «дорогое» правительство, можно воспитать только исключительно неучей. И этот процесс поставлен на поток.

Только вот ведь в чем вопрос: зачем России столько недоучек?

Ответ на него напрашивается сам собой.

Видимо, затем, чтобы как можно быстрее и окончательно превратить ее в страну даже не третьего, а «четвертого» мира.

Но, скорее всего, при таком подходе весьма скоро Россия как государство вообще может прекратить свое существование. И это — вполне реальный сценарий развития событий. Хотя он упорно прикрывается обильной словесной дымовой завесой и приукрашивается массой фантазий и мифов.

Образовательные «потемкинские деревни»

В качестве одного из таких мифов выступает образовательный бизнес-проект «Сколково».

Уже ни для кого из серьезных экспертов не является секретом, что данный «проект» — величайшая афера века. И на самом деле никакого прорыва в деле развития образования и науки он не сыграет. Главная задача сколковской аферы — заставить население страны поверить в то, что у нас еще есть какие-то перспективы на выход из тупиковой ситуации.

Однако на деле все обстоит до обидного просто. Ведущие роли в «Сколково» заняли не наши отечественные ученые и специалисты, а представители американских университетов и промышленных корпораций. А Сколковская бизнес-школа оказалась по карману лишь небольшой кучке российских олигархов, которые с радостью направили туда своих отпрысков в надежде на то, что по ее окончании они смогут занять место у руля российского бизнеса. Обучение в «Сколково» стоит сегодня дороже, чем в ряде ведущих американских университетов.

Аналогично данному проекту, недавно возник еще один проект: создать в Подмоскovie уникальную среднюю школу с самыми передовыми технологиями обучения. Пригласить туда со всей страны лучших учителей. Напичкать эту школу всеми новейшими достижениями техники. И готовить неких вундеркиндов. Естественно, из семей богатеньких бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Школу эту планируют создать на присоединенной к Москве территории — там, где будут размещаться офисы правительственных учреждений и виллы правительственных чиновников.

И это в то время, когда тысячи простых российских школ не имеют порой ничего, кроме куска мела и обшарпанной доски, страдают от хронического недофинансирования и отсутствия квалифицированных учительских кадров.

Кому и зачем нужно пускать пыль в глаза этими «проектами» и «образцово-показательными» учреждениями? Зачем нужно упорно распространять через все средства массовой информации благостную картинку благополучия в российской системе образования? Зачем нужно убаюкивать сознание граждан страны рассказами о предстоящих прорывах в модернизации? Притом что никаких реальных предпосылок к этой самой «модернизации» нет и, к сожалению, в ближайшее время не будет.

Видимо, это очередной пиаровский проект, направленный на создание видимости благополучия в нашем не совсем благополучном государстве.

И здесь весьма примечательно, что во главе данного «проекта» поставлен недавний главный пиар-менеджер кремлевской администрации господин Сурков. Именно он, человек, дважды выгнанный в свое время за неуспеваемость и прогулы из ведущих вузов страны (МИСиСа и Государственного института культуры) и непонятно каким образом получивший диплом магистра экономики в так называемом Международном университете, теперь является главным по модернизации страны. В ранге вице-премьера российского правительства.

Как говорится, все это было очень смешно, если бы не было так грустно.

Подобного рода подходы еще раз показывают, что вместо реального решения проблем возрождения страны нам в очередной раз подсовывают суррогат, замешанный на вранье, лицемерии и пошлости.

Что делать?

Этот классический вопрос мучает российскую интеллигенцию уже не одно столетие. И, наверное, будет мучить еще долго. Потому что однозначных ответов на данный вопрос в природе не существует. Но начинать с чего-то надо.

Первым делом пора выгнать из России всех заокеанских «советников» и «аналитиков». Особенно «аналитиков» Всемирного банка, работающих под крышей Высшей школы экономики, которая теперь официально является учреждением при Правительстве Российской Федерации.

Во-вторых, надо немедленно объявить мораторий на все «реформы» в системе образования и перестать бесконечно экспериментировать на живых людях.

Надо в корне изменить ситуацию с финансированием образования и науки, увеличив его не на проценты, а в разы.

В школу должно вернуться воспитание и развитие. Ибо, только такой подход может стать залогом того, что из ее стен перестанут выходить форменные дебилы. Надо добиться того, чтобы система первичной профессиональной ориентации начала работать уже со школьной скамьи, и выпускник 9-го класса уже отчетливо мог представлять, как ему в дальнейшем строить свои жизненные планы. Но для этого необходимо возродить систему среднего профессионального образования и перестать всех школьников ориентировать исключительно на дорогу в вуз.

Надо в корне изменить социальный статус российского учителя. Сделать так, чтобы он не чувствовал себя ущербным и ненужным в этом мире. Сделать его главной фигурой в деле формирования личности подрастающего поколения россиян.

Высшая школа должна стать истинной кузницей квалифицированных профессиональных кадров и первой ступенью к формированию научной элиты страны.

Российские вузы раз и навсегда должны утратить статус «шарашкиных контор» и стать полноценными научно-образовательными учреждениями.

Но сделать все это можно лишь при одном неслыханном условии. Во главе системы образования должны наконец-то появиться не только высоко профессионально подготовленные и национально ориентированные люди, подобранные не по принципу родства или личного знакомства. Это должны быть настоящие граждане своей страны, осознающие всю меру ответственности за порученное им дело.

Только тогда у нас есть небольшой шанс преодолеть тяжелейший коллапс в системе образования и прекратить наконец-то бесконечные детские игры взрослых идиотов.

Сергей Переслегин, Елена Переслегина

Дикие карты будущего

Главы из книги

«К вам Темза, сэр!»

В прогнозировании Будущего есть свои профессиональные трудности.

Во-первых, все прогнозы, как правило, воспринимаются в негативном ключе. Если на сорока страницах самым восторженным образом описать перспективы развития биотехнологий, а на сорок первой странице одним абзацем упомянуть военные перспективы «дизайна микроорганизмов», то читатели обязательно придут к выводу, что авторы предсказывают биологическую войну, вирус-химеру и поголовное уничтожение всего человечества.

Во-вторых, пугает только новое. Очень трудно убедить современного человека, что самым опасным из всех сценариев оказывается тот, в котором не происходит ничего неожиданного — просто последовательно распаковываются современные тренды, хорошо всем известные и привычные. Никто не верит, что не одна Россия, но и весь «цивилизованный мир» уже давно исчерпали все позиционные возможности не только для «устойчивого развития», но и для «управляемой деградации». Иными словами, если ничего не менять, ничего не делать, не ждать, не проектировать и не организовывать никаких чудес, ситуация — и взятая в общем, и рассмотренная в любом конкретном аспекте (энергетика, продовольствие, уровень жизни, социальное обеспечение, личная свобода, продолжительность жизни...) — непременно будет ухудшаться, и довольно быстро.

В-третьих, люди трепетно относятся к своим усвоенным с детства системам ценностей. Не то чтобы они часто следовали этим ценностям в реальной жизни, но сама мысль об изменении в будущем вызывает резкое эмоциональное неприятие.

Еще хуже воспринимаются прогнозы, в которых представлены привлекательные образы нетолерантного или недемократического Будущего. Нельзя усомниться в перспективах рыночной экономики. Что самое интересное: одинаково недопустимо предположить, что женщины могут при каких-то условиях утратить равные права с мужчинами и что несовершеннолетние дети могут (при каких-то других условиях) такие права получить. Можно рисовать мир без России и даже без Америки, но нельзя изобразить Будущее без Израиля. Можно прогнозировать (не в России, разумеется)

Переслегин Сергей Борисович — критик и публицист, исследователь и теоретик фантастики и альтернативной истории, социолог, соционик и военный историк.

Переслегина Елена Борисовна — психолог, руководитель Санкт-Петербургской школы сценирования — открытого семинара по стратегированию, сценированию, проектированию Будущего.

Публикации в «ДН»: «Вторая мировая война: мифы и Реальности» (2005, № 4).

последствия политического убийства В. Путина¹, но даже в России «не рекомендуется» рассматривать версии убийства Б. Обамы.

В-четвертых, у всех людей существуют свои профессиональные заблуждения относительно Будущего. Невозможно объяснить нормальному грамотному офицеру в 1910 году, что «перед лицом пулеметных гнезд кавалерия может только варить рис для пехоты», а в 2010-м — что не только авианосцы, но и межконтинентальные баллистические ракеты стали теперь атрибутом стран третьего мира и практически полностью утратили военное значение. Ни один вменяемый финансист не станет обсуждать с вами ни «безденежную», ни «бездорожную» модели экономики. Бесплезно говорить с ними также о «замкнутых циклах» или о том, что к современной экономике концепция рынка неприменима. Зато к абсолютно вздорной и бессмысленной идее «мира, в котором государства утратили свою роль, а их место заняли транснациональные корпорации» они отнесутся вполне благожелательно. Вообще, разнообразные профессионалы свято уверены, что мир изменяют (к лучшему) именно они, хотя история отнюдь не подтверждает этот вывод.

Отдельной категорией профессионалов являются политические и финансовые элиты, так называемые «лица, принимающие решения», которые свято уверены, что знают Будущее и, более того, сами делают его. Отчасти они правы: «те, кто принимают решения» действительно имеют и возможность, и право проектировать Будущее. Но очень часто они забывают, что такая возможность есть у каждого человека на Земле, и именно поэтому Будущее вариантно.

Наш любимый пример. В начале XV века английские и французские элиты достигли важного соглашения по будущему Европы. Французское королевство ликвидировалось, создавалось единое франко-британское государство, ядро «общеевропейского дома». В новом королевстве были уже поделены властные позиции, да и деньги. Высокие договаривающиеся стороны определили взаимные права и обязанности, сконструировали единую политическую линию.

В 1420 году был подписан договор в Труа, согласно которому дофин Карл объявлялся лишенным прав на корону. Королем после смерти Карла VI должен был стать Генрих V Английский, обрученный с французской принцессой Екатериной, а за ним — его сын, рожденный от этого брака. Это был смертный приговор независимости Франции. В 1422 году Генрих V внезапно умер и королем обоих государств стал его девятимесячный сын Генрих VI. Регентом при малолетнем короле стал английский герцог Бедфорд.

Чтобы полностью подчинить Францию, англичанам достаточно было соединить оккупированную северную Францию с давно контролируемыми ими Гиенью и Аквитанией на юге. Ключевым пунктом, мешавшим им это сделать, был город Орлеан, операция по взятию которого началась в 1428 году.

Не договорились только с семнадцатилетней крестьянской девушкой Жанной. Получилось очень неловко: осада Орлеана была снята, в войне произошел перелом, а Жанну пришлось посмертно причислить к элите и даже приписать ей королевское происхождение.

В этом примере, по крайней мере, соглашения правящих элит не противоречили логике развития политической и военной ситуации. Гораздо веселее, когда современные лица, принимающие решения, договариваются об устойчивом развитии при наличии отчетливых кризисных трендов и потом очень удивляются, что ничего такого не получается.

Позиция прогнозиста по отношению к таким элитам как будто взята из классического английского анекдота:

¹ Kuchins A. Alternative Futures for Russia to 2017 // A Report of the Russia and Eurasia Program. Center for Strategic and International Studies. Washington, November 2007.

— Сэр, сэр, нужно что-то делать! Срочно, прямо сейчас! Там наводнение, сэр. Темза вышла из берегов и заливает Лондон...

— Как вам не стыдно, Джон. Вы же камердинер лорда. Приведете себя в порядок и доложите как положено.

Через пять минут камердинер входит, уже выбритый, одетый в идеально выглаженный костюм, открывает дверь и хорошо поставленным голосом произносит:

— К вам Темза, сэр!

Технология прогноза: тренды и «дикие карты»

Эта книга, как и предыдущая «Новые карты Будущего»¹, посвящена актуальным, то есть кратко- и среднесрочным, прогнозам. Однако за два года, которые прошли после написания «Новых карт», обстановка в мире и в России резко обострилась. Пришел предсказанный экономический кризис, притом в наихудшей из возможных редакций «осциллирующей рецессии». Прогрессирующее старение населения поставило Евросоюз перед необходимостью пенсионной реформы, а события 2010 года во Франции показали, что провести эту реформу «малой кровью» (и лучше — на чужой территории) не удастся. Резко усложнилась, несмотря на повсеместное сокращение производства, ситуация в энергетике. Впервые за многие десятилетия перед «золотым миллиардом» возникла реальная угроза снижения уровня жизни, а Организация Объединенных Наций выступила с заявлением о прогнозирующейся неустойчивости продовольственного рынка. Пока, конечно, голод остается «призрачной угрозой». Для Европы — призрачной.

Речь не идет о глобальной катастрофе. Но Человечество уже сейчас столкнулось с необходимостью искать и находить нетривиальные и, очень возможно, единственные решения. Это означает, что в прогнозировании Будущего мы уже не можем ограничиваться примитивной форсайтной логикой: вызовы и угрозы задают набор противоречий, которые реализуются через систему трендов. Естественное развитие этих трендов порождает Неизбежное будущее. Проектная переупаковка их позволяет сконструировать Базовый сценарий, описывающий приемлемое Будущее, обязательно включающее в себя Неизбежное и «что-то еще».

Дело в том, что у нас уже нет приемлемого Базового сценария.

Поэтому приходится изыскивать различные, строго говоря, малые шансы. Иными словами, нас будет интересовать Будущее, в котором происходит реализация «диких карт». Напомним, что под «дикими картами» (wild card, «джокер») американская школа прогностики понимает события очень маловероятные, но крайне значимые. Традиционно американцы относят к «диким картам» события преимущественно катастрофические: от гипотетического падения астероида до уже произошедшего обрушения «башен-близнецов». На самом деле «джокер» может быть и позитивным. Например, неожиданная и важная инновация (к примеру, позиционная запись числа, двойная бухгалтерия), принципиальная идея (майорат), художественный текст (чтобы не беспокоить лишней раз чувства верующих, вместо Корана и Библии упомянем «Алису в Стране чудес»). «Джокером» может выступить просто человек, который неожиданно занял позицию и сказал: «На том стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог» — Лоуренс Аравийский, Мартин Лютер, уже упоминавшаяся Жанна Д'Арк.

Считается, что «джокеры» невозможно предсказать. В известной степени это верно, поскольку по определению «дикая карта» возникает сразу и целиком (иногда

¹ Переслегин С.Б. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд. — М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2009.

она и исчезает сразу и целиком), при этом ее появление не обусловлено ни историческими причинами, ни угрозами или вызовами, ни понятными разрывами в проектности.

Поэтому аналитическими способами предвидеть и тем более описать «джокер» не удастся. Но, слава богу, прогностика не сводится к аналитическим построениям. К тому же некоторые из тех «карт Будущего», которые привычно относят к «диким», вполне предсказуемы. Так в 1898 году М. Робертсон в романе «Тщетность, или "Крушение"» в деталях описал гибель «Титаника», случившуюся четырнадцать лет спустя. А мы в середине 1990-х рассматривали изменение характера террористической войны на рубеже XX и XXI веков, используя совершенно стандартную уставную военную логику.

Заметим здесь, что, как правило, довольно легко предвидеть событие, но гораздо труднее понять, к каким изменениям в системе сред оно может привести, к каким — приведет обязательно. Тот же М. Робертсон, например, не оценил воздействия гибели «Титаника» на характер будущей общеевропейской войны. Есть немало фантастических произведений, предсказывающих ядерное оружие (в одном рассказе автор в 1944 году, за четырнадцать месяцев до первого испытания атомной бомбы на полигоне в Аламогордо, даже упоминает уран и его изотопный состав, что вызвало едва ли не панику среди службы безопасности «Манхэттенского проекта»), но нет ни одного текста, предсказавшего переход военного противостояния сверхдержав в «холодную» форму. Сегодня, обсуждая возможность замкнутого ядерного топливного цикла, нужно отвечать на вопрос, как это изменит экономическую систему, и, в частности, объяснить, что произойдет с мировыми валютами сразу же, а что — чуть погодя.

ПОЧЕМУ БУДУЩЕЕ АКТУАЛЬНО?

Основой капиталистической экономики и всей политики является «обратное золотое правило этики»: научи всех правильно жить, но сам живи по-другому. Правильно жить — это заботиться о своей эффективности и конкурентоспособности, не тратить деньги на научные исследования, не обещающие немедленной выгоды или не вписывающиеся в современную систему глобальных рынков, найти свое место в мировом разделении труда, то есть удерживать на своей территории отдельные звенья производственного процесса, отдав все остальные его элементы на аутсорсинг. Ни в коем случае не расходовать средства, хоть государственные, хоть корпоративные, на осуществление каких-то глобальных проектов, поскольку такие проекты содержат неоправданно высокие риски и ничего не дают простым людям. Жить во имя настоящего, не сосредоточивая свои усилия на Будущем.

Все это правильно, но лишь при условии, что кто-то, кому вы полностью доверяете, удерживает рамку целого и конструирует глобальное Будущее приемлемым не только для себя, но и для вас. Причем контролировать этого «кого-то» вы не можете и полностью зависите от его доброй воли. Научные исследования у вас фрагментарны и полной картины не образуют, поэтому самостоятельно сыграть на неожиданно возникшем новом поле вы не можете. Еще хуже обстоит дело с традиционно дорогими, да еще требующими производственной базы НИОКРами. Ваша экономика включена в чужие производственные цепочки и может быть быстро перестроена только по чужим чертежам. У вас нет для будущего никаких наработок.

Зато *сегодня* ваша экономика эффективна, *сегодня* вы вписываетесь в мировой порядок и *сегодня* вы пользуетесь уважением его лидеров.

В Ветхом Завете на этот счет есть целая глава — про Исава, Иакова и прагматически полезную чечевичную похлебку (Бытие 25: 19–34).

Здесь нужно иметь в виду, что мировая система и те, кто ею управляет, могут вписать вас в неприемлемое для вас будущее даже не со зла. Во-первых, «пряников сладких всегда не хватает на всех», а в серьезный кризис — тем более. Во-вторых, они могут просто ошибиться.

Хороший пример: политика ограничения рождаемости в КНР. Разработали ее европейские специалисты, опираясь на собственный практический опыт, ничего плохого народу Китая они не хотели и были глубоко убеждены, что так будет лучше для всех, а для китайцев в первую очередь. Прошло лет тридцать пять — сорок, и Китай неожиданно столкнулся с проблемой прогрессирующего старения населения. Собственно, Европа с ней тоже столкнулась и тоже не знает, что теперь делать. Но в европейских странах давно выстроена индустриальная экономика и работающая (хотя со скрипом и на последнем пределе) пенсионная система. А в Китае индустриализировано побережье и более или менее Маньчжурия. Остальная территория страны остается крестьянской, о пенсиях там никто ничего не знает. Раньше это не составляло никакой проблемы, поскольку китайские крестьянские семьи традиционно велики, а забота о матери и отце в Китае — религиозная обязанность и нравственный долг. Но теперь-то в семьях один ребенок, который прокормить себя, свою собственную семью и обоих старых родителей физически не в состоянии. Если же платить крестьянам пенсию, система социального обеспечения прекратит существование. Понятно, что в перспективе эта проблема будет только усугубляться, хотя уже сейчас непонятно, что с ней вообще можно сделать. На конференции в Люцерне девушка, представляющая китайскую прогностику, сказала только: «Нам еще далеко до уровня жизни развитых стран, но по уровню старения населения и демографической нагрузке мы уже обогнали Бельгию и Голландию...»

В данном случае речь идет о локальной ошибке управления Будущим ценой всего около полутора миллиардов человек.

Гораздо выше может оказаться цена просчета, допущенного мировыми элитами в связи с нарастанием дисбаланса между потреблением и производством всех форм энергии. К серьезным неприятностям может также привести опасная уверенность Всемирной организации здравоохранения, что ей точно известно, что необходимо для здоровья человека, а что для него опасно и вредно.

Мир глобализован настолько, что разнообразие образов жизни людей резко сократилось. Поэтому любая допущенная ошибка приобретает всеобщий характер. Кроме того, эта ошибка, один раз «прописавшись» в системе глобальных рынков, уже не может быть быстро исправлена.

Возьмем в качестве примера всемирную медицину. Существует ясная позиция Всемирной организации здравоохранения в отношении детских прививок, в России ее активно транслирует глава федеральной службы «Роспотребнадзор» Г. Онищенко.

«Всех российских матерей следует лишить права отказываться от вакцинации своих детей. <...> Также он назвал такие действия отказа «преступными». Эту идею поддерживает и уполномоченный РФ по правам ребенка Павел Астахов»¹.

«Госдума еще летом обсуждала проект закона "Об охране здоровья граждан", где отказ родителей от вакцинации ребенка приравнивался практически к уголовно наказуемому деянию»².

Казалось бы, все правильно. Только вот есть две тонкости. Первая общеизвестна: прививки часто инициируют аллергические заболевания, бороться с которыми

¹ В России будут прививать детей без согласия родителей // RAMBLER Новости, 10 января 2011 г. (<http://news.rambler.ru/8674550>).

² Мосалова К. Прививки детям в приказном порядке? // Собеседник.RU, 8 января 2011 г. (<http://www.sobesednik.ru/health/privivki-detyam-v-prikaznom-poryadke#>).

современная медицина толком не умеет. Конечно, эти заболевания могут быть не смертельными и могут рассматриваться как «легкие неудобства», но, например, могут серьезно сузить диапазон профессий, доступных ребенку в будущем.

- Япония. После 37 убитых АКДС младенцев в 1970–1974 годах начался бойкот и волнения, в результате вакцинация была сначала вовсе отменена, а затем перенесена на двухлетний возраст. И Япония с 17-го места по детской смертности мгновенно стала страной с самой низкой в мире детской смертностью вплоть до 1980 года, когда начались прививки новой бесклеточной коклюшной вакциной в раннем возрасте. За последующие 12 лет частота СВДС (синдрома внезапной детской смертности) возросла в 4,7 раза.

- Коклюш, Англия. После просочившихся в СМИ сообщений об убитых и искалеченных прививкой детях начались массовые отказы от прививок в 1974–1978 годах, число привитых детей резко снизилось (с 80 до 30 процентов в среднем, в некоторых районах — до 9 процентов). Купленные журналисты стали раздувать слухи об эпидемии коклюша. Однако сухая статистика такова: в 1970–1971 годах имелось 33 тысячи заболевших и 41 смерть, а в 1974–1975 годах — 25 тысяч заболевших и 25 смертей от коклюша. Это притом что охват прививками снизился почти в три раза, а в отдельных районах — в девять.

- Коклюш, Германия. После серии фатальных осложнений Гамбург отказался от коклюшной прививки в 1962 году. За 15 лет после этого, в течение которых прививки не делались, обращения в больницы снизились почти в пять раз, также снизилось число осложнений¹. Резкое улучшение санитарии маловероятно, т.к. за это же время свинка выросла в шестеро.

- Коклюш, Голландия. Долгие годы дети прививаются, охват — 96 процентов, более чем достаточный по всем вакцинаторским нормам. Количество случаев коклюша по годам: 1995 — 325, 1996 — 2778, 1997 (11 месяцев) — 3747. Т.е. прививки не спасли от роста заболевания².

Гораздо более значима вторая проблема. Прививки в раннем возрасте стимулируют специфический иммунитет ценой ослабления неспецифического. Иными словами, ребенок не заболеет теми болезнями, от которых он привит, но ценой некоторого повышения вероятности подцепить другие инфекции. В принципе это совершенно стандартная задача по теории вероятности, и давно подсчитано, что при естественных предположениях об эпидемической обстановке математическое ожидание положительно: средняя продолжительность жизни у привитых детей будет чуть больше.

А если санитарная обстановка не окажется ненормальной? Скажем, из-за роста солнечной активности и повышения увлажнения Великой степи какой-нибудь до сей поры безопасный штамм мутирует, как это уже неоднократно случалось в истории, и в Европе вспыхнет серьезная эпидемия? Не окажется ли в этом случае поголовная вакцинация детей критической дополнительной нагрузкой на иммунную систему?

В прежние времена разобщенности мира одни страны и регионы прививки делали — и «выигрывали» почти всегда. Другие — не делали, поскольку не умели, не хотели, считали бессмысленным или религиозно недопустимым. Они почти всегда «проигрывали» — жили меньше и хуже. Но существовали ситуации, когда именно их «стратегия отказа» оказывалась наиболее адекватной.

Упрощая мир, мы снижаем вероятность локальных проблем, провоцируя глобальную катастрофу. Биологическая продуктивность возделанного поля выше, чем у естественного биоценоза. Но экосистема поля крайне уязвима в отношении внешних воздействий и без непрерывного человеческого труда существовать не может.

¹ Ehrengut W. Whooping-cough vaccination: comment on report from Joint Committee on Vaccination and Immunization 11 Lancet. 1978. V. 2. P. 370–371.

² Geier, D., Geier M. The True Story of Pertussis Vaccination: A Sordid Legacy? // Journal of the History of Medicine and Allied Science. Vol. 57. Number 3. July 2002. P. 249–284.

В известном смысле, глобализация превратила все Человечество в аналог такого «возделанного поля». «Человечество жило долго и счастливо и умерло в один день».

СЕМАНТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИГРЫ

В далекие времена школьники читали многие книги, зачитывались стихами, фантастикой, «Химией и жизнью». Они пели про это под гитару, создавая фон, тон и звон. Колокол звонил на весь Космос, и мы, советские, даже держались в битве за него до последнего. А потом как-то так получилось, что американцы высадились на Луне. И первая развилка «здесь нечисто играют» закружилась в душу и поселилась там. Единство треснуло по самой верхней грани. Грани Онтологии, грани Цели, грани Будущего. То есть истончилось понимание: во имя чего вся эта жизнь? Потом появилась импортная мебель и общественные места, куда можно было сходить и прожить жизнь. Почти сразу показались, пусть и бочком, большие деньги, и встала необходимость тратить на них то время, которое можно было валяться на диване, сидеть в метро или в парке с книгой. К этому времени как раз умерли ученые Шурики в очках из старых советских фильмов. И спортсменки-комсомолки. Им на смену пришли «Зимние вишни» и «Крепкие орешки». Рабство это не когда есть рабы, рабство это когда кончаются свободные.

«Гравитацией»¹ Дж. Уилера и К° стали украшать полки кабинетов в память о былом переживании чего-то Большого и Бесконечного. Ускорилося потребительское созревание. И половое. На сломе времен игры подобрали знамена и неуклюже встали на место книг. Почему неуклюже? Потому что, воображая героев сквозь текст, мы делали это сами, без подпорок, и рисовали полный континуум реальностей, становились квантовыми наблюдателями, хоть на миг. А в игре мы проживаем одну реальность, зато глубоко — иногда больно и голодно в дождливом лесу и в неудобном доспехе. Вся эта игровая эпопея имеет отражение в мире Взрослых — здесь тоже сценирование может быть дискретным от заказчика и континуальным от Бога. Те, кто владеет континуальным, у нас в стране еще читают книги и организуют игры. Они создают культуры игровых песенок про разные полезные миры, которые включают войну, стратегию, честь, созидание, творчество, то есть Игру с большой буквы. Они хотят построить тоннельные переходы между мирами и остановить размонтирование континуума. И не успевают. Они наши друзья. Наши союзники. Наш шестой легион.

Те, кто играет в наши игры, имеют сценарий, отличный от траектории усредненного социума, и тоже выигрывают по отношению к обывателям, которые не играют, не читают и не подключены к свету обобщенной мысли. То есть не знают пользы своей. Их большинство. Разночинцев не любят и элиты, и народ. Мы — перехожие. Из мира индустриального в мир когнитивный. От лампочки Ильича века революций к энергоизбыточным «светлым векам». Понятно, что на границе перехода лежат энергосбережение, устойчивое развитие и прочее раскачивание вагона. Так называемый постиндустриальный барьер. Пробовали работать обожравшись? То-то же... Вот и перепотребление подходит к своему пределу, и нужно выбираться из привычного мягкого и кондиционированного мирка и ставить цель. И тут начеку фундаменталисты, которые знают одну цель — свою! Основное противоречие современного мира — между фундаменталистами и нормальными людьми. Под нормальными будем понимать тех, кто находит себя в Целом, а под фундаменталистами тех, кто возомнил себя Главной частью. При этом будем справедливы: нами и ими управляет третья группа. Это Упыри, которые не слышали о целом и частях. Их дело — накручивать на себя кокон из денег, охранников, страховок от всего, и в особенности от перемен.

¹ Уилер Дж., Мизнер Ч., Торн К. Гравитация. М.: Мир, 1977.

Мы не отследили, когда к власти пришел обобщенный стругацковский кадавр, обожающий селедочные головы и с любовью кормимый Выбегаллой. Это не делает нам чести и заставляет за оную честь бороться. Игровики — наши братья. Интеллигенты из тех, кто не спрятался в фундаментализме, — тоже. Нас много, стоящих на страже свободы и познания, но с каждым годом — все меньше.

Наш средний возраст в 2010-м — пятьдесят лет. И это потому, что к нам прибились молодые ролевики, которые не догоняют наши ценности, но согреваются от них. Инженерия как основа творчества уходит из жизни. Там средний возраст шестьдесят пять. На смену изобретениям приходят некие мыслительные упражнения, не выраженные в вещах, приборах и работающих электростанциях. И скоро «красная кнопка» останется единственным символом уходящей эпохи. Зачем нам быть ее сторожами?

Игры мы используем как перископ во враждебном море, как инструмент технологического озарения и как тренинг штабных структур. Мы совсем не романтики игры, не рвемся к средневековым стандартам поведения и дракам на деревянных мечах. Поэтому оценку игры ведем по трем позициям — политический прогноз, пропущенные технологии, «дикие» онтологические карты...

Если раньше войны шли в пространстве географии, то теперь главные битвы — в пространстве истории, то есть стол и кров мы сразу не потеряем. Мы понимаем, однако, что нашу историю, включая ее советский период, очень многим хочется стереть с лица земли. Тем более историю технологическую, в которой много достижений, миром глобализации еще не преодоленных.

Битва идет за место в будущем. Это будущее может быть сформировано вне нашего языка, нашего технологического уклада, наших ценностей. И Космос нам могут запретить, как несостоявшимся исторически...

Но с нами Бог и законы физики.

Название этой книги связано с тем, что в России обычно два сценария будущего: фантастический и реалистический, причем реалистическим является инопланетное вмешательство, а фантастическим — наша собственная победа. Поэтому надежда на «дикие карты» велика, и время на их конструирование еще не вышло. Под «дикими картами» мы часто будем понимать события, которые подвергают сомнению принципы цивилизации и позволяют заглянуть в иное будущее или построить туда тоннельный переход. Одомашнивание стихийных неравновесных процессов свойственно европейской цивилизации, и если мы плетемся за ней, то явно стираем историю своего будущего, оказавшись в чужом проекте. Навсегда остаться Недоевропой мы и так успеем. С таким будущим РФ согласна.

Америка, играющая свою игру и предпочитающая покупать союзников и уничтожать конкурентов. При этом евроатлантическая цивилизация, противопоставленная СССР, развивалась куда быстрее, чем сегодня, и это признают даже наши мнимые друзья из НАТО. Увы, те, кому после шестидесяти годов.

Понимая, что стратегия в России — это всегда эффективная деятельность офицеров, несмотря на ублюдочные приказы генералов, мы можем «потянуть за середину» и выиграть за счет возрождения инженерии. То есть мы можем убрать профанацию из ключевых деятельностей и вернуть людям цели построения Будущего, а не вычерпывание из него.

Сделать эффективное мышление модным так же просто, как за десять лет сделать модой разговоры по мобильнику. Человечеству нечего делать, оно быстро учится. Эффективность заложена внутри каждого коренного европейца, а каждый русский помнит в своем роду хотя бы одного подковавшего блоху на спор. Что нужно? Нужен мобильник. То есть приборчик. То есть инженер, который понимает, как арестовать потребность в форму. То есть мыслитель, который понимает всю систему. Что касается блохи, то это про конверсию от изобретения. Как от Космоса было много

толку, измеряемого косвенно. Кто запихнул нас в матрицу: родился — учился — трудился — потребил норму — умер? Нужно выходить, разрушить матрицу и потянуться спросонья к небу. Там услышат! Господь не был против, чтоб мы творили по его подобию. Он нас для этого спас. Наша книга построена на трех китах: энергия, космос, люди. Это три, на наш взгляд, главных ресурса для проникновения в Будущее.

Отравленные страхом: технологическое барьерное торможение

После полета Юрия Гагарина президент США дал своему народу обещание побывать на Луне «до конца этого десятилетия». Между прочим, в тот момент у Америки не было приличного носителя даже для вывода корабля на низкую околоземную орбиту. Ничего, за семь лет справились.

Года три или четыре назад, в промежутке между Ираком и Афганистаном, Дж. Буш сказал, что на Луну надо бы вернуться. Вроде бы и опыт есть, и технологии за прошедшие сорок лет развивались, а в проектировании и моделировании вообще произошла революция. Но вот пока что разговоры идут о первых испытаниях нового носителя годику так к 2015, если успеют. А Луна проектируется на конец второго — начало третьего десятилетия.

Сугубо формально: несмотря на очевидный прогресс информационных технологий, время разработки сложных промышленных технических систем по сравнению с 1960 годами увеличилось в два-три раза, может быть, и более. Можно интерпретировать это через ухудшение общего качества человеческого материала. А можно сказать, что замедление технологического прогресса представляет собой результат взаимодействия с постиндустриальным барьером и имеет своей первопричиной изменение характера сопротивления информационной среды. То, что раньше получалось быстро, сейчас делается медленно или не делается вообще. Когда-то римляне тоже очень удивлялись тому, что урожайность полей вдруг начала падать и получить прежние урожаи не удается, несмотря ни на какие усилия.

Кризис 1973 года отправил на свалку истории линейные трансатлантические суда — визитную карточку всей индустриальной фазы развития.

К концу десятилетия был потерян лунный плацдарм, и это также весьма необычно. Индустриальная фаза развития с ее кредитной экономикой, провоцирующей экстенсивный рост и интенсивное развитие, никогда не сдает ранее захваченных позиций.

Сверхзвуковая авиация в этот период была еще жива, но влачила жалкое существование. Практически, этот плацдарм тоже был потерян, просто «оформление капитуляции» произошло позднее, уже в 2000-е.

Следующее десятилетие маркировано началом распада СССР, что представляло собой вполне нормальный индустриальный процесс перехода от колониализма к неоколониализму, наложившийся на неблагоприятный для Союза результат Третьей мировой (холодной) войны. Но в этом десятилетии произошли две *знаковые катастрофы* — «Челленджер» и «Чернобыль». Обе по иронии судьбы — в 1986 году.

Реакция общества на эти катастрофы заслуживает самого внимательного рассмотрения. И в случае с «Челленджером», и в случае с Чернобыльской АЭС мы имеем одну и ту же картину: в материальном мире — довольно заурядная авария с небольшим числом человеческих жертв, в информационном пространстве — настоящий апокалипсис.

«ПАРАДОКС БУХГАЛТЕРА» И БАРЬЕРНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

Индустриальные технические системы не бывают вполне надежны и потому время от времени гибнут. Тот же «Титаник», например, утонул. А на Тенерифе столкнулись два «Боинга-747», погибло свыше пятисот человек. ДС-10 упал под Парижем из-за дефектного замка грузового люка. И так далее и тому подобное. Поэтому сами катастрофы, разумеется, ничего не маркируют и ничего не значат.

Тем не менее анализ как самих катастроф, так и их технологических и социальных последствий весьма полезен для изучения явления технологического барьерного торможения.

Прежде всего попытаемся описать некую формальную «норму».

Будем считать техногенной катастрофой любое происшествие с технической системой, повлекшее за собой человеческие жертвы. Разумеется, факт гибели человека должен быть непосредственно связан с происшествием, причем наличие такой связи устанавливается юридически: иногда в судебном порядке, чаще — нормативно. Согласно Варшавской конвенции авиаперевозчиков 1929 года (она действует до сих пор, и выдержки из нее печатаются мелким шрифтом на авиабилетах), человек считается жертвой авиакатастрофы, если он умер непосредственно во время катастрофы или в течение 30 суток после нее. Такой же срок действует и в отношении других технических систем, за исключением российских газопроводов, где, согласно директиве Газпрома, установлен период в 90 дней. Когда кто-то умирает после нормативного срока, он не считается «жертвой», даже если причинная связь между фактом катастрофы и наступлением смерти существует и юридически установлена. В этом случае умерший квалифицируется как «пострадавший». Семьи пострадавших имеют право на страховую компенсацию, но в значительно меньшем объеме, нежели родственники жертв.

Всякая катастрофа обстоятельно расследуется. Ее причины, как правило, устанавливаются в судебном порядке, хотя широко распространена и практика внесудебных отчетов. Окончательный документ фиксирует обстоятельства происшествия, перечисляет факторы, непосредственно приведшие к гибели людей или способствующие развитию катастрофической ситуации. В обязательном порядке указываются виновные и определяется степень их ответственности. Кроме того, отчет должен содержать рекомендации по предотвращению подобных происшествий в будущем. Эти рекомендации не носят обязательного характера, но обычно позднее кладутся в основу нормативных документов.

Может оказаться так, что катастрофа произошла, люди погибли, но никто не должен быть привлечен к ответственности за случившееся. В морском праве такая ситуация носит название «форс-мажор»: причиной трагического происшествия являются непреодолимые силы природы.

Далее, катастрофа может произойти вследствие действия или преступного бездействия человека. Здесь различаются две возможности: преступный умысел и человеческая ошибка. Наличие умысла однозначно квалифицирует ситуацию как преступление. На уровне законов — и национальных, и международных — наказание за подобные действия жестоко и неотвратимо. На практике — как взглянется политикам. К примеру, захват отцом и сыном Бразинскасами советского Ан-24 и убийство бортпроводницы не было квалифицировано американским судом как акт воздушного пиратства. В наши дни НАТОвские военные никак не могут решить, как относиться к сомалийским пиратам. По морскому закону их надлежит вешать или передавать властям для суда и казни. Но это вроде бы не гуманно.

Человеческие ошибки весьма разнообразны. Прежде всего, проблема может быть заложена в «генетическом коде» технической системы — речь идет об ошибках на стадии проектирования. Далее, система бывает некачественно построена или

собрана. Она может эксплуатироваться в режиме, не соответствующем проектному. Могут ошибаться пользователи — операторы, экипаж и т.д. Регулярно возникают сбои в структурах, обеспечивающих безаварийную работу системы. Речь здесь идет о диспетчерских службах, техническом обслуживании, информационном обслуживании. Короче говоря, человеческая ошибка представляет собой фактор, нуждающийся в классическом системном анализе: прошлое, настоящее и будущее самой системы, всех ее подсистем, ее критических надсистем.

Общепринятая практика разделяет катастрофы, вызванные ошибками операторов и лиц, непосредственно обеспечивающих их действия, и происшествия, связанные с ненадлежащим техническим состоянием системы.

Наконец, случаются катастрофы, определить причины которых не удастся.

Важным проявлением барьерного технологического торможения является расширительное толкование понятия «человеческая ошибка». В наше время почему-то считается, что в любой катастрофе обязательно должны быть виноватые — если не юридически, то фактически. В реальности это приводит к постоянному ужесточению нормативного контроля, во-первых, и к непрерывной детализации регламентирующих документов, во-вторых.

Несколько упрощая, можно утверждать следующее.

Индустриальная практика исходила из того, что *система должна выполнять свои функции эффективно*. Поэтому любые человеческие действия, направленные на повышение эффективности системы, считались допустимыми, если они не противоречили профессиональному здравому смыслу. В спорных случаях учитывалось мнение «старших братьев» — опытных моряков, летчиков, диспетчеров и т.д.

Современная постиндустриальная практика полагает, что *система должна выполнять свои функции безопасно*. Любые человеческие действия, которые содержат в себе риск развития аварийной ситуации, считаются недопустимыми, даже если альтернатива противоречит логике, здравому смыслу и соображениям пользы. В спорных случаях действует принцип: опасно все, безопасность чего не доказана.

Этот подход, применяющийся на всех стадиях создания и функционирования системы, является одним из механизмов технологического барьерного торможения.

Начнем с простого примера. Понятно, что компьютер и Интернет позволяют бухгалтерам, экономистам, налоговикам, чиновникам экономить массу времени. Но в постиндустриальной действительности внедрение в делопроизводство компьютеров непременно сопровождается резким возрастанием требуемых объемов отчетности. В результате, несмотря на создание высокоэффективной системы информационного оборота, скорость этого оборота уменьшилась, а уровень загрузки специалистов возрос. Это и есть «парадокс бухгалтера».

В технике — все то же самое, только гораздо хуже. Современный самолет создается в шесть-десять раз медленнее, нежели его прототип в 1960-е годы, и, как уже говорилось, адекватного роста эксплуатационных характеристик при этом не наблюдается, в том числе и в отношении *реальной безопасности*. Но *требований к безопасности* стало неизмеримо больше, и всем этим требованиям проектируемый самолет должен удовлетворять. То есть современный долгострой возникает вследствие необходимости учитывать все большее и большее число *виртуальных* обременений.

В теории постиндустриальная техническая система способна противостоять самым невероятным вызовам. Слово «невероятный» здесь ключевое: система проектируется безопасной в отношении угроз, которые в реальной жизни не встречаются и встретиться не могут. Понятно, что таких угроз можно придумать сколько угодно. Необходимость парировать их «съедает» все возможности, предоставляемые современными компьютерами, информационными сетями, практикой междуна-

родного аутсорсинга, автоматическими системами проектирования, математическим моделированием.

КАТАСТРОФЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

Понятно, что со временем доля непреодолимых сил природы и невыясненных причин падала — это и называется техническим прогрессом в обеспечении безопасности.

С середины 1970-х годов профили катастрофы начали ощутимо меняться. Во-первых, стала ощутимо расти доля катастроф, вызванных наличием преступного умысла. Речь шла о терроризме, военных действиях, убийствах и самоубийствах — иногда в довольно странных сочетаниях.

9 февраля 1982 года DC-8 авиакомпании JAL влетел на мелководье после борьбы с психически ненормальным пилотом. Командир, у которого были проблемы с психикой, включил реверс двигателей, в то время как второй пилот и бортинженер пытались ему помешать.

7 декабря 1987 года уволенный сотрудник компании USAir Дэвид Берк, оставив друзьям предсмертную записку, застрелил обоих пилотов самолета British Aerospace BAe-146-200. Самолет вошел в пике и разбился, похоронив под обломками 43 человека.

19 декабря 1997 года Boeing B-737-300 исчез с экранов радаров и вскоре после этого упал в реку Муси. Почти новый самолет, летевший в крейсерском полете при хорошей погоде с опытным экипажем, внезапно сошел с курса и на большой скорости врезался в землю. Перед столкновением с поверхностью от самолета отделилось правое крыло и части руля поворота. Наиболее вероятной считается версия самоубийства командира экипажа; последний испытывал финансовые трудности и при этом должен был быть вскоре уволен.

Прогностический анализ позволяет заключить, что появится новая версия преступного умысла — катастрофа для прикола или от скуки. В принципе подобные истории уже случались.

Так, 20 октября 1986 года в Самаре разбился Ту-134А. КВС А. Ключев поспорил с другими членами экипажа, что зайдет на посадку «вслепую», только по показаниям приборов. Закрыв шторкой левое лобовое стекло, он приступил к этой процедуре. Второй пилот, штурман и бортинженер не препятствовали его действиям... Погибло 70 человек, Ключев, что характерно, остался жив.

Во-вторых, весьма неожиданно вновь вырос удельный вес невыясненных причин. Сплошь и рядом ситуация выглядит довольно скандальной.

1 июня 2009 года над Южной Атлантикой пропал аэробус A-330. До сих пор обломки самолета и его «черные ящики» не найдены. Причина катастрофы неизвестна, хотя телеметрия с самолета транслировалась в режиме on-line.

Годом позже, 12 мая 2010 года, такой же самолет разбился при посадке в Триполи. На этот раз «черные ящики» были найдены сразу, но что произошло с полностью исправным аэробусом, который буквально секундой позже должен был коснуться посадочной полосы, установить не удалось.

В-третьих, возник принципиально новый тип причин катастрофы: несогласованная работа экипажа и автоматики. Это нельзя отнести ни к человеческим ошибкам, ни к отказам техники. По отдельности и люди, и автоматизированные системы управления действуют вполне рационально. Сбой происходит между ними. Для постиндустриальных технических систем именно данная причина является ведущей, и следует ожидать, что в будущем ее удельный вес будет расти.

Наконец, растет значение катастроф, в которых преобладает сценарная составляющая. Они, конечно, были всегда, и не зря моряки испокон веку говорили: «Море не любит непотопляемые суда». Суть сценарной катастрофы состоит в том, что существует значимый сюжет, «прописанный» в людях, ситуациях, социальных процессах, в который данная катастрофа вписывается самым естественным образом. настолько естественным, что иногда хочется сказать: «Если бы этой катастрофы не было, ее следовало бы выдумать».

Классическим примером сценарной катастрофы является гибель «Титаника». Недаром она была детально предсказана в романе, а по ее следам было снято несколько фильмов, поставлены театральные пьесы, написаны книги. Следы сценарного фактора явно обнаруживаются в Чернобыле.

Летом 1998 года авиакомпания Swissair опубликовала рекламу в виде черного молитвенника, который лежит на крышке гроба: «Подходящее чтение для тех, кто пользуется услугами дешевых авиакомпаний». А уже 2 сентября этого года упал в Атлантику ее MD-11 с 229 людьми на борту. Причины этой катастрофы до сих пор толком не известны, хотя вроде бы установлен факт пожара на борту, возникшего в непонятном месте и по неизвестной причине. Впрочем, у тех, кто видел рекламу, никакого удивления эта трагедия не вызвала.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился польский Ту-154 с президентом Л. Качиньским на борту. Официальные причины катастрофы названы в официальном отчете МАК: ошибки пилотирования, погодные условия, вмешательство высокопоставленных лиц в работу экипажа. Сценарные факторы упоминать не принято. Тем не менее при анализе случившегося не покидает ощущение, что Лех Качиньский всей своей жизнью и политической деятельностью прописал такой финал. Он настолько ненавидел Россию, причинил ей столько зла, что просто должен был разбиться на русском самолете при посадке на русский аэродром для участия в мероприятиях, носящих достаточно антирусский характер. Он, по крайней мере, был последователен: своевременно убрал из экипажа людей, способных иметь свое мнение, настоял на посадке при погоде ниже минимума пилотов, самолета и аэродрома, отправил в кабину командующего ВВС на тот случай, если летчики все-таки решат уходить на запасный аэродром...

Сценарные факторы, конечно, сами не топят суда, не взрывают самолеты и не разрушают нефтяные скважины. Сценарии лишь видоизменяют поведение людей, провоцируя ошибки вполне определенного толка, и модифицируют вероятности, создавая целые взаимно увязанные цепочки событий, которые по отдельности ничего не значат, а вместе делают катастрофу неизбежной.

В конечном итоге приходится признать, что *постоянное расширение требований к безопасности привело лишь к тому, что изменились профили катастроф*: стало меньше человеческих ошибок и технических сбоев, зато больше преступного умысла, сценарных проблем и сбоев в человеко-машинном интерфейсе. Конечно, общее число катастроф за те сорок лет, которые прошли с начала барьерного торможения, несколько уменьшилось, но вряд ли это можно напрямую связать с политикой безопасности.

ЧЕРНОБЫЛЬ: КАТАСТРОФА ИЛИ ПРОЛОГ К КАТАСТРОФЕ?

Мы уже отмечали, что взрыв реактора в Чернобыле совершенно по-разному выглядит в материальном и в информационном измерениях. Другими словами, между реальной катастрофой и ее отражением в зеркале общественного мнения нет почти ничего общего.

Прежде всего, суть аварии, случившейся, кстати, не в Чернобыле, ставшем символом, а в соседнем с ним городе Припять. Произошел там взрыв не самого ядерного реактора, как утверждала пресса, а гремучего газа с разрушением корпуса

ядерного реактора и выбросом наружу радиоактивных материалов. Причиной была отнюдь не порочная конструкция реактора, а грубые ошибки операторов.

Многokратно преувеличено количество погибших. Согласно общественному мнению — более 100 000 человек, не считая врожденных уродств (еще около 100 000), по некоторым оценкам — до миллиона. В реальности — не более 711 человек: 3 погибли при взрыве (погибшие), 28 умерли в течение трех месяцев (пострадавшие), 10 человек погибли от рака щитовидной железы, вызванного Чернобылем (косвенные потери). Остальные 670 человек — это оценка сверху возрастания смертности в течение 30 лет — до 2016 года (статистические или демографические потери). Из общего числа в 711 человек 237 были госпитализированы с диагнозом лучевая болезнь, причем у 134 зарегистрирована острая форма.

Принято считать, что в районе Чернобыля произошла глобальная экологическая катастрофа, влияние которой будет ощущаться в течение столетий по всему земному шару. На самом же деле, масштаб невелик — это локальная катастрофа, приведшая к гибели т.н. «рыжего леса», эвакуации города и временному выводу из эксплуатации ряда пахотных земель. По истечении двадцатилетнего срока каких бы то ни было экологических последствий, даже на территории, непосредственно прилегающей к станции, не наблюдается.

И наконец Чернобыльская авария отнюдь не стала, как нас убеждают, крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества, сравнимой с самыми серьезными природными катастрофами и даже превосходящая их. Имела место лишь крупнейшая в истории *ядерная катастрофа*, которая заметно уступает по масштабу ряду других промышленных катастроф, по числу человеческих жертв — многим катастрофам на транспорте, по материальным потерям — экономическим кризисам. С природными катаклизмами ни по числу жертв, ни по материальным последствиям не сравнима.

Технологические последствия Чернобыля заслуживают того, чтобы перечислить их отдельно.

РАЗ. Согласно прогнозам МАГАТЭ середины 1970-х годов к рубежу тысячелетий в мире должно быть около 4500 ядерных реакторов. В действительности на сегодня в мире 439 функционирующих реакторов, еще 27 находятся в постройке, то есть проектные намерения были выполнены менее чем на 10 процентов. Это позволяет оценить как «эффект Чернобыля», так и реальность барьерного торможения.

ДВА. Количество вводимых ядерных мощностей резко сократилось, а цена энергоблока резко возросла в связи с новыми требованиями к безопасности. Это привело к кризису национальных и международных компаний-производителей ядерного оборудования. В конечном итоге даже такой гигант, как Westinghouse, потерял коммерческую самостоятельность.

ТРИ. Остановка развития ядерной энергетики опосредованно привела к торможению во всех секторах энергетики. Как следствие, возник дисбаланс между ростом потребностей на электроэнергию и темпами ввода в строй энергетических мощностей. Эта проблема усугубилась в начале 2000-х годов, когда в ряде стран ускорился процесс выбывания энергоблоков, выработавших свой ресурс. Желание продлить эксплуатационный и межремонтный период работы генерирующих систем, причем в технологически неадекватных, но коммерчески привлекательных режимах, привело к ряду аварий. Самой тяжелой из них была катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года.

ЧЕТЫРЕ. В ряде стран ядерная энергетика была законодательно запрещена. В тех странах, где ее роль в общем энергетическом балансе была значительной, возникла острая нехватка электроэнергии как для промышленного, так и для бытового потребления. К наиболее тяжелым последствиям это привело в Республике Армении.

ПЯТЬ. Цена на природный уран за 1986 год упала в четыре раза. В результате данный ресурс оказался сильно недооцененным, что привело к социосистемно неэффективной ядерной энергетике¹, причем вплоть до сегодняшнего дня все попытки перейти к рециклингу урана наталкиваются на сопротивление экономистов.

ШЕСТЬ. Резко замедлился технический прогресс в ядерной энергетике. На сегодня функционирует только один реактор на быстрых нейтронах — БН-600 на Белоярской АЭС, введенный в строй в 1980 году. С момента Чернобыльской катастрофы и по сей день не введена в коммерческую эксплуатацию ни одна инновационная ядерная энергетическая установка.

СЕМЬ. Оказался вне закона с вечным клеймом «чернобыльского» весьма эффективный реактор РБМК.

ВОСЕМЬ. Затормозилось развитие всех сопутствующих ядерных рынков — рынка очистки воды, лучевого легирования, рынка медицинских изотопов.

В результате человечество встретило XXI столетие с технологически неэффективной энергетикой, неопределенными мечтами о возобновляемых или альтернативных источниках энергии и все более и более заметной нехваткой электроэнергии. В этих условиях Чернобыль приходится рассматривать уже не как катастрофу, а как пролог к ней. Впрочем, барьерное торможение как раз и должно проявляться как своеобразный усилитель катастроф, работающий по определенной схеме.

Сначала техногенная катастрофа обретает информационную составляющую. Это приводит к включению механизма технологического торможения через избыточный социальный контроль.

Со временем развивается дисбаланс между ожидаемым и в силу этого экономически востребованным уровнем развития технической системы и реальностью. Такой дисбаланс выливается в экономическую, социальную или политическую катастрофу большого масштаба и, кроме того, сопровождается ливнем вторичных техногенных происшествий.

Интеллектуальная собственность, политкорректность и контроль над сетью

Различные формы защиты собственности играют важную и, вероятно, определяющую роль в торможении развития, но этой социальной практикой барьерные механизмы, разумеется, не исчерпываются. В последней четверти XX столетия все большую роль в замедлении технологического и гуманитарного прогресса начинает играть авторское право.

Авторское право охраняет интересы создателя интеллектуального продукта. Речь идет, во-первых, о защите имени автора, о борьбе с явным плагиатом, наконец, о необходимости согласовывать с автором всякие изменения, вносимые в продукт, а также любые иллюстрации, комментарии, предисловия, послесловия или иные добавления, которые непосредственно связаны с продуктом. Во-вторых, авторское право определяет порядок получения вознаграждения за творчество.

Исторически авторское право всегда носило частный характер.

Оно защищало только законченные продукты, то есть такие результаты интел-

¹ Социосистема, как и любая экосистема, тем эффективнее, чем более она замкнута по веществу и энергии. При низкой цене на природный уран коммерчески невыгодно перерабатывать ядерные отходы для повторного использования урана (замкнутый ядерный топливный цикл, урановый рециклинг). Возникает противоречие: социосистемно необходимое действие оказывается коммерчески неэффективным. Это и означает неоцененность используемых ресурсов.

лектуального труда, которые допускали трансляцию неограниченному числу лиц. Иными словами, текст книги мог быть защищен авторским правом, а идея книги — нет.

Закон никоим образом не запрещал использование отдельных элементов текста в произведениях другого жанра. Я. Перельман, включив в свою «Занимательную физику» альтернативную главу «Из пушки на Луну», сделанную по мотивам Жюль Верна, ничего не нарушал.

В принципе не запрещалось создание и даже официальная публикация «фанфиков» — зависимых интеллектуальных продуктов, использующих героев или антураж оригинала, хотя для серьезных авторов это считалось признаком дурного тона. Впрочем, везде есть свои исключения. «Прощание славянки с мечтой» В. Рыбакова заслуженно признан одним из лучших фантастических рассказов перестроенной России, хотя сугубо формально является фанфиком. Не будем здесь упоминать «холмсиану» — необозримый свод произведений, где действуют Шерлок Холмс и доктор Уотсон, «Последнего кольценосца» К. Еськова и другие толкинские фанфики, среди которых — обширный стихотворный и музыкальный архив на нескольких языках. В конце концов, под эту категорию попадает и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.

Авторское право не регламентировало использование общедоступных интеллектуальных продуктов, хотя наличие ссылки на автора считалось в этом случае признаком хорошего тона. Иными словами, если герой фильма слушает диск Булата Окуджавы или книжный персонаж вспоминает «Катюшу», на это не надо спрашивать разрешения у Исаковского или Окуджавы. А если кого-то из героев друзья называли Атосом, не нужно было обращаться к призраку Александра Дюма.

Авторское право ограничивалось сроком давности, не слишком значительным.

Эта правовая система просуществовала всю индустриальную фазу развития. Она более или менее устраивала всех, выгодно отличаясь от патентного права, где очень быстро установилась формула «сильный всегда прав». Действительно, патенты оказались эффективным тормозом на пути развития техники, позволяя корпорациям скупать изобретения и класть их под сукно, в то время как украсть полезную и прибыльную инновацию у изобретателя-одиночки крупному игроку не стоило ровно ничего.

Понимание того, что патентное право, в сущности, препятствует свободному обращению технологической информации и, следовательно, замедляет прогресс, появилось уже в начале XX века, когда был зафиксирован «патентный клинч» в конструировании самолетов. Оказалось, что в руках одного из игроков находится патент на управление по крену, а у другого — на управление по углу и тангажу¹. Поскольку самолет в обязательном порядке должен включать все три канала управления, а продавать за разумные деньги патент или хотя бы право пользования им обладатели категорически отказывались, сложилась нестерпимая ситуация. Ее разрешил эксцентричный мультимиллионер, который сделал конфликтующим сторонам предложение, от которого невозможно отказаться, а затем выложил все патенты в область свободного пользования.

И в Германии времен Второй мировой, и в США эпохи «Лунной гонки» всякая прорывная технологическая программа начиналась с обобществления ряда патентов.

Тем не менее во второй половине столетия патентное право не только не подверглось ограничениям, но и, напротив, расширило сферу своей юрисдикции. Появилось обобщающее и трактуемое все более расширительно понятие «интеллектуальной собственности». Как и любая другая собственность, интеллектуальная собственность может отчуждаться, продаваться, наследоваться.

¹ Тангаж (фр. *tangage* — килевая качка) — угловое движение летательного аппарата или судна относительно главной поперечной оси инерции.

Это сразу же привело к возникновению прав, как имущественных, так и неимущественных, у наследников создателя того или иного интеллектуального продукта. Нелогичность этого видна невооруженным глазом. Совершенно невозможно понять, почему дети строителя и проектировщика электростанции не имеют права получать свою ренту с каждого киловатта выработанной электроэнергии, а дети писателя или музыканта такой рентой обеспечены. Еще сложнее понять, почему наследники автора сохраняют за собой неимущественные права, то есть могут давать или не давать согласие на очередное переиздание. Это примерно как если бы дальний родственник конструктора пассажирского лайнера распоряжался бы стоимостью билетов и, сверх того, решал бы, кому их можно продавать, а кому нельзя.

Проблема усугубилась резким расширением срока давности авторского права и расширением списка правообладателей. Переиздавая мемуары времен Второй мировой войны, издательства сегодня должны договариваться не только с наследниками авторов, но и, например, с наследниками их стенографистов, творчески перерабатывавших воспоминания.

Поскольку авторское право перестало носить личный характер, возникли агентства, эти права защищающие — то есть зарабатывающие на их действительных и мнимых нарушениях. При этом реальному автору, чьи права вроде бы охраняются, может вообще ничего не выплачиваться.

Возникла целая группа прав на элементы художественного произведения: героев, антураж, названия, сюжетобразующую идею. Появился и соответствующий бизнес: регистрируется большое количество идей, изложенных наиболее общим языком, благо сюжетов вообще ограниченное количество и охватить все возможности не очень сложно. Затем, когда кто-то создаст произведение и оно приобретет популярность, можно подавать в суд. Скорее всего, конечно, ничего не выгорит, но всегда возможны варианты. Кроме того, сам по себе судебный процесс, скажем, против Джоан Роулинг, принесет определенные бонусы известности.

Самое интересное и значимое с точки зрения барьерного торможения, что круг лиц, чьи авторские права вы можете вольно или невольно нарушить при создании собственного интеллектуального продукта, в сущности, не определен. Это превращает творчество, особенно же безгонорарное сетевое творчество, в хождение по минному полю. Например, если издательство «Росмэн» купило права на перевод цикла произведений той же Дж. Роулинг, вы не можете опубликовать в сети альтернативный перевод, даже бесплатно. Поскольку исчерпать достаточно сложный художественный текст одной-единственной версией перевода невозможно в принципе, мы сталкиваемся с практикой искусственного сужения канала информационного кросс-культурного обмена. Можно высказать и более общее утверждение: *уменьшение практической пропускной способности всех каналов обмена информацией и является реальным социальным содержанием современной версии прав обращения интеллектуальной собственности.*

Не менее важна и другая сторона дела. В принципе демократическое общество должно предоставлять своим гражданам определенные свободы. Пока не существовало мировой Сети, гарантии информационной открытости оставались для власти необременительными: для «человека с улицы» получить доступ к популярному новостному ресурсу было достаточно сложно, а право свободно говорить все, но при условии, что этого никто не услышит, не имело смысла ограничивать.

Ситуация начала меняться, когда возникла электронная почта, и изменилась кардинально с появлением Интернета. Сейчас нельзя гарантировать, что та или иная информация, выложенная в Сеть, пусть даже на самый маргинальный ресурс, не будет «раскручена» и не привлечет всеобщего внимания. Иначе говоря, *право на свободный обмен информацией стало технически обеспечено.* Это обстоятельство способствовало ускорению научно-технологического развития, стимулировало раз-

витие социальное и политическое. Иными словами, в логике барьерного торможения оно породило ряд принципиально новых рисков.

Следовательно, возникла необходимость ограничить те возможности, которые породил Интернет. Это было сделано путем расширения уже существующих юридических норм.

Авторское право препятствует обмену информацией под тем предлогом, что это наносит имущественный ущерб правообладателю. Внимание, вопрос! Как запретить на территории своей страны нежелательную книгу? При тоталитарном режиме нужно запретить издание и строго наказывать за самиздат. При демократическом режиме достаточно купить права, издать книгу тиражом 300 экземпляров, «для своих», и преследовать за нарушение авторских прав любые попытки выложить текст в Интернет.

Авторское право в его современной интерпретации является ведущим, но не единственным механизмом противодействия информационной свободе в Интернете. Весьма значимым является «противодействие терроризму».

Когда-то в античном Риме возник локальный кризис хлебных поставок. Этот кризис был искусственно связан с проблемой пиратства. Необходимость наказать гнусных пиратов, лишивших римских граждан хлеба, была столь очевидна для всех, что Помпей немедленно получил — разумеется, исключительно для борьбы с пиратами — диктаторские полномочия без указания срока окончания действия. Когда-то Тиберия Гракха убили по одному подозрению в том, что он хочет для себя таких полномочий... За Помпеем пришел Цезарь, потом Октавиан Август установил порядок, и история Римской республики закончилась.

«Противодействие терроризму» началось с юридического запрещения использовать для переписки в Интернете не одобренные официально, то есть криптографически надежные, шифровальные программы. Хотя очень трудно понять, почему государство считает возможным таким изощренным образом ограничивать право граждан на тайну переписки, тем более что это право гарантировано любой современной Конституцией. Тем не менее факт остается фактом: я могу посылать через Интернет только такие письма, которые «компетентные органы» при надобности смогут прочитать.

Далее началась борьба с сайтами, способствующими террористам. Поскольку святое дело уничтожения этих врагов рода человеческого не должно было ограничиваться юридическими рамками, пришлось отказаться от презумпции невиновности. Сегодня любой информационный ресурс может быть охарактеризован как «террористический» и закрыт, причем доказывать свою невиновность придется владельцу контента.

Как-то само собой борьба с терроризмом перешла в «противодействие экстремистской деятельности». Ну здесь уже все понятно: любое сомнение в существующем режиме и его механизмах функционирования может считаться экстремистским, а любое высказывание на ту тему, что люди вообще-то отличаются друг от друга и поэтому не могут иметь равные права и нести равные обязанности, легко объявить нетолерантным. Для полноты счастья ряд стран ввели уголовную ответственность за реинтерпретацию исторических событий: отрицание холокоста, голодомора, Чернобыля, Катыни и т.д.

Даже если нежелательный информационный ресурс не нарушил ни один государственный закон, всегда найдется отдельный человек или целая организация, готовые устроить надлежащий судебный процесс, обвинив владельца контента в нарушении их прав или оскорбительных заявлениях.

Житель города Ки-Уэст, штат Флорида, подал в суд на сайт WikiLeaks и его основателя Джулиана Ассанжа. Как сообщает MSNBC, в жалобе Дэвид Питчфорд указал, что скандальный интернет-ресурс нанес ему серьезную психологическую травму.

В документе, поступившем недавно в суд Южного округа штата Флорида и написанном с большим количеством ошибок, Пичфорд подробно описал свои ощущения от деятельности сайта WikiLeaks. Так, он указал, что Ассанж, которого он называет предателем, шпионом и террористом, намеренно нанес ему моральный вред, который привел к ухудшению психологического и физического состояния не только самого истца, но и всех граждан США и каждого жителя планеты.

Лично Пичфорд испытал большой стресс и впал в депрессию оттого, что на WikiLeaks появились секретные документы. Кроме того, американец указал, что работа сайта также повлияла и на его здоровье — ухудшила ситуацию с гипертонией. Согласно иску, все эти симптомы протекают на фоне «постоянного страха получить еще один сердечный приступ» и боязни оказаться на грани «ядирной» (nuclear) войны.

В связи с этим Дэвид Пичфорд потребовал возместить ему ущерб, который он оценил в 150 миллионов «доллоров» (dollors). В конце документа он попросил суд запретить Джулиану Ассанжу продолжать публикацию «документов» (documents), касающихся США¹.

К этой претензии, разумеется, никто не отнесется серьезно. Любопытно только, что чуть раньше на ту же тему высказался Госдепартамент США. По его оценке, публикация документов WikiLeaks «подвергает риску жизни бесчисленных невинных людей от журналистов и правозащитников до блоггеров и солдат, а также личностей, предоставляющих информацию для укрепления мира и безопасности», а также «подвергает риску военные операции, включая операции против террористов, торговцев людьми и оружием, преступников и других, кто угрожает глобальной безопасности».

В июле 2010 года на WikiLeaks были выложены 76 тысяч секретных документов, содержащих информацию о военных действиях в Афганистане (в документах, в частности, содержались секретные данные о гибели афганских мирных граждан и рассказывалось о гибели мирных жителей в результате ошибочных действий военных НАТО). В случае с афганским досье помощь в распространении материалов WikiLeaks оказывали также New York Times, Guardian и Spiegel. Представители Белого дома назвали утечку информации «безответственной» акцией. Советник президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности генерал Джеймс Джоунс заявил, что эти опубликованные материалы «могут подвергнуть риску жизнь американцев и наших партнеров, а также угрожать нашей национальной безопасности».

В ноябре суд Швеции выдал международный ордер на арест основателя сайта WikiLeaks, который обвиняется в изнасиловании, сексуальном домогательстве и незаконном применении силы. «Дж. Ассанж отвергает все выдвинутые прокурором обвинения», — заявил адвокат основатели WikiLeaks Бьорн Хюртиг².

Обратим особое внимание на обвинения в сексуальных домогательствах. Секс можно рассматривать как дополнительный повод к установлению информационной блокады. На практике как источник ограничений на обмен информации секс не особенно уступает терроризму. Есть особенная пикантность в двойственности ограничений.

Если автор контента консервативен, его можно преследовать за недостаточно политкорректное отношение к сексуальным меньшинствам. В наши дни назвать гомосексуализм сексуальным извращением уголовно наказуемо во многих цивилизованных странах.

Если автор контента либерален, ему можно «пришить» одобрение детской порнографии или вообще растление малолетних, а также некрофилию, пропаганду жестокости и насилия.

¹ Неграмотный житель Флориды оценил стресс от WikiLeaks в 150 миллионов долларов // Lenta.RU. 15.01.2011. (<http://lenta.ru/news/2011/01/15/suit/>).

² Досье WikiLeaks // ИНТЕРФАКС, 29.11.2010 (<http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=166827>).

Если автор исключительно осторожен и взвешен во всех своих суждениях, всегда найдется возможность обвинить его в сексуальных домогательствах. Ну, может, не сейчас, а лет тридцать назад: в школе или в детском саду... Пример тому — арест в Швейцарии легендарного режиссера Романа Полански по обвинению в совращении несовершеннолетней, произошедшему тридцать лет назад.

Подведем итоги. Технические свершения последней четверти XX века должны были сделать современное общество информационно открытым. В действительности, используя механизмы охраны интеллектуальной собственности, противодействия экстремистской деятельности и борьбы с сексуальными домогательствами, правящим элитам современного общества удалось построить демократическое общество, более несвободное информационно, нежели многие тоталитарные режимы. Рост информационного сопротивления не только привел к замедлению развития, то есть сыграл роль одного из механизмов, ответственных за барьерное торможение, но и создал поколение людей, живущих за счет судебных процессов по обвинению мировой Сети в нарушении чьих-то имущественных или неимущественных прав. Будем называть эту социальную практику — лоуфером, от английского low — закон.

«Окно возможностей» закрывается

Социальные механизмы действуют статистически. Говоря о барьерном торможении, о «политике нулевой пассионарности», приводя примеры сейфера, велфера, илфера и иных общественных практик, мы имеем в виду, что с начала 1970-х годов перечисленные явления и процессы начинают проявляться в обществе со временем все более ярко. Их можно наблюдать воочию и диагностировать аналитически — по новостным материалам, экспертным заключениям, изменениям юридической практики, движению патентов, состоянию мировых рынков. Можно изучать их проявления в культуре: например, кризис научной фантастики в 1970-х годах и взлет «фэнтези», расцвет «женского романа», который неожиданно становится самым популярным литературным жанром, — все это, конечно, проявление барьерных закономерностей.

Однако распространенность не подразумевает повсеместности. Как говорил Дж. Толкин: «Зло не царит над миром безраздельно», и мы далеки от мысли, что в мире нет никакой альтернативы постиндустриальному замедлению технологического и социального развития и последующей фазовой катастрофе. Будь это так, не имело бы смысла писать данную книгу.

В конце концов, на последнюю четверть XX столетия приходится IT-прорыв: коренной переворот в системах обработки информации и в технике связи. Был построен и выведен на орбиту телескоп Hubble. Завершена расшифровка человеческого генома, что породило целый ливень сопутствующих разработок и технологий. Началось проникновение на уровень нанотехнологий.

Возникло такое совершенно новое политическое образование, как Европейский союз с его общим валютным, таможенным, визовым и юридическим пространством. При общемировом снижении темпов экономического и технологического роста интенсивно развивались Финляндия, Индия, некоторые страны Юго-Восточной Азии, Китай. Причем в отношении стран Востока можно сказать, что они еще не вступили в этап барьерного торможения, в сущности, там сегодня еще только достраивается промышленная фаза. Но Финляндия — несомненно, страна постиндустриальная, и NOKIA добилась несомненных успехов, несмотря на все негативные тенденции, кстати, проявленные в Финляндии очень ярко. До самого последнего момента, до кризиса 2008 года, Исландия и Ирландия осуществляли свой локальный проект когнитивного перехода.

Вполне понятно, что мировые элиты не злонамеренны и в их планы постиндустриальная катастрофа не входит, тем более что она подразумевает очень высокую вероятность физического уничтожения всего современного глобализированного правящего класса. Поэтому негативные тенденции как-то отслеживаются и им что-то по мере сил и возможностей противопоставляется. Увы, как показывает опыт всех без исключения ролевых игр, люди, находящиеся у власти, всегда реагируют на кон-

кретную тактическую угрозу, а не на отдаленную проблему стратегического характера, даже если ее опасность они вполне осознают. Иными словами, профилактика от «нового 1968 года» всегда кажется властям задачей более актуальной, нежели воспитание населения, способного перейти постиндустриальный барьер.

Выше были перечислены все или почти все примеры сопротивления «барьерным» тенденциям и социальным практикам. Одна ласточка, несомненно, намекает на возможность наступления весны, но все-таки весну не делает. Ирония сложившейся ситуации состоит в том, что мы встречаем критический этап в истории человечества в совершенно неподходящей организационно-деятельностной конфигурации: с низкопассионарным населением, управлением, склонным к решению узкоэгоистических задач, неэффективной экономикой и потерявшей динамику культурой.

ПРОСТРАНСТВО СТРАТЕГИЙ

В целом ситуация выглядит следующим образом: столкновение цивилизации с постиндустриальным барьером проявилось как возникновение ряда тормозящих социальных практик. Это усугубилось попытками правящих кругов Запада предотвратить развитие революционной ситуации 1968 года, что вылилось в «политику нулевой пассионарности» и строительство социального государства. В результате произошло резкое снижение качества человеческого материала, упала производительность капитала и возникла угроза кризиса евроатлантического мира-экономики.

Ответом на этот риск стала политика глобализации, которая стала возможной после краха СССР. Глобализация привела, однако, лишь к двадцатилетней передышке. Начало кризиса удалось отодвинуть, но за счет увеличения его масштаба. К концу 2008 года экономические возможности глобализированной экономики были полностью исчерпаны.

Кроме того, распад Советского Союза и крушение советского мира-экономики снизили уровень технологической, научной и военной конкуренции, что, во-первых, привело к дополнительному барьерному торможению и, во-вторых, уничтожило возможность выхода из экономического кризиса через перекачку инвестиционных ресурсов в альтернативные экономические структуры (механизм Кондратьева). На практике это проявилось как пропуск очередного Кондратьевского цикла.

Политика глобализации привела к росту международного терроризма и переходу его в новую, гораздо более опасную форму. 11 сентября 2001 года мир столкнулся с классическим событием-маркером, обозначающим точку невозврата в фазовом кризисе. Реакция Запада на разрушение «башен-близнецов» была инстинктивной и вполне гомеостатической, то есть выполненной в логике естественного ответа социальной системы на внешний раздражитель. Результатом стали две малопопулярные и затратные войны, а также развитие практики ограничения демократических свобод под предлогом борьбы с терроризмом.

После 2001 года и кризиса «доткомов» барьерные угрозы начинают восприниматься некоторыми национальными лидерами всерьез. Обсуждаются возможности крупной войны, девальвации доллара и три основные версии технологического развития.

Версия первая. Не делать ничего! В сценировании это называется инерционным сценарием, который, как правило, наиболее вероятен. Воплощением этой сценарной версии стала «концепция устойчивого развития». Поскольку даже в рамках инерционного подхода что-то делать с падением производительности капитала все-таки было надо, началось надувание «экологического пузыря». Предполагалось извлечь новые стоимости из модели «глобального потепления» — так возникли квоты на парниковые газы, распространились электромобили и гибриды, развилась мода на альтернативные источники энергии и была сформулирована доктрина «безуглеродных городов».

Версия вторая. Создать в стране условия для формирования новых, лежащих за пределами индустриального мира образов жизни, деятельности и мышления. Данный сценарий был доведен до осмысленного текста только в Японии при Д. Коидзуми, но ряд небольших государств рискнули применить его в своей повседневной политике: Ирландия, Исландия, Сингапур, Тайвань, отчасти Малайзия. Европейский

союз всерьез считал до кризиса 2008 года, что у них этот проект реализован де-факто. Россия, как водится, уже десять лет не может определиться с тем, реализует она данный сценарий или нет. Соединенные Штаты, как обычно, сменили администрацию и начали последовательно и методично создавать предпосылки для когнитивного проектирования.

Версия третья. Перейти от «хай-тека» к «хайес-теку», то есть резко усилить инновационный сектор в экономике. Эта сценарная версия насчитывает несколько вариантов:

- Наиболее простой и традиционный — развивать инноватику вообще, не конкретизируя это понятие: «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ»¹. В реальности вариант свелся к строительству технопарков, организации венчурных фондов и клубов «бизнес-ангелов» и созданию через частно-государственное партнерство национальных инновационных систем. Позитивные результаты это принесло только в Финляндии, в остальных же странах быстро выяснилось, что таким путем невозможно не то чтобы получить настоящую инновационную экономику, но даже просто надуть «инновационный пузырь». К тому же недавний кризис «доткомов» не внушал особенного оптимизма.

- Второй вариант: сконцентрироваться на информационных технологиях и сетевой индустрии. Считалось, что, несмотря на серьезную конкуренцию в этом секторе, там еще достаточно свободного пространства для разворачивания инновационной экономики. Это и в действительности так, но любая новая IT-технология вступает в противоречие с уже налаженной системой контроля над информационным пространством, поэтому ее реальная доходность всегда оказывается гораздо ниже планируемой.

- Третий вариант — включить в экономический оборот принципиально новые технологические системы, ранее или вообще не известные, или же занимающие нишевые рынки. Речь идет, конечно, о биотехнологиях и нанотехнологиях. Здесь в самом деле открываются широкие экономические возможности, и Соединенные Штаты на всякий случай «застолбили территорию», приняв ряд законодательных актов, организовав Биотехнологическую корпорацию и выступив с национальной инициативой в области нанотехнологий.

- Вариант четвертый — изменить экономическую систему — приведен для полноты, поскольку ни одна страна не ударила в этом направлении и палец о палец.

На сегодня можно с уверенностью сказать, что все перечисленные сценарные разработки запоздали. Тем не менее делать что-то надо. Бывают такие ситуации, когда командующему остается рассчитывать только на героизм своих солдат, а политикам и промышленникам — только на гениальность своих ученых и инженеров, на их способность «сэкономить» одно-два или даже три десятилетия.

Ситуация усугубляется тем, что процессы барьерного торможения зашли очень далеко, а к тому же инновационно настроенные лидеры составляют среди мировых элит меньшинство, хотя и влиятельное. В целом истеблишмент склонен придерживаться своей прежней политики, разве что внести в нее некоторые тактические коррективы. И в условиях фазового кризиса трудно рассчитывать на лучшее.

Необходимо принять во внимание, что в мире уже наблюдается нехватка энергии и, возможно, продовольствия. Любая стратегия, направленная на создание новых секторов экономики — в виде инновационных систем, или новых технологических кластеров, до известной степени, даже раздувание «пузырей», — приведет к росту требований на электроэнергию и, вероятно, к прогрессирующей ее нехватке. Поэтому любое инновационное продвижение потребует в качестве своего фундамента опережающего развития энергетического сектора. На это тоже потребуются деньги, люди, которых всегда не хватает, и время, которого нет совсем.

«Окно» сценарных возможностей закрывается на наших глазах, но оно еще не закрыто окончательно.

Примерно так выглядит сценарное пространство, на котором развернутся все значимые события ближайшего десятилетия.

¹ Лозунг, под которым китайский лидер Мао Цзэдун провозгласил в 1957 году широкую кампанию по усилению гласности и критики. Движение называлось Байхуа юньдун (WTEfeStl).

Таир Мансуров

Вызов времени

ЕврАзЭС — наиболее успешная форма экономической интеграции на постсоветском пространстве

Интеграция — одно из магистральных направлений развития стран в современных условиях.

Особенно актуально это на постсоветском пространстве, где имеются серьезные предпосылки для интеграции, обусловленные историческими причинами экономического, культурного, социального и иного характера. Возникшие новые независимые государства должны были выстраивать новую стратегию торгово-экономического сотрудничества и создавать рыночные механизмы взаимодействия в различных сферах деятельности.

В сложнейших условиях начала 90-х годов, на пике дезинтеграции, Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, выступая в 1994 году в МГУ им. М.В. Ломоносова, предложил разработанный им Проект о создании Евразийского союза государств. Прежде всего он тогда отметил: «История дает нам шанс войти в XXI век цивилизованным путем. Одним из способов является, на наш взгляд, реализация интеграционного потенциала инициативы по созданию Евразийского союза, отражающей объективную логику развития постсоветского пространства и волю народов бывшего СССР к интеграции».

Основными направлениями взаимодействия были определены экономика, наука, культура, образование, экология и оборона. Предложенный проект формирования Евразийского союза предполагал создание ряда наднациональных координирующих структур.

Эта идея с самого начала имела своих сторонников и противников, но в тот период оказалась невостребованной не была реализована. Однако в последующем Евразийский проект, по сути, стал концептуальной и организационной основой для формирования Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Таможенного союза (ТС), Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического союза.

Принятие в 2000 году в Астане решения об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в состав которого вошли Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан, стало свидетельством единства политической воли руководителей пяти государств решительно идти по пути взаимного многопланового сотрудничества и реальной экономической интеграции.

Мансуров Таир Аймухаметович — Генеральный секретарь ЕврАзЭС, доктор политических наук. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

ЕврАзЭС — это крупный региональный рынок (более 182 миллионов потребителей), располагающийся на самой большой в мире территории (15 процентов обитаемой суши), обладающий мощной минерально-сырьевой базой и значительным экономическим потенциалом. По оценке Статкомитета СНГ, его доля в мировом ВВП в 2010 году составила 4,4 процента. В Сообществе сосредоточены 8,5 процента мировых разведанных запасов нефти, 25 процентов — природного газа, 22 процента — угля, более 20 процентов — пресной воды и лесного покрова планеты.

Этапным для ЕврАзЭС стал октябрь 2007 года, когда главы государств Беларуси, Казахстана и России приняли решение о формировании Таможенного союза.

Как известно, Таможенный союз начал работать с 1 января 2010 года с введением в действие Единого таможенного тарифа и Единых правил тарифного и нетарифного регулирования. 1 июля 2011 года был полностью снят таможенный контроль на внутренних границах между Россией, Казахстаном и Беларусью и все виды таможенного контроля и оформления перенесены на внешний контур Таможенного союза.

Таким образом, Таможенный союз действует по всем международным стандартам с единой таможенной территорией, Единым таможенным тарифом и Таможенным кодексом Таможенного союза, в нем работает первый наднациональный орган на постсоветском пространстве — Комиссия Таможенного союза (КТС). Формирование Таможенного союза создало благоприятные условия для роста торговли и экономики, развития свободной конкуренции и усиления инновационной активности на внутренних рынках стран-участниц.

Важно подчеркнуть, что экономика в целом, бизнес-сообщество и население Беларуси, Казахстана и России получили реальную и ощутимую выгоду от Таможенного союза, так как были полностью устранены таможенные и прочие барьеры во взаимной торговле трех стран, а импортные товары из других стран, прошедшие таможенное оформление на внешней границе Таможенного союза, теперь свободно обращаются внутри таможенной территории, конкурируя с товарами наших стран.

Это сразу ощутили и многие миллионы жителей приграничных областей наших государств, для которых в прошлое отошли практически все утомительные процедуры трансграничных переходов.

По расчетам ученых Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, макроэкономический эффект от создания Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС составит дополнительно не менее 5 процентов прироста ВВП на десятилетнюю перспективу.

ЕврАзЭС — признанная региональная международная организация. Она создана в полном соответствии с принципами ООН и нормами международного права и обладает международной правосубъектностью. Это четко структурированная система с жестким механизмом принятия и реализации решений.

В структуре управления Сообществом действуют Межгосударственный совет, Интеграционный комитет, Межпарламентская ассамблея и Суд Сообщества.

В ЕврАзЭС действуют 23 совета и комиссии, в их числе 4 вспомогательных органа Сообщества и 19 советов и комиссий при Интеграционном комитете ЕврАзЭС. Принципы построения Сообщества позволяют по мере достижения более высоких уровней интеграции добровольно передавать наднациональным органам соответствующие полномочия.

Как известно, современная международная экономическая интеграция имеет следующие формы по степени развития взаимодействия: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз.

Благодаря принятым в рамках Сообщества мерам по организации зоны свободной торговли без изъятий и ограничений, взаимный товарооборот между странами ЕврАзЭС увеличился с 29 млрд долларов в 2000 году до 123 млрд в 2008 году, то есть

более чем в 4 раза. Это создало предпосылки к переходу к следующему этапу интеграции — формированию Таможенного союза.

Было установлено, что Таможенный союз на начальном этапе формируется тремя государствами Сообщества, которые среди государств ЕврАзЭС являются наиболее близкими по важнейшим параметрам экономического развития. То есть используется модель разноуровневой и разноскоростной интеграции, учитывающей различия между странами в уровнях развития рыночной экономики и демократизации политических процессов. Переход от одного этапа к другому осуществляют те Стороны, которые в полном объеме выполнили предусмотренные на предыдущем этапе мероприятия. Стороны присоединяются к международным договорам по мере готовности их экономики.

Высшим органом Таможенного союза стал Межгоссовет ЕврАзЭС на уровне глав государств и глав правительств трех стран. Был создан первый наднациональный орган — Комиссия Таможенного союза, в который вошли вице-премьеры Беларуси, Казахстана и России.

С 6 июля 2010 года действует Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза.

В результате с 1 июля 2011 года Таможенный союз заработал в полноформатном режиме: сформирована Единая таможенная территория, таможенные границы между странами Таможенного союза полностью отменены, все виды государственного контроля (таможенный, транспортный, ветеринарный, санитарный и фитосанитарный), за исключением пограничного, перенесены на внешнюю таможенную границу Таможенного союза.

Образование Таможенного союза привело к созданию более крупного рынка для бизнес-структур Беларуси, Казахстана и России, выигрыш получили и производители и потребители. Оборот взаимной торговли стран ТС в 2010 году возрос на 21 процент, а за 2011 года — на 36 процентов, то есть до 120 млрд долларов.

Перспективы торговли с Таможенным союзом положительно оценивают другие региональные союзы и страны, которые выразили намерение подписать соглашение о свободной торговле с Таможенным союзом — это Европейская ассоциация свободной торговли, правительства Вьетнама, Монголии, Новой Зеландии и другие страны. По мнению глав государств России, Казахстана и Беларуси, создание и успешное функционирование Таможенного союза — это действительно крупный прорыв на постсоветском пространстве.

Следует подчеркнуть, что мировой кризис, с одной стороны, оказал крайне негативное влияние на финансовую сферу и экономику государств Сообщества, а с другой, — дал четкое понимание того, что без реальной экономической интеграции последствия кризиса будут преодолеваются очень долго и без нее невозможно обеспечить долгосрочные устойчивые темпы экономического роста в будущем. Кризис ярче высветил важность для государств ЕврАзЭС реформ, направленных на совместную модернизацию и структурную перестройку экономики, согласование внешне-торговой политики, укрепление финансовой системы, улучшение инвестиционного климата.

В ответ на кризис в 2009 году были учреждены Антикризисный фонд ЕврАзЭС и Центр высоких технологий (ЦВТ) ЕврАзЭС. Уставной капитал Антикризисного фонда определен в эквиваленте до 10 млрд долларов. На рассмотрении Совета Фонда находится множество заявок на предоставление финансовых и инвестиционных кредитов. Фондом уже выделены финансовые кредиты: в 2010 году — Таджикистану — в размере 70 млн долларов; в 2011 году — Беларуси — в размере 3 млрд долларов шестью траншами в течение трех лет (первый транш в размере 800 млн долларов поступил в июне 2011 году, второй — 440 млн в декабре 2011 года, третий — 440 млн в июне 2012 года).

Деятельность ЦВТ ЕврАзЭС ориентирована на координацию сотрудничества инновационных структур по разработке и реализации совместных инновационных программ и проектов. ЦВТ представлено для реализации 12 инновационных проектов, прошедших экспертизу венчурных инновационных фондов Сторон и Евразийского банка развития. ЦВТ сотрудничает с российским фондом «Сколково».

В рамках ЕврАзЭС разрабатывается 9 межгосударственных программ и 11 концепций, на основе которых обеспечивается взаимодействие государств-членов в различных сферах, часть из них уже реализуется.

Успехи Таможенного союза создали условия для дальнейшего развития интеграционных процессов в направлении к следующему этапу евразийской интеграции — созданию Единого экономического пространства (ЕЭП). 19 декабря 2009 года на неформальном саммите в Алматы президенты Беларуси, Казахстана и России утвердили План действий по формированию ЕЭП на 2010–2011 годы.

ЕЭП — это пространство, объединяющее территории Беларуси, Казахстана и России, на котором проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающая свободное движение товаров, капитала, рабочей силы и услуг, что, несомненно, ведет к повышению качества жизни населения наших стран.

Важнейшим сегментом ЕЭП является общий рынок услуг, предпосылки к образованию которого уже создаются с начала 2012 года. В его рамках государства-участники ЕЭП будут предоставлять друг другу на взаимной основе национальный режим доступа на рынок услуг для юридических и физических лиц, обеспечивать взаимное признание лицензий в лицензируемых видах деятельности и гармонизацию национальных законодательств, а в отношении третьих стран будут проводить согласованную политику торговли услугами.

С 1 января 2013 года будет обеспечена унификация железнодорожных тарифов на перевозки грузов, то есть на территории каждого государства вместо экспортного, импортного и внутреннего тарифов будет действовать единый тариф, а с 1 января 2015 года будет обеспечен доступ к услугам железнодорожной инфраструктуры для перевозчиков государств-членов ЕЭП. С 1 января 2014 года для всех государств-членов ЕЭП будет введен национальный режим в системе государственных (муниципальных) закупок. К 1 января 2014 года в рамках создания общего рынка капитала предполагается обеспечить недискриминационный доступ стран-членов ЕЭП на рынок финансовых, банковских и страховых услуг на условиях национального режима, создать равные правовые условия для инвестиционной деятельности и снять ограничения в валютных операциях. До 1 января 2015 года предполагается достигнуть равнодоходных (рыночных) цен на газ. В ЕЭП будет создан общий рынок труда. Трудовые мигранты из стран-членов ЕЭП смогут пользоваться определенными социальными гарантиями и их права будут защищены. Все указанные мероприятия обеспечат с 1 января 2016 года полноформатное функционирование ЕЭП.

Для населения и бизнес-сообщества выигрыш от формирования ЕЭП очевиден. Предприниматели будут иметь равный режим доступа на общий рынок трех стран, смогут свободно выбирать, где им регистрировать свои фирмы и вести бизнес, они будут без ограничений продавать товары и предоставлять услуги на территории любого из государств-членов ЕЭП и иметь доступ к инфраструктуре в области энергетики, транспорта и коммуникаций. Создание общего рынка является частью планов наших стран по переходу от сырьевой экономики к инновационной.

Одновременно с укреплением экономических взаимосвязей страны ЕврАзЭС уже начали предпринимать меры по созданию единого социального пространства, которое включает: функционирование общего рынка труда; гармонизацию систем социального страхования; основанное на согласованных принципах и подходах пенсионное обеспечение граждан; создание общего образовательного пространства;

доступность базовых медицинских услуг и лекарственной помощи на всей территории ЕЭП; формирование благоприятной окружающей среды; единое пространство для межгосударственных и межнациональных культурных контактов.

Активно развивается взаимное сотрудничество стран Сообщества в сфере культуры. Общеизвестно, что развитию экономики и экономическому сотрудничеству в его стратегической перспективе необходим глубокий духовный фундамент. Безусловно, успех нашей экономической интеграции сегодня базируется на вековой традиции взаимного тяготения культур сопредельных евразийских народов.

Социокультурное сотрудничество в рамках ЕврАзЭС в последние годы приобрело системный характер. Достигнуты успехи в вопросах гармонизации и совершенствования законодательства, регулирующего вопросы культурной политики государств ЕврАзЭС.

Стала многоцветнее палитра нашей совместной деятельности. Это и фестивали культур народов ЕврАзЭС, Евразийские спортивные игры среди юношей и девушек, которые за последние годы прошли в Беларуси, Казахстане и России. Это и Форум писателей, переводчиков и издателей в Армении, Международный детский фестиваль «Золотая пчелка» на Могилевщине, а также Международный кинофестиваль «Листопад» в Минске, конференции и круглые столы, посвященные проблемам культурного наследия и новому формату национальных библиотек. Ведущие театральные коллективы стран ЕврАзЭС представляют свои лучшие постановки в рамках Международного фестиваля театрального искусства «Белая вежа» в Бресте.

Сообществу к настоящему времени удалось в значительной мере реализовать поставленные перед ним задачи и стратегически определить направления совместного социально-экономического и культурного развития стран постсоветского пространства на долгие годы вперед.

В подписанной 9 декабря 2010 года Декларации о формировании Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации главы государств отмечали: «Развивая Таможенный союз и ЕЭП, мы движемся к созданию Евразийского экономического союза в целях обеспечения гармоничного, взаимодополняющего и взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, международными экономическими объединениями и Европейским союзом с выходом на создание общего экономического пространства».

Приступила к работе с начала 2012 года Евразийская экономическая комиссия являющаяся единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и ЕЭП, выполняющим решения Высшего Евразийского экономического совета (на уровне глав государств и глав правительств).

Сфера деятельности Комиссии: таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, таможенное администрирование, техническое регулирование, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры, зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин, промышленные и сельскохозяйственные субсидии, энергетическая политика, естественные монополии, государственные и муниципальные закупки, транспорт, валютная политика и финансовые рынки, трудовая миграция и иные сферы.

Для текущей ситуации характерно повышение интеграционной активности на уровне хозяйствующих субъектов — предприятий, корпораций, организаций, — которые активно устанавливают экономические и хозяйственные связи. При этом бизнес-сообщество стало не только использовать результаты интеграционных процессов, но и более эффективно взаимодействовать с национальными и межгосударственными структурами. Сегодня этим активно занимаются Евразийский деловой совет, Конфедерация промышленников и предпринимателей Республики Беларусь, Национальная экономическая палата Казахстана «Союз Атамекен», Российский союз промышленников и предпринимателей и другие крупные бизнес-сообщества.

12 июля 2011 года в Москве в рамках Российско-Белорусско-Казахстанского бизнес-диалога была проведена конференция «От Таможенного союза к Единому экономическому пространству: интересы бизнеса» при участии Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина, Премьер-министра Республики Казахстан К.К. Масимова, Премьер-министра Республики Беларусь М.В. Мясникова. Главы правительств отметили, что Таможенный союз стал центром притяжения для других стран. Представители бизнеса внесли конкретные предложения для учета при доработке законодательной базы ЕЭП, в том числе о деятельности малого и среднего бизнеса.

22 сентября 2011 года в Алматы прошел Международный форум «Бизнес в ЕврАзЭС в условиях Таможенного союза и Единого экономического пространства», который был посвящен практическим аспектам работы предпринимательских сообществ стран ЕврАзЭС в новых условиях. Было отмечено, что в результате создания ЕЭП единый рынок трех стран станет более привлекательным для взаимных и иностранных инвестиций, предприниматели смогут получить дополнительные ресурсы, что придаст заметный импульс развитию экономики и созданию новых рабочих мест.

Дальнейшие цели нашей интеграции — это создание Экономического союза, а в будущем — Евразийского союза. Именно об этом были публикации в газете «Известия» в октябре 2011 года лидеров наших стран В.В. Путина, Н.А. Назарбаева и А.Г. Лукашенко.

Как отмечал Президент России В.В. Путин, «Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом. Сложение природных ресурсов, капиталов, сильного человеческого потенциала позволит Евразийскому союзу быть конкурентоспособным в индустриальной и технологической гонке, в соревновании за инвесторов, за создание новых рабочих мест и передовых производств».

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев подчеркивает: «Наши экономики интегрируются глубоко, что приведет обязательно к созданию Евразийского союза. Последовательная трансформация Таможенного союза в Единое экономическое пространство, а со временем, в чем я абсолютно уверен, в Евразийский экономический союз станет мощным стимулом для процветания наших народов, выведет наши страны на ведущие позиции в глобальном мире. Предстоит создать экономически мощный, стабильный и выгодный всем Евразийский союз».

Президент Беларуси А.Г. Лукашенко уверен: «Белоруссия, Россия и Казахстан решили бросить вызов времени и создать крепкую экономическую интеграционную структуру. ЕЭП — это очень продвинутое объединение. Мы здесь — не конкуренты, мы здесь не пересекаемся, мы — дополняемые экономики. А возможности — колоссальные в связи с появлением Единого экономического пространства. Создавая новый экономический, политический центр силы на евразийском пространстве, Беларусь, Казахстан, Россия движутся в верном направлении».

Таким образом, будущий Евразийский союз станет крупным центром силы в мире, способным на равных конкурировать и сотрудничать с остальными полюсами многополярного мира. Интеграционные процессы планомерно ведут наши государства к созданию общего рынка, аналогичного Европейскому союзу. Это означает, что за очень короткий по историческим меркам период нам удалось достичь важнейших интеграционных результатов, создающих для всех нас несомненные выгоды и новые преимущества, которые будут обращены во благо народов наших стран.

Николай Александров

Опустошенное пространство

Дмитрий Данилов, автор нашумевшего романа «Горизонтальное положение» написал роман «Описание города» («Новый мир», 2012, № 6). Собственно, само название задает типологию жанра — описание. Есть место — небольшой провинциальный город. Есть время — один год, двенадцать посещений. Есть цель — так сказать, адаптация сознания, «погружение в среду», вхождение в чужое (чужое по отношению к «я», то есть неуютное, некомфортное) пространство. Поместить город если не в сердце, то в печенки, узнать, познать город до такой степени, чтобы он засел в печенках. То есть надоел до предела.

Описание построено на отстраненной документальности, на следовании фактам. Точнее сказать так — на дотошном изучении фактуры жизненного пространства. Фактура унылая, поэтому за внешне объективным документализмом проглядывает тоска. Тоска самого участника эксперимента. Это описание локуса безжизненности, места, обреченного на прозябание, убожество. Убожество во всем: архитектуре, модусе существования, развлечениях, газетах. Жизнь, если когда-то и была здесь — давно покинула город, оставив после себя эмблему, пустой ярлык. Повторяемость ситуаций, маршрутов героя, намеренная засушенность синтаксиса — все это лишь усугубляет унылость картины. Город «впитывается печенью». Радости в этом мало.

Сквозь этот отчет, лишенный эпитетов и приукрашивания, проглядывает тоска и безысходность современного молодого человека. Экзистенциальная пустота. Зачем украшать пустоту, она только потеряет от этого. Лучше представить ее такой, какова она есть.

Найден прием. Он не нов. Об этом в частности писал Владимир Губайловский в статье «Искусство памяти» («Дружба народов», 2012, № 5). Дмитрия Данилова, а также Анатолия Гаврилова он сопоставлял с Некрасовым и Рубинштейном. Сопоставление вполне закономерное, если иметь в виду Гаврилова. С Даниловым другая история.

Для меня Данилов и Гаврилов разделены весьма значительным расстоянием. У одного — протокольный прием. У другого — музыкальная организация текста. У одного каталог вместо сюжета. У другого за назывными предложениями и банальными цитатами скрывается сюжет. Причем не простой. «"Что это было?" Почитав эту повесть, ничего другого сказать нельзя. Это история про то, как юноша отдал деньги родителей Атанасу Святодуху, поскольку тот обещал привезти уголь, а скоро зима, зимой без угля холодно. Святодух деньги взял, а уголь не привез. Все? Все. Не густо». Так Губайловский пишет о сюжете повести «Вопль впередсмотрящего». Может быть, и не густо, но с таким же успехом можно было бы сказать, что это история о двух мальчиках, которые мечтали на яхте отправиться в кругосветное путешествие, которые любили девочку Нину, которая мечтала уехать в Москву и стать актрисой, из-за которой они поссорились. Еще это история о гибели судна и о странном человеке в белом плаще, о провинциальном городе у моря, о прошлом, которое уже в прошлом и по себе оставило лишь набор цитат, обрывки фраз, эхо голосов. И тогда простой,

наполненный банальностями гавриловский текст становится уже не таким водянистым, а вполне себе нажористым. И показательно, что не пишет об этом Губайловский и не замечает гавриловской полифонии и музыкальности. Гаврилов рассказывает. Данилов фиксирует. Разница существенная. И при ближайшем рассмотрении Гаврилов отличается от Данилова, как протокол от партитуры. Данилов мне не слишком интересен — в отличие от рефлексии Губайловского, между прочим.

По Губайловскому, в поэзии ритм исчерпал свою мнемоническую функцию, а проза функцию повествовательную, нарративную. Если прозу соединить с поэзией можно кризис преодолеть. Спорить с этим странно, соглашаться — тем более. О ритмическом начале в прозе писал еще Андрей Белый (главный специалист по ритму в русской культуре вообще, что даже Михаил Гаспаров признавал). Идеи свои Белый пытался воплощать в своем творчестве. Вся проза его ритмизована. В современной русской литературе ритм соединить с повествованием пытались многие (от Саши Соколова до Сергея Солоуха, чьи эксперименты, как ни странно, никем не замечены вообще). Впрочем, повторяю, говорить об этом неловко, равно как странно поэзию выводить из эпоса, как поступает Губайловский. Если продолжать этот школьный разговор, мы невольно пришли бы к обсуждению поэм «Мертвые души» и «Москва—Петушки».

Странно говорить о «кризисе в литературе». Потому что, если уж и позволять себе избитую допотопную синтаксическую конструкцию, «мы живем во время всеобщего кризиса» или кризисов. Кризиса всепроникающего, глобального, всеохватного. Нет ни одной области, кризисом не затронутой. Мы можем говорить о кризисе политическом, социальном, кризисе культурном, экологическом, религиозном, климатическом, кризисе в науке, искусстве, философии. Это кризис ноосферы. Разрывы и зияния во всем. Уровень философского знания не соответствует последним научным концепциям, гуманитарная область разорвана в клочки. Философия, филология, искусствоведение, история превратились в закрытые семинары, в герметические секты, в грантовые питомники по игре в бисер. Это очевидно для любого участника коллоквиумов, конференций, чтений и проч. Мы живем в постапокалиптическое время. Когда-то Сергей Сергеевич Аверинцев по поводу постмодернизма говорил. Что такое постмодернизм? Модернизм уже жил предчувствием апокалипсиса. Значит, постмодернизм — это постапокалипсис. Так оно и есть. Модернизм свидетельствовал о кризисе единого, общего исторического смысла. Глобальный смысл истории завершается, и его завершение мыслилось как катастрофа. XX век пережил не одну катастрофу и пока выводов из них не сделал. Если, конечно, этим выводом не считать сам постмодернизм. Вдруг выяснилось, что апокалипсис может и не быть завершением какой-то одной идеи, остановкой поступательного движения. Нет. Утрата смысла может состоять и в том, что смыслов стало множество и не один из них не может претендовать на окончательность. Так в квантовой физике вдруг открылось (Ричардом Фейнманом), что элементарная частица может двигаться одновременно сразу по всем направлениям. Гуманитарная наука, с этой точки зрения, остается в пределах классической механики. Она не может представить, что из точки А в точку Б можно двигаться одновременно по всем возможным траекториям, что нет единого поступательного движения (точнее, его может не быть). Культура инертна (в этом ее особенность и существо), но сегодня она по большей части не инертна, а ретроградна. Она мыслит по-прежнему категориями прогресса, универсального качества, всеобщих смыслов. Гуманитарная область, несмотря на кризисную раздробленность («квантовость») по-прежнему в плену даже не у модернистских мечтаний о всеединстве, а у позитивистских концепций. Вся наша современная историография, например, если не говорить о мифологическом дилетантстве, находится на уровне начала XX века, то есть не пошла дальше Покровского. Доморощенная интертекстуальность заполонила филологию. Впрочем, это отдельная обширная тема — тема трагического интел-

лектуального провала, в котором жила Россия более семи десятилетий, тема гуманитарной катастрофы, по-настоящему еще не осмысленной, не отрефлексированной.

«Мы живем» в другое время, парадигматически другое. Бессмысленно вспоминать дореволюционную эпоху, дореволюционную Россию, от нее не осталось даже руин. Последние представители этого времени ушли на наших глазах. Их нет. Сам пейзаж вокруг нас изменился. Сама география. Мы живем в постсоветском, постутопическом пространстве, в пространстве свершившегося апокалипсиса, и некоторые испытывают острую ностальгию по нему. Ну что ж, как показывает опыт XX века — апокалипсис вещь не однократная, он вообще может быть процессом, полем (если использовать язык физики).

Наше время ставит новые вопросы и проблемы, к которым пока не готова гуманитарная рефлексия — то есть и историческая, и философская, и теологическая, и филологическая. Я позволю себе обширную цитату из интервью «Московским новостям» Анны Шмаиной-Великановой, поскольку, как мне кажется, никто точнее это кризисное мироощущение не передал:

«У нас все разобщено и атомарно. При советской власти существовала достаточно плотная среда людей с совестью: здесь были и церковные люди, и еврей-отказники, и те, кто боролся за возвращение татар в Крым. Когда советская власть закончилась, оказалось, что новых мыслей мало, нового движения мало, тоталитаризм исчез, а вместе с ним ушла и общность. В каком-то смысле можно сказать, что сейчас нет церковных думающих людей и культурных думающих людей, а есть специалисты в той или другой области. И почему специалист в том, чтобы разжигать кадило, должен быть специалистом в температуре клавира, неясно.

Наконец, есть еще более глубокий уровень, и мне хотелось бы, чтобы о нем кто-нибудь думал. Представьте себе физика-теоретика и при этом человека верующего — ведь он живет в двух разных, несовпадающих мирах. Но так не было во времена Григория Богослова. Он был просвещеннейший человек своего времени, но его представления об устройстве Вселенной и о Христе гармонично сочетались...

Никто не пытается преодолеть этот разрыв. А ведь это и есть соединенная творческая задача культуры и Церкви. Общая теория относительности открывает исключительные богословские возможности, а церковные люди этого совсем не ценят. Ведь что такое Церковь — как это можно объяснить? Церковь не стены, не пространство, это поле — в том смысле, о котором говорит физика. Церковь — это поле всеобщей дружбы со Христом и состояние поля. И я допускаю ситуацию, когда человек может попасть в это поле, читая «Пир» Платона, глядя на реку, ухаживая за больным ребенком.

— *Чем занимается современная религиозная философия в России и в мире?*

— Главное событие, которое она осмысляет, — катастрофа XX века, неспособность церкви воспрепятствовать нацизму и большевистскому режиму. У западных христиан было несколько систематических богословов, которые сказали по этому поводу важные слова. (У нас, увы, нет.) Например, Иоганн Мец, немецкий богослов, говорил: «Я всегда спрашиваю своих студентов: теология, которую вы изучаете, та же самая, что была до Освенцима? Если та же самая, — держитесь от нее подальше». Возникло много движений — богословие смерти Бога, богословие после Освенцима, которые были призваны эту катастрофу осмыслить. Однако, мне кажется, до ответа еще далеко.

Вот, скажем, такой известный протестантский богослов Эрхардт — к чему он в конце концов приходит? «Этот еврейский мальчик, — говорит он, — сейчас спит вместе с другими еврейскими мальчиками, зарытыми без счета». То есть он отказывается от веры в воскресение Христа — ради того, чтобы быть заодно с жертвами. Но мне кажется, что надо как раз наоборот. Ведь так он оказывается заодно с Гитлером, который хотел, чтобы они не воскресли. Эта позиция — уменьшение христианства

для того, чтобы оно было выносимо для иудаизма и для совести современных христиан» (<http://mn.ru/friday/20120413/315495200.html>).

Далековато я ушел от литературы, но мне показалось необходимым это сделать. Литература уже по определению не может существовать автономно. Просто потому, что это один из центров гуманитарной области. Она работает со словом, с логосом. Пытаться рассматривать ее как вещь в себе (и уж тем более в пределах одного локуса), говоря о кризисе, значит логос сводить до литеры, до буквы. Превращать литературу в кружковщину, в бесконечные стенания по поводу Интернета, блогосферы, информационных технологий.

«Описание города» — символичная вещь. И провинция здесь выбрана не случайно. Можно сказать, что это не только описание географического пространства, но также пространства ментального. Современная русская литература (за очень небольшим исключением) провинциальна. Провинциальна по преимуществу и провинциальностью закомплексована. И как неловкий юноша, впервые вышедший в свет, провинциальности своей стесняется и одновременно гордится ею. Русская литература замкнута на себя, не может почувствовать себя европейской, не мыслит себя европейской и не слишком Европой интересуется (кстати, и российская критика тоже). И уже поэтому она не может адекватно воспринять русскую литературную традицию — для этого нужно знать хотя бы один европейский язык. И в этом смысле Борис Акунин сделал гораздо больше, чем многие из тех, кто презрительно относятся к его произведениям. А так у нас даже о Пушкине позволяют себе писать и говорить те, кто не знает французского языка. Зачем — Пушкин же русский поэт. Поэтому, разумеется, современной российской словесности ближе советская бестолковость и безъязыкость. И ее не преодолеть без перемены сознания, без метанойи, без усилий.

Безъязыкость, дискурсивный хаос и есть главная проблема. В недавнем интервью Владимир Сорокин говорил, что современный автор должен «иметь мужество не писать». Если нельзя найти языка (в широком смысле слова) для писания, то лучше молчать. Любая фраза, почти любое синтаксическое построение сегодня цитатны. Мир наполнен осколками прежних смыслов и прежних языков. Как упорядочить современный дискурсивный хаос? И дело здесь не в пресловутой достоверности, адекватной картине мира. Если уж пользоваться его примерами, то мне история конкретного Петра Ивановича не слишком интересна (при том даже, что эта история будет пересказана информационным, новостным языком). Точнее так — она может быть мне интересна как новость. Перенесенная в литературу, она автоматически новостью быть перестает. Литература сегодня во многом манифестирует себя как литература. Как и визуальные искусства, например. Предметом искусства может стать все что угодно. Главное — заявить об этом. И протокол о банальных разговорах можно преподнести как роман и опубликовать в журнале. Но это не решение проблемы. Проблема в другом — как говорить и для кого говорить? К кому обращаться? И где этот язык сегодняшнего беллетристического обращения? И проблема тут не в родовых различиях. Проза всегда вбирала в себя поэзию. «Разговор разгорался как костер» — чем не поэзия. И вообще, если уж на то пошло, и неповоротливый, намеренно нескладный Толстой, и экспрессивно вывернутый, Гоголем привитый, Достоевский — разве не поэты? Или — «Я вышел из дома прихватив с собой три пистолета. Первый засунул за пазуху, второй — тоже за пазуху, третий — не помню куда...»

Язык не прием. И не форма. И даже не просто способ мыслить. Это само мышление. Это способ обнаружения смыслов. И если смыслы утрачены — это сразу сказывается на языке. На описании.

Я говорил, что Дмитрий Данилов в «Описании города» дает картину пустого пространства. Но одно существенное дополнение нужно сделать в финале. Это пространство не пустое, а опустошенное, разрушенное. Отсюда и странный, пробивающийся сквозь протокол, сквозь голые факты лиризм. Или депрессия, это уж как угодно.

Сергей Морейно

Жизнь в преддверии времени

В преддверии текста

Это текст об Улдисе Берзиньше. Точнее, текст о тексте об Улдисе Берзиньше. Вернее, дополненный обратный автоперевод с авторизованного перевода, сделанного Ингмарой Балодэ с моего написанного на четверть по-латышски и на три четверти по-русски текста о монографии филолога Мариана Рыжего — он же поэт Марис Салейс — об Улдисе Берзиньше: («Улдис Берзиньш. Жизнь и поэтика пространства-времени». — Рига, 2011).

Изначально текст имел одно лишь латышское название «В прихожей времени», однако на латышском «прихожая» звучит как «предпространство», то есть весьма абстрактно. Так что пришлось снять с перевода легкий бюргерский оттенок и подбавить немного метафизики.

Улдис Берзиньш — фигура загадочная. Алхимик, политик, дервиш. Понимает тридцать семь языков, в том числе китайский и древне-исландский (впрочем, как показывает практика, не такое уж редкое сочетание). Перевел Коран, «Песнь о моем Сиде», «Книгу моего деда Коркута». Переводил Ветхий Завет, «Старшую Эдду», Саади, Милоша и Шимборскую.

Пишет то прекрасно, то просто стабильно хорошо (так поют RollingStones или ДДТ), а переводит — по моему мнению — порой совсем никуда, особенно в последнее время (пример — Коран, настолько скучный в его переводе, что трудно понять, как эта книга «натворила» столько дел на Земле). Явный последователь Хлебникова, заявляющий, что прочитал его лишь в зрелом возрасте; олимпиец, небожитель, пьяница, скандалист, мэтр, гигант, борец, заявивший по поводу тринадцатилетнего «маринования» его первого сборника («Памятник козе», Рига, 1980): «...От меня в действительности ожидалось всего ничего — этакое "метафорическое" содействие, этакая инициация признания "нашей совместной действительности". Но не встану же я из-за пиршественного стола богов и не нагнусь подбирать крошки!»

Мы (литературная общественность Латвии и я) расходимся в оценке последнего сборника («Разговор с Почтальоном», Рига, 2009). Вместо «нового подъема в творчестве поэта» нахожу в нем всего лишь несколько стихов, не раскладывающихся по векторам прежних достижений. Мне не нравится, когда читая глазами стихотворение поэта, с которым знаком лично, я как бы слышу его реальный человеческий голос. Это означает, что из записи начинает уходить то надличностное, что, как ни странно, может еще долго излучаться поэтом при личном контакте.

Поэтому в последнее время мне нелегко с ним общаться и все труднее писать о нем. Но я очень люблю Улдиса и надеюсь, что он не обидится, узнав, что рассказать о нем его русскому читателю я решил не прямо, а путем рассказа о латышской — то есть как бы не существующей для этого читателя — книге.

В преддверии времени

1. Совсем небольшая монография — в этом есть скромное достоинство и обаяние адекватности, поскольку стихи У. Берзиньша по большей части невелики. Прежде чем начать, позволю себе поблагодарить автора и героя — за то, что дали нам возможность присесть к «пиршественному столу богов». Первая часть книги заканчивается цитатой из Германа М. Маевского: «У. Берзиньш не пишет самые красивые стихи в латышской литературе. Однако именно его стихи побуждали и до сих пор побуждают к написанию таковых». А книга и красива, и побуждает красиво думать — ну, насколько кому удастся.

2. Мариан Рыжий, очевидно, владеет тайной — поэтическим знанием материала, — что обуславливает его подкупающе спокойный тон. И — это тоже очевидно — он связан условностями латвийской научной школы, которые подчас не позволяют ему перенести свои глубокие интуиции в область метафор: туда, где он особенно силен и где возможно их профессиональное разрешение. Тогда хочется самому додумывать, интерпретировать, спорить. В ипостаси «автора монографии» М. Рыжий остается для меня в первую очередь поэтом, так что в дальнейшем мне хотелось бы называть его М. Салейсом.

3. Читать книгу можно с любого места. В третьей части есть такой пассаж: «Выходит, в этом случае для автора важно и готовый текст "задержать" на стадии "становления" между неофициальной — "анонимно-племенной" принадлежностью и официальной — "авторской"». Здесь и рядом все написано так, что на память отчего-то приходит стихотворение Яниса Рокпелниса «Детство сетчатки и ветер»: «...поцелуй растворен во времени и пространстве, еще не уточненный ничьими губами, жарко горящий спросонок».

Эту аллюзию можно бы счесть паранойей — ведь М. Салейс упоминает Рокпелниса только в связи с жизненными коллизиями Берзиньша. Однако чуть ниже он употребляет — в общем, ни с того ни с сего — слово «янтарь». Ключевое слово Рокпелниса, для Берзиньша совершенно нехарактерное.

4. Марис Салейс идеально знает и чувствует текст Берзиньша, умеет видеть мир его глазами, что важнее, чем просто любить. Ему удастся, почти не напрягаясь, показывать тезис за тезисом. Не рассказывать, а именно показывать — чужим текстом. Он, как дирижер, обозначает тему, затем звучат голоса: сам Берзиньш, Кнут Скуениекс, Имант Аузинь, Ояр Вациетис, Рута Вейдемане, Инта Чакла...

5. Благодаря очень тесному сотрудничеству с Берзиньшем, Салейс смело говорит о личной проблематике, связанной с отсутствующей или не до конца проявленной фигурой отца. Кто знает, может, просто совпало, но у стихов Берзиньша и у книги Салейса есть общий сквозной мотив: ожидание и поиск канонического отцовского начала — от реального отчима-братца Яниса через сказочных Больших (Великих) Мужей вплоть до трансцендентного, неназываемого. Надежда и желание быть любимым или хотя бы понятым, принятым. Позднее признание Берзиньша: «Бежим в гору, я — с большим (взрослым) вместе, он меня любит».

6. Книга разбита на части: *Жизнь, Текст, Пространство, Время*. Эти части — как и в жизни — перекрываются по обсуждаемым темам, в результате чего, подобно музыкальной фуге, сквозь книжное полотно проводится идея иерархии, древовидной структуры, означающей взаимоподчинение четырех аспектов Берзиньша, как такового, слева направо и снизу вверх: Жизнь < Текст < Пространство < Время. Жизнь Улдиса Берзиньша — это обретение, «путем Текста», некоего Пространства до наступления Времени.

7. Не оттого ли, кстати, в пространстве Берзиньша нет янтаря, что еще не прошло достаточно времени и смола не успела загустеть?

8. Пробую представить себе реку времени, по которой плывет Улдис. У меня, как на детском рисунке, получается поток, текущий посолонь между Небом и Землей, омывающий Землю — правый берег — как ливень. «Возраст приходит как ливень /

Смывая пыль». Он встал на земле, «меж зенитом и пеклом, с пальцем во рту» (из автокомментария к циклу «Памятник дону Альфредо»). «Но ведь в самой природе человека заложена необходимость потягаться с безжалостным, чуждым измерением» — небом (считает М. Салейс). Оно ненадежно, переменчиво, грозно. Дотронуться до небес — прикоснуться к трансценденту.

9. Как бы оспаривая слова Руты Вейдемане: «У. Берзиньшу достаточно земли» — М. Салейс фактически соглашается с ними. Просто земля тут оказывается чем-то большим: это и кусок почвы, и стоящий на нем Улдис, и здесь же растущее дерево и веющий над ними дух. Они — самодостаточны, стабильны, изначально чисты. А где-то лезет в небо коза: «Вот где влезают на небо».

10. В традиционных мифологических системах предстоящий жизни «хаос» успевает осесть, опуститься на дно — у Берзиньша он колыхнется наверху. Небо в связке с Землей выполняет мужскую роль. Берзиньш не стремится на небо (ни в прямом, ни в переносном смысле). Держится правого берега, не торопится переплыть реку. Место мужского начала занимает сама река, то есть Время. Время Берзиньша тождественно отцу (и Отцу). В ожидании отца (и времени) течет жизнь Улдиса. (Узнали? Сын бога — герой! — Улдис, протагонист эпоса. «Тот мальчишка — я. Он меня любит!»)

11. «Время У. Берзиньша тесно связано с пространством. Здесь, можно сказать, воплощено мифическое представление о нераздельности пространства и времени», — пишет М. Салейс в четвертой части. Я бы поправил — пространство связано со временем. Именно пространство Улдиса Берзиньша непредставимо вне времени (в отличие от пространства Яниса Рокпелниса), а не наоборот. Спекуляция, конечно, но почему бы и нет: Берзиньш = пространство, Куннос = время, Рокпелнис = «тень птицы» (первая книга Я. Рокпелниса так и называлась «Звезда, тень птицы и другие стихотворения»). Ранее, в третьей части: «Пространство обретает материальные свойства — оно может расстилаться, съеживаться, отступать, бежать, скрипеть — прогибаясь, затекать в ладонь, сгорать во рту». Горизонтальная экспансия У. Берзиньша (культуры, языки, народы) — стремление как можно шире познать себя. Вертикальная экспансия (вели, кладбища, колодцы) — стремление познать глубже.

12. Герой стихов Берзиньша неизменен во времени, смещение по временной оси на 10—20—50 лет уже включено в его — если хотите — поэтическое «я». М. Салейс свидетельствует: «При чтении каждого нового сборника появляется ощущение, что стихотворения У. Берзиньша возникают не только сейчас — в 2008 или 2010 году, но все еще пишутся в предыдущие периоды творчества», — еще больше убеждая нас в том, что автор этих стихов сопоставим с пространством, в котором время гостит как бы неподвижно (часто встречающиеся в тексте числа, месяцы, годы и сроки маркируют сопряженное со временем пространство).

13. У пространства есть границы, по нему пролегают дороги: оно едино и цельно. Между его частями почти нет дверей — нет деления на внешнее и внутреннее. Улдис одновременно и за столом, и за окном. Улдоцентричность: иногда в его мире страшно одиноко, как бывает в перенаселенной коммунальной квартире со смежными комнатами. Очищая ситуацию от подробностей, М. Салейс рисует нам такую ярмарку времен: каждому времени больно (каждое время болит).

14. Ингмара Балодэ в частной беседе: «Он пишет так, как если бы только что вынырнул из мирового океана».

15. В поэзии Улдиса Берзиньша часто возникают Зима (Ziema) и Зиемелис (Ziemelis), он же Северный ветер — в качестве проверки на прочность, духовного испытания. Зима — период возмужания, когда допускается, что Время («день богов, вечный Янов день») может и не наступить. И очень редко появляется полдень — момент, когда кажется, что Время точно не наступит («Время неподвижно, солнце жужжит, привязанное в небе) — или, еще хуже, уже наступило: такое вот паршивое время.

16. Марис Салейс выстраивает «лингвоэпическую» концепцию поэтики Берзиньша. «Берзиньш — архитектор, что созвучно его эпическому мироощущению», —

подтверждает Кнут Скуениекс. Говоря об Улдисе Берзиньше, рано или поздно мы произносим слово «эпос». Говоря об эпосе, поздно или рано мы произносим слово «герой». Герой произведения — это то, с чем читатель устанавливает (может установить, по замыслу автора) эмоционально-информационный контакт. Героями бывают деревья, животные, люди, эпохи. Язык произведения — это способ (слова, мимика, жесты и то, как они употребляются), каким автор общается с героем в рамках произведения. Пользуясь такими дефинициями, мы избавимся от большинства филологических проблем, связанных со взаимными подменами в парах понятий: герой — протагонист и язык — речь.

17. В случае Улдиса Берзиньша герой всегда один и тот же — это его, Берзиньша, отношения с миром. В каждый текст мы можем войти и что-то изменить в расстановке этих персонажей — Улдис и Мир. Точнее будет сказать, улдис и мир (вспоминая следующее: «Скачут парни на войну улдис через плечо мужик идет за елкой улдис под мышкой язык распушу роцей вскачь где улдис вырос на макушке птица сидит»). «В каждом человеке скрыт герой, каждое героическое дело человечно — вот две опоры поэзии Улдиса Берзиньша», — говоря словами Скуениекса. Получается, что язык его стихов — это язык, на котором он разговаривает с собой и с миром, то есть просто язык: речь. Берзиньш — это случай, когда язык совпадает с речью.

18. Миф предшествует эпосу, однако сами мифы приходят к нам, вкрапленные в эпос. Если эпос представить себе как текст-дом, из которого только что вышел автор и где обитают одни протагонисты (автор на пороге), то миф — это все, что останется, если с дома снять крышу, демонтировать потолок, снести стены и избавиться от автора. Миф — вытяжка, экстракт из эпоса. Если взять цикл У. Берзиньша «Двинский берег» под прицел этой концепции, мы увидим результат обратного разбавления мифа. Возможно, «медом поэтов» («Они смешали кровь с пчелиным медом, и получился медвяный настой, испив которого, каждый делался мудрецом или поэтом», — цитирует Улдис исландца Снорри Стурлусона.)

19. Рассказывая о встречающихся в стихах Улдиса Берзиньша соловьях, М. Салейс отмечает их «магический характер и даже связь с инфернальной сферой». Это будильник, вестник, проводник. Неожиданно вспоминается Мандельштам: «А вы, часов кремлевские бои — / Язык пространства, сжатого до точки». Казалось бы, к чему здесь сталинские куранты? Но Р. Вейдемане суммирует: «Чего только не делает соловей в поэзии Берзиньша: рычит, кричит, трещит, вопит, стрекочет, щебечет, бьет. Почитай, просто какая-то вредоносная и неприятная птица». Дальше — больше. Оказывается, «в соответствии с исследованиями Янины Курсите — в некоторых народных песнях соловей появляется в качестве табуированного имени Лесной матери. Стало быть, соловей связан с реально или потенциально опасным божеством, "которого надо опасаться и которому надо приносить жертвы"».

20. На с. 104 упоминается «Вторичная оккупация Латвии в первые послевоенные годы». Я понимаю, что это — устойчивое речевое клише (и даже современный исторический термин). Но когда я слышу этот термин от человека, родившегося в 1971 году, начинает казаться, что мне, родившемуся в 1964 году потомку оккупантов, кто-то хочет привить чувство коллективной вины, о чем сам Берзиньш пишет: «Тогда на помощь клыкам приходит расчет, рационализация ненависти и жестокости, те национальные, политические, "расовые" или "классовые" признаки, что позволяют практически неограниченные множества людей определить в "чужие", в "виновники", противу коих жестокость, преступление, зверство — оправданы. Создавать и формировать подобные "множества" помогает то, что мы зовем принципом коллективной ответственности» («К разговору в "Скрипичном сарае"», 2011).

21. Было бы интересней, если бы о советском периоде М. Салейс рассуждал (во второй части) диалектически — и в применении к судьбе одного лишь поэта. Да: «можно сказать, что и цензура способствовала "вхождению в себя"» — замечает он, на семи страницах расписывая, какая гадость эта ваша советская власть (тут обыгрывается название книжки Иммануила Зиедониса «Я вошел в себя»). Кто бы спорил! Но ведь Берзиньш явный любимчик высших сил (не партии, не КГБ, а тех самых!). И, если

уж они позаботились о его даре, наверное, знали, куда запихнуть его самого. Улдис с детства был «The Catcher in the Rye», инстинкт защитника поселился еще в генах и был лишь инициирован «пражской весной» и прочими реалиями.

22. Как это ни смешно, но «ребята, что сидят наверху» (БГ) при помощи советской власти организовали для него в определенном смысле персональную творческую мастерскую. «В протоколах заседаний секции поэзии Союза писателей зафиксированы два больших обсуждения, специально посвященных рукописи первого сборника У. Берзиньша. В ходе девяти обсуждений наряду с другими вопросами повестки шла речь и о сборнике У. Берзиньша» (с. 26). Одиннадцать обсуждений!

23. Польский поэт Адам Загаевский — в недавнем интервью журналу «Rogas laiks» («Рижское время») — отвечая на вопрос И. Балодэ: «Кто ваши учителя?» — сказал: «...Люди в ответ на такие вопросы нередко называют композиторов или поэтов, в которых можно влюбиться. В этом есть нечто неправильное». По-моему, на мелодическом уровне на Улдиса Берзиньша ощутило повлиял Владимир Высоцкий образца семидесятых (он звучал тогда из каждого окна). И, хотя Высоцкому можно обоснованно поставить в упрек вещи, со званием поэта несовместимые, автор монографии вроде бы должен и такой факт отметить.

24. В представлении М. Салейса, Улдис Берзиньш сформировался в эпицентре поэтической мысли латышей и в вакууме латышской (латвийской) мысли в целом. А продолжает писать среди тотального вакуума, вне сравнений, вне контекста — даже, пожалуй, вне себя.

25. Я давно пытаюсь понять, отчего международный авторитет У. Берзиньша далеко не тот, какого он заслуживает. Мне кажется, ничто не мешает связать с ним архетип Шута, говорящего правду в глаза Королю. («Я предупреждаю тех, кто верою и трудами праведными обеспечил себе место в раю — там не будет поэзии. Там паки и паки поют старые песенки, что сочиняли цари, пророки, а также пьяницы, дураки и шуты, горевшие в аду тревог и собственного легкомыслия», — сказал однажды Берзиньш.) Мы — земля шутов, полигон правды. «Шут, арлекин, балагур площадной — / Как мы несхожи, и все же едины...» (Григорий Гондельман). «Синьоры! что за вид! невыразимо мне мил арлекин!» (Янис Судрабкалнс «Оливеретто»). «Оба глупцы мы, оба вольны мы...» (Аустра Скуйиня). Паяц, шут, скоморох, фигляр. «Болтовня, вздор, вранье, чепуха, бредни»: «...Самое любимое мое слово — дурачество. Мне нравится думать о дурачестве как об эксплозии», — признается Улдис.

26. Еще я искренне радуюсь обилию физических терминов в поэтической книге. Меня не смущает ни сообщение про «неевклидову систему координат, в которой параллельные прямые могут пересекаться» (параллельные никогда не пересекаются — по определению), ни «своего рода поэтический аналог сферы Хевисайда» (понятия «сфера Хевисайда», как известно, не существует; данное словосочетание — моя собственная выдумка четырехлетней давности). В моменты, когда натура поэта только-только начинает брать верх над философским дискурсом, не успевая победить его окончательно, к автору приходят сюрреальные мысли. Например, «шаги насекомых или муравьиный гам, слышимые испокон веку», объявляются «своего рода допущением, что культура существует и за пределами антропоцентрической модели мира». Или вот (часть четвертая): «Текст — это следы голоса, проторенные в материале» (слышал бы это старик Лотман!).

27. Вообще М. Салейс придает чересчур большое значение голосу: «Должно отметить, что запись голоса в материале в поэтике У. Берзиньша аналогична конденсации духа и времени в вещество». Сразу вспоминается Арсений Тарковский (и с ним нельзя не согласиться): «Найдешь и у пророка слово, / Но слово лучше у него, / И ярче краска у слепца...» Подчеркивая роль рта, языка и речи, не стоит забывать, что язык — средство коммуникации с героем (что не очевидно: в иной поэтике возможно общение с героем с помощью жестов, свиста или двух-трех фраз, но не языка в целом). Стихотворение становится для У. Берзиньша средством выживания. Состояние «Тоски по написанию стихотворения» перестает быть характерной для поэтов всех времен кокетливой позой.

28. Автор монографии отчего-то решил последовательно противопоставлять Берзиньша не только Евклиду, но и Ньютону с Гегелем, которые были очень проницательными людьми, чьи разнообразные концепции ни в коем случае не могут служить синонимами примитивной и прямолинейной линейности. И уж совершенно не стоит объединять их в одну позицию (ведь «гегельянская» философия уже оппонирует «ньютоновской» науке). Оперирование философскими концепциями Ньютона и Гегеля — вещь чрезвычайно скользкая (и сложная), в работах такого рода рекомендует-ся лишь в игровом варианте.

29. М. Салейс фактически вводит в обиход три вида времени: время отнесенное (время вообще), время соотношенное (с течением процесса) и время целевое (между моментами соотношенного времени). Исаак Ньютон подчинял, как мы знаем, отнесенную величину соотношенной (общее — частному). В этом смысле Берзиньш парадоксальным образом оказывается ньютономцем (в отличие от эйнштейнианца Ояра Вацетиса): «...В поэзии У. Берзиньша человеческая деятельность ценна именно по причине самой деятельности, реже — по причине ее результата». Излюбленная траектория его перемещений — прямая: «Наиболее вещественный и поэтический образ в ряду этих понятий — луч».

30. Идея рассматривать все наши отношения, да и саму жизнь сквозь призму обобщенного времени идет-таки от Ньютона. Вопрос: не слишком ли просто? Ответ: да, но в первом приближении годится. Пример: механика Ньютона работает, когда скорости невелики (по сравнению со скоростью света). Далее наступает иная физика. Значит, можно предположить, что время — универсальная материя, определяющая нашу жизнь, причем этот постулат выполняется при неких ограничениях. На что именно? Время = жизнь = перемещение. Итак, ограничение нужно наложить на скорость (течения) времени. На небольших отрезках времени это означает всего-навсего, что время не должно «прыгать».

31. Непрерывность времени как необходимое условие существования сознания. Вероятно, эту черту Времени Берзиньша постоянно имеет в виду М. Салейс — его неограниченную делимость.

32. Каждый раз, наталкиваясь на явную несообразность — избыток цитат (Ю. Кристевой или Ж. Деррида), выражающих мысль хуже, чем сам автор; отсылки к структурализму, ветшающему быстрее, нежели национальная идея; огромный список литературы, где странно видеть М. Элиаде при отсутствии В. Проппа — я, спрашивая коллег, зачем М. Салейс так поступает, слышал в ответ: так требуют.

33. Книга М. Салейса в какой-то мере подвела меня к открытию (повороту в сознании?): я впервые — после долгих лет переводческой практики — увидел Улдиса не гигантом, не кудесником, но одиноким Гамлетом ("The time is out of joint: O cursed spite, / That ever I was born to set it right!"). Таким, как в «Минотавромахия»: «...Нет, я не тот, о ком писали в книгах: не светлый судия, не Немезида [...] всего лишь отчий сын (Тавр дышит за портьерой) тут вправо, шаг вправо и вперед [...] бей, трижды бей теперь, и сделано (рев, век за веком ревут трибуны...)».

В преддверии вечности

И все же обо одном стихотворении из «Разговора с Почтальоном» я хотел бы сказать особо. Оно написано в связи с посещением недавно восстановленного бункера людей лейтенанта Роберта Рубениса, на линии Угале — Злекас, в сорока километрах от моря:

Бревна новые, росли после войны, как мы.
Печурка новая, на старом месте. Хлеб, сало, огурцы —
и самогон в ведре. Луковицу надо ломтиками! Нары пока
в проекте, прикинь попробуй мысленно — в два этажа. Гильзы
сгладаны землею. Парней набилось! Напержено и, сто пудов, накурено.
Эсэсовец был убит.

Нет, господин лейтенант, не дезертируем. Мы будем драться.

Кто знамя целовал, тот знает: полоса от слез посередине совсем узка. Кто выживет, пускай выносит знамя.

В ноябре сорок четвертого более чем полтысячи человек из группы генерала Курелиса или же, как принято ее называть, «Латвийской национальной армии» (мне, дилетанту, тяжело разобраться в источниках: кто фактически командовал, сколько всего человек входило в группу, каков был ее этнический состав — русские, белорусы, поляки, и можно ли их называть «легионерами» — важно, что они были символом борьбы латвийских солдат против обоих оккупационных режимов) вступили в жестокие бои с пытавшимися их разоружить немцами.

Нет, господин лейтенант, не дезертируем. Мы будем драться.

Изо всех известных мне случаев бессмысленного на первый взгляд героизма сопротивление рубенисовских парней произвело на меня самое сильное впечатление. Есть тут что-то от отчаянного достоинства загнанного зверя, который, прекратив бег, оборачивается лицом (мордой) к преследователям. Или мне только так кажется (я не охотник)? В то время как блестяще воспроизведенные Александром Чаком в эпосе о латышских стрелках «Осененные вечностью» дроздовцы шли в бой по необходимости, по кастовому долгу, по чину многолюдства — русскому на миру и смерть красна — то есть по п р и ч и н а м, в этом бункере для любого, если не для всех вместе, существовало много путей отхода, не позорных, БЕЗстыдных. Причин же драться практически не было.

Я сразу, едва перевел стихотворение, вспомнил лучшие, пожалуй, советские книги о войне — «Обелиск» и «Дожить до рассвета» Василя Быкова. Сдающийся в плен учитель Алесь (тихо и непублично сдающийся), лейтенант Ивановский, ведущий свою команду на подрыв базы боеприпасов в немецком тылу и убивающий единственного обозника с грузом сена. И вспомнил — это была ночь воспоминаний — Иосифа Флавия из книги Фейхтвангера под названием «Иудейская война», который — согласно Лиону Фейхтвангеру — чтоб выйти живым из пещеры Иотапаты, использует в игре с товарищами фальшивые кости. Ставка — жизнь, и он берет ее. («По счастливой случайности, а может быть, по божественному предопределению», — согласно Иосифу.)

Смысл бессмысленных жертв в его отсутствии — у бессмысленных жертв нету смысла. И хотя идут на них часто, они как-то не очень помнятся потом. Легионеры Рубениса не дезертировали (конечно, они унесли с собой в могилы сотню-другую немцев, но что это значило для Курземского котла, да и зачем — в виду скорой победы русских?) оттого, что каким-то образом чувствовали: надо остаться. Правильнее будет драться.

Поступок Иосифа и действия легионеров — вне осуждения и одобрения. И тот, и другие вели себя так, как предощущали и считали необходимым; даже не выбирая между «псом и львом», жизнью и смертью. Но выбирая между фазой и фазой, временем и временем.

Я хотел бы избежать ошибки суждения о том или ином поступке в исторической перспективе. Избежать вот этого вот Твардовского: «Бой идет святой и правый, / Смертный бой не ради славы — / Ради жизни на земле». Пускай Быков и пишет: «Но кто знает, не зависит ли их великая судьба от того, как умрет на этой дороге двадцатидвухлетний командир взвода лейтенант Ивановский», — это, скорее всего, спокойная буддийская констатация взаимосвязи всего со всем.

Так ради чего таранил Гастелло транспортную колонну, для кого Морозов бросался грудью на пулемет? На сколько ходов просчитать? Для Хиросимы сорок шестого? Ради арестов сорок девятого? Кореи, Вьетнама?

Они были ведомы моментом — чувством времени — оттого, что были порошком, который рассыпают по телу Невидимки, чтобы наконец-то увидеть его.

К вящему нашему восторгу, назиданию и предупреждению.

Алексей Колобродов

Соавторы пространств

Василий Аксёнов и Виктор Пелевин
глазами современников

Эпитет «культовый» придумали, чтобы не платить критикам.

Впервые я его услышал применительно к Pulp Fiction Тарантино. То есть в 1994 году. С тех пор он превратился в ярлык, легко приклеиваемый кому угодно, в том числе русским писателям. Любая попытка рационально объяснить феномен культовости неизбежно сводится к известному пассажиру из одесских рассказов:

«Поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромаждают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков — разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Бенья Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?» (Исаак Бабель, «Как это делалось в Одессе»).

Любая книжка, биографическая ли, мемуарная, литературоведческая, или завысшая между жанрами, о покойном Василии Аксёнове (в нынешнем году ему бы исполнилось 80 лет) и Викторе Пелевине (у которого год тоже юбилейный, полувековой) будет попыткой ответить на поставленные Бабелем вопросы. Независимо от того, какие задачи ставили перед собой авторы.

Попробуем именно под таким углом разобрать сразу три книги: «Аксёнов» Дмитрия Петрова в серии «ЖЗЛ» (М., «Молодая гвардия», 2012), «Аксёнов» же Александра Кабакова и Евгения Попова (М., АСТ, Астрель, 2011) и «Пелевин и поколение пустоты» Сергея Полотовского и Романа Козака (М., издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2012). Ну, и позаниматься на этом щедром фоне, как водится и пользуясь случаем, размашистой отсебятиной.

Авторы, решившиеся всерьез и подолгу говорить о писателях подобного склада и масштаба, в любом случае достойны уважения. Как вызвавшие на себя нешуточный огонь. Поскольку вот вам один из основных признаков «культовости» — едва ли не каждый поклонник полагает писателя своей личной собственностью и на любую попытку биографической приватизации отвечает приступом ревности и обвинениями в рейдерском захвате. Не скачиванием в личный архив, а качанием прав. Не развитием дискуссии, а разлитием желчи.

Дмитрий Быков что-то подобное говорил о пелевинских фанатах, но тот же градус страстей определяет многих аксёновских. По этому нерядовому критерию они, пожалуй, первые писатели второй половины XX века. И начала XXI.

И вообще слоган-однострок «Пелевин — это Аксёнов сегодня» таит в себе не только формулу литературного ребрендинга. Еще, как ни крути, преемственность: вспомним, что генезис причудливого (и судьбообразующего) имени — Вавилон — пелевинского биографического альтер-эго и героя его главного романа, короля пиарщиков Татарского, наполовину — из инициалов Аксёнова.

...Я как-то в шутку сравнил Аксёнова с Майклом Джексоном, хотя повод был печальным и календарным — смерти, случившиеся в один год.

У обоих были большие и небесталанные семьи. Поп-король еще в детстве сделался главной надеждой, а потом и надежей своего негритянского рода. Наш главный стилига сам вошел в семейку эстрадных «шестидесятников» и сразу стал в ней первым авторитетом. Псевдогусарская лжевенгерка Джексона легко рифмуется с джинсовой курткой Аксёнова, из которой, сказал Евгений Попов, вышла, как из «Шинели» Гоголя, вся современная русская проза. Обоих тянуло к групповщине пограничного толка — Майкл записывался с хором настоящих полицейских, Аксёнов придумал «Метрополь». Почти совпадают даже даты создания главных шедевров — альбома Thriller и романа «Остров Крым». Певец, с его сериалом пластических операций и обретением белого цвета кожи, может считаться основоположником гламура в мировом масштабе. Писатель-стиляга, который ввел в русский устный слог «джинсы», а в письменный — «чувак» и лабавший в советских журналах на джазовой фене (читать невозможно), есть полновесный предтеча гламура отечественного...

Сопоставление это тогда шокировало моих читателей. Одна девушка-филологиня написала: «Майкл Джексон — это бабочка, яркая и с недолгой жизнью, и никогда бы в жизни не рискнула провести параллель с Аксёновым, хотя разные рискованные параллели люблю».

Пришлось объяснять: дескать, не вижу смысла в сотый раз писать о Василии Палыче все эти стилижье-джазовые банальности, а не сказать их нельзя, Аксёнов из них состоит наполовину. Можно посвятить им один абзац, сравнив с Джексоном. Вы возмущаетесь, но образ писателя-стиляги остается.

И продолжает довлеть: с аксёновским портняжьим сантиметром примериваются к другому писателю, который с одежей (маяковское словцо) никак не ассоциируется: все его герои кажутся нагими, ибо существуют в ситуации вечного грехопадения. Евгений Попов: «*Потом Фридрих (Горенштейн. — А. К.) разбогател как сценарист, он очень хорошо сценарии писал — и построил себе мечту детства и голодной юности: пальто с шалевым воротником из хорошего меха. Шапку купил, как у Брежнева, и золотые перстни. Ну, такие у него были желания...*» (Кстати, похожий эпизод — с пальто, золотой цепью, а главное — словечком «построил» — есть в аксёновском романе «Скажи изюм» и атрибутирован некоему мастеру Цукеру.)

Виктор Пелевин снялся для своей биографии на фоне зарослей плюща. В неизменных темных очках. А еще в рубашке в синюю клетку и джинсах мягко-бордового оттенка. Плюс синяя футболка и темные кеды. Но взгляд приковывают руки классика — с аккуратными ногтями, длинными и чуткими пальцами, в ассоциацию просится не джаз, а целая апассионата... (Характерно, что отрывки из изящно изданной книжицы публиковались в журнале «Сноб».)

Это я к тому, что хотел бы в данном очерке опустить некоторые принципиальные моменты: применительно к Аксёнову — пижонство и джаз, равно как «богатство» (представление о «миллионах» Аксёнова, как полагает Александр Кабаков, выросло из того же стилижьего корня: «*Люди, чуждые стилю, за богатство принимали стиль*»); авторы же книги о Пелевине отказались от колоритных деталей сами, отжав биографию своего героя до казарменной сухости.

Впрочем, по поводу джаза, пожалуй, стоило бы поспорить с авторитетами — как говорил бухгалтер Берлага, не в интересах истины, а в интересах правды.

Кабаков и Попов, естественно, не могли обойти тему «Аксёнов и джаз».

Александр Кабаков: «*А в чем отличие его джазовой литературы от всякой другой, связанной с музыкой? В том, что есть литература о музыке, с музыкой как предметом изображения, а Вася писал джазовую литературу джазовым способом (выделено авторами. — А. К.). У него именно джазовая литература, а не о джазе. У него джазовая проза, она звучит особым образом. Это очень существенно. Таких музыкальных, а не «о музыке писателей» вообще мало — не только в России — в России он точно один, — но таких писателей мало и где бы то ни было*».

Вообще-то, интонация — штука тонкая, эдак любая, даже умеренно модернист-

ская проза может прослыть джазовой, а недостижимым образцом ее — «Мертвые души». С их метафорическими конструкциями (импровизация), лирическими отступлениями (жем-сейшн) и причудливой духовой (духовной) мелодией. В случае же Аксёнова т. н. «джазовый способ» — скорее не прием, а пиар. Чистота и безусловная удача эксперимента встречаются единожды — в джазовых главах «Ожога», прежде всего в знаменитом кам-бэке с «Песней петроградского сакса образца осени пятьдесят шестого».

Что же до уникальности в «музыкальности» — явный перебор. Вернее, недосчет. А как быть с Эдуардом Лимоновым (ехидствующим, кстати, над Аксёновым, мимолетно, но по любому удобному поводу), чей «Дневник неудачника» сделан явно под влиянием панк-рока и в его стилистике — с адекватным словарем, рваным ритмом, сюжетами и образами, напором и грязноватым драйвом? (Лимоновские рассказы о нью-йоркских панк-клубах и музыкантах, прежде всего превосходный *The death of teenage idol*, скорее попадают в кабаковскую категорию «писателей о музыке», хотя какая уж там у панков музыка).

Рассказы Захара Прилепина (он, неназванным, но узнаваемым, мелькает в книжке Кабакова-Попова, в ироническом весьма контексте еще одного претендента на роль «Аксёнова сегодня») «Герой рок-н-ролла» (сборник «Ботинки, полные горячей водкой») и «Оглобля» («Восьмерка») — тоже о людях музыки. Той самой, что становилась образом жизни и религией поколений — и стилистически чуткий Захар строит эти тексты как маленькую лирическую энциклопедию русского рока — с обязательной мрачноватой кодой.

Так что Василий Павлович, может, и отец традиции, но явно не венец ее.

Кстати, пелевинские биографы музыкальный аспект писательства Виктора Олеговича и вовсе замотали, разве только более-менее аргументированно соединив название его сборника *Relics* с одноименной пластинкой *Pink Floyd*. А ведь его эпиграфами из Леонарда Коэна и цитатами из Бориса Гребенщикова (да и вообще связкой «Пелевин — БГ») позаниматься бы стоило. Тему закрывает один Шнур — с однообразными комплиментами в пелевинский адрес. Которые больше сообщают о Шнуре, нежели о Пелевине.

Ну и буквально пару слов относительно «богатства». Соавторы Кабаков—Попов любовно сообщают об одной из последних аксёновских машин — красном «ягуаре», оговариваясь, впрочем, что куплен был по случаю и по дешевке, однако таков был стильный мэн Василий Павлович, что хай-классовая якобы тачка стала очередным лыком в строку мифа о «миллионах» Аксёнова.

А вот, по касательной, но в тему, пассаж из того же романа «Скажи изюм»: *«Рассказывали смешную историю. На площади Конкорд стоит знаменитый грузинский киношник Тамаз Цалкаламанидзе, глазаеет на новенький "ягуар". Подходим сзади, спрашиваем: «Тамаз, за такую машину продал бы родину?», а он, не повернув, как говорится, головы кочан, отвечает: "Нэ задумываясь!"»*.

...Не возьмусь и за подробное рецензирование перечисленных изданий, дабы не повторяться — вышедший сравнительно недавно «жэззэловский» «Аксёнов» Дмитрия Петрова получил рецензии от таких важных людей, как Сергей Костырко (положительная) и Роман Арбитман (отрицательная). Портрет-мемуар в диалогах Кабакова—Попова тем более удостоился заинтересованных откликов — к примеру, журнал «Знамя» (№ 5, 2012) дал подряд сразу двух рецензентов — Льва Симкина и Виктора Есипова. Книгу же о Пелевине я просто-напросто не вижу смысла оценивать отдельно, вне контекста «культовости».

Тем не менее и бегущей строкой.

Лев Данилкин — влиятельный литературный критик и автор героических биографий Александра Проханова («Человек с яйцом») и Юрия Гагарина (в серии «ЖЗЛ») — как-то признался, что очень хотел бы сделать книжку о Пелевине, но от затеи пришлось отказаться. *«Я бы с удовольствием взялся за биографическую книгу о Пелевине, там столько материала, мне самому страшно интересно; я, например, знаю, что*

какие-то Пелевины в конце XIX века по молоканской линии притеснялись с Прохановыми, теми самыми, но он — Пелевин, я имею в виду, — однажды совершенно явственно дал понять, что книга о нем — табу, и я слишком уважительно отношусь к этому человеку, чтобы пренебречь его мнением». Помимо этических соображений, Данилкин, надо думать, руководствовался и профессиональными: сделать биографию Пелевина без участия Пелевина — нереально. Тщательно выстроенный имидж писателя-железной маски в нем дополняется очень русским типом литератора, который всегда больше своих книг.

Сергей Полотовский и Роман Козак наступили на те самые грабли, которые элегантно обошел Лев Данилкин. Лишенные контакта с персонажем, опираясь на дефицитные интервью, куцые свидетельства, известный и небогатый набор источников, авторы вынуждены были менять целеполагание на переправе. Делать не писательскую, но литературную биографию. И даже не биографию, а хронологию появления текстов Виктора Пелевина. С набором необязательных бантиков вроде критических цитат (всегда произвольный и притом ограниченный круг рецензентов), доморощенного структурализма (игра в прототипы) и стилистической претензией на неожурнализм (без соблюдения главного условия — энергично-агрессивного отношения к объекту).

Поверхностность (при периодически пробуксовывающем повествовании) возведена Полотовским-Козаком в творческий принцип, но проблема даже не в ней, а в смешивании слоев, и не коктейльным способом, а известным миксом бочки меда с ложкой дегтя. Так, временами глубокие и оригинальные литературоведческие суждения соседствуют с пассажами типа: *«Если посмотреть, из каких профессий приходят в писательство, то на первом месте, конечно, будут врачи: Чехов, Булгаков, Верещагин»*. Последний — кто таков? Очевидно, Вересаев. Или вот, навскидку: в последней главе «Супербест» писатель Илья Бояшов назван Эдуардом. Наверное, потому, что на той же странице попадают реальные Эдуарды — Кочергин и Лимонов... Между тем в аннотации указано: один из соавторов — литературный критик, другой — журналист.

Или вот такая прелесть: *«По окончании института и военной кафедры получил звание лейтенанта войск ПВО. Позже, какие-то из знаний, приобретенных на военной кафедре, наверняка пригодились Пелевину при сочинении «Зенитных кодексов Аль-Эфесби»: писатель любую информацию обрабатывал и пускал в дело»*. Я служил в ПВО примерно тогда же, когда Пелевин посещал военную кафедру: повседневная практика этих войск отличалась от названного боевика так же, как советское ТВ от snuff'ов из позднейшего романа. Мысль, однако, стоит того, чтобы ее додумать: Пелевин, как известно, весьма трепетно относится к аббревиатуре из собственного ФИО и, сочиняя о подвигах Аль-Эфесби, наверняка вдохновлялся военной метафизикой собственного имени. Не случайно, многие пелевинские фанаты прозревают в Савелии Скотенкове самого Виктора Олеговича, а «Зенитные кодексы» полагают мемуарами.

Получился у соавторов, конечно, не полный провал, а неполный справочник-путеводитель по творчеству Виктора Пелевина.

Дмитрий Петров, сочиняя для «ЖЗЛ» своего «Аксёнова», следовал, похоже, некоему условному канону, который так и называется «жзэээлом». То есть про жизнь — своими словами, а про замечательного (в случае писателя — про его литературу и, так сказать, общественную деятельность) — чужими, с привлечением авторитетов, как закавыченных, так и раскавыченных. (Метод, надо сказать, требующий известного самоотречения. Вот так попадает недурной оборотец, рука сама тянется похвалить автора хоть из объективности, но застывает — вдруг не оригинальное, а снова раскавыченное? Как Иван Бунин про Мережковского: *«местами недурно, но кто знает, может, и ворованное?»*)

Своими словами о детстве и юности Василия Павловича вообще-то трудно, ибо есть у нас «Ленд-лизовские», магаданские главы «Ожога» и цикл биографических

рассказов, но у Петрова получилось — если полагать слова «кара», «мука», «юдоль» его собственными, дмитрий-петровскими. Это не только смешно, тут возникает странная рифма мелодраматического глоссария с известной историей публикации глав из «Таинственной страсти» в глянце для домохозяек «Караван историй».

Еще «про жизнь». Чуть ли не глава отдана под локальный аксёновский триумф — пожизненное звание почетного американского профессора. Петров восхищается этой вехой искренне и многословно, как разночинец, который обрел вдруг богатого и щедрого родственника. Радость биографа кажется особенно странной даже не из-за очевидной архаичности восторгов по столь неактуальному поводу, а потому, что затем много и снова коряво Петров рассказывает, как Аксёнов «всерьез задумался об отъезде из Америки» из-за издательских проблем.

Прямо не Аксёнов, а Кормильцев с Бутусовым: *«мне стали слишком малы твои тёртые джинсы... Гуд бай, Америка, о!»*

Роман Арбитман: *«Упрекая издателей первого собрания сочинений Аксёнова, дескать, "много опечаток", биограф повинен в том же самом: вместо Потомака — "Патомак", вместо Горпожакса — "Гарпожакс", вместо "колымский" (от Колымы) — "калымский" (от слова "калым"?). Поэт Иртеньев превратился в Иртенева, критик Чупринин — в Чупрынина, издатель Глезер стал Глейзером. Неряшливость автора трудно свалить на нерадивость редакторов. Не редакторы виноваты в том, что прозаик Всеволод Кочетов оказался тут Виктором, критик Владимир Бондаренко — Валерием, негр Джим из "Гекльберри Финна" стал Томом (Сойером, что ли?), сериал "Санта-Барбара" мутировал в сериал "Санта-Моника", а Лара из "Доктора Живаго" обернулась загадочной Лорой...»*

Я, как читатель менее въедливый, заметил ляпы чисто литературные: Кочетова, Бондаренко, Лару, Джима. Но как раз пару последних, кажется, смогу разъяснить: «Лора» — современное и даже отчасти гламурное, сокращение от Ларисы. «Том» — не из «Гекльберри Финна», а из «Хижины дяди Тома», как архетип негра-раба вообще. А чего? Оба романа — выдающиеся произведения американской литературы XIX века и посвящены, при разном уровне политкорректности, одной проблеме... А из незамеченного Арбитманом — Максима Огородникова, героя аксёновского романа «Скажи изюм», Петров как-то походя переименовал в Андрея...

Арбитман, критик всегда пристрастный, заклеил «ЖЗЛ» Петрова как «дурной журнализм». Это во многом справедливо, но, полагаю, вовсе не предосудительно: претензии биографа на некое новое постаксёновское слово выглядят смехотворными уже с порога (и, во всяком случае, они куда простительней, чем снобистская высокопарность, подменяющая фактуру, у Полотовского-Козака). Зато журналистская установка на выслушивание разных сторон — идет в явный плюс: у Петрова подбор цитат с источниками (тоже, разумеется, неполный и произвольный) подчас выбивается из формирующегося аксёновского канона. Для «журнализма», тем паче «дурного», уже недурно.

Да и за одну лишь более-менее подробную разработку малоизвестных взаимоотношений Аксёнова-сценариста с советским кинематографом Петров достоин респекта.

Журналист Петров, на мой взгляд, выглядит убедительней и добросовестней, скажем, писателя Валерия Попова, несколько лет назад сочинившего для той же «ЖЗЛ» биографию Сергея Довлатова. Писатель же ж! Не барское это дело копаться в источниках, разыскивая, допустим, публикации СД в советской периодике... Или протестировать на уровень мифологизма боксерские истории персонажа... Или riskнуть отступить от питерско-нью-йоркского канона в довлатовских штудиях, которые желчный Виктор Топоров окрестил «вайлем-генисом-парамонисом»... Валерий Попов избрал в этой ситуации единственно верный, хотя и тупиковый путь — самопрезентации автора на фоне героя. Довлатов — согласитесь — «фон» для амбициозного биографа весьма невыигрышный.

Я припомнил «ЖЗЛ» о Довлатове не к слову, и не для того, чтобы оттенить Петрова — Поповым. Дело в том, что Аксёнов, как и вечно завидовавший ему Довла-

тов (а фирменная ирония СД эту зависть камуфлировала слабо), — материал для биографа чрезвычайно трудный. По одной простой причине: оба были первыми своими, дотошными и талантливими биографами, зафиксировавшими планку на рекордном уровне. Аксёнов запальчиво утверждал, что не пишет мемуаров — хотя, безусловно, наследовал, и не только в поздних романах «Таинственная страсть» и «Ленд-лизовские», традиции художественной мемуаристики а-ля серебрянный век, 20-е, первая эмиграция: Георгий Иванов, Ольга Форш, Анатолий Мариенгоф и др.

Факт ведь крайне занятный — именно у Аксёнова в прозе мы найдем рекордное количество не «Коллег», а коллег-литераторов: и под собственными именами, и — чаще — под прозрачными, хотя и замороженными псевдонимами. Шестидесятники и метрополиты, сколько их было и даже чуть больше, куча их оппонентов, а значительней всех повезло почему-то Константину Симонову («Московская сага», «Москва Ква-ква»; интересно, что Аксёнов тут наследует Солженицыну — Александр Исаевич первым вывел Симонова в художественном тексте — «В круге первом»).

Довлатов — путано и неубедительно — любил рассказывать байки, как персонажи ловят его на неточности тех или иных жизненных деталей и обстоятельств. Оба — чрезвычайно подробно и эмоционально — выясняли отношения с поколением (Аксёнов в романах) и окружением (Довлатов в письмах). Впрочем, в данном случае — сосуды вполне сообщающиеся. Оба регулярно возвращались в каторжному быту и опыту, увиденному и приобретенному в молодые годы... Есть и принципиальная разница: конструируя свою писательскую генеалогию, Сергей Донатович больше пишет о текстах, Василий Павлович — о контекстах: вещах и предметах.

И в порядке сплетни: Ася Пекуровская — первая жена СД, занимает заметное место в дон-жуанском списке Аксёнова (отголоски этой истории — один из мотивов довлатовской повести «Филиал»). Кстати, Пекуровская — элемент умолчания и у Дмитрия Петрова (упомянута единожды, как один из возможных прототипов Алисы Фокусовой из «Ожога»), и у Евгения Попова с Александром Кабаковым. Думаю, в обоих случаях — из деликатности. Друзья-писатели вообще декларативно табуировали пикантную сферу, повторив канон «Таинственной страсти»: Кира и Майя, вполне достаточно, и, пожалуйста, не сплетничайте, покойный этого ужасно не любил. Последнее, впрочем, спорно.

Дальнейшему раскручиванию параллели мешает коренное различие метода и знаков. Довлатов педалировал переплавку реалий «безумной жизни» в литературу, Аксёнов, напротив, тщательно это скрывал, но ведь красоту, как утверждают опытные дамы, не замажешь: даже в эпической, менее всего тусовочной, «Московской саге» он появляется персонажем второго ряда, но на первом плане. Помните: юный провинциал Вася очарованным странником зябнет в имперской Москве 1952 года, и руки в карманах, и жизнь впереди.

...Здесь, кстати, тоже повод для солидного куска рассуждений: Довлатов, любя себя и жалея, писал свою жизнь почти с отвращением, признавая ее нелепость и «безумие» (а окружающих, скажем, Игоря Ефимова, утомляла и раздражала маска «симпатичного, но непутевого малого»). Василий же Павлович полагал свою судьбу исключительно правильной, эталонной, канонической задолго до появления канона (и даже пьянство у него — не порок, а порог, планка, достижение).

Авторский эксгибиционизм и регулярное заголение персонажей — лишь повод показать, что пусть наши торсы и не античны, зато под подолом мамки-Родины и тетки-власти (Степаниды Власьевны, самого регулярного аксёновского персонажа) всё куда откровенней и безобразней...

Даже в исповедальном, казалось бы, «Ожоге», с его шипучей, поверхностной рефлексией, всегда раздражала эта туповатая победительность, априорное сознание вечной собственной правоты, вопреки самой фактуре и авторским проговорам. Именно Аксёнову современное либеральное сознание обязано энергией стадного заблуждения, именно он — одним из первых, но не единственный — вооружил непрошибаемыми картонными доспехами двойного стандарта нынешнюю протестную пуб-

лику. Собственно, мессидж «Ожога» был лаконично переведен на новую феню братками из «Бумера»: «не мы такие, жизнь такая».

Однако для любви к себе потребна некая щемящая, а то и скребущая нота, и он находит ее в ностальгии. Которая, в свою очередь, невозможна без эпохи и ландшафта — голый чувак на голой земле тут не прокатывает. Именно поэтому тексты Довлатова даже выигрывают, очищаясь от контекстов (советский, антисоветский — какая разница). С Аксёновым сложнее.

Александр Кабаков: *«Спроси у среднего читателя: Василий Аксёнов — кто такой? Это знаменитый человек, писатель и стилига. Это просто вторым идет после писательства».*

А вот Роман Арбитман во врезе к цитированной рецензии презентует Аксёнова: *«писатель и диссидент»*. И трудно сказать, какая из аттестаций точнее — хотя стилигой Василий Павлович, безусловно, был, а вот диссидентом, строго говоря, вряд ли... Но тут вся фишка в стереотипе: Аксёнов и впрямь почти неотделим от антисоветского мейнстрима, дело не так в литературе, как в образе: вспомним его публицистику. По инерции антисоветскую даже в 90-е; скулы сводило от странного смещения априорного либерализма с консерватизмом вполне обывательского уровня, хотя последнее как раз понятно — даже стилиги возрасту покорны.

Однако если «стилига» для посмертной писательской судьбы вполне нейтрален, то «диссидент» — одновременно идеологически окрашен и архаичен. Впрочем, для полемического задорчика типа — современен ли Аксёнов? — место у нас еще найдется... А пока предадимся прекраснотушному проектированию: лучшей биографией в случае и Довлатова, и Аксёнова была бы не книжка в серии «ЖЗЛ», а заметки по всему корпусу прозы. Комментарии с расшифровками, сплетни в виде версий, игра в прототипы, реконструкции и мотивации, даже и вполне спекулятивного свойства. Подобная задача была бы по плечу не столько дотошному биографу, сколько внимательному, страстному читателю, болельщику и интерпретатору. Если бы первые пелевинские биографы не отдавались бы столь явно соблазну выстрелить первыми, инструментарий был бы обширней, а интонация и метод — разнообразнее, их книжка заметно укрепила бы перспективный тренд хорошей журналистики о культовых текстах и авторах.

Но, собственно, в случае Василия Павловича мы такую работу, наконец, имеем — я говорю, конечно, об «Аксёнове» Александра Кабакова и Евгения Попова. Книге очень нужной и своевременной — в смысле почина, открытия традиции, когда хорошие люди говорят о своем герое лучшими словами не по поводу, а вообще, пусть не при жизни, но сразу после ухода.

Книга Кабакова—Попова прежде всего не так познавательна, как обаятельна. Тут и образы авторов — толстый и тонкий, бородатый и усатый, мужичок-сибирячок и столичный джентльмен, еврей и русский... С одной стороны — автор целого пласта иронико-абсурдисткой, но безошибочно народной прозы, без которой современная русская литература выглядит явно неполной. С другой — известный также прозаик, ценимый, однако, продвинутой публикой именно в качестве журналиста — легкого и точного, объективного даже на уровне стиля... Плюс ко всему литераторы Кабаков и Попов почти полностью лишены производственных хворей и удушливых фобий цеховой писательской бытовки.

Оба по-прежнему и по-юношески влюблены в старшего друга, полагают его литературу и судьбу недостижимым эверестом, но ирония — спутник зрелого ума — корректирует эмоции: и предмет страсти не пострадал и житийностью не запахло... Да и Аксёнов для них — «Конечно, Вася!»; а не... Вспомним классного наставника из «Мелкого беса»: *«человек до того либеральный, что не мог называть кота Ваською, а говорил: кот Василий».*

В методологическую десятку попадает и сам взаимно обогащающий авторов и читателя жанр диалога. Любопытно, что Кабаков с Поповым, наверное, неосознанно копировали интонацию многотомных застольных бесед Альфреда Коха и Игоря Сви-

наренко, а может, дело вовсе не в ящиках водки, а в вечной, как платоновский мир, ролевой игре «простак и мудрец». И непринципиально, за кем из писателей закреплено то или иное амплуа, ибо сущности по ходу диалога перетекают друг в друга, маски меняются без всякого ущерба для устоявшихся писательских имиджей.

Симпатичны даже минусы этой книжки — избыточность, многословие, повторы — отсутствие финального редакторского глянца. Ощущение не от хорошо изготовленного продукта, но необременительной, на глазах и с песнями совершающейся артельной работы. Атавистическая нелюбовь к Советской власти смягчена дистанцией (не столько исторической, сколько бытовой — возраст авторов). Приложения к главам-диалогам в виде документов, полемики минувших лет, стихов, цитат, интернет-дневников смотрятся необязательно, как газетные врезки — когда-то, в перестроечной книжке «Прекрасность жизни», Евгений Попов выкладывал такие пазлы куда виртуозней. Но, с другой стороны, и постмодерн ныне поиссяк, и читатель не столь продвинут. Кстати, Дмитрий Петров придумал и использует довольно неуклюжую, но занятную дефиницию о людях, что начали читать книжки после 90-го года...

Не знаю, насколько были авторы озабочены вопросом «третьим будешь?», но вступить в спор, подбросить реплику желание возникает регулярно. Нет, не в формате литературной дискуссии, а именно застольного разговора, уточняющего знакомые черты...

Для затравки. Соавторы в один голос утверждают, будто у завязавшего Аксёнова после «Острова Крыма» из текстов практически полностью выветрился алкогольный дух. Позвольте, а как же «Скажи изюм», где чуть ли не на каждой странице «напиток зрелого социализма», «Солнцедар», соседствует с двенадцатилетним Chivas Regal? Хотя, конечно, «ожоговой» спиртовой крепости «изюм» не достигает нигде... Или — лучше того — «Московская сага»: самые мощные, в прежнюю силу, убедительные куски как раз посвящены кабакам и спортсменам имперской Москвы пятьдесят второго года, пьянкам в компании Василия Сталина и нехитрой, но яркой идее о том, что алкоголь и секс при тоталитаризме пахнут одинаково — призраком свободы...

Или вот, Евгений Попов, о чистоте помыслов составителей альманаха «Метрополь»: *«Кстати, вот еще одно доказательство того, что мы не лезли к чертям на рога. Мы же не напечатали в альманахе самую крутую песню Алешковского "Товарищ Сталин, вы большой ученый"..."»* Таким образом, Евгений Анатольевич признает: составители альманаха, заклеившего официозом проклятием «антисоветский», по возможности старались не подставляться и не публиковать в «Метрополе» заведомо антисоветские (по их мнению) вещи.

Трудно оспаривать классика. Но. «Товарищ Сталин», даже по тем, 1978—79-ом, временам — вещь вполне невинная. Никакая не политическая сатира, но стёб — причем мягкий и теплый, и в обе стороны советского света — по отношению как к энкам, так и к Вождю. Собственно, это вечные русские «Отцы и дети» и притча о блудном сыне на новой фене, вслушайтесь (или вчитайтесь) в текст... В «Метрополе» напечатаны не менее известные лагерные вещи Алешковского: «Окурочек» и «Лесбийская»; логика составителей понятна — лирика, какие претензии. Однако «Лесбийская» — пусть экзотический и карикатурный, но тем не менее гимн однополый любви, да еще в специфическом антураже: всё, связанное с женскими зонами, табуировано у нас до сих пор — не столько цензурой, сколько общественным сознанием. «Окурочек» — новелла как раз, при всей своей сентиментальности, очень шаламовская, о любви, не просто отменяющей границы между лагерем и волей, это песня с густым намеком на альтернативную властную иерархию:

«Господа из влиятельных лагерных урок
За размах уважали меня» —

что откровенно диссонирует с советскими представлениями о мироустройстве. Я бы, на месте и составителей, и гонителей, напрягался как раз из-за явно провокацион-

ных «Окурочка» с «Лесбийской». Охотно, впрочем, допускаю, что «метропольцы» знали тогдашние «нельзя за флажки» лучше и тоньше. И все же не отпускает мысль о демонизации советской власти задним числом.

Или вот писатели рассуждают о родителях Аксёнова — Евгении Семеновне и Павле Васильевиче, пытаясь понять генезис их коммунистической убежденности и социальный тип во власти. Калибруют человека литературой — обычная русская практика, — за систему координат взяв известную булгаковскую повесть. Евгений Попов: *«Здесь получается прямо по Булгакову. У Павла Васильевича — «шариковский» корень, у Евгении Семеновны — «швондеровский».* Все это, может быть, интересно, поскольку спекулятивно, но, однако, что за комиссия мерить революцию и ее людей пусть талантливым, но чрезвычайно памфлетом, к тому же с явной нравственной инверсией в подаче персонажей... Кстати, по воспоминаниям о. Михаила Ардова, одним из первых на аморальность профессорского эксперимента обратил внимание Анатолий Найман — давний друг Аксёнова.

Булгаков—Швондер—Шариков — мостик, возвращающий нас к феномену культовости. Фундамент которой, в российском варианте, — история взаимоотношений художника и власти. И плох тот рыжий, которому не делают биографию. Шансы его на «культовость» значительно снижаются.

В схеме «художник Аксёнов и советская власть» контрапунктов два — хрущевский наезд на молодых и левых, в Кремле, в марте 1963-го, и, конечно, история альманаха «Метрополь».

Василий Павлович к деталям «кремлевского погрома» возвращался, почитай, всю жизнь, оставив наиболее подробное воспоминание в закатной «Таинственной страсти». Надо сказать, вкус именно здесь изменял ему чаще всего — эпизод с воздетым кулаком Хрущева он носил всю жизнь, как орден Дурака Лысого. Биографам просто нечего добавить — Дмитрий Петров добросовестно цитирует сцену из «Ожога» с «Пантелеем» и «Кукитой Кусеевичем» на трибуне, а потом из «Таинственной страсти»: как шли разгромленные Аксёнов с Вознесенским по брусчатке, ожидая, что немедленно будут схвачены, а вместо Лубянки и острога попали в ЦДЛ, где, разумеется, крепко выпили. Василий Палыч чуть ли не на следующий день улетел в Аргентину...

Надо сказать, что вот этой двусмысленности, «стыдной тайны» во взаимоотношениях Аксёнова и других «шестидесятников» с советской властью, биографы обойти никак не могут, спотыкаясь о слишком красноречивую фактуру, вроде длительной поездки полуопального Аксёнова в Штаты в глубоко застойном 1975 году. Объяснения, намеки, версии — от «джентльменских соглашений» Василия Павловича с КГБ до включения разнообразных связей — кое-что добавляют к Аксёновскому образу, но лишь затемняют суть проблемы, по сути, подменяют политику тусовкой, стратегию власти — индивидуальной писательской тактикой.

Большое видится не только на расстоянии, но и со стороны. Как ни странно, ближе всех к расшифровке властных мотиваций подошел Станислав Куняев — приятель Аксёнова в молодости и многолетний антагонист — на всю оставшуюся. Сделаем, впрочем, поправку на традиционную озабоченность Куняева «еврейским вопросом», на четкий водораздел «свой-чужой» в его сознании, да и попросту «личняки». Тем не менее: *«Однажды в конце 70-х годов, разговаривая с умным и достаточно ироничным Сергеем Наровчатовым, я спросил его: "Почему наша идеологическая система, всячески заигрывая до определенного предела с деятелями культуры «западной ориентации», снимая их недовольство всяческими льготами, зарубежными поездками, тиражами, госпремиями, дачами, внеплановыми изданиями, — почему одновременно она как к чужим относится к людям патриотического склада?" (...)* Сергей Наровчатov посмотрел на меня мутными, когда-то голубыми глазами и без раздумья образно сформулировал суть идеологического парадокса: *"К национально-патриотическому или национально-государственному направлению власть относится как к верной жене: на нее и наорать можно, и не разговаривать с ней, и побить, коль*

под горячую руку подвернется: ей деваться некуда, куда она уйдет? Все равно в доме останется... Тут власть ничем не рискует! А вот с интеллигенцией западной ориентации, да которая еще со связями прочными за кордоном, надо вести себя деликатно. Она как молодая любовница: за ней ухаживать надо! А обидишь или наорешь — так не уследишь, как к другому в постель ляжет! Вот где, дорогой Станислав, собака зарыта!"»

Не так важно, говорил это Наровчатов, или приписал ему такие речи задним числом Куняев; принципиальней, что рискованная параллель постоянно прочитывается и у Аксёнова. Эротические игры с властью — распространенный его мотив — вспомним известный рассказ 1968 года «Рандеву». Квинтэссенция всех сразу «шестидесятников» — славный Лёва Малахитов, кумир поколения, прибывает на свидание с некоей бронированной дамой, чтобы отвергнуть ее любовные притязания. Дескать, не раз высказывался уважительно, признаю некоторые ваши прелести, но — не поцелую!

Кстати, и Дмитрий Петров с отвагой неопита, и близкие поколению и явлению Кабаков с Поповым, вновь пытаются разъяснить нам «шестидесятников», и снова вязнут в болоте необязательных дефиниций, прописывая по ведомству «шестидесятников» самую разную публику, полагая основным критерием тридцатые годы рождения. (Любопытно, что и пелевинские биографы по тому же принципу набили ему в вечные спутники всю первую сборную олигархов.) Забывая, что сам Аксёнов в «Таинственной страсти» (с подзаголовком «роман о шестидесятниках») остроумно обозначил в качестве общего знаменателя — тусовочный принцип. По сути, он говорит об одной литературно-застольной компании с чадами и домочадцами, первые пять-шесть имен всплывают сразу, это ближний круг, затем круги расходящиеся — Окуджава, Высоцкий, физики Дубны, художники Манежа, собутыльники Коктебеля...

Но вернемся в «оттепельный» Кремль. Кабаков с Поповым пересказывают знаменитую Хрущ-party своими словами, и куда-то улечиваются легкость, обаяние, юмор — как будто оба сдают зачет по истории партии.

«Метрополь», конечно, щедрее хронотопом и последствиями; неслучайно и в «ЖЗЛ», и в диалогах он занимает центральное место — интонационно и композиционно.

Дмитрий Петров опять же добросовестно дает небогатую хронику (от транспортировки плиты альманаха в Союз писателей до аксёновского отъезда) вперемежку с мемуарами участников «метропольского» скандала — даже Феликс Кузнецов подробно высказывается. Во всяком случае, Аксёнов для него был и остался «Васей», хотя себя в Фотии Фёкловиче Клезмцове, ренегате и стукаче из «Скажи изюма», он не признать никак не мог...

Попутно, кстати, Дмитрий Петров разоблачает известный околومتропольский миф, запущенный, к слову, тем же Станиславом Куняевым — о том, что гнобили альманах, главным образом, писатели либеральной ориентации. А государственники, мол, брезгливо умыли руки. Простым перечислением имен выступавших там и сям по «метропольскому» поводу литераторов (а отметились многие), биограф стирает демаркационную линию между западниками и почвенниками, на момент 1979 года еще вполне штрихпунктирную.

Примерно о том же («да я уж сто раз рассказывал»!) Евгений Попов, с понятными акцентами в принципиальных для него моментах — силовыми линиями в треугольнике КГБ — ЦК КПСС — Союз писателей, благородством Аксёнова («он повел себя как старший брат!»), конфузливый камуфляжем наиболее пикантных и совершенно, на сегодняшний взгляд, проходных эпизодов, вроде переброски альманаха за рубеж... Или вот такое замечательное, трогательное наблюдение:

«(...) Весь "Метрополь" вершился в антураже романтических отношений. Инна Львовна Лиснянская и Семен Израилевич Липкин именно в это время оформили свои многолетние отношения, Фридрих Горенштейн нашел свою рыжую Инну, а Вася сошелся законным браком с Майей. При свидетелях, каковыми были Белла Ахатова-Ахмадулина и Борис Асафович Мессерер. (...) Я, кстати, забыл сказать, что и сам именно тогда встретил свою будущую жену Светлану. (...) Может, еще и поэтому

"Метрополь" занимает такое важное место в жизни каждого из нас. А не только потому, что мы занимались делом, запретным в советской стране».

В этом смысле воспоминания Попова интересней сравнить не с кузнецовскими и куняевскими, а с не менее эмоциональными «метропольскими» заметками Виктора Ерофеева. В книге «Хороший Сталин» креативщик «Метрополя», похоже, расставил знаки окончательно, во многих принципиальных моментах оппонируя Евгению Попову — товарищу и, так сказать, поделнику.

Ерофеев на голубом глазу проясняет контрабандную логику: как передавали и кто провозил. Далее: *«игра Аксёнова на отъезд, ослабившая наше единство»* (какую игру Попов категорически отрицает) и *«мои друзья по «Метрополю» не заметили подвига отца»* (исключения — Ахмадулина и Высоцкий). Искандер, встреченный в Коктебеле — *«не скажу, чтобы он нам сильно обрадовался»*. Он же, равно как Ахмадулина и Битов *«нас осмотрительно послушались»* (Ерофеев и Попов призывали *«с очень легкой долей иронии»* оставаться в Союзе писателей). Ну, и плюс Фридрих Горенштейн, названный почему-то «Генрихом».

Установка Ерофеева на торпедирование «метропольского» мифа понятна — ибо центральным героем этого мифа был и остался Аксёнов. А не Ерофеев, который придумал альманах и чей отец заплатил за «Метрополь» дипломатической карьерой... Однако разрушение мифологического подтачивает и человеческое. Сравним два отрывка из одной роуд-муви.

«(...) Мы втроем (Аксёнов, Попов и я) отправились в Крым на зеленой аксёновской "Волге". У Аксёнова есть прозрение: Крым — это остров. Попов, назначенный нами поваром, проспал всю дорогу на заднем сиденье, освобождаясь от "метропольского" стресса. Мы с Аксёновым вели машину попеременно. Аксёнов крестился на каждую церковь — он был неопитом. У него было чувство, что КГБ хочет его физически уничтожить. Майя, чтобы его спасти, предлагала уехать из страны. Об этом шла между ними речь в Переделкине, на его новой литфондовской даче, когда мы все напились...». Виктор Ерофеев, «Хороший Сталин».

Евгений Попов: *«(...) Едем мы втроем в Крым после жуткой зимы 1978/79-го. Мы с Ерофеевым все время предаемся различному выпиванию и беседам на довольно, я бы сказал, скользкие и грязные темы, употребляя полный букет ненормативной лексики. Василий нас слушал, слушал, ведя машину, а потом и говорит: "Вы что лаетесь, как пэтэушники? Фразы у вас нет без мата!" И это он, которого обвиняли в обильном использовании в тексте нецензурных слов и шоковых ситуаций. (...) Мы когда ехали в Крым весной семьдесят девятого, то Вася бесконечно крутил в машине Высоцкого. Подпевал, как мог, услышав "Баньку по-черному"..."»*

Очевидная разница между суетливо крестящимся параноиком-подкаблучником и хорошим старшим товарищем, подпевающим мужественной «Баньке», легко проецируется и на самих товарищей мемуаристов...

Аксёнов, настоящий мастер имен и названий (эталонные «Звездный билет» и «Остров Крым» ушли в народ, масскульт, коммерческую топонимику) наверняка бы оценил оглавление в книжке Кабакова—Попова. «Аксёнов-блюз», «Мы, подаксёновки», «Православие и вольтерьянство христианина Василия Аксёнова» (вот только первая глава — «О чем, собственно, речь?» — вызывает в памяти «метропольский» опус Феликса Кузнецова с «блатным», по выражению, Евгения Попова, названием «О чем шум?»). Есть и такой заголовок: «Аксёнов и начальники страны». А ведь и действительно: Василий Павлович чуть ли не единственный русский писатель, оставивший в таком количестве портреты и наброски этих начальников. В наличии вся большая четверка советских вождей: Ленин («Любовь к электричеству»), Сталин («Московская сага», «Москва Ква-ква»: надо сказать, что это, по сути, один роман; «Москва Ква-ква» — явно избыточный эпилог к «Саге»: завороченность либерала Аксёнова позднесталинским имперским стилем требовала выхода. А может, он так изывал ностальгию).

Хрущев («Ожог», далее везде), Брежнев («Скажи изюм», «Бумажный пейзаж»).

Плюс крупнейшие деятели, у которых вождями стать не получилось — от Троцкого и Берии в той же универсальной «Саге» до некоего прото-Ходорковского в позднем романе «Редкие земли».

Интересно, что Пелевин по этому параметру почти догоняет Аксёнова: не чуждый историософии, в разных текстах он подкрепляет свои рискованные концепции эзотерическими практиками советских вождей. Там, где не хватает фактуры, берет количеством: вспомним пародийную версию о семерых Сталиных в рассказах из «Синего фонаря»...

Однако при всех подобных исходниках Аксёнова трудно назвать политическим писателем. Дело вовсе не в том, что политический идеал Аксёнова мерцающ и расплывчат, а в его мировоззрении явно преобладает идеал эстетический (вот тут как раз — тема для дискуссии).

Мы подошли к моменту ключевому: разделению русских писателей на два весьма условных, но принципиальных вида. Магистральная тема авторов одного типа — отношения человека со временем. Тут я выстрою весьма произвольный и субъективный, но глубоко родственный для меня ряд: Владимир Маяковский, Михаил Шолохов, Валентин Катаев, Иосиф Бродский, Дмитрий Быков.

Для второго типа куда важнее отношения с пространством. Можно было бы даже сказать, что тема времени делает писателей великими, а тема пространства — культовыми, ибо ко второму типу, безусловно принадлежат Василий Аксёнов и Виктор Пелевин.

Много сказано об эскапизме Аксёнова; побег он предпочитает всем прочим стратегиям. Но если чем можно объединить все его ранние сочинения, от «Коллег» до «Затоваренной бочкотары» — так это центробежностью, всеобщей роуд-муви. «Ожог» тоже имел бы все шансы получить в подзаголовок «роман-путешествие», естественно, не в одном только географическом смысле. Вершина тенденции — «Остров Крым», где историю и политику подменяет гравитация — эсхатологическое движение материка и острова навстречу друг другу.

Общее место: в «Острове Крым» Василий Аксёнов конструирует «идеальную Россию» — экономически развитое, процветающее общество, открытое и свободное (даже с явным переизбытком демократии). Одна из первых примет которого — необычайно продвинутые медиа. Многие на полном серьезе полагают, будто, придумав вездесущий канал Ти-Ви-Миг, с его агрессивными технологиями, Аксёнов угадал скорое появление монстров BBC и Euronews. Однако за четверть века до Василия Павловича, у Николая Носова, в «Незнайке на Луне», может, немногим менее вкусно, описан тот же медийный прорыв — с мазохистским рвением репортеров дать «конец света в прямом эфире» (сцена победы земных малышей над лунными полицейскими, посредством невесомости, под воздействие которой попадают и журналист с оператором). Плюс — обилие рекламных вставок, с явным преобладанием «джинсы». Правда, лунное ТВ, в отличие от «остров-крымского», изначально подвержено цензуре — впрочем, не тотальной, а скорее ситуативной и коммерческой. Форматной.

На мой взгляд, России в «Острове Крым» даже меньше, чем в «американских» романах Василия Павловича. Модель Аксёнова — чисто футурологическая (отчего она гибнет — другая история). И, наверное, ошибаются те авторы, которые полагают ключевым в «ОК» — ностальгический мотив. «Осколок старой России» и пр.; модернизированный романс «Поручик Голицын» в прозе. (Концепция Александра Кабакова, кстати.) Собственно, и сам Василий Павлович четко указывает: залог нынешнего процветания Острова, в экономическом плане — своевременно проведенные реформы, а в политическом — отстранение от власти Барона (судя по всему, Петра Врангеля) и других «мастодонтов» Белого движения. Это не ностальгия, а ее преодоление, модернизация.

Поэтому у русских читателей всегда был велик соблазн спроецировать Аксёновский ОК на реалии посткоммунистической России. Что при Ельцине, что при Путине, что при Путине—Медведеве.

Однако, кроме того же «поручика Голицына» (в широком спектре русского шан-

сона, опереточного дворянства с казачеством и геральдического постмодерна), да примет общества потребления (Аксёнов своими «Елисеевым и хьюзом», «Ялтой-Хилтоном» и пр. попал в десятку «Калинки-Стокмана» и «Рэдиссон-Славянской» — впрочем, не бином Ньютона), проецировать на Россию особо нечего. Более того, миры Острова Крым и РФ околонутевых даже не параллельны, а вполне альтернативны. Если угодно, к аксёновскому идеалу, хотя труба пониже и дым пожиже, куда ближе сегодняшний Крым с его туристической автономией и пророссийскими настроениями.

Аксёновская фантазия на темы острова-государства (любопытно, что антисоветчик Аксёнов, выглядит здесь прямым наследником Томаса Мора и компании социальных утопистов, чьи юдоли равенства и братства имели четкую географическую прописку, нередко островную) предвосхищает не новую Россию, а нынешнюю объединенную Европу. С ее курортным процветанием, апокалипсическим потреблением, смешением языков, идеологическим диктатом леваков-социалистов, беспомощностью перед лицом как мусульманского нашествия, так и своих доморожденных вывихнутых террористов Иванов Помидоровых-Брейвиков. Лучниковская Идея Общей Судьбы — синоним европейской мазохизствующей политкорректности. (Кстати, в этом ключе характерны антиисламские настроения позднего Аксёнова.)

Риску предположить, что сегодня «Остров Крым» звучит куда современной, чем на момент написания, не говоря о том, что это просто превосходная проза. Как ни странно, Кабаков и Попов, безусловно, отдавая роману должное, отводят ему особое, но отнюдь не вершинное место в аксёновском творчестве. *«Там нет старика Моченкина!»* — восклицает Кабаков. (Моченкин — фольклорный стукач из «Затоваренной бочкотары».) На самом деле, конечно, есть, поскольку стукачи у Аксёнова везде: неопрятный конвойный ветеран дядя Коля, приставший к партийцу новой формации Марлену Кузенкову на Калининском... Но проблема не в Моченкине: столь осторожное отношение к главному аксёновскому роману, похоже, диктуется играми писательской подсознания. Тут и сложное чувство к безусловно состоявшемуся бесцеллеру, и понимание, что Аксёнов «Острова» принадлежит сразу всем, а не поколению, кругу, тусовке... Впрочем, это всего лишь моя версия.

Отдельная история — этапная, как бы там не хихикали, «Московская сага». Историко-политический роман и семейная эпопея может быть квалифицирована и как книга, сделанная практически на стыке географии и биологии, о самом феномене российской щелястости. Когда мощный тоталитарный пресс если не уравновешивается, то смягчается довольно разветвленной сетью щелей и нычек по всему российскому пространству — это и профессионализм, и семья, и искусство, и альтернативные практики с иерархиями, и — на самый крайний случай — кармические перевоплощения...

Виктор Пелевин — также писатель пространств. Не важно, идет ли речь о реальных территориях, восприятие которых искривлено наркотическим трипом, парадоксально-ревизионистским концептом, а то и авторским произволом. Или о насквозь вымороченных вселенных, отстроенных под кокаином каким-нибудь Григорием Котовским по лекалам криминального прошлого...

Характерно, что продуктом преодоления писательских кризисов с дефицитом идей и сюжетов у Пелевина становятся сборники («П5», «Ананасная вода для прекрасной дамы»), в которых он с неумолимостью атомной взрывной волны разбрасывает персонажей во все стороны света, этого и того — от райских куц до адовых кругов.

Еще один признак пресловутой культовости: каждая следующая книга всегда задает новый уровень отношений автора и героев с реальностью. Подобный подход, скорее интуитивно, нащупали в своей книжке пелевинские биографы, травестируя его, однако, вкусовой меркой. Пелевинскую прозу они расположили по синусоиде — сначала, дескать, писатель двигал неуклонно вверх и укреплялся там, а потом, где-то после «Священной книги оборотня», пошли полуудачи и прямые провалы.

Собственно, нынешнее отношение к аксёновскому корпусу — практически ана-

логично: многие читатели, и отнюдь не только снобы и литераторы, весьма скептически оценивают Аксёнова после «Острова Крыма»: американские романы, вольтерьянские фантазии, позднекомсомольские кирпичи...

Вообще, велик соблазн провести параллели между некоторыми из текстов Аксёнова и Пелевина: скажем, «Островом Крым» и «Чапаевым и Пустотой», поскольку Гражданская война — которая и не думала кончаться — общий сюжетный фундамент. Или «Ожог» с «Generation "П"» — и фишка даже не в том, что оба романа — своеобразные библии поколений. Выясняется, что различия между людьми шестидесятых и девяностых — скорее не идеологические, но технологические, а объединяет поколения заурядный конформизм. Точней, сегодняшняя его модель, копирайт на которую по праву принадлежит «шестидесятникам»: желание жуировать и че-геварить одновременно.

Любопытно, что Пелевин раннего рассказа «Миттельшпиль» (о комсомольских функционерах, сделавшихся путанами), «Generation'a» и многих последующих текстов, где в качестве персонажей выведены российские олигархи, стал отцом-основателем литературной традиции, которой наследовал уже Аксёнов в романе «Редкие земли» с его героями-олигархами комсомольского происхождения.

Но в рассуждении феномена культовости интересны не так сходства, как различия.

Лейтмотивом диалогов Александра Кабакова и Евгения Попова является мнение о Василии Павловиче как о вечном, статусном, эталонном Романтике — в жизни, любви, литературе... Возможно, именно поэтому сегодня категорически не читаются поздние романы Аксёнова — где романтичен не столько фон, сколько тон. «Романтика уволена за выслугой лет», — цитирую Багрицкого, дабы не говорить банальностей о нашем насквозь не романтическом времени.

Поэтому главный писатель страны и русскоязычного пространства — Виктор Пелевин, чей цинизм — уже не мировоззрение и не поза, а способ мышления и высказывания. А констатация о цинике, как бывшем романтике, слишком известна.

Пока конспирологи от идеологии, литературы и власти пугают публику заговором и пугаются его сами, в координатах прозы Пелевина он давно осуществился, поскольку участвует в заговоре «*всё взрослое население России*». Пелевин не идет к идеалу, он пляшет от печки идеала разрушенного, хотя и не всегда воспринимавшегося в подобном качестве (советский проект, а точнее — советское детство у Омона Ра и многих его сверстников; серебряный век у Петра Пустоты; Литинститут у Татарского; родное, свое, число «34» у банкира Степы; даосский Китай у лисы А Хули).

У Пелевина давно получилось всеобщий цинизм времени одомашнить и обжить — в нем, конвертировав в пространство прозы. Еще раз: цинизм его — вовсе не мировоззрение, а литературный прием, культурный код. Пелевинская интонация моментально узнаваема еще и потому, что это старая недобрая экклезиастова мантра, сдобренная лошадиной дозой иронии. Он уже в начале пути осознал, как на такую интонацию легко подсаживаются, как она завораживает утомленным всезнанием и глубиной — не самой мысли, а заключенной в ней нравственной инверсией.

Потому так неубедительны финалы его последних романов (а вот малая проза неизменно хороша, ей не нужно движения, достаточно экспозиции «из ниоткуда в никуда»), потому что плодотворный на старте прием регулярно заводит в тупик. Виктор Олегович, безусловно, это понимает и предпринимает попытки избавиться от инерции. В последнем романе SNUFF он начинает движение в сторону весны, то бишь романтики. Явно устав писать книжки про поколение «П» и высказываться от имени этого поколения — а соблазна кукарекать во имя поколения он никогда не испытывал: хватало вкуса, таланта, мудрости и трезвости.

Круг замыкается, и сансара культовости выходит на новый виток. А нам остается констатация: диалектика перехода писателей пространств (географии) в литературные биографии сулит немало странных сближений и открытий о времени и о себе.

Процесс пошел, как говаривал начальник страны, которому в отличие от многих коллег так и не довелось пока сделаться полноценным литературным персонажем.

Мгновения вечного

Живописец Карен Агамян родом из первого послевоенного поколения. Того самого, которое так и не стало, как предшествующие «шестидесятники», поколением обозначенным, несущим в себе некий единый, объединяющий посыл, оставшись обреченным на поиски, вопросы, обращенные к судьбе и к вечности. Но и успело стать, пусть и в пору своей зрелости, поколением постсоветским. Да, позиция человека, и особенно художника, остающегося на меже между деятелем и наблюдателем, трудна и порой мучительна. Но именно она выражает суть строения личности, творческих рефлексий, обращенных одновременно вовнутрь, в душевные настройки, и вовне, в те социально-политические процессы, участниками и очевидцами которых становились на протяжении жизни люди, родившиеся сразу после войны.

Для Карена, изначально наделенного редчайшим природным даром, аналогичным тому, что в музыке называется «абсолютным слухом», только не звуковым, а визуальным, учиться рисовать, считай, и не было особой необходимости. Настолько точными в воспроизведении видимого мира оказались его детские рисунки. Иначе говоря, для него оказалось средством то, что для большинства художников в процессе становления является целью. Владение формой стало той основой, которая позволила создавать на полотне массу обертонов, интонаций. Большинство живописных работ Агамяна насыщено такими подтекстами, в которых за сиюминутностью проступает вечность. Да, он писал сюжеты «как все», живя в той стране, в которой и жили все мы, — прием в комсомол, проводы в армию, сцены из жизни семьи, где глава — с хрустящей газетой в руках, в которой только хорошие новости. Часто это мгновения вроде бы случайные, выхваченные из жизни, но представлены они так основательно, лапидарно, словно и действительно высечены из камня, предьявляя незыблемое.

Полотна Агамяна часто лиричны и эпичны одновременно, потому что частное, сфера человеческих отношений, обобщается в них до типического. Так в картине «Проводы» возникает особого рода изобразительное «эхо», где уникальность центральных фигур мужчины, женщины и девочки как бы размножена, повторена рядами удаляющихся солдатских сапог и остающихся застывших женских фигур-силуэтов.

Как бы ни строилась творческая работа — от частного к общему или в соответствующем противотоке — на холсте неизменно присутствует движение мысли: то живописец подбрасывает философу событие жизни для обобщения, а то философ требует от художника найти образный эквивалент важной мысли.

Контрапунктом проходит сквозь творчество Агамяна тема античности, мировоззренческих и духовных истоков. В ней, думаю, соединились и его стремление к идеалу, и настойчивые размышления о тех кирпичиках человеческого мироздания, которые и составляют основу долгой, на многие века, устойчивости культуры.

Вот здесь, пожалуй, уместно сказать о том, что в прежние советские времена подлежало, по меньшей мере, умолчанию. Помню со времен собственного искусствоведческого студенчества, как нам тавром вжигалась в мозг вроде бы незыблемая формула искусства, начинавшаяся со слов «национальное по форме...», и как сам собой возникал в отношении некоторых художников мысленный эксперимент-перевертыш — «национальное по содержанию», что вместе с холодком по коже рождало и ощущение встречи с настоящим искусством.

Да, творчество Карена Агамяна глубоко национально. Не внешне, дежурным этнографическим набором изобразительных средств, которого здесь практически нет, а самим устройством образного мышления, его особым темпоритмом. Воспринимая работы Агамяна все же со стороны, с позиций иных национально-культурных традиций, отчетливо осознаешь, что невозможно приблизиться к пониманию иного культурного генотипа иначе, чем через искусство. Ведь только так, через особый строй зрительных образов можно хоть отчасти постичь то, что не поддается переводу. А здесь феномен древнейшей армянской культуры предстает как бы изнутри, воспроизводя тот алгоритм действий людей, который и позволил им сохранять неповторимый национальный характер и ритм жизни в череде многих поколений.

Возможно, такая амбивалентность в выражении и восприятии художественного мира Агамяна поспособствовала, наряду с его несомненными деловыми способностями, тому, что вот уже в течение многих лет коллеги по цеху избирают Карена

Гургеновича председателем Союза художников Армении. Тем самым доверяют ему и организацию внутренней жизни творческого союза, и возможность достойно представлять армянское искусство в международных организациях.

Совсем недавно, весной этого года, когда мы в издательстве «Галарт» готовили альбом «Изобразительное искусство Армении» из серии «Художники Содружества», выпускаемой Международной конфедерацией союзов художников, у нас с Агамяном состоялся коротенький разговор, о котором, думаю, стоит рассказать.

Когда работа приближалась к концу, вдруг потребовалось внести некоторые редакторские поправки в текст, в том числе и в армянский вариант, который был подготовлен в Ереване. Карен Гургенович сказал по телефону, что все необходимое делает его молодой коллега, который как раз был в это время в Москве. А на мое беспокойство, мол, в достаточной ли мере этот человек владеет языком, Агамян, словно профессор первокурснику, пояснил очевидное: «Вы же русский, а он — армянин». И этой незыблемой для него максимой отодвинул куда-то на обочину исключений множество знакомых мне людей самых разных национальностей, не владеющих, увы, в силу разных причин языком своих предков.

Вот такие представления о приоритетах в жизни и искусстве отчетливо прочитываются и в полотнах Карена Агамяна.

Юрий ПОДПОРЕНКО, искусствовед

Агамян Карен Гургенович

Родился в 1946 г. в Ереване. Окончил Ереванское художественное училище им. Терлемезяна в 1964 г.; Ереванский художественно-театральный институт — в 1969 г.

Член Союза художников СССР с 1974 г.; Союза дизайнеров СССР — с 1988 г.; Международной ассоциации дизайнеров — с 1993 г.

С 1970 — участник более 250 республиканских, всесоюзных, международных выставок, в том числе, в Ереване, Москве, Санкт-Петербурге, Ташкенте, Тбилиси, Баку, Минске, Лионе, Будапеште, Гаване, Бухаресте, Берлине, Афинах, Париже, Лос-Анджелесе, Коломбо, Бордо, Марселе, Пекине.

С 1970 — преподаватель Ереванского художественно-театрального института

1977—82 — член ревизионной комиссии Союза художников Армении

1978—1999 — спроектировал и осуществил 12 национальных экспозиций Армянской ССР по линии Госкомитета по науке и технике СССР, Франция, Венгрия, Кипр, Греция, Сирия

1980 — Лауреат премии комсомола Армении за лучшую творческую работу года

1981—84 — главный художник Художественного фонда Армении

1982—87 — член правления Союза художников Армении

1982—88 — член Комиссии декоративного искусства и дизайна СССР

1982 — диплом Союза художников СССР за лучшую работу года

1983—88 — член правления Союза художников СССР, член правления Комитета поддержки молодых художников СССР

1983 — диплом Академии художеств СССР за лучшую работу года

1987—90 — член правления Армянского отделения Фонда культуры СССР

1988 — профессор Ереванского художественно-театрального института, член правления и секретарь Союза дизайнеров Армении

1988—95 — заведующий кафедрой дизайна Ереванского художественно-театрального института

С 1998 — председатель Союза художников Армении

2000 — менеджер павильона Армении, ЕХРО-2000, Ганновер, Германия

С 2004 — член Совета по культуре при Президенте Республики Армении

2005 — заслуженный деятель искусств Республики Армении

Автор многочисленных мозаичных панно, в том числе, на фасаде здания Института курортологии, в вестибюле Министерства местной промышленности, Ереван, Армения; в Культурном центре СССР на Кипре, в здании судостроительного завода в Ярославле и др.; работ по графическому дизайну и книжному оформлению.

Произведения находятся в фонде Министерства культуры Республики Армении, Музее современного искусства, Ереван, Государственной картинной галереи, Ванадзор, Армения; Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО», Москва, Государственной картинной галерее, Магнитогорск, Художественных музеях, Элиста, Новый Уренгой, Россия; Музее современного искусства, Тулуза, Франция; Музее изобразительного искусства, Хэфэй, Китай; в частных собраниях во многих странах мира.

Саднящая любовь

К характеристике «поколения некст»

Рубрику ведет Лев Аннинский

«Мне до фени твои приколы!»
(Дмитрий Барабаш)

У меня есть основания сообщить читателю отчество поэта Дмитрия Барабаша: он — Владиленович.

Значит, дед его в молодые годы назвал своего сына в честь вождя мирового пролетариата, и это говорит об отношении деда к вождю.

Внук же написал стихи, где употребил вождя с маленькой буквы, назвал труды его парашей и пририфмовал эту «парашу» к «шалашу», где те труды писались.

У внука были причины для такой горечи: в 1937 году деда (усердно строившего стране железные дороги) упекли-таки в Гулаг. О чем внук прямо писать не стал. Но колючая проволока все-таки пробилась в его стихи сквозь траву степей и нагорий, запылала «огнями тюремных оград» — внук родился и вырос в Киргизии и вдосталь покочесил по стране, когда отбывал срочную в армии, прежде чем стать журналистом.

Так что к нему персонально судьба отнеслась, можно сказать, более-менее терпимо: могли бы убить, но не убили (это он так шутит). Чувство юмора налицо: сталинские «шуточки» поминает с усмешкой, сталинских «шуточек» не застал — родился через два года после того, как этого вождя народов ногами вперед вынесли из мавзолея и схоронили с глаз подальше.

Тем интереснее понять, каким видит мир поколение, которому досталось в наследство... нет, не безжалостная Советская власть, а ее руины, не сверкающий в будущем Коммунизм, а его химерическая тень, не всемирный смысл происходящего, а пустота на месте смысла. Им не пришлось рвать душу, меняя власть, как рвали прошлое из сердца последние идеалисты — «шестидесятники» (не говоря уже об окопниках 1941 года).

Молоденькие дети новой эпохи даже Перестройку приняли не как патетический переворот, а как очередную усмешку реальности — что-то вроде новой компьютерной игры.

Если знать правила игры — можно терпеть.

А если правил нет? Если все вылетело в трубу и будет вылетать дальше? Ни земли, ни неба, «только сны про бога и богиню»? И никаких истин — «их набор поместится на шахматной доске...

...От короля до пешки — все про то, и Гамлет, и Давинчи и Гораций. Как мало чистых истин, но зато, как много черно-белых вариаций».

Вариации плодятся бесконечно, и опять-таки: если знать правила варьирования («все про то»), тогда можно... все...

Что все?

Можно врать пером, щекоча горло,
можно рвать словом, лишенным смысла.
Главное, чтобы по жизни перла
карта двух полушарий, меняя числа

не дней, а кресел в аэроплане
и полок в спальном купе вагона,
в котором, прильнув к оконной раме,
ты понимаешь, что нет закона
стихосложения, правил грамматики,
прочих условностей и привычек.
В одной части света царят прагматики,
В другой — канареечный посвист птичек...

В конце такого мирового «Путешествия» поэт за свой маршрут извиняется, предлагает читателю в утешение «двойное виски», а на макушке планеты оставляет «косой пробор».

Итак, ни правил, ни законов. Есть билет? — бери место и рви вперед. Впереди пусто, как и позади: из памяти смыто все: сверженные вожди, опростоволосившиеся мечтатели, их бредни о Слове, в котором чудились начала и концы... Ничего нет!

Неужели и в летописях культуры — пустота? Но тогда зачем в стихах «и Гамлет, и Давинчи, и Гораций»?

Тут я натываюсь на первое плодотворное противоречие, зафиксированное Дмитрием Барабашем: вроде бы ничего нет в этом оглохшем мире, но почему-то каждый вздох оглашается стонами предшественников, выдыхавшим в пустоту тысячелетий свои жалобы и проклятья, мечты и надежды! Воздух переполнен голосами! Вроде бы пустота в мире, а притом такая переполненность, когда словечка не вымолвишь, чтобы не обнаружить, что кому-то вторишь.

Прелесть даже не в том, что эффектно чередуются цитаты (это и полагается в ультрамодном центоне), а в том, как они окликают тебя тайными знаками.

Иногда явно — когда выплывает ходячий образ с непременным опровержением: Пятница — вовсе не друг Робинзону, он — пьяница и прохвост. Или такое: «И что за глупость: быть или не быть?» Или: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Очень актуально.

Но настоящая виртуозность — это когда среди шумного «литературного бала» появляются маски, шепчущие: «Об Осе и есе, о Веле и Море»... Хлебникова угадали? И Осю Мандельштама? А есю? Если есть сомнения, то вот подсказка: «Листает века Шекспир, Высоцкий выводит SOS, и Бродский рисует Рим на фоне стеклянных звезд». Рим там или Венеция — не важно. Везде что-нибудь такое: качается девочка на шаре, изысканный бродит жираф, и растет не просто трава, а трава Тарковская, если же щебечет птица, то это синяя птица, которая и есть Беатриче.

Метерлинк переглядывается со старыми классиками, новые классики переглядываются с нами. «Я позвоню своей любимой маме, чтобы теплее стало на земле...» Кто звонит? Окуджава, конечно. А что у Набокова слово похоже на серп и молот, не замечали? А если не серп и молот, то инь и янь. И всегда ведь есть, кому попенять на происходящее:

Ах, Александр Исаевич, все же негоже
телеэкран декорировать патиной меди.
Время давно почивать на заслуженном ложе
в лаврах, на шкуре облитого солнцем медведя.

Тут дело даже не в том, что литературные оклики несутся из-под всех шкур и со всех лож. Дело в обратной перспективе, из-под всех зарослей рычат волки, рывкают медведи, и поют синие птицы, но чем отчетливее голосит эта словесная рать, обжившая каждый миллиметр пространства, — тем непреложнее (в стихах Барабаша) сквозит и зияет в мироздании неодолимая бессловесная пустота.

Все уже свершилось. Отговорилось. Сварганилось. Скукожилось. Хорошо, что живешь после всего.

«Лучше жить позже, когда бежать уже некуда, и уходить — некуда, и отступать тоже. Когда уже все наперед ведомо и, как говорится, написано на роже...»

Рожа, между прочим, это то, чем прикрыто лицо, — это тоже знак крутого стиля, не менее современного, чем феня или приколы... Но проследим дальше за тем, что именно написано на роже:

«Лучше жить после великих свершений, не имеющих отношения к тебе единственному. Когда не играет роли социальное положение и свергнуты догмы, возведенные в истины».

Мягко сказано, надо признать. Ни явных проклятий, ни жестких опровержений — скорее, пробуждение от сна. Или от снов:

«И вся эта муторная — пидорасья — страна любовалась изящным скольжением того, что казалось небес отражением...»

Пидорасью отнесем туда же, где морда. Это знак стиля. Но как бесповоротно «бандитский разбой» прошлого (и будущего) покрыт сумерками «вечности», и как эту муть (не жуть, а именно муть) кроет «строгих икон молчаливый укор»...

Кроет, между прочим, «многоэтажно», то есть не теми словами, которые «в начале», а теми, которые... в конце, что ли, этой отыгранной комедии.

В общем, там, где предшественниками предполагалась глубина, — там только скука и мелкая грязь, там, где, казалось, было больше света, — обнаружилось и больше грязи, там, где грезилось счастье, там, как выяснилось, — прах.

Но есть все-таки в реальности что-то, обнажившееся из-под праха?

А как же! «Фарцовая тусня». Это — по новой фене. А по старой — «квартирные вопросы, долги, машины, дачи и дубленки». В брезгливой злости по отношению к этой оргии потребления Дмитрий Барабаш смыкается с самыми непримиримыми поэтами своего поколения, но даже в этом ряду выделяется броскостью определений:

«Здесь правят миром злые пылесосы, а лицами — фарфоровые коронки...»

Так и хочется вернуть «лицам» неподдельность «морд». Впрочем, Барабаш это и делает, видя своего встречного героя «с дебильной рожей на лице». Такая теперь Песня о встречном.

А между тем почувствовано и сказано с потрясающей точностью:

«Нам одолжили вечные вопросы и приказали — золотом вернуть».

Золотом? А может, фарфоровыми коронками?

«В усы и бороды засовывая Мандельштамом сваренных ершей».

Без Мандельштама — никак?

Никак. Пора кончать эту жвачку про «свободную страну»... А на закуску — поразительное по точности завершение пиршества:

«И закончим перестройку обрезанием сердец».

Ну закончим. А потом все-таки попробуем поискать начало?

Оглядываясь в прошлое, Дмитрий Барабаш находит мощную поэтическую традицию касательно истории России и пробует в нее вписаться. Россия в мировой истории — уникал. Умом ее не понять. Советчики со стороны не нужны. Нам закон не писан. От закона мы прячемся в благодать. Наследуя эту тему, поэт Двадцать первого века добавляет в нее... Что? Сейчас услышим:

Россия мать — разведена с отцами.
Отцы трясут могучими концами,
но нет России дела до отцов.
И до детей, распущенных из чрева,
и до того, кто скажет: слушай, дева,
зачни хоть раз без этих подлецов,
зачни бесстрастно, чисто, беспорочно,
как будто ты Иосифа жена.
И вот тогда, я это знаю точно,
ты вылезешь из вечного дерьма.

Вам ничего не напоминает эта мизансцена? Что-то подобное услышала Анна Ахматова от Анрепа, звавшего ее в эмиграцию. И ответила ему, как если бы голосом Анрепа испытывал ее сам Всевышний.

У Барабаша отвечает искусителю сама Россия:

Я не хочу. Ты лучше изнасилуй,
чтобы фингал, чтоб кровь, чтобы свобода,

чтобы проснулась совесть у народа,
и не мешай мне чувствовать восторг,
от улицы, закрученной спиралью...
от трех углов. От слов, налитых сталью,
от утреннего звона куполов.

Я думаю, что и звон куполов (звонящих сталью), и закрут улиц (из которых нет выхода), и восторг от трех углов (после которых четвертому явно не бывать), — все это уравнивается словом «изнасилуй». Просит же страна!

От ахматовской строгой взвешенности отличает нынешнего поэта вольная замашка, помогающая вынести задавленную ярость при мысли о прошедшем.

Вот интересно: в настоящем лучше дерьма не касаться, в грязь не вляпываться, хранить пренебрежительное спокойствие, — но при мысли о прошлом... да и о будущем — скомпенсироваться по полной:

Человек в России звучит страшно,
Как окончательный приговор.
Все остальное уже не важно.
Мы чувствуем правду в упор.

Что же за правда?

Время тайных убийств
Без судов и следствий.
Просто пуля в затылок и все дела.
Просто у самолета перелом крыла.
Просто нашествие стихийных бедствий.

Стихийные бедствия очень кстати после смертоносной жары 2010 года (чтобы не заглядывать за рубеж с их торнадо, тайфунами и цунами).

За рубеж времени тоже лучше не заглядывать:

Мы еще вспомним Сталина с его шарашками.
Неприкрытую подлость глаза в глаза.
Мы еще вспомним Брежнева с Чебурашками,
Взлетающими в олимпийские небеса.

Имея такую ошарашивающую перспективу, не пора ли, наконец, вспомнить Господа Бога?

Господа Бога Барабаш, естественно, поминает, и довольно часто. Приблизительно столько же, сколько его давние предшественники поминали партию и коммунизм. Но дело ведь не в том, кто что поминает, а в том, что заставляет его поминать.

Бог у Барабаша — присказка. Поминается к случаю. Сидит где-то там на небесах дед седобровый и ухмыляется. В наших соблазнах и бедах — не повинен.

«Блеск мишуры придуман не богами — и тем ему назначена цена. И сколько ни топчи его ногами, как виноград — ни хлеба, ни вина».

Мы топчемся тут, а он — там.

Может, это он нам приснился? И мы его придумали... на досуге? Или это он придумал нас? Тоже на досуге... прилег и нашептал. А мы кинулись исполнять... Этаким свет в окошке!

«Каждой пылинкой света, летящей к небу, каждой былинкой, каждой былиной, каждой ракетой, всякими шатлами там, всякими там челноками — мы поигрались немножко с богами, с веками.

Мы получили пригоршни ответов и горы задач... Прыгал, звеня под рукою измученный мяч...»

Ну, мяч, понятно. А вот насчет задач — поразительно точно сказано. А в результате все оборачивается — игрой. Скачет мячик. Бред какой-то нездешний...

Да не бред, а сон! Притом сон поэтический. Вдохновение! У кого? У нас, естественно. То есть у Бога... искусственно. Искусно!

«Бывает и у Бога вдохновение. То Моцартом он будит страшный сон, то Пушкина веселым дуновением сметает пыль с нахмуренных икон. То капельками, как свеча в бумагу, Он открывает миру Пастернака. То назначая тень пустым вещам — подмигивает, словно Мандельштам...»

Без Мандельштама — никак...

Так есть что-нибудь «свыше» или нет?

Нет. Ничего нету. Не проистекает!

«Чем больше близких оставляет нас, тем мир иной становится нам ближе, и выставляет, словно на показ, все то, что не проистекает свыше».

Так что, если ближние станут тебя доедать, и ты вынужден будешь с этим смириться, — вспомни, что ты — «божий дух в человеческой шкуре». Легче будет.

И не думай, что нет никакой связи между Всевышним, дремлющим в небесах, и нижним уровнем бытия, который в России таков... О, мы по опыту знаем, каков он в России:

«Человек в России звучит страшно, как окончательный приговор. Все остальное уже не важно. Мы чувствуем правду в упор...»

Сейчас сверкнет непереносимое мандельштамовское лезвие:

«Сверкает лезвие брадобрея, скользит по аорте то вверх, то вбок. И все-таки, чем человек добрее, тем уязвленнее будет Бог».

Так что связь есть. Отрицательная. На Бога не надейся. Потому и не плошай. Ничего хорошего нас не ждет, если сам Бог уязвлен нашими успехами.

В результате такой экспертизы грядущему веку предвещена чума.

Как спастись?

«Плечом к плечу с народом».

Нет, теснее! «К заду — зад!» С юмором в заду. С нежностью на устах. И с твердостью в безжалостном сердце.

И чем нежнее ты вольешь
любовь в рифмованную твердость —
тем очевидней станет ложь
и тем бессмысленнее подлость.

То есть ни от лжи, ни от подлости не уйти. А чтобы этот фатум стал очевиден, — нежно бесстрашие поэта. Жизнь впору отсчитывать заново. От нуля. Начинать приходится заново. С нуля.

«А чем помочь?»

В четырнадцать лет поэт со скучного городского тротуара мечтает «вернуться к травам»? (70-е годы на исходе.)

В семнадцать лет, любясь белизной деревенского снега и следами лосиных копыт на февральском насте, — отдает себе отчет, что слякотный асфальт от снега не посветлеет, и сколь ни бежать от его проблем, возвращаться придется. (80-е уже наступили.)

После сорока — «проклятые вопросы» лезут под шапку, и каждый волосок требует суда. Куда деваться? В секту? В запой? В трубу... все в ту же — «вылететь в трубу»? (А уж новое тысячелетие на дворе.)

Талант заставил выкладывать отчаяние на бумагу.

«Я знаю точно, что одна строка вернет нам всех, кого мы потеряли...»

Ах, если бы... Но — если пытаться? Оттачивать слово? Испытывать его молчанием? И снова оттачивать...

«Можно словом кончать, но его невозможно прикончить».

Ни допеть песню, ни оборвать ее, ни исчерпать горечь, ни смириться с ее неисчерпаемостью...

Родина, ты песня недопетая,

От которой пробирает знобь...

Знобь — знак подлинности тех чувств, с которыми оглядывается вокруг себя человек, получивший в наследство сначала «сто миллионов солнечных прозрений», а потом — в компенсацию — «пару рюмок с вашего стола».

Summary

ALEXANDER EBANOIDZE. *Presentiment of October.* The author of the once well-known «Marriage In the Imeretian Manner» has written his new novel — it's about Moscow intellectuals in the years of the changes. The protagonist, Dasha, a faillure-balley-dancer and now a star of the elite clubs, is looking through the window of the train at the children on the hillock near the rail-road and thinking: «Kindergarten at a walk. Standing in a crowd, waving to the train Children, children At the point we'll come to a troubled voice will meet us: Ladies and gentlemen, in view of the danger of the acts of terrorism we ask you to be particularly watchful! Thus is the world we have smacked into. Now it's usual to beg pardon. Popes, American presidents and German chancellors, policemen and maniacs — everybody does it. Don't forgive! And don't wave to us — we do not deserve it» And meanwhile the autumn splendour which may be possible only in presentiment of October is passing by the window.

POETRY MARIA MARTICEVICH, the author, and **GEORGIJ BARTOSH,** the translator, are talented young poets from Belorussia. Sharp-sightedness, fresh breath and inner freedom — that is what attracts the readers, supports and at the same time reforms the traditional poetry satiating it with images and rhythms of our time.

ALEXANDER DZUMAEV. *Duality of the Consciousness and Euro-Asian Syndrome.* «Duality of the consciousness with its flexibility and ability of adaptation is probably one of the signs of the «Euro-Asianism». It makes possible easily to assimilate everything that seems practically useful and comfortable from the Euro-Christian and Asian-Muslim civilizations or other associations and confessions and rather smoothly go through the changes of political systems», — assumes the author analyzing cultural paradigms on which the common Euro-Asian future might be built.

SERGEJ and ELENA PERESLEGINS. *Wild Maps of the Future.* Some meditations on the problems of futurology — whether the window of possibilities is closing or not.

SERGEY MOREINO, NICKOLAY ALEXANDROV, ALEXEJ KOLOBRODOV Their three polemical texts outgrow the traditional frames of analytical book reviews. The writers Uldis Berzinsh, Dmitriy Danilov and Anatolij Gavrilov, Vassilij Aksenov, Victor Pelevin, Alexander Kabakov and Evgenij Popov become the real protagonists of these three articles. In the center of the discussion — the problems that arise at the joint of literature and today's reality.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2012 году
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Нашиндекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 123995 ГСП-5, Москва, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.

E-mail: dn52@mail.ru, <http://magazines.russ.ru/druzhba/>

Сдано в набор 20.07.12. Подписано в печать 20.08.12. Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1. Уч.-изд. л. 23. Тираж 2000 экз. Заказ 9458. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Можайский полиграфический комбинат», 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93; тел.: (496)20-685; (495)745-84-28; факс: (49638)21-682; www.oaompk.ru, e-mail: oaompk@oaompk.ru